

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Библиотека
этической
мысли



П.Ж. Прудон

ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННОСТЬ?

Annotation

Книга, предлагаемая вниманию читателя, содержит важнейшие работы французского философа, основоположника теории анархизма Пьера Жозефа Прудона (1809–1865): «Что такое собственность? Или Исследование о принципе права и власти» и «Бедность как экономический принцип». В них наиболее полно воплощена идея Прудона об идеальном обществе, основанном на «синтезе общности и собственности», которое он именует обществом свободы. Ее составляющие – равенство (условий)

и власть закона (но не власть чьей-либо воли). В книгу вошло также посмертно опубликованное сочинение Прудона «Порнократия, или Женщины в настоящее время» — социологический этюд о роли женщины в современном обществе, ее значении в истории развития человечества. Эти работ Прудона не издавались в нашей стране около ста лет.

В качестве приложения в книгу помещены письмо К. Маркса И.Б. Швейцеру «О Прудоне» и очерк о нем известного экономиста, историка и социолога М.И. Туган-Барановского, а также выдержки из сочинений Ш.О. Сен-Бёва «Прудон,

его жизнь и переписка» и С. — Р. Тайлландье «Прудон и Карл Грюн».

Издание снабжено комментариями, указателем имен (в fb2 удалён в силу физической бессмысленности). Предназначено для всех, кто интересуется философией, этикой, социологией.

- [П.Ж. Прудон](#)
 - [Что такое «собственность»?](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Бедность](#) [как](#)

экономический принцип

- Глава I

- Глава II

- ПОРНОКРАТИЯ, или
ЖЕНЩИНЫ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

- Глава I

- Глава II

- Глава III

- Глава IV

- Глава V[109]

- ЗАМЕТКИ И
МЫСЛИ[124]

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- К. МАРКС

- М. И. ТУГАН-
БАРАНОВСКИЙ

- Из книги Ш. О. Сент-

Бёва

■ С. — Р. ТАЙЛЛАНДЪЕ

○ КОММЕНТАРИИ

● notes

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)

- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)

- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)

- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)

- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)

- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)

- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)

- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)

- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)

- [195](#)
- [196](#)



П.Ж. Прудон

*Я требую
уничтожения привилегий и
рабства, я хочу
равноправия, хочу, чтобы
царил закон.
Справедливость и только
справедливость – вот суть
моего учения.*

*Пьер Жозеф
Прудон*

**Что такое
«собственность»?
или Исследование о
принципе права и
власти**

Предисловие

Приводимое ниже письмо служило предисловием к первому изданию настоящего сочинения.

*«Господам членам Безансонской
академии»*

Париж, 30 июня 1840 года
Милостивые государи!

В вашем постановлении от 9 мая 1833 года, касающемся стипендии, учрежденной г-жой Сюар, вы высказали следующее пожелание:

«Академия приглашает стипендиата доставлять ей ежегодно,

в течение первых двух недель июля месяца, краткий, обстоятельный отчет о своих научных занятиях в течение предыдущего года».

Я исполняю этот долг, милостивые государи.

Когда я ходатайствовал о вашем согласии на стипендию, я открыто заявил о своем намерении направить все свои усилия на изыскание средств для улучшения физических, нравственных и интеллектуальных условий существования наиболее многочисленного и беднейшего класса населения. Эта мысль, несмотря на то что она не имела отношения к моей кандидатуре на стипендию, была принята вами

благосклонно. Благодаря высокой чести, которую вам угодно было оказать мне, это обещание превратилось для меня в священнейший и ненарушимый долг. Я понял тогда, с какими достойными и благородными людьми я имею дело: мое уважение к их просвещенности, признательность за их благодеяния, мое рвение прославить их были беспредельны.

Будучи убежден, что избавиться от общепринятых избитых взглядов и систем можно, только внеся в изучение человека и общества научные приемы и точный метод, я посвятил год изучению филологии и грамматики. Из всех наук

лингвистика, или естественная история слова, наиболее соответствовала складу моего ума, и мне казалось, что она также наиболее соответствует исследованиям, которые я намеревался предпринять. Написанный именно в это время труд по поводу одного из наиболее интересных вопросов сравнительной грамматики^[1], если и не имел блестящего успеха, то по крайней мере свидетельствовал о серьезности моих занятий.

С тех пор я занялся исключительно метафизикой и моралью. Мои усилия были вознаграждены вынесенным мною

опытом, что эти науки, предмет которых не установлен точно и которые вообще еще недостаточно определены, подобно естественным наукам, доступны доказательствам и точности.

Однако, милостивые государи, из всех своих учителей я больше всего обязан вам; ваша помощь, ваши программы, ваши указания, соответствовавшие моим сокровенным желаниям и наиболее дорогим моим надеждам, непрестанно помогали мне и указывали дорогу. Настоящее сочинение о собственности есть плод ваших идей.

В 1838 году Безансонская

академия поставила следующий вопрос: *Каким причинам следует приписать постоянно увеличивающееся число самоубийств и какими средствами можно предупредить последствия этой нравственной заразы?*

В более общей форме вопрос этот можно выразить так: каковы причины социальных зол и каковы средства их исцеления? Что это так, вы, милостивые государи, признали сами, когда ваша комиссия заявила, что участники конкурса полностью перечислили непосредственные и частные причины самоубийств, так же как и средства предупреждения каждого из них, но что из этих

написанных с большим или меньшим талантом перечислений нельзя сделать никакого положительного вывода ни относительно первоначальной общей причины зла, ни относительно средств для его исцеления.

В 1839 году ваша программа, всегда интересная и разнообразная по своей внешней форме, сделалась более определенной. Конкурс 1838 года в качестве причин или, лучше сказать, диагностических признаков социального зла выставил забвение религиозных и нравственных принципов, стремление к богатству, жажду наслаждений, политические страсти. Все эти данные были

сведены вами в одно—единственное предложение: *о пользе празднования воскресенья с точки зрения гигиены, нравственности, семейных и гражданских отношений.*

Выражаясь на христианском языке, вы, милостивые государи, спрашивали, каков истинный общественный строй? Один из участников конкурса^[2] осмелился утверждать, полагая, что он в достаточной мере доказал это, что установление еженедельного отдыха неразрывно связано с политической системой, основанной на равенстве, что без равенства это учреждение будет невозможной аномалией, что только равенство может повести к

новому расцвету древнего мистического обычая праздновать седьмой день.

Это сочинение не удостоилось вашего одобрения, так как вы, милостивые государи, не отрицая связи, отмеченной участником конкурса, справедливо полагали, что раз самый принцип равенства не доказан, то идеи автора не выходят из области гипотез.

Этот основной принцип равенства вы, милостивые государи, сделали темой конкурса в следующей формулировке: *об экономических и нравственных последствиях, какие до сих пор вызывал во Франции и, по-видимому, должен вызвать в ней*

в будущем закон о равном разделе имущества между детьми.

Оставляя в стороне общую неопределенную формулировку, ваше предложение, кажется мне, надо понимать следующим образом:

Если закон мог сделать право наследования равным для всех детей одного отца, то не может ли он сделать его равным для всех его внуков и правнуков?

Если закон не признает больше младших в семье, то не может ли он, посредством права наследования, также уничтожить старшинство в роду, племени и нации?

Может ли быть сохранено равенство при помощи права

наследования среди граждан, так же как и среди братьев и двоюродных братьев? Словом, может ли принцип наследования сделаться принципом равенства?

Резюмирую все сказанное выше в общей формулировке: что такое принцип наследования? На чем основывается неравенство? Что такое собственность?

Таков, милостивые государи, предмет сочинения, которое я вам теперь посылаю.

Если я хорошо понял вашу мысль, если я осветил непреложную истину, остававшуюся долгое время непознанной по причинам, которые я, осмеливаюсь это сказать, теперь

выяснил, если при помощи непогрешимого метода исследования я установил догмат равенства условий, если я определил принцип гражданского права, сущность справедливости и общественный строй, если, наконец, я навсегда разрушил собственность, то вся заслуга этого принадлежит вам, милостивые государи; я обязан всем этим вашей помощи и вашему вдохновению.

Идеей этого труда является приложение известного метода к проблемам философии. Всякое иное намерение мне чуждо, и приписать его мне — значит оскорбить меня.

Я не особенно почтительно

выражался о юриспруденции; я имел право относиться к ней так, но было бы несправедливостью с моей стороны, если бы я не отделял от этой якобы науки людей, культивирующих ее. Посвятив себя тяжелым и суровым трудам, во всех отношениях достойные уважения своих сограждан благодаря своим знаниям и красноречию, наши юристы заслужили только один упрек: они чересчур почтительно относятся к законам, созданным произволом.

Я подверг беспощадной критике экономистов. Должен признаться, что в общем я их не люблю. Меня возмущают претенциозность и

пустота их сочинений, их дерзкая надменность и их бесконечные заблуждения. Пусть их читает тот, кто, зная их, прощает им.

Я высказал суровое порицание христианской церкви, занимающейся поучениями, я должен был это сделать. Это порицание было вызвано доказанными мною фактами: зачем церковь предписывала правила в области, недоступной ее пониманию; церковь заблуждалась в области догматов и нравственности; физическая и математическая очевидность свидетельствует против нее. Быть может, с моей стороны преступление говорить это, но во всяком случае это

обстоятельство — несчастье для христианства. Для того чтобы восстановить религию, милостивые государи, надо осудить церковь.

Быть может, вы не одобрите, что я, направив все усилия на метод и наглядность, слишком небрежно отнесся к форме и стилю. Всякие попытки исправить это были бы напрасны. У меня нет надежды и веры в мою литературную долговечность.

Девятнадцатое столетие, на мой взгляд, есть эра созидающая, в которой зарождаются новые принципы, но ничто написанное не сохранится надолго. По этой—то именно причине, на мой взгляд, в современной Франции,

насчитывающей так много талантливых людей, нет ни одного великого писателя. Искание литературной славы в таком обществе, как наше, мне кажется анахронизмом. Зачем заставлять говорить старую Сивиллу накануне рождения Музы. Нам, жалким актерам приближающейся к концу трагедии, остается только ускорить этот конец. Больше всех заслужит одобрения тот из нас, кто лучше всех выполнит эту роль. Я со своей стороны не претендую более на эту печальную честь.

Отчего бы мне не сделать вам этого признания, милостивые государи? Я добивался вашего

согласия сделать меня вашим
стипендиатом, ненавидя все
существующее и питая
разрушительные планы. Я кончу курс
наук в спокойном и примиренно
философском настроении.
Понимание истины придало мне
хладнокровия больше, чем чувство
угнетения — гнева. Я был бы
счастлив, если бы это сочинение
могло внушить моим читателям
спокойствие духа, создаваемое
ясным пониманием зла и его причин,
и гораздо более мощное, нежели
страсть и восторженность. Моя
ненависть к привилегиям и власти
людей была беспредельна; быть
может, я не раз в своем негодовании

несправедливо смешивал людей и вещи; теперь я только презираю и жалею. Познав, я перестал ненавидеть.

Вы, милостивые государи, кому дана миссия и право провозглашать истину, вы должны теперь просвещать народ и научить его, на что ему надеяться и чего бояться. Народ, неспособный еще здраво судить о том, что ему нужно, готов приветствовать самые противоположные идеи, когда он видит, что ему льстят. Для него законы мысли то же, что и пределы возможного; он теперь так же мало умеет отличить философа от софиста, как прежде ученого от

волшебника. «Легко склонный уверовать во все новости, собирать и сохранять их, склонный считать всякие слухи истинными, он может быть собран по свистку или звонку новостей, как собираются мухи на звон посуды»^[3].

Если бы вы, милостивые государи, желали равенства, как желаю его я, если бы вы, для вечного блага нашей родины, могли сделаться его проповедниками и глашатаями, если бы, наконец, я был последним вашим стипендиатом! Из всех пожеланий, какие я мог бы высказать, это наиболее достойное вас, милостивые государи, и наиболее почетное для меня.

Остаюсь с глубочайшим
уважением и искреннейшей
признательностью.

Ваш стипендиат *П. Ж. Прудон*»

Два месяца спустя после
получения этого письма академия, на
заседании 24 августа, ответила
своему стипендиату постановлением,
текст которого я привожу ниже:

«Один из членов обращает
внимание академии на брошюру,
выпущенную в свет в июне этого года
лицом, получающим стипендию
Сюар, под заглавием «*Что такое
собственность?*» и посвященную
автором академии. Член этот
полагает, что справедливость,

добрый пример и собственное достоинство коллегии обязывают ее, путем публичного порицания, снять с себя ответственность за антисоциальные доктрины, заключающиеся в этом произведении. Ввиду всего изложенного этот член предлагает:

1) Чтобы академия самым решительным образом отвергла и осудила сочинение лица, получающего сюаровскую стипендию, как сочинение, напечатанное без одобрения академии и приписывающее последней взгляды, диаметрально противоположные взглядам каждого из ее членов;

2) Чтобы стипендиату было вменено в обязанность в том случае, если бы он выпустил второе издание книги, снять с нее посвящение;

3) Чтобы настоящее постановление академии было напечатано в трудах академии. Поставленные на голосование, эти предложения были приняты».

После этого курьезного решения, которое авторы его хотели сделать грозным, придав ему форму опровержения, мне остается только просить читателя не судить об интеллигентности моих сограждан по интеллигентности нашей академии.

Между тем как мои патроны от

социальных и политических наук предавали анафеме мою *брошюру*, человек, чуждый нашей Франш-Конте^[4], человек, не знающий меня, который мог бы себя считать даже лично затронутым моей чересчур резкой критикой экономистов, публицист настолько же ученый, насколько и скромный, любимый народом, страданиям которого он сочувствует, уважаемый властями, которых он старается просветить, не льстя им и не унижая их, господин Бланки, член института, профессор политической экономии, защитник собственности, выступил в защиту меня перед своими собратьями и перед министром и спас меня от

ударов юстиции, всегда слепой, потому что она всегда невежественна.

Я полагаю, что читатель с удовольствием прочтет письмо, которое господин Бланки имел честь написать мне после выхода в свет моего второго сочинения, письмо, настолько же обнаруживающее благородство своего автора, насколько лестное для лица, которому адресовано.

«Милостивый государь!

Спешу поблагодарить вас за любезную присылку вашей второй статьи о собственности. Я прочел ее с величайшим интересом, который, естественно, внушило мне

знакомство с первой статьей. Я очень рад, что вы несколько изменили резкость формы, придававшую труду, имеющему столь важное значение, вид и характер памфлета. Вы меня испугали, милостивый государь, и только ваш талант успокоил меня относительно ваших намерений. Не следует тратить столько истинных знаний на то, чтобы вызвать пожар в своей родной стране. Грубое заявление, что собственность есть кража, могло бы оттолкнуть от вашей книги даже серьезные умы, которые судят о содержимом не по этикетке, поставленной на обложке, если бы вы поддерживали его во всей его грубой простоте. Однако, хотя вы и

смягчили форму, вы все же остались верны сущности своего учения, и, хотя вы сделали мне честь, назвав меня соучастником этой опасной проповеди, я не могу признать себя солидарным с вашим трудом, талантливость которого была бы почетна для меня, но который компрометировал бы меня во всех других отношениях.

Я согласен с вами лишь в одном: в этом мире всевозможных видов собственности царит слишком много злоупотреблений, но из этого я не вывожу необходимости уничтожить собственность; уничтожение ее было бы героическим средством, равносильным смерти. Я пойду

дальше: я признаюсь вам, что из всех злоупотреблений, на мой взгляд, самое отвратительное — злоупотребление собственностью. Но повторяю: это зло можно устранить, не касаясь собственности и, главное, не разрушая ее. Если современные законы плохо регулируют пользование собственностью, то мы можем изменить эти законы. Наш гражданский кодекс не Коран, мы не раз это доказывали. Реформируйте законы, регулирующие пользование собственностью, но воздерживайтесь от провозглашения анафемы. Ибо если быть последовательным, то найдется ли порядочный человек, у которого руки были бы вполне

чисты? Не думаете ли вы, что можно быть вором, не желая, не зная и даже не подозревая этого. Не допускаете ли вы, что в организации современного общества, так же как и в организации каждого человека, есть масса пороков и добродетелей, унаследованных от наших предков. Неужели собственность, на ваш взгляд, такая простая и отвлеченная вещь, что вы можете уничтожить ее и, так сказать, уравнивать под вальцами метафизики. В двух своих блестящих и парадоксальных импровизациях вы, милостивый государь высказали слишком много прекрасных и практичных взглядов, для того чтобы вас можно было считать чистым и

неисправимым утопистом. Вы слишком хорошо знакомы с экономическим и академическим языком, для того чтобы играть словами, способными вызвать бурю, и я думаю, что вы с *собственностью* сделали то же самое, что восемьдесят лет тому назад Руссо сделал с *образованием*^[5], вы сделали ее предлогом к блестящему и поэтическому интеллектуальному и научному скандалу. Таково, по крайней мере, мое мнение.

Так я говорил и в институте в тот день, когда давал отзыв о вашей книге. Я знал, что ее хотят подвергнуть судебному преследованию; вы, может быть,

никогда не узнаете, благодаря какой счастливой случайности я имел приятную возможность помешать этому^[6]. Для меня было бы вечным упреком, если бы королевский прокурор, вершитель судеб в области литературы, явился бы после меня, и как бы по следам, проложенным мною, с целью напасть на вашу книгу, а вместе с тем и на вашу личность. Я провел, клянусь вам, из-за этого две ужасные ночи, и мне удалось удержать карающую руку, занесенную над вами, лишь при помощи уверения, что ваша книга представляет научную диссертацию, но отнюдь не манифест поджигателя. Ваш стиль слишком возвышен для

того, чтобы служить когда-либо тем безумцам, которые при помощи ударов камня решают на улицах величайшие проблемы нашего социального строя. Но берегитесь, милостивый государь, чтобы они не явились помимо вас искать материала в вашем громадном арсенале и чтобы ваша могучая метафизика не попала в руки какого-нибудь софиста, который станет комментировать ее перед голодной аудиторией, ибо выводом из этого будет грабеж.

Я, милостивый государь, не менее вас взволнован раскрытыми вами злоупотреблениями. Но я так сильно привязан к порядку — не к

банальному и тяжелому порядку, довольствующемуся агентами полиции, — но к величественному порядку человеческих обществ, что мне подчас бывает трудно нападать на иные злоупотребления. Каждый раз, когда я вынужден сотрясать что-либо одной рукой, мне хочется это же поддерживать другой. Когда обрезаешь старое дерево, то следует остерегаться уничтожения плодоносных почек. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни было другой; вы человек серьезный, образованный, с наблюдательным умом. Вы в таких живых выражениях говорите о настроениях нашего времени, что даже самые мрачные

люди могут успокоиться относительно ваших намерений. Но вы приходите к выводу о необходимости уничтожить собственность, вы хотите уничтожить могущественнейшую пружину, движущую человеческим интеллектом, вы нападаете на самые сладкие иллюзии родительского чувства, вы одним своим словом останавливаете возникновение капиталов, и отныне мы будем строить свои здания на песке, вместо того чтобы строить их на граните. Вот чего я не могу допустить, вот почему я критиковал вашу книгу, хотя она блещет огнем и знаниями, хотя в ней встречается так много

прекрасных страниц!

Я желал бы, чтобы мое почти подорванное здоровье позволило мне вместе с вами изучить страницу за страницей сочинение, которое вы сделали честь адресовать мне лично. Я думаю, что мог бы сделать вам весьма веские возражения. В данный момент мне приходится ограничиться выражением благодарности за лестные слова, которые вам угодно было высказать обо мне. Мы с вами оба искренни, я же, кроме того, и осторожен. Вы знаете, какое глубокое недовольство царит среди рабочего класса; я знаю, какое множество благородных сердец бьется под этими грубыми одеждами,

я чувствую неудержимое братское влечение к этим тысячам хороших людей, которые встают так рано для того, чтобы трудиться, платить подати и создавать могущество нашей нации; я стараюсь служить им и просветить их, между тем как иные стараются ввести их в заблуждение. Вы не писали непосредственно для них; вы сочинили два великолепных манифеста, из которых второй умереннее первого; напишите третий, еще более умеренный, и вы займете высокое место в науке, первой обязанностью которой является спокойствие и беспристрастие.

Прощайте,

милостивый

государь. Нельзя чувствовать больше уважения к человеку, чем чувствую к вам я.

Бланки.

Париж, 1 мая 1841 года».

Конечно, я мог бы сделать немало возражений на это благородное и красноречивое послание, но признаюсь, я более желал бы осуществить своего рода пророчество, которым оно оканчивается, нежели напрасно увеличивать число своих антагонистов. Вся эта полемика утомляет и раздражает меня. Ум, потраченный на словесные сражения, так же как и ум,

потраченный на войну, пропадает
непроизводительно. Господин
Бланки признает, что собственность
создает массу злоупотреблений,
злоупотреблений вопиющих. Я со
своей стороны называю
собственностью всю сумму
злоупотреблений. Как для меня, так и
для него собственность есть
многоугольник, углы которого нужно
обломать, но г. Бланки утверждает,
что после этого многоугольник
останется все же многоугольником
(гипотеза, принятая в математике,
хотя и не доказанная), я же со своей
стороны полагаю, что фигура эта
будет кругом. Хотелось бы хоть с
порядочными людьми приходить к

соглашению.

Я, впрочем, согласен, что при современном положении вещей для ума вполне естественно остановиться пред уничтожением собственности. В самом деле, для того чтобы считать дело выигранным, недостаточно уничтожить общепризнанный принцип, имеющий за собой ту несомненную заслугу, что он резюмирует систему наших политических верований; надо еще установить противоположный принцип и сформулировать вытекающую из него систему. Кроме того, необходимо показать, каким образом эта новая система

удовлетворит тем нравственным и политическим потребностям, которые вызвали возникновение первой. Ввиду этого я обуславливаю точность приведенных мною доказательств следующими ясными до очевидности положениями:

Требуется найти систему абсолютного равенства, при которой все современные учреждения, за исключением собственности или суммы злоупотреблений собственностью: индивидуальная свобода, разделение власти, общественное министерство, жюри, организация администраций и суда, единство и цельность образования, брак, семья, наследование по прямой

и боковым линиям, право продажи и обмена, право завещания, право старшинства, — не только нашли бы место, но сами послужили бы, так сказать, средствами равенства, систему, которая лучше, чем собственность, обеспечивает образование капиталов и во всех поддерживает деятельность, которая с высшей точки зрения объясняет, исправляет и дополняет все теории ассоциации, предложенные до сих пор, со времен Платона и Пифагора и кончая Бабефом, Сен-Симоном и Фурье, — систему, которая наконец, сама являясь средством перехода, была бы непосредственно осуществима.

Такой обширный труд потребовал бы соединенных усилий двадцати Монтескье; однако если отдельному человеку не дано довести дело до конца, то во всяком случае он может начать его. Путь, пройденный им, будет достаточен, чтобы раскрыть его цель и обеспечить успех.

Глава I

Метод, принятый в настоящем труде.

Идея революции

*Adversus hostem aeterna
auctoritas esto*[\[7\]](#).

Закон XII
таблиц[\[8\]](#).

Если бы мне надо было ответить на вопрос: «Что такое рабство?» — я ответил бы: «Это убийство», и мысль моя была бы сразу же понятна. Мне не было бы нужды в длинных рассуждениях, чтобы

показать, что право отнять у человека его мысль, волю, его личность есть право над его жизнью и смертью и сделать человека рабом — значит убить его. Почему же на другой вопрос: «*Что такое собственность?*» — я не мог бы ответить просто, не боясь быть непонятым: «*Это кража*», — тем более что это второе предложение является лишь перефразированным первым.

Я оспариваю самый принцип нашей власти и наших учреждений — собственность; я имею на это право: я могу ошибаться в выводах, вытекающих из моих исследований; я имею право: мне нравится конечный

вывод моей книги переносить в начало; я во всяком случае имею на это право.

Немало авторов поучают, что собственность есть гражданское право, являющееся результатом завладения и освященное законом; немало других утверждают, что это право естественное, источником которого является труд. И доктрины эти, по—видимому совершенно противоположные, пользуются поощрением и одобрением. Я же со своей стороны утверждаю, что ни труд, ни завладение, ни закон не могут создать собственности; что, в сущности, она не имеет оснований — можно ли меня порицать за это?

Какой шум поднимается!

— *Собственность есть кража!*

Это набат 1793 года! Это лозунг революций!..

— Успокойся, читатель: я не носитель раздора и не зачинщик мятежа. Я предваряю на несколько дней историю; провозглашаю истину, обнаружению которой мы напрасно стараемся помешать; пишу введение к будущей конституции. Если бы наши предубеждения позволили нам принять кажущееся вам святотатственным определение: *собственность есть кража*, то это могло бы сыграть для нас роль громоотвода; но сколько своекорыстных интересов, сколько

предрассудков мешают этому!.. Философия, увы, не в состоянии изменить хода событий: то, чему суждено, свершится независимо от предсказаний. Впрочем, быть может, справедливости суждено свершиться, а нашему воспитанию суждено закончиться...

– *Собственность есть кража!..* Какой переворот в области человеческих понятий! *Собственник* и *вор* во все времена представляли полную противоположность, точно так же, как и понятия, которые они обозначают; все языки санкционировали эту противоположность. Каким же путем можете вы завоевать себе всеобщее

сочувствие и уличить род
человеческий во лжи! Кто вы,
рискующий отрицать здравый смысл
веков и народов?

— Что вам, читатель, до моей
скромной личности? Я, так же как и
вы, сын века, в который рассудок
признает лишь факты и
документальные доказательства; имя
мое, точно так же, как и ваше, —
искатель истины^[9], цель моя
выражается следующими словами:
*«Говори без злобы и страха, говори
все, что знаешь»*. Дело нашего
поколения — создать храм науки, и
наука эта охватывает человека и
природу. Ведь истина раскрывается
всем: сегодня Ньютону и Паскалю,

завтра деревенскому пастуху, рабочему. Каждый приносит к постройке свой камень и, выполнив свою задачу, исчезает бесследно. Вечность предшествует нам, вечность за нами следует: место, занимаемое смертным между этими двумя бесконечностями, настолько ничтожно, что век наш не может интересоваться этим.

Итак, читатель, оставьте мое имя и мои личные качества и занимайтесь лишь моими доводами. Я дерзаю, с согласия всего мира, открыть всеобщее заблуждение; я апеллирую к вере человеческого рода, против его рассудка. Имейте мужество последовать за мною и,

если ваша воля и ваше сознание свободны, если ум ваш в состоянии соединять два предложения, чтобы вывести из них третье, то мои идеи, безусловно, сделаются также и вашими. Предлагая вам в самом начале свой конечный вывод, я не хотел бросить вам вызов, но желал только предупредить вас, ибо я уверен, что, прочитав мой труд, вы согласитесь со мною. Вещи, о которых я хочу говорить с вами, так просты, так наглядны, что вы будете изумляться, как не заметили их раньше, и скажете себе: «Я никогда не думал об этом». Другие явят вам зрелище гения, исторгающего у природы ее тайны и

провозглашающего возвышенные изречения; здесь вы найдете только ряд исследований о *справедливости* и о *праве*, так сказать, проверку весов и мер вашей совести. Все операции будут производиться у вас на глазах, и вы сами будете в состоянии оценить их результат.

Впрочем, я не предлагаю никакой системы; я требую уничтожения привилегий и рабства, я хочу равноправия, хочу, чтобы царил закон. Справедливость, и только справедливость — вот суть моего сочинения. Предоставляю другим дисциплинировать мир.

Однажды я спросил себя: почему в обществе существует

столько горя и столько нищеты? Неужели человек вечно должен быть несчастным? Не останавливаясь на объяснениях всевозможных реформаторов, указывающих как на причину всеобщих бедствий либо на трусость и неумелость властей, либо на заговорщиков и на восстания, либо же на всеобщее невежество и испорченность, утомленный бесконечными препирательствами с трибуны и в прессе, я пожелал сам исследовать этот вопрос. Я советовался со светилами науки, я прочел сотни томов по философии, праву, политической экономии и истории, и поистине я был бы счастлив, если бы жил в эпоху, когда

такое чтение могло бы принести мне пользу. Я приложил все усилия, чтобы получить точные сведения, сравнивая различные учения, противопоставляя замечаниям ответы, непрестанно сопоставляя аргументы, взвешивая тысячи силлогизмов с точки зрения строжайшей логики. На этом трудном пути я собрал несколько интересных фактов, которые я сообщу моим друзьям и публике, как только у меня найдется на это время. Я должен признаться: мне прежде всего показалось, что мы никогда не понимали смысла таких простых и вместе с тем таких священных слов, как справедливость, равенство,

свобода, что наши понятия об этих вещах были совершенно темны и что, наконец, это невежество было единственной причиной одолевающего нас пауперизма и всех бедствий, угнетающих человеческий род.

При этом странном выводе ум мой содрогнулся. Я усомнился в здравости своего рассудка. Как, говорил я, ты мнишь себя открывшим то, чего не видел ни один взор, не слышали ничьи уши, чего не проникал еще человеческий ум. Берегись, несчастный, и не принимай порождения твоего больного мозга за светлые лучи науки. Разве ты не знаешь, что, по

словам великих философов, в смысле практической морали всеобщим заблуждением является противоречие? Поэтому я решил проверить мои суждения, и вот какие пункты я наметил для своего будущего труда: возможно ли, чтобы человечество так долго и так единодушно заблуждалось относительно применения принципов нравственности? Каким образом и почему оно заблуждалось? Не является ли это всеобщее заблуждение непобедимым?

Эти вопросы, от разрешения которых зависела точность моих наблюдений, недолго противостояли анализу. В пятой главе настоящего

сочинения читатель увидит, что в области морали, так же как и во всякой другой области познания, величайшие заблуждения являются для нас ступенями к науке, что даже и в проявлениях справедливости способность заблуждаться есть привилегия, облагораживающая человека, и что, наконец, заслуги мои в области философии очень невелики. Немудрено называть вещи по имени, важно было бы знать их до их появления. Выражая идею, достигшую полного развития, идею, занимающую все умы, которая завтра будет провозглашена кем-нибудь другим, если я не провозглашу ее сегодня, я имею за собой лишь

заслугу первой ее формулировки. Разве воздают похвалу тому, кто первый видит занимающийся день?

Да, все люди верят и повторяют, что равенство условий идентично с равноправием, что *собственность* и *кража* — синонимы, что всякое социальное преимущество, полученное или вернее, узурпированное под предлогом превосходства таланта, заслуг, есть неравенство и насилие. Все люди, повторяю я, чувствуют в душе эти истины, надо только заставить осознать их.

Прежде чем приступить к делу, я должен сказать несколько слов относительно пути, которому я буду

следовать. Когда Паскаль принимался за какую—нибудь задачу геометрии, он придумывал метод разрешения ее. Для разрешения философской проблемы нужен также метод; ведь проблемы, волнующие философию, по своим выводам несравненно важнее проблем геометрии. Следовательно, для разрешения их тем более нужен глубокий и строгий анализ.

Современные психологи говорят, будто отныне нет никакого сомнения в том, что всякое восприятие, полученное умом, определяется им по известным общим законам этого же ума; отливается в нем, так сказать, по известным типам,

предсуществующим в нашем сознании и представляющим как бы формальные свойства последнего. Таким образом, говорят они, если дух не имеет врожденных *идей*, то он имеет, по крайней мере, врожденные формы. Так, например, всякое явление по необходимости воспринимается нами как существующее во времени и пространстве; все существующее заставляет нас предполагать причину, вызвавшую его; все существующее заключает в себе идеи *субстанции, формы, числа, отношения* и т. д., — одним словом, мы не можем создать ни одной мысли, которая не стояла бы в связи

с одним из общих принципов разума, вне которых ничто не существует.

Эти аксиомы познания, добавляют психологи, эти основные типы, к которым неизбежно сводятся все наши суждения и все наши идеи и которые нашими чувствами только обнаруживаются, известны под названием категорий. Их первоначальное существование в нашем уме в настоящее время доказано, остается только систематизировать их и перечислить. Аристотель насчитывал их десять, Кант увеличил число их до пятнадцати, господин Кузен ограничил их число тремя, двумя, одной. Несомненной заслугой этого

профессора является то, что он если и не открыл истинной теории категорий, то, по крайней мере, лучше, чем кто бы то ни было другой, понял важное значение этого вопроса, величайшего и, быть может, единственного вопроса всей метафизики.

Я, признаюсь, не верю не только во врожденные *идеи*, но даже во врожденные *формы* или *законы* нашего познания и считаю метафизику Рида и Канта еще гораздо более далекой от истины, чем метафизику Аристотеля. Не имея, однако, в виду заниматься здесь критикой разума, вопросом, который потребовал бы

продолжительного труда и который совсем не интересует публику, я допускаю гипотетически, что наши наиболее общие и наиболее необходимые понятия, как, например, понятие о времени, пространстве, субстанции и причине, искони существуют в уме или, по крайней мере, непосредственно вытекают из его организации.

Существует, однако, не менее достоверный психологический факт, к которому философы до сих пор относились, пожалуй, чересчур пренебрежительно: дело в том, что привычка, как вторая натура, может внушить познанию новые формы

категорий, позаимствованных от внешних признаков, привлекающих наше внимание и обыкновенно лишенных объективной реальности. Тем не менее их влияние не в меньшей степени определяет наши суждения, чем влияние первых категорий. Таким образом, мы рассуждаем одновременно и согласно *вечным* и *абсолютным* законам нашего разума и согласно второстепенным правилам, большею частью ошибочным и внушенным нам недостаточно точными наблюдениями вещей. Таков обильный источник ложных предрассудков, постоянная и нередко непреодолимая причина множества

заблуждений. Воздействие этих предрассудков на нас так сильно, что нередко, даже нападая на принцип, который наш ум считает ложным, разум отрицает и совесть отвергает, мы, сами того не замечая, являемся его защитниками, рассуждая под его влиянием и подчиняясь ему. Ум наш, как бы в заколдованном кругу, вертится вокруг самого себя до тех пор, пока новое наблюдение, возбудив в нас новые мысли, не заставит открыть внешний принцип, освобождающий нас от фантома, которым одержимо наше воображение.

Мы, например, знаем теперь, что в силу универсального

магнетизма, причина которого нам не известна, два тела, не встречающие на своем пути никаких препятствий, стремятся соединиться, благодаря силе, называемой тяготением. Это же самое тяготение заставляет падать на землю тела, лишенные опоры, заставляет их производить давление на весы и дает нам самим возможность удерживаться на земле, на которой мы обитаем. Незнакомство с этой силой было единственной причиной, мешавшей древним верить в существование антиподов. «Как вы не понимаете, — говорил, по словам Лактанция, св. Августин, — что если бы под нашими ногами существовали

люди, то они ходили бы вниз головами и упали бы в небо». Епископ гиппонский, считавший землю плоской, потому что она казалась ему таковою, предполагал вполне последовательно, что если бы от зенита до надира^[10] различных местностей провести прямые линии, то эти линии были бы параллельны между собою; притом он предполагал, что всякие движения сверху вниз происходят по направлению этих линий. Отсюда он, естественно, должен был заключить, что звезды, подобно движущимся факелам, прикреплены к небесному своду, что, предоставленные самим себе, они упали бы на землю в виде

огненного дождя, что земля есть громадная плоскость, представляющая собой внутреннюю часть вселенной, и т. д. Если бы его спросили, на чем держится сама земля, он ответил бы, что он этого не знает, но что для Бога нет ничего невозможного. Таковы были понятия св. Августина о пространстве и времени, понятия, внушенные ему предрассудком, созданным видимостью и сделавшимся для него общим и категорическим правилом суждений. Что касается самой причины падения тел, то на сей счет ум св. Августина безмолвствовал. Он был бы в состоянии разве только сказать, что тело падает потому, что

оно падает.

Для нас понятие падения более сложно; к общим понятиям пространства и движения, которые вызывает в нас понятие падения, мы присоединяем понятие притяжения или стремления к известному центру, вызванное более общим понятием причины. Но хотя физика совершенно изменила наше суждение в этом отношении, мы в обыденной жизни сохранили предрассудок св. Августина, и, когда мы говорим, что вещь *упала*, мы подразумеваем при этом не явление притяжения вообще, но движение предмета по направлению к земле, *сверху вниз*. Несмотря на

просвещенность нашего разума, воображение увлекает нас и язык наш остается неисправим. *Упасть с неба* – такое же неверное выражение, как и *подняться на небо*, а между тем это выражение сохранится до тех пор, пока будет существовать человеческий язык.

Все эти обороты речи, вроде *сверху вниз*, *свалиться с неба* и проч., теперь уже не опасны, потому что мы на практике знаем им цену, но они в значительной степени препятствовали прогрессу науки. В самом деле, для статики, механики, гидродинамики, баллистики безразлично, будет ли известна истинная причина падения тел и

будут ли установлены точные понятия о главном направлении пространства. Иначе обстоит дело, когда речь идет об объяснении системы мира, причины морских приливов, о форме земли и о положении ее в небесах. Для решения всех этих вопросов надо выйти из круга видимости. Уже в самой глубоко» древности стали появляться гениальные механики, архитекторы и артиллеристы. Заблуждения их относительно формы земли или силы тяготения несколько не мешали развитию их искусства; прочность зданий и верность выстрелов несколько от этого не страдали. Но рано или

поздно должны были обратить на себя внимание явления, которые были необъяснимы, благодаря допущению, что все перпендикуляры, проведенные к поверхности земли, параллельны между собою. Тогда должна была возникнуть борьба между предрассудками, которые в течение целых столетий удовлетворяли житейской практике, и новыми взглядами, которым, по-видимому, противоречила очевидность.

Таким образом, с одной стороны, самые ошибочные суждения, имеющие своей основой отдельные факты или хотя бы даже одну только видимость, всегда

обнимают собой сумму реальностей, более или менее широкая сфера которых достаточна для известного числа наведений, вне которых мы впадаем в абсурд. Так, например, из понятий св. Августина было верно то, что тела падают на землю, что падение их происходит по прямой линии, что солнце или земля движется, что солнце или земля вращается и т. д. Эти общие факты всегда были истинными; наша наука ничего к ним не прибавила. Но, с другой стороны, необходимость отдать себе точный отчет во всем заставляет нас отыскивать все более и более ясные принципы. Поэтому пришлось последовательно

отказываться сначала от взгляда, что земля плоская, затем от учения, считающего ее неподвижным центром вселенной, и т. д.

Если мы перейдем теперь из мира физической природы в область морали, то и здесь увидим, что мы подчинены тем же самым обманам видимости, тем же самым влияниям привычки и произвольности. Но эта вторая часть системы наших познаний отличается, с одной стороны, дурными или хорошими последствиями, вытекающими из наших взглядов, а с другой стороны, упорством, с которым мы защищаем предрассудок, мучающий и убивающий нас.

Какое бы учение о причине тяжести и форме земли мы ни приняли, физическое состояние земного шара от этого не изменится. Для своего социального строя мы не можем из этого извлечь ни выгоды, ни неудобства, но законы нашей нравственной природы осуществляются в нас и через нас, вследствие чего эти законы не могут проявляться помимо нашего обдуманного участия, помимо нашего сознания. Если, таким образом, наши нравственные законы ложны, то мы, очевидно, желая делать себе добро, причиняем зло. Если эти нравственные законы только неполны, они в течение некоторого

времени могут удовлетворять нашему социальному развитию, но с течением времени они увлекут нас на ложный путь, доведут нас до бездны бедствий.

Тогда мы не можем обойтись без высших познаний, и, к чести нашей, следует сказать, что никогда еще они не изменяли нам. Но тогда же начинается ожесточенная борьба между старыми предрассудками и новыми идеями, тогда наступают дни возмущений и трепета. Люди мысленно возвращаются к тем временам, когда при тех же самых верованиях, при тех же самых учреждениях они казались счастливыми. Как отрицать эти

верования, как отвергать эти учреждения?! Люди не хотят понять, что именно этот счастливый период служил развитию зла, которое заключало в себе общество; они обвиняют людей и богов, властей земных и силы природы; вместо того чтобы искать причины зла в своем разуме, в своем сердце, человек обвиняет своих вождей, своих соперников, соседей, самого себя; нации вооружаются, избивают и уничтожают друг друга, пока, благодаря опустошениям в их рядах, не установится равновесие, пока из праха сражающихся не родится мир. Так трудно человечеству нарушать обычай предков и изменять законы,

данные основателями государств и освященные вековой верностью им.

«*Nihil motum ex antiquo probabile est!*^[11] (остерегайтесь всяческих новшеств!)» – восклицал Тит Ливий. Несомненно, для человека было бы гораздо лучше, если бы ему никогда ничего не приходилось менять. Что делать? Он рождается невеждою, он осужден приобретать знания постепенно, неужели же из-за этого он должен отказаться от просвещения, отречься от своего разума и предоставить себя на волю случая? Полное здоровье лучше, чем выздоровление, но неужто же больной должен из-за этого отказаться от выздоровления?

«Реформ, реформ!» — зывали некогда Иоанн Креститель и Иисус Христос; «реформ, реформ!» — восклицали пятьдесят лет назад наши предки, и нам самим еще в течение долгого времени предстоит зывать: «реформ, реформ!»

Будучи свидетелем бедствий моей эпохи, я сказал себе: между принципами, на которых основывается общество, есть один, которого оно не понимает, который испорчен этим непониманием и служит причиной всего зла. Принцип этот — старейший из всех, ибо особенностью революций является то, что они разрушают новейшие принципы, но уважают более старые.

Таким образом, зло, нас терзающее, старше всех революций. Этот принцип в том виде, в какой его привело наше незнание, является предметом почета и желаний для всех, ибо, если бы его не желали, он никого не мог бы угнетать и не имел бы влияния.

Но что же это за принцип, истинный сам по себе, ложный по нашему способу понимать его, такой же древний, как и человечество? Неужели это религия?

Все люди верят в Бога; догмат этот составляет одновременно принадлежность и разума, и совести человеческой. Бог для человечества такой же примитивный факт, такое

же неизбежное понятие, такой же необходимый принцип, каким являются для нашего познания категории причины, субстанции, времени и пространства. Наше сознание подсказывает нам существование Бога раньше всяких индукций разума, подобно тому как существование солнца обнаруживается для нас при помощи чувств прежде всех рассуждений физики. Наблюдение и опыт раскрывают нам явления и законы, но одно лишь внутреннее чувство раскрывает нам существование. Человечество верит, что Бог существует, но во что именно оно верит, веруя в Бога? Одним словом,

что такое Бог?

Это понятие божества, понятие примитивное и всеобщее, врожденное нам, до сих пор еще не было определено человеческим разумом; с каждым шагом вперед, который мы делаем в познании природы и причин явлений, понятие Бога возвышается и расширяется. По мере того как наука идет вперед, Бог как будто увеличивается и отдаляется. Антропоморфизм и идолопоклонство были неизбежным следствием юности умов, богословием детей и поэтов. Они были бы невинным заблуждением, если бы их не вздумали делать руководящим принципом жизни и

если бы люди умели уважать свободу
взглядов; но, создав Бога по своему
образу и подобию, человек хотел еще
сделать его своей собственностью.
Не довольствуясь искажением идеи
верховного существа, человек стал
обращаться с ним, как со своей
собственностью, со своею вещью.
Бог, представленный в чудовищных
формах, сделался повсюду
собственностью человека и
государства. Таков был источник
порчи нравов религией;
благочестивой ненависти и
священных войн. Теперь, благодаря
небу, мы научились предоставлять
каждому веровать по-своему и
стараемся найти правила поведения

вне культа. Прежде чем устанавливать природу и атрибуты Бога, догматы богословия и судьбы наших душ, мы терпеливо ждем, пока наука покажет нам, что мы должны отвергнуть и что признать. Бог, душа, религия — эти вечные предметы наших неустанных размышлений и самых пагубных заблуждений, эти ужасные проблемы, разрешение которых, несмотря на все попытки, осталось неполным, могут еще служить нам причиной для заблуждений, но эти заблуждения не будут по крайней мере иметь последствий. С установлением свободы культа, с отделением духовного от светского, влияние

религиозных идей на ход развития общества становится чисто отрицательным, ибо ни один закон, ни одно политическое или гражданское учреждение не имеет ничего общего с религией. Забвение религиозных обязанностей может содействовать общей испорченности, но оно не является более вызывающей ее причиной, а только одной из причин второстепенных или следствием последних. В вопросе, который нас занимает, особенно важно то обстоятельство, что причину неравенства людей, пауперизма, общечеловеческих бедствий и затруднений правительств нельзя уже теперь

искать в религии; приходится идти дальше и глубже.

Но есть ли в человеке что-нибудь глубже и древнее религиозного чувства?

Сам человек, т. е. воля и сознание, свобода воли и закон, находится в антагонизме с самим собой; человек борется сам с собой — почему?

«Человек, — говорят богословы, — согрешил в самом начале; род наш издревле повинен в нарушении долга, и благодаря этому греху человечество пало: заблуждение и невежество сделались его постоянными спутниками. Углубляйтесь в историю: всюду вы

найдете свидетельство неизбежности зла в непрестанных бедствиях народов. Человек страдает и всегда будет страдать; болезнь его наследственная и органическая. Сколько бы вы ни употребляли средств паллиативных и облегчающих, излечение невозможно».

Такие рассуждения свойственны не одним только богословам; несколько в иной форме они встречаются в сочинениях философов—материалистов, сторонников учения о бесконечной способности совершенствоваться. Дестют—де—Траси прямо говорит, что пауперизм, преступления, войны

являются неизбежными условиями нашего социального строя, неизбежным злом, восставать против которого было бы безумием. Итак, необходимость зла или природная испорченность — в сущности, одна и та же философия.

«Первый человек согрешил». Если бы толкователи Библии объясняли ее правильно, они сказали бы: человек прежде всего грешит, т. е. ошибается, ибо грешить, заблуждаться, ошибаться — это одно и то же.

«Последствия Адамова греха остались в его роду наследством. Первым из этих последствий является неведение». Действительно,

неведение есть природное свойство как рода, так и индивида, но это неведение нашего рода по отношению к массе вопросов, даже нравственного и политического характера, исчезло. Кто может уверить нас, что оно не исчезнет и совсем? Человечество непрестанно приближается к истине, свет постоянно побеждает тьму. Таким образом, наша болезнь не неизлечима, и объяснение богословов более чем неудовлетворительно. Оно смешно, ибо в сущности сводится к следующей тавтологии: «Человек ошибается, потому что ошибается», между тем как следовало бы сказать:

«Человек ошибается, потому что учится». Если человеку удастся узнать все, что ему нужно узнать, то, вероятно, перестав ошибаться, он перестанет и страдать.

Если мы спросим ученых, что такое этот закон, якобы запечатленный в сердце человека, то мы скоро убедимся, что они спорят о нем, не зная, что он собой представляет; что на самые важные вопросы существует столько же взглядов, сколько и авторов, что нет двух авторов, согласных между собою относительно лучшей формы правления, принципа власти, сущности права, что все они носятся по воле случая в море без берегов и

дна, предоставленные собственному своему вдохновению, которое они скромно принимают за непосредственный голос разума. Глядя на этот хаос противоречивых мнений, мы скажем: «Предметом наших исследований является закон, определение социального принципа». Политики, т. е. люди, изучающие социальные науки, не согласны между собою; таким образом, заблуждение скрывается в них; а так как всякое заблуждение имеет своим предметом реальность, то истина должна заключаться в их книгах, в которые они бессознательно вложили ее».

О чем же рассуждают юристы и

публицисты? О справедливости, равенстве, свободе, об естественном законе, о гражданских законах и т.д. Но что такое справедливость? какова ее сущность, ее характер, какова ее формулировка? На этот вопрос наши ученые, очевидно, ничего не могут ответить, ибо в противном случае их наука, исходя из ясного и достоверного принципа, вышла бы из своего вечного состояния недоверности и все споры кончились бы.

Что такое справедливость? Богословы отвечают: всякая справедливость исходит от Бога. Это верно, но это ничего нам не

объясняет.

Философы должны бы быть более осведомлены: они столько спорили о том, что справедливо и что несправедливо. К несчастью, опыт показывает, что их сведения сводятся к нулю, что они подобны тем дикарям, которые молились солнцу, выкрикивая: «О!» О! есть крик удивления, любви, восторга, но тот, кто желал бы узнать, что такое солнце, нашел бы мало поучительного в этом междометии «О!». В такое именно положение попадаем мы, когда спрашиваем у философов, что такое справедливость. Справедливость, говорят они, есть *дитя неба, свет,*

который освещает всех людей, появляющихся в мир, прекраснейшее свойство нашей природы, то, чем мы отличаемся от животных и что нас делает подобными Богу. К чему же, спрашиваю я, сводятся эти благочестивые причитания? К молитве дикарей – о!

Все самое разумное, что человеческая мудрость могла сказать о справедливости, заключается в следующем известном изречении: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой; не причиняй другим того, чего ты не хотел бы, чтоб причинили тебе». Но это правило практической морали не имеет никакого практического

значения для науки. Что именно я вправе хотеть, чтобы мне причиняли или не причиняли? мало сказать, что моя обязанность равняется моему праву; надо еще сказать, в чем заключается это право.

Попытаемся же добиться чего-нибудь более точного и положительного.

Справедливость — это центральная звезда, управляющая обществами, ось, вокруг которой вращается весь политический мир, принцип и правило всех договоров. Ничто не совершается в среде людей иначе как на основании *права*; ничто не совершается без обращения к справедливости. Справедливость не

является созданием закона: напротив, закон всегда есть провозглашение и применение справедливости во всех обстоятельствах, при которых люди могут находиться в сношениях между собою. Однако если сложившаяся у нас идея справедливости и права будет дурно выражена, если она будет неполна или совсем неправильна, то очевидно, что все наши законодательные применения будут плохи, учреждения несовершенны и политика неправильна, т. е., следовательно, наступит беспорядок и социальное бедствие.

Эта гипотеза о неправильности

понятия справедливости в нашем сознании и, следовательно, по необходимости в наших действиях была бы доказанным фактом, если бы взгляды людей на справедливость и ее применение не были постоянными, если бы в различные эпохи они претерпевали изменения, если бы, одним словом, идеи развивались. И вот мы видим, что история доказывает нам это на самых блестящих примерах.

1800 лет тому назад мир под владычеством цезарей погибал в рабстве, суевериях и роскоши. Народ, опьяненный и как бы оглушенный бесконечными вакханалиями, потерял даже понятие о правах и

обязанностях; войны и оргии поочередно истощали его. Ростовщичество и труд машин, т. е. рабов, лишая его средств существования, лишали его в то же время возможности размножаться. Отвратительное варварство воскресало из этой ужасающей испорченности и, подобно разъедающей язве, охватывало обезлюдившие провинции. Мудрецы предвидели конец империи, но не знали средств предотвратить его. Что в самом деле могли бы они выдумать? Для того чтобы спасти это одряхлевшее общество, нужно было бы изменить объекты уважения и преклонения народа, уничтожить

права, освященные тысячелетней справедливостью. Тогда говорили: «Рим победил своей политикой и своими богами; всякая реформа культа и народного духа была бы безумием и святотатством. Рим, милосердный к побежденным нациям, налагал на них цепи, щадя их жизнь. Рабы — наиболее обильный источник его богатства. Освобождение народов было бы отрицанием его прав и разорением его финансов. Рим, наконец, погруженный в наслаждения и пресыщенный сокровищами, награбленными со всего мира, пользуется результатами победы и властью. Роскошь и наслаждения

являются наградой за его победы. Он не может ни отказаться от них, ни выпустить их из рук». Таким образом, на стороне Рима были и факты и право. Притязания его оправдывались обычаями и международным правом. Идолопоклонство в религии, рабство в государстве, эпикуреизм в частной жизни — таковы были основы учреждений; коснуться их значило бы поколебать общество до самых оснований и, выражаясь современным языком, раскрыть бездну революции. Вот почему эта мысль никому не приходила в голову; а между тем человечество утопало в крови и роскоши.

Вдруг является человек, называющий себя Словом Божиим; и до настоящего времени еще неизвестно, кто он был, откуда явился и кто мог внушить ему его идеи. Он всюду возвещает, что существующему обществу наступит конец, что мир будет обновлен, что священники змеи, адвокаты невежды, философы лицемеры и лжецы, что господин и раб равны, что ростовщичество и все подобное ему — кража, что собственники и люди, ведущие роскошную жизнь, будут ввергнуты в геенну огненную, между тем как люди бедные, чистые сердцем населят места отдохновения. К этому он прибавлял

еще много других, не менее необыкновенных вещей.

Этот человек – *Слово Божие* – был по доносу арестован священниками и законниками как враг общества, и священники сумели заставить народ требовать его смерти. Но это юридическое убийство, переполнив чашу их преступлений, не могло заглушить учения, проповеданного *Словом Божиим*. После его смерти первые его последователи разошлись во все стороны, проповедуя то, что он называл благою вестью, создавая миллионы миссионеров, и погибли, выполнив свою задачу, от рук римской юстиции. Эта упорная

пропаганда, борьба между палачами и мучениками велась почти триста лет. к концу которых мир оказался обращенным. Идолопоклонство было уничтожено, рабство упразднено, распущенность уступила место более строгим нравам презрение к богатству доходило подчас до отказа от собственности. Общество было спасено отрицанием его принципов, уничтожением его религии, нарушением наиболее священных прав его; идея справедливости во время этой революции достигла такой широты, какой до тех пор никто еще и не подозревал. Справедливость существовала для одних только господ^[12], теперь она

стала существовать и для слуг.

Между тем новая религия вовсе не принесла всех своих плодов. Общественные нравы, правда, несколько улучшились, гнет немного уменьшился, но в общем семя Сына Человеческого, упавшее в языческие сердца, создало только quasi-поэтическую мифологию и бесконечные распри. Вместо того чтобы заняться практическими выводами из принципов морали и власти, провозглашенных *Словом Божиим*, люди занялись догадками о его рождении, о его происхождении, о его личности и поступках. Его притчи комментировались, и из столкновения наиболее странных

взглядов на неразрешимые вопросы и на непонятные тексты возникла *теология*, которую можно определить как *науку о бесконечно абсурдном*.

Христианская истина не пережила даже времен апостольских; Евангелие, комментированное и символизированное греками и римлянами, изукрашенное языческими мифами, сделалось в буквальном смысле символом раздора, и вплоть до наших дней царство *непогрешимой церкви* представляло собой не что иное, как бесконечное затемнение. Говорят, что *врата адовы* будут господствовать не всегда, что *Слово*

Божие вернется и что тогда люди узнают справедливость и истину. Но тогда и греческая и римская церкви исчезнут, подобно тому как при свете науки исчезают призраки суеверия.

Чудовища, которых последователи апостолов должны были уничтожить, напуганные ненадолго, исчезли, но потом постепенно, благодаря бессмысленному фанатизму, воскресли. Подчас же священники и богословы даже намеренно воскрешали их. История освобождения общин во Франции представляет собою постоянное восстановление справедливости и свободы в народе, вопреки усилиям

короля, дворянства и духовенства. В 1789 году после Р. Х. французская нация, разделенная на касты, бедная и угнетенная, билась под тройным гнетом королевского абсолютизма, тирании сеньоров и парламентов и религиозной нетерпимости. Существовало право короля и право священника, право дворянина и право разночинца; существовали привилегии по рождению, привилегии провинциальные, коммунальные, корпоративные и цеховые. И в основе всего этого лежали насилие, безнравственность и нищета. Ходили слухи о реформах; те, кто, по-видимому, наиболее стремился к ним, желали

осуществления их только ради собственных выгод. Народ, который должен был больше всего выиграть от них, не ожидал от них ничего особенного и молчал. Долго этот бедный народ не то от подозрительности, не то от недоверия или отчаяния колебался встать на защиту своих прав. Казалось, что привычка к рабству лишила смелости эти старинные коммуны, такие гордые в средние века.

Но наконец появилась книга, все содержание которой резюмировалось в следующих двух предложениях: *«Что такое третье сословие?»* — *«Ничто»*. — *«Чем оно должно*

быть?» – «Всем». Кто-то прибавил в форме комментария: «Что такое король?» – «Уполномоченный народа»^[13].

Это было внезапным откровением: разорвалась великая завеса, с глаз народа спала густая пелена, народ стал рассуждать:

Если король – наш уполномоченный, он должен отдавать нам отчет.

Если он должен отдавать нам отчет, он, следовательно, подлежит контролю.

Если он подлежит контролю, то он ответствен.

Если он ответствен, то и наказуем.

Если он наказуем, то наказуем по своим заслугам.

Если же он наказуем по своим заслугам, то может быть приговорен и к смерти.

Пять лет спустя после выхода в свет брошюры Сиейеса третье сословие сделалось всем. Король, дворянство, духовенство перестали существовать. В 1793 году народ, не подчиняясь конституционной фикции о неприкосновенности суверена, возвел Людовика XVI на эшафот; в 1830—м он проводил Карла X в Шербург. В том и в другом случае он мог ошибиться в оценке преступления, это было бы фактической ошибкой, но в смысле

правовом логика его поступков была безукоризненна. Народ, наказывая суверена, делал именно то, в упущении чего так часто упрекали июльское правительство, которое после попытки восстания в Страсбурге не сделало того же с Людовиком Бонапартом: народ наказал истинного виновника. Это было применение обычного права, торжественное провозглашение справедливости в наказании^[14].

Дух, вызвавший движение 1789 года, был дух противоречия. Этого достаточно для того, чтобы показать, что порядок вещей, заменивший старый порядок, был не методичен и не обдуман, что, рожденный из

ненависти и гнева, он не мог подействовать как наука, основанная на наблюдениях и исследованиях, что, одним словом, основы этого порядка не были выведены из глубокого знакомства с законами природы и общества. Поэтому в так называемых новых учреждениях, созданных республикой, мы находим те же самые принципы, против которых она боролась, влияние тех же самых предрассудков, которые она хотела уничтожить. Люди с легкомысленным восторгом говорят о славной французской революции, о возрождении 1789 года, о великих реформах и об изменении учреждений. Все это только ложь!

Когда, вследствие сделанных нами наблюдений, наши понятия о каком-нибудь физическом, интеллектуальном или социальном явлении меняются коренным образом, я это уже называю движением *революционного* духа. Когда налицо имеется только изменение или расширение наших идей, то я это называю *прогрессом*. Так, например, система Птолемея была прогрессом в астрономии, открытие Коперника — революцией. Так же точно в 1789 году совершалась борьба и прогресс, но революции не было; это можно доказать путем рассмотрения реформ, которые пытались провести тогда.

Народ, бывший долгое время жертвой монархического эгоизма, думал избавиться от него, заявив, что он один суверенен. Но что такое монархия? Это суверенность одного человека. Что такое демократия? Суверенность народа или, вернее, большинства народа. И в том и в другом случае это суверенность человека вместо суверенности закона, суверенность воли вместо суверенности разума, — словом, суверенность страстей вместо суверенности права. Несомненно, когда народ переходит от монархизма к демократизму, совершается прогресс, ибо, устраняя единоличного суверена, люди

увеличивают шансы разума победить волю. Однако революции в управлении нет, так как принцип остается прежний. Мы теперь имеем самые ясные доказательства того, что даже при самой совершенной демократии можно не быть свободным^[15].

Это еще не все. Народ–король не может сам обнаруживать своей суверенности. Он должен передать ее лицам, облеченным властью. Это усердно повторяют ему те, кто старается попасть к нему в милость. Пусть таких лиц будет 5, 10, 100, 1000, – ни число их, ни имена не имеют значения. Всегда это будет правление человека, царство воли и

произвола. Что же, спрашивается, революционизировала так называемая революция?

Известно, впрочем, как эта суверенность проявлялась сначала Конвентом, затем Директорией и наконец Консульством. Император, человек сильный, столь обожаемый и столь оплакиваемый народом, никогда не хотел подчиняться его суверенности. Но как бы намереваясь бравировать ею, он осмелился прибегнуть к голосованию народа, т. е. потребовать от него отречения, отречения от этой самой неприкосновенной суверенности. И он достиг этого.

Но что же, наконец, такое суверенность? Это, говорят, есть *власть издавать законы*^[16]. Вот вам новый абсурд, позаимствованный у деспотизма. Народ видел, как короли мотивировали свои ордонансы — формулой: *ибо так нам угодно*. Он в свою очередь захотел испытать удовольствие издавать законы. В течение пятидесяти лет он создал их мириады, всегда, конечно, при посредстве своих представителей; удовольствие это до сих пор еще не кончилось.

Впрочем, определение суверенности само собой вытекает из определения закона. Закон, говорят, есть *выражение воли*

суверена. Таким образом, при монархии закон есть выражение воли короля; в республике – выражение воли народа. Если оставить в стороне число волей, то обе эти системы окажутся совершенно идентичными: и в том и в другом случае одинаково существует заблуждение, так как считают закон выражением воли, тогда как он есть выражение факта. Между тем руководители были хороши, ибо пророком явился женеvский гражданин, а Алькораном – его «Общественный договор»[\[17\]](#).

Предрассудки и предубеждения на каждом шагу обнаруживаются под риторикой новых законодателей. Народ страдал от множества

исключений и привилегий; его представители сделали от его лица следующее заявление: *«Все люди равны от природы и перед законом»*; заявление это двусмысленное и чересчур многословное. *Люди равны от природы*, значит ли это, что все они одинакового роста, одинаково красивы, одинаково гениальны и добродетельны? Нет, имелось, следовательно, в виду определить политическое и гражданское равноправие; но в таком случае было бы достаточно сказать: *«Все люди равны перед законом»*.

Но что такое равенство перед законом? Ни конституция 1790 года, ни конституция 1793-го, ни

дарованная хартия, ни хартия принятая не сумели дать его определения. И та и другая хартии предполагают существование неравенства имущественного и сословного, наряду с которым невозможна даже и тень равенства прав. С этой точки зрения можно сказать, что все наши конституции были верным выражением народной воли. И я это докажу.

Когда-то народ не имел доступа к гражданским и военным должностям. Вставляя в «Декларацию прав» громкую фразу: «Все граждане имеют одинаковый доступ к должностям; свободные народы при выборах не знают другой

причины предпочтения, кроме добродетели и талантов», думали совершить чудо.

Такою прекрасною вещью, конечно, должны были восторгаться, и при этом восторгались глупостью. Как! Народ, суверен, законодатель и реформатор, видит в общественных должностях только награду или, будем выражаться прямо, подачку. И он издает постановление о доступности должностей всем гражданам, потому что считает эти должности источником выгоды. Иначе к чему бы служили предосторожности, если бы не представлялось выгоды? Ведь не издают же постановлений, что

человек, не знакомый с географией и астрономией, не может быть капитаном корабля, и не запрещают же зайке играть в трагедии или петь в опере. И в данном случае народ тоже подражал королю, он тоже хотел располагать прибыльными местечками в интересах своих друзей и льстецов. К несчастью — и эта последняя черта только дополняет сходство, — не сам народ держал в руках бенефиции; ими распоряжались его уполномоченные и представители, и они нисколько не заботились о том, чтобы сообразоваться с волей своего доверчивого суверена.

Этот поучительный параграф

декларации прав, сохранившийся в хартиях 1814 и 1830 годов, предполагает несколько видов гражданского неравенства, т. е., иными словами, неравенства перед законом: неравенство рангов, так как общественные должности являются предметом вожделений только благодаря почету и жалованью, которые они приносят; неравенство имущественное, ибо если бы хотели, чтобы имущества были равны, то общественные должности были бы обязанностью, а не наградой; неравенство в льготах, так как закон не определяет, что подразумевается под *талантами* и *добродетелями*. При империи талантом и

добродетелью считались только военные доблести и преданность императору. Это обнаружилось, когда Наполеон создал свое дворянство и попытался слить его со старинным. В настоящее время человек, который платит 200 франков налогов, — добродетелен; порядочным человеком считается тот, кто ловко ворует, — отныне это истина общепризнанная.

Народ наконец санкционировал собственность... Да простит ему Бог, ибо он не знал, что творил. Вот уже пятьдесят лет, как он старается исправить ужасную ошибку. Может быть, спросят: каким образом народ, глас которого есть глас Божий,

совесть которого должна быть непогрешимой, мог ошибиться; каким образом он, стремясь к свободе и равенству, вернулся к привилегиям и рабству? Опять—таки из подражания старому порядку.

Некогда дворянство и духовенство принимали участие в платеже налогов только добровольными пожертвованиями и добровольной помощью. Их имущество было неотчуждаемо даже за долги, между тем как мещанин, обремененный налогами и повинностями, безустанно терзался либо сборщиками короля, либо сборщиками дворянства и духовенства. Крепостной,

низведенный до положения вещи, не мог ни получать что—либо по наследству, ни оставлять. Он был в положении животного, силы и потомство которого принадлежат хозяину. Народ хотел, чтобы положение собственника было доступно всем, чтобы каждый мог *свободно пользоваться и распоряжаться своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и промысла.* Народ не выдумал собственности, но, не имея на нее таких же прав, какие имели дворяне и духовенство, декретировал равенство прав. Жесткие формы собственности, барщина, лишение права наследования, ограничение

права быть мастером, привилегии на занятие должностей исчезли; форма пользования изменилась, сущность же осталась та же самая. Совершился прогресс в распределении прав, но революции в этой области не было.

Движение 1789 и 1830 годов санкционировало, следовательно, три основных принципа современного общества: 1. *Суверенность воли человека* или, выражаясь более кратко, *деспотизм*. 2. *Неравенство имущества и состояний*. 3. *Собственность*, и превыше всего этого *справедливость*, всегда и всеми призываемую как гений хранитель суверенов, благородных и собственников,

справедливость – общий, основной, категорический закон всякого общества.

Требуется узнать, соответствуют или не соответствуют основному понятию справедливости понятия деспотизма, гражданского и имущественного неравенства; представляют ли они необходимый вывод из него, обнаруживающийся в различных формах сообразно месту, обстоятельствам и личным отношениям, или не представляют ли они, наоборот, незаконный продукт смешения различных понятий, роковой ассоциации идей. А так как справедливость выражается главным образом в

форме правительства, в состоянии людей и в обладании вещами, то нужно, сообразно прогрессу человеческого духа и воле всех людей, исследовать, при каких условиях справедливо правительство, при каких условиях справедливо состояние граждан и обладание вещами. Затем, исключив все, что не удовлетворяет этим условиям, мы получим результат, который покажет нам одновременно, каким должно быть законное правительство, каким законное состояние граждан и законное обладание вещами и, наконец, какой должна быть справедливость.

Справедлива ли власть человека

над человеком?

Весь свет ответит; нет. Власть человека есть только власть закона, который должен быть справедливостью и истиной. Личная воля не имеет значения в управлении, которое сводится к тому, чтобы, с одной стороны, раскрывать истинное и справедливое и создавать из него закон, а с другой стороны, наблюдать за выполнением этого закона. В данный момент я не рассматриваю вопрос, удовлетворяет ли наше конституционное правительство этим условиям? Не вмешивается ли, например, иногда воля министров в издание и толкование законов? Не заботятся ли

наши депутаты во время своих дебатов больше о победе количеством, нежели о победе разумом. Мне достаточно, чтобы признанное понятие о хорошем правительстве было согласно с моим определением. Это понятие вполне точное. Между тем мы видим что восточные народы считают вполне справедливым деспотизм своего суверена, что у древних и даже у самих философов древности рабство считалось справедливым, что в средние века дворяне, аббаты и епископы считали справедливым иметь крепостных, что Людовик XIV считал себя правым, говоря: *государство — это я*^[18], что

Наполеон считал неповиновение своей воле государственным преступлением. Следовательно, понятие о справедливом, в применении к суверену и к правительству, не всегда равнялось современному понятию справедливости. Оно непрестанно развивалось и все более определялось и наконец достигло той формы, которую оно имеет теперь. Но достигло ли оно своего последнего фазиса? Я этого не думаю. А так как последнее препятствие, которое ему осталось преодолеть, заключается лишь в институте собственности, который мы сохранили, то для того, чтобы

закончить реформу правительства, а также и революцию, мы должны уничтожить именно этот институт.

Справедливо ли политическое и гражданское неравенство?

Одни отвечают: да, другие: нет. Первым я напомним, что когда народ уничтожил все привилегии, связанные с происхождением и с принадлежностью к касте, то им казалось, что это хорошо, вероятно, потому, что они выиграли от этого. Почему же они не хотят, чтобы привилегии, доставляемые богатством, исчезли так же, как и привилегии сословные и национальные? Они утверждают, что политическое неравенство

неразрывно связано с
собственностью и что без
собственности никакое общество
невозможно. Таким образом,
поставленный нами вопрос
разрешается вместе с вопросом о
собственности. Вторым же я скажу
только следующее: если вы хотите
пользоваться политическим
равенством, то уничтожьте
собственность, в противном случае
вы не вправе жаловаться.

Справедлива ли собственность?

Все не колеблясь отвечают: да,
собственность справедлива. Я
говорю все, потому что до сих пор,
кажется, никто еще не ответил с
полным сознанием: нет. Впрочем,

мотивированный отрицательный ответ до сих пор было трудно дать; только время и опыт могли привести к решению этого вопроса. В настоящее время это решение дано; нам надо только уразуметь его, и я попытаюсь изложить его здесь.

При этом мы будем поступать следующим образом:

I. Мы не спорим, мы никого не опровергаем и ничего не отрицаем; мы принимаем как справедливые все аргументы в пользу собственности и ограничиваемся отысканием ее принципа, для того чтобы потом проверить, верно ли осуществляется этот принцип в форме собственности. В самом деле, раз

собственность можно защищать только как учреждение справедливое, то идея справедливости или, по крайней мере, стремление к последней неизбежно должны лежать в основе всех приводимых в пользу собственности аргументов. А так как, с другой стороны, собственность распространяется только на вещи, имеющие какую-нибудь материальную ценность, то справедливость, овеществляясь, так сказать, тайно, должна обнаруживаться в виде чисто алгебраической формулы. При таком методе исследования мы скоро убедимся, что все какие бы то ни

было рассуждения, придуманные для защиты собственности, всегда, и притом по необходимости, приводят к равенству, т. е. к отрицанию собственности.

В этой первой части заключаются две главы: одна, трактующая о завладении как основе нашего права, и вторая, трактующая о труде и таланте, которые считаются причинами собственности и социального неравенства.

Из этих двух глав будет следовать, что, с одной стороны, право захвата *препятствует* существованию собственности, а с другой — право труда *уничтожает* ее.

II. Так как собственность, по необходимости, понимается под категорическим условием равенства, нам остается найти, почему несмотря на эту логическую необходимость, равенства не существует. Это новое исследование обнимает также две главы: в первой мы, рассматривая факт собственности сам по себе, исследуем, реален ли он, существует ли он и возможен ли он; ибо было бы противоречием, если бы были возможны одновременно две противоположные социальные формы: равенство и неравенство. Тогда мы, странным образом, найдем, что на самом деле

собственность может обнаруживаться как случайность, но что она математически невозможна как учреждение, принцип; так что общепринятая аксиома: *ab actu ad posse valet consecutio* – вывод от факта к возможности справедлив, опровергается, когда дело касается собственности.

Наконец, в последней главе, призывая на помощь психологию и проникая в самую глубину природы человека, мы изложим принцип *справедливого*, его формулу и его характер; мы установим органический закон общества, объясним происхождение собственности, причины ее

утверждения, ее продолжительного существования и близкого исчезновения. Мы окончательно установим ее идентичность с кражей и затем, указав, что все три предрассудка: *суверенность человека, неравенство условий, собственность* — составляют неразрывное целое, что их можно заменять одно другим, что они взаимно могут замещать друг друга, мы без труда выведем отсюда, по принципу противоположности, основы государства и права. На этом и закончится наше исследование, причем мы сохраняем за собою право продолжать его в дальнейших сочинениях.

Важность затронутых нами предметов понятна для всех.

«Собственность, — говорит г. Геннекен, — является созидательным и охранительным принципом гражданского общества... Собственность есть одно из тех основоположений, которые было бы желательно выяснить возможно скорее, ибо не следует никогда забывать, особенно же должны об этом помнить публицисты и государственные люди, что от вопроса, является ли собственность принципом или результатом социального строя, следует ли считать ее причиной или же следствием, зависит вся

нравственность и вместе с тем весь авторитет человеческих учреждений».

Слова эти являются вызовом всем людям, которые сохранили надежду и веру; но, хотя защита равенства прекрасная вещь, никто еще до сих пор не поднял перчатки, брошенной адвокатами собственности, никто еще не чувствовал достаточно смелости, для того чтобы вступить с ними в бой. Ложные знания надменной юриспруденции и нелепые афоризмы политической экономии, созданной собственностью, внесли смуту даже в самые благородные умы. Между самыми влиятельными друзьями

свободы и народных интересов
теперь сделались как бы лозунгом
слова: равенство — химера! Так
велика власть наиболее ложных
теорий и пустых аналогий над
умами, хотя и острыми, но
бессознательно подчиненными
общепринятым предрассудкам.
Равенство с каждым днем
приближается; fit aequalitas^[19];
солдаты свободы! неужели мы
покинем свое знамя накануне
победы?

Являясь защитником равенства,
я буду говорить без ненависти и
гнева, с независимостью,
подобающе философу, со
спокойствием и твердостью

свободного человека. Я бы хотел в этой решительной борьбе озарить все сердца светом, которым проникнут я, и доказать успехом моего сочинения, что равенство не победило мечом потому, что оно должно победить словом.

Глава II

**Собственность,
рассматриваемая как
естественное право.**

**О захвате и о гражданском
праве как действительных
причинах господства
собственности**

Определения

Римское право определяет
собственность, как *jus utendi et
abutendi re sua, quatenus juris ratio*

patitur, — право употреблять вещь и злоупотреблять ею, насколько это допускает смысл права. Были попытки оправдать слово «злоупотреблять»; говорилось, что оно обозначает не бессмысленное и безнравственное злоупотребление, но только абсолютную власть. Это пустое отличие, выдуманное для того, чтобы освятить собственность, но неспособное остановить безумие наслаждений, которого оно не может ни предупредить, ни уничтожить. Собственник волен оставить свои плоды гнить на дереве, сеять на полях соль, выдаивать коров на землю, превращать виноградник в пустырь, сделать из огорода парк.

Можно это назвать злоупотреблением или нет? Поскольку дело касается собственности, употребление и злоупотребление неизбежно сливаются.

Согласно декларации прав, поставленной во главе конституции 1793 года, собственность есть «право пользоваться и располагать по произволу своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла».

Статья 544 кодекса Наполеона гласит: «Собственность есть право пользоваться и располагать вещами абсолютнейшим образом, с тем, однако, чтобы этим правом не пользовались вопреки законам».

Оба эти определения сводятся к определению римского права; все они признают за собственником абсолютное право на вещь. Что же касается ограничения, внесенного в кодекс: «...с тем, однако, чтобы этим правом не пользовались вопреки законам», то оно имеет целью не ограничить собственность, но воспрепятствовать одному собственнику мешать другому. Оно подтверждает принцип, но не ограничивает его.

В собственности различают: 1) Просто собственность, право властвовать, господствовать над вещью или, как принято говорить, *голую собственность*; 2) *Владение*.

«Владение, – говорит Дюрантон, – есть дело факта, а не права», а Тулье пишет: «Собственность есть право, законное владение, обладание есть факт». Наниматель, фермер, участник коммандитного общества, лицо, имеющее право пользования, – владельцы, хозяин, отдающий свои вещи внаем, в пользование, наследник, ожидающий только смерти пожизненного владельца, – собственники. Если можно так выразиться: любовник – это владелец, муж – собственник.

Это двойное определение собственности как господства и владения имеет чрезвычайно важное значение, и необходимо хорошенько

уразуметь это для того, чтобы понять, что мы хотим сказать. Из различия между владением и собственностью возникает двоякого рода право: *jus in re* – право *над* вещью, на основании которого я могу требовать приобретенную мною собственность, в чьих бы руках она ни находилась, и *jus ad rem*, т. е. право на вещь, на основании которого я могу сделаться собственником. Таким образом, право супругов друг на друга есть *jus in re*, право жениха на невесту и наоборот – только *jus ad rem*. В первом владение и собственность соединены, во втором заключается только голая собственность. Я,

который, в качестве работника, имею право на владение благами природы и промышленности, но благодаря своему положению пролетария, не пользуюсь ничем, требую *jus in re* на основании *jus ad rem*.

Это различие между *jus in re* и *jus ad rem* является основой пресловутого деления на посессорное и петиторное право, эти поистине категории юриспруденции, которую они обнимают всю целиком. Петиторное — говорится обо всем, что имеет отношение к собственности, посессорное — обо всем, что относится к обладанию, владению. Выпуская этот памфлет против собственности, я предъявляю

к обществу иск о признании права собственности. Я доказываю, что те, кто в настоящее время не владеют, являются собственниками с таким же правом, как и те, которые владеют, но вместо того, чтобы требовать на этом основании раздела собственности между всеми, я, в качестве меры общественной безопасности, требую, чтобы она была уничтожена для всех. Но если я потерплю неудачу в моем требовании, то нам, т. е. вам всем, пролетарии, и мне, остается только перерезать себе горло; нам ничего не остается больше требовать у справедливости нации, ибо, как выражается своим энергичным

языком гражданский кодекс (§ 26), истец, получивший отказ на иск о признании права собственности, не может более предъявлять иск о восстановлении в праве владения. Если, наоборот, я выиграю мой процесс, тогда нам придется снова возбудить иск о владении для того, чтобы нас приобщили к пользованию благами, которых нас лишило господство собственности. Я надеюсь, что мы не будем вынуждены дойти до этого. Но оба эти иска не могли бы быть предъявлены одновременно, ибо, согласно тому же кодексу гражданского судопроизводства, *иск о восстановлении права*

*собственности и иск о
восстановлении права владения
несовместимы.*

Прежде чем заняться сущностью дела, небесполезно будет представить здесь некоторые предварительные замечания.

1. О собственности как естественном праве

Декларация прав поместила собственность в числе естественных и неотчуждаемых прав человека, каковых всего—навсего четыре: *свобода, равенство, собственность*

и *безопасность*. Какого метода придерживались законодатели 1793 года, указывая именно эти права? Никакого. Они устанавливали принципы, так же как спорили о суверенности и законах, с общей точки зрения и согласно своим собственным взглядам; они все делали ощупью или по вдохновению.

Если верить Тулье, то «абсолютные права могут быть сведены к трем: *безопасности, свободе, собственности*». Реннский профессор исключил равенство, почему? Потому ли, что оно заключается уже в свободе, или потому, что *собственность* его не переносит? Автор «Droit civil

explique»^[20] молчит; он даже и не подозревал, что здесь можно что-либо оспаривать.

Между тем если сравнивать между собой эти три или четыре права, то окажется, что собственность совсем не похожа на остальные; что для большинства граждан она существует только в возможности и как способность потенциальная и неиспользуемая, что для тех, которые обладают ею, она подвержена различным превращениям и видоизменениям, противоречащим понятию естественного права, что на практике правительства, судебные учреждения и сами законы не уважают ее, что,

наконец, все, добровольно и
единогласно, считают ее
химеричной.

Свобода ненарушима. Я не могу
ни продать, ни отчудить мою свободу.
Никакой договор, никакое условие,
имеющее предметом отчуждение или
упразднение свободы, не имеет силы.
Раб, ступивший на свободную землю,
тем самым делается свободным.
Когда общество схватывает
преступника и лишает его свободы,
оно совершает акт законной
самозащиты: кто разрушает
общественный договор
преступлением, тот объявляет себя
врагом общества. Нарушая свободу
других, он заставляет их отнять у

него его свободу. Свобода есть первое условие человеческого состояния, отказаться от свободы — значит отказаться от человеческого достоинства, возможны были бы после этого человеческие поступки?

Равенство перед законом также не терпит никаких ограничений или исключений. Всем французам одинаково доступны должности, вот почему, ввиду этого равенства, вопрос о предпочтении во многих случаях решается жребием или по старшинству. Беднейший гражданин может привлечь к суду самое высокопоставленное лицо; пусть миллионер Ахав построит дворец на винограднике Навуфея, и суд сможет,

смотря по обстоятельствам, предписать разрушение дворца, хотя бы он стоил миллионы, велеть привести виноградник в первоначальное состояние и, сверх того, приговорить узурпатора к уплате вознаграждения за убытки. Закон требует, чтобы всякая приобретенная законным путем собственность уважалась без различия ценности ее и невзирая на то, кому она принадлежит.

Хартия, правда, требует для осуществления некоторых политических прав известной степени благосостояния и известных способностей, но все публицисты знают, что законодатель намерен был

создать не привилегию, а гарантию. Раз условия, поставленные законом, выполнены, всякий гражданин может быть избирателем и всякий избиратель избираемым; раз приобретенное право остается одинаковым для всех, закон не различает личностей. Я не задаюсь здесь вопросом, можно ли считать эту систему наилучшей, для меня достаточно установить, что по духу хартии и по мнению всех вообще людей равенство перед законом безусловно и, подобно свободе, не может подлежать передаче.

Так же обстоит дело и с правом безопасности; общество не обещает своим членам половинчатых помощи

и защиты; оно берет на себя обязательство целиком, так же как и они по отношению к нему. Оно не говорит им: я вас обеспечу, если мне это ничего не будет стоить, я вас защищу, если не буду при этом рисковать ничем. Оно говорит: я вас защищу от всех и против всех, я вас спасу и отомщу за вас или погибну. Государство предоставляет каждому гражданину все свои силы; обязательство, соединяющее их, абсолютно.

Совсем в ином положении находится собственность: обожаемая всеми, она не признается никем. Законы, нравы, обычаи, общественная и личная совесть — все

стремится к ее гибели и уничтожению.

Для того чтобы покрыть расходы правительства, которое должно содержать армию, выполнять различные работы, оплачивать чиновников, необходимы налоги. Пусть все принимают участие в этих расходах; лучшего и желать нельзя. Но почему богатый должен платить больше бедного? Это, говорят, справедливо, потому что он имеет больше. Я, признаюсь, не понимаю этой справедливости.

Зачем платятся налоги? Затем, чтобы обеспечить каждому пользование его естественными правами: свободой, равенством,

безопасностью и собственностью, затем, чтобы поддерживать в государстве порядок, и, наконец, затем, чтобы создать учреждения, служащие для общественной пользы или развлечений.

Так неужели же защита жизни и свободы богатого стоит больше, нежели бедного? Кто при вторжениях неприятеля, при голодовках и эпидемиях причиняет больше хлопот? Крупный собственник, спасающийся от опасности, не ожидая помощи от государства, или крестьянин, остающийся в своей хижине на добычу всем бедствиям?

Разве порядочный буржуа более угрожает порядку, чем ремесленник

или фабричный? Нет, несколько сотен безработных доставляют полиции больше хлопот, чем двести тысяч избирателей.

Разве, наконец, крупный рантье, больше, чем бедняк, пользуется национальными празднествами, чистотою улиц, красотою монументов?.. Он предпочтет свое поместье всем публичным увеселениям, а если вздумает развлечься, то не станет дожидаться устройства шестов для лазания на призы.

Возможно лишь одно из двух: либо пропорциональный налог обеспечивает и санкционирует привилегию, которою пользуются

богатые плательщики, либо он сам является несправедливостью, ибо если собственность, как говорится в декларации прав 1793 года, является естественным правом, то все принадлежащее мне на основании этого права так же священо, как и моя личность. Это моя кровь, моя жизнь, мое я. Кто его коснется, тот посягнет на зеницу ока. Мои сто тысяч франков дохода так же неприкосновенны, как и поденная плата гризетки, получающей 75 сантимов; мои апартаменты так же неприкосновенны, как и ее мансарда. Налоги устанавливаются не сообразно силе, росту, таланту, нельзя их сообразовать также и с

собственностью.

Если, следовательно, государство берет у меня больше, пусть же оно больше и дает или пусть перестанет говорить о равенстве прав, ибо в противном случае общество не будет учреждением, защищающим собственность, но организующим ее уничтожение.

Вводя пропорциональный налог, государство становится, так сказать, главою разбойничьей шайки; оно дает пример правильно организованного грабежа, его следует посадить на скамью подсудимых во главе этих ужасных разбойников, этой отвратительной

сволочи, которую оно приказывает убивать из профессиональной зависти.

Говорят, однако, что суды и солдаты нужны именно для того, чтобы обуздывать эту сволочь. Правительство есть общество не то что страховое, ибо оно не страхует, но общество мести и репрессий. Взнос, который это общество заставляет платить, или налог, пропорционален собственности, т. е. он пропорционален хлопотам, какие каждая собственность доставляет мстителям и угнетателям, оплачиваемым правительством.

Оказывается, мы далеки от абсолютной и неприкосновенной

собственности. Бедный и богатый постоянно не доверяют друг другу и воюют между собою. Из-за чего же они воюют? Из-за собственности. Итак, необходимым коррелятом собственности является война из-за собственности. Свобода и безопасность богатого не страдают от свободы и безопасности бедного, наоборот, они могут друг друга взаимно укреплять и поддерживать, между тем как право собственности первого постоянно требует защиты от инстинкта собственности второго. Какое противоречие!

В Англии существует налог в пользу бедных; от меня требуют, чтобы я его платил. Какое, однако,

отношение существует между моим естественным и ненарушимым правом собственности и голодом, терзающим десять миллионов несчастных? Когда религия велит нам помогать нашим братьям, она опирается на свойственное нам чувство сострадания, а не на законодательный принцип. Долг благотворительности, предписанный мне христианской моралью, не может создать против меня политическое право в чью-либо пользу, а тем более институт нищенства. Я хочу подавать милостыню, если это доставляет мне удовольствие, если я чувствую к страданиям других симпатию, о

которой говорят философы и в которую я совсем не верю. Я не хочу, чтобы меня принуждали. Никто не обязан быть справедливым в большей степени, чем требует следующее правило: *правом своим можно пользоваться постольку, поскольку это не причиняет ущерба праву другого*. Правило это есть точное определение свободы; и вот имущество мое принадлежит мне, оно никому ничего не должно. Я протестую против установления третьей христианской добродетели.

Все во Франции требуют конверсии 5 % ренты^{[\[21\]](#)} и тем самым требуют, чтобы была принесена в жертву целая категория

собственностей; если это общественно необходимо, то это имеют право сделать, но где же тогда справедливое и *предварительное вознаграждение* за убытки, обещанное хартией? Его не только нет, оно даже невозможно, ибо если бы вознаграждение равнялось пожертвованной собственности, то конверсия была бы бесполезна.

Государство в настоящее время по отношению к рантье находится в таком же положении, в каком находился по отношению к своим нотаблям город Кале, осажденный Эдуардом III^[22]. Победитель англичанин согласился пощадить население с тем условием, чтобы ему

были выданы наиболее видные представители буржуазии, с которыми он мог бы поступить по своему усмотрению. Евстахий и несколько других пожертвовали собой. Это было прекрасно с их стороны, и нашим министрам следовало бы предложить нашим рантье подражать этому примеру. Но имел ли бы право город выдать их? Безусловно нет. Право на безопасность абсолютно. Отечество не может требовать, чтобы кто бы то ни было пожертвовал этим правом. Солдат, занимающий пост на расстоянии выстрела от неприятеля, вовсе не составляет исключения; когда гражданин занимает такой

пост, вместе с ним подвергается опасности и отечество. Сегодня очередь одного, завтра – другого. Когда опасность общая, то бегство равносильно отцеубийству. Никто не имеет права прятаться от опасности, и никто не может служить искупительной жертвой. Изречение Каиафы: *«Хорошо, чтобы один человек умер за весь народ»*^[23] – есть правило черни и тиранов, двух полюсов социальной деградации.

Говорят, что всякая вечная рента по существу своему может быть выкуплена. Это положение гражданского права, в приложении к государству, понятно в устах людей, желающих вернуться к

естественному равенству труда и имущества, но, с точки зрения собственника и в устах сторонников конверсий, она знаменует их банкротство. Государство не только должник, оно также учреждение, охраняющее и гарантирующее собственность. Так как оно дает самую высшую возможную гарантию, то дает также возможность рассчитывать на самое прочное и неприкосновенное пользование. Может ли оно ввиду этого стеснять своих займодавцев, доверившихся ему, а затем еще говорить им об общественном порядке и об обеспеченности собственности. При такой операции

государство является не должником, освобождающимся от долга, но акционерным предприятием, которое привлекает акционеров обманом и, вопреки собственному своему обещанию, заставляет их терять двадцать, тридцать или сорок процентов на капитал.

Но это еще не все. Государство есть совокупность граждан, объединенных под одним общим законом. Этот общий закон гарантирует всем их собственность: одному его поле, другому его виноградник, третьему доход с фермы, а рантье, который также мог бы купить недвижимую собственность, но предпочел прийти

на помощь казне, — ренту. Государство не может требовать, без справедливого вознаграждения, отказа от участка поля, от виноградника и тем более не может понизить арендной платы. Почему же оно имеет право уменьшать процент, получаемый на ренте? Для того чтобы это право не было несправедливым, нужно было бы, чтобы рантье мог найти такое же выгодное помещение для своих денег в другом месте. Но где же он может найти такое помещение, если он не может выйти из пределов государства и если причина конверсии, иными словами возможность сделать заем при более

выгодных условиях, имеется налицо внутри самого государства? Вот почему государство, основанное на принципе собственности, не может выкупить ренты помимо воли держателей ее. Капиталы, данные займам республиканскому правительству, представляют собой собственность, которой нельзя касаться, пока остаются неприкосновенными другие виды собственности. Принудить рантье к выкупу — значит нарушить по отношению к ним общественный договор и поставить их вне закона.

Весь спор о конверсии ренты сводится к следующему.

Вопрос. Справедливо ли

подвергать нищете сорок пять тысяч семей, подписавшихся на получение ренты в 100 фр. и ниже?

Ответ. Справедливо ли заставлять платить 5 фр. налога 7 или 8 миллионов плательщиков в то время, когда они могли бы платить только 3?

Очевидно прежде всего, что ответ не соответствует вопросу; но для того, чтобы еще яснее обнаружить коварство первого, придайте ему следующую форму: справедливо ли подвергать опасности жизнь ста тысяч людей, между тем как можно их спасти, пожертвовав врагу сотней людей? Пусть читатель решает.

Защитники современного порядка вещей все это отлично понимают, а между тем конверсия рано или поздно будет произведена и право собственности будет нарушено, ибо собственность, рассматриваемая как право и не будучи правом, должна погибнуть благодаря праву, ибо самая сила вещей, законы совести, физическая и математическая необходимость должны наконец уничтожить эту иллюзию нашего рассудка.

Резюмирую сказанное. Свобода есть абсолютное право, ибо она свойственна человеку, как материи свойственна непроницаемость; она *conditio sine qua non* [\[24\]](#)

существования. Равенство есть абсолютное право, ибо без равенства нет общества. Безопасность есть абсолютное право, потому что для каждого человека жизнь его и свобода так же дороги, как жизнь и свобода другого; эти три права абсолютны, т. е. не способны ни к увеличению, ни к уменьшению потому, что в обществе каждый член его получает столько же, сколько и дает: свободу за свободу, равенство за равенство, безопасность за безопасность, тело за тело, душу за душу, на жизнь и смерть.

Собственность же и по этимологическому своему смыслу и согласно определениям

юриспруденции есть право, существующее вне общества; ибо очевидно, что если бы имущество каждого было общественным имуществом, то условия были бы равны для всех и тогда получалось бы следующее противоречие: *собственность есть принадлежащее человеку право располагать самым безусловным образом общественным имуществом.* Итак, вступив в союз для свободы, равенства, безопасности, мы не союзники в области собственности, и если собственность является естественным правом, то это право не социально, но антисоциально. Собственность и общество — две

вещи безусловно несоединимые; заставить соединиться двух собственников так же трудно, как заставить два магнита соединиться одинаковыми полюсами. Общество должно погибнуть или уничтожить собственность.

Если собственность действительно естественное, абсолютное, неприкосновенное и ненарушимое право, то почему же всегда так усердно занимались исследованием его происхождения? Это представляет собою одну из характерных ее черт. Происхождение естественного права... Господи! Кто когда бы то ни было думал о происхождении свободы,

безопасности или равенства? Они существуют потому, что существуем мы: они рождаются, живут и умирают вместе с нами. Совсем иначе обстоит дело с собственностью. Согласно закону, собственность существует даже без собственника, как способность, как право без субъекта. Она существует для незачатого еще человеческого существа и для глубокого старика, не могущего более пользоваться ею. Однако, несмотря на эти чудесные прерогативы, которые как бы знаменуют собой нечто вечное и бесконечное, никто никогда не мог сказать, откуда происходит собственность. Ученые до сих пор

еще препираются по этому поводу. В одном только они, по-видимому, сходятся: в том, что достоверность права собственности зависит от достоверности его происхождения. Но этот пункт их согласия является обвинением против них: почему они признали право, прежде чем решили вопрос о происхождении?

Некоторые люди не любят, чтобы стряхивали пыль с так называемых обоснований права собственности и чтобы исследовали его мифическую и, быть может, скандальную историю. Они желали бы успокоиться на том, что собственность факт, что она всегда существовала и всегда будет

существовать. Этим именно начинает ученый Прудон свой *Traite des droits d'usufruit*^[25], считая вопрос о происхождении собственности одним из совершенно бесполезных схоластических вопросов. Быть может, я присоединился бы к этому мнению, которое, хочется думать, внушено миролюбием, если бы все подобные мне имели достаточное количество собственности. Однако... Нет... я все равно не присоединился бы к нему.

Основы, на которых хотят построить право собственности, сводятся к двум: к *завладению* и к *труду*. Я рассмотрю их последовательно, со всех точек

зрения, во всех их подробностях, и я напоминаю читателю, что, какую бы точку зрения мне ни предложили, из всякой я выведу неопровержимое доказательство того, что собственность, для того чтобы сделаться возможной и справедливой, имеет необходимым своим условием равенство.

2. О завладении как обосновании собственности

Замечательно, что на собраниях Государственного Совета, обсуждавших кодекс, не возникло

никаких разговоров о происхождении и принципе собственности. Все параграфы второй главы, второй книги, касающиеся собственности и права приобретения, были приняты без возражения и без добавлений. Бонапарт, который относительно других вопросов доставил столько хлопот своим законоведам, ничего не нашел сказать о собственности. Удивляться этому нечего. В глазах Бонапарта, человека, отличавшегося крайним индивидуализмом и сильно развитою волею, собственность должна была быть важнейшим из прав, подобно тому как подчинение власти было священнейшею из обязанностей.

Право *захвата* (оккупации) или *первого захватившего* (оккупанта) есть право, проистекающее из действительного, физического, реального обладания вещью. Я занимаю известный участок земли, я считаюсь его собственником постольку, поскольку не доказано противное. Понятно, что первоначально оно было законно лишь постольку, поскольку один оккупант признавал права другого, — с этим соглашаются все законоведы.

Цицерон сравнивает землю с громадным театром: Quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus esse eum locum, quem quisque occuparit.

Этот отрывок представляет собою наиболее философский взгляд на происхождение собственности, какой оставила нам древность. Театр, говорит Цицерон, принадлежит всем, а между тем место, которое каждый в нем занимает, называется его местом; это значит, очевидно, что место находится в его *владении*, но не в его *собственности*. Это сравнение уничтожает собственность; более того, оно заключает в себе равенство. Могу я в театре занимать одновременно одно место в партере, второе в ложе, третье на галерке? Нет, если только я не обладаю тремя телами, как Герион, или способностью

существовать одновременно в различных местах, какою обладал будто бы волшебник Аполлоний. Согласно Цицерону, никто не имеет права на большее, чем сколько ему нужно; таково правильное толкование его знаменитой аксиомы: *Suum quidque, cujusque sit*^[26] – каждому то, что ему принадлежит, аксиомы, которой подчас придавали такой странный смысл. Принадлежащее каждому есть не то, чем каждый *может* обладать, но то, чем каждый имеет *право* владеть. Чем же мы имеем право владеть? Тем, что необходимо для нашего труда и что достаточно для нашего потребления. Что Цицерон понимал

это именно так, доказывается тем, что он сравнивал землю с театром. Согласно этому пусть каждый устраивается на своем месте как ему угодно, пусть украшает и улучшает его, это позволено, но пусть его деятельность никогда не переходит за пределы, отделяющие его от другого. Учение Цицерона приводит непосредственно к равенству; так как оккупация есть результат терпимости, и если терпимость взаимная, а иною она не может быть, то права владения равны [\[27\]](#).

Гроциус, говоря о происхождении собственности, пускается в исторические исследования. Что это, однако, за

прием — искать происхождение естественного права, данного якобы от природы, вне этой природы? Это напоминает прием древних: факт существует, стало быть, он необходим, стало быть, он справедлив, стало быть, его предшественники также справедливы. Впрочем, послушаем все-таки, что говорит Гроциус.

«Вначале все вещи были общими и нераздельными. Они являлись достоянием всех». Остановимся на этом. Гроциус рассказывает нам, как этот примитивный коммунизм погиб от честолюбия и жадности, как за золотым веком последовал век железный и т. д. Выходит так, будто

собственность имела своим источником сначала войны и победы, затем договоры и контракты. Либо эти договоры и контракты устанавливали равные доли соответственно первобытному коммунизму, единственному правилу распределения, которое могли знать первые люди, единственной понятной им форме справедливости. Тогда вопрос о возникновении собственности воскресает вновь, снова становится неясным, почему равенство исчезло. Либо же эти договоры и трактаты возникали благодаря силе одних и слабости других, и в таком случае они не имеют силы; молчаливое согласие

потомства нисколько не укрепляет их, и мы живем в постоянном состоянии неравновесия и обмана.

Никогда нельзя будет попятить, почему равенство условий, существовавшее вначале в самой природе, могло превратиться впоследствии в состояние неестественное, каким образом могло произойти подобное падение? Инстинкты животных так же неизменны, как и родовые различия. Допускать в человеческом обществе существование первобытного естественного равенства — это значит в то же время признавать, что теперешнее неравенство есть оскорбление, нанесенное природе

этого общества, что необъяснимо для защитников собственности. Я со своей стороны делаю отсюда вывод, что Провидение поставило первых людей в одинаковые условия, желая дать им указание, пример, который они должны были осуществить в иных формах, подобно тому как они развили и обнаружили под всевозможными формами религиозные чувства, которые оно вложило в их души. Человек имеет природу, вечную и неизменную. Он следует ей по инстинкту, отступает от нее благодаря размышлению и возвращается к ней благодаря разуму. Кто может сказать, что мы не находимся на пути к возврату?

Согласно Гроциусу, человек начал равенством. По—моему, он кончит им. Как он его покинул и как вернется к нему, это мы рассмотрим впоследствии.

Рид говорит:

«Право собственности вовсе не естественное, но приобретенное право. Оно вытекает вовсе не из организации человека, а из его поступков. Правоведы объяснили его происхождение вполне удовлетворительным для всех здравомыслящих людей образом. Земля есть общее благо, которое благодать небесная дала людям для удовлетворения потребностей жизни. Но распределение этого блага и его

продуктов есть дело людей. Каждый из них получил от неба силу и разум, необходимые для того, чтобы присвоить себе *известную часть земли, не причиняя никому ущерба.*

Моралисты древности справедливо сравнивали общее право всякого человека на продукты земли, прежде чем она была занята и сделалась собственностью другого, с правом, которым пользуются посетители театра. Всякий, приходя, может занять пустое место и иметь право сохранять его в продолжение всего спектакля, но никто не имеет права лишать места зрителя уже устроившегося. Земля есть громадный театр, который

Всемогущий с бесконечной
премудростью и добротой
приспособил для труда и
наслаждений всего человечества.
Каждый имеет право расположиться
на ней в качестве зрителя и
выполнять роль актера, но только не
стесняя других».

Рассмотрим теперь выводы из
учения Рида.

1. Для того чтобы часть,
которую каждый может себе
присвоить, не присваивалась в ущерб
другим, необходимо, чтобы она
равнялась сумме подлежащих
распределению благ, деленной на
число участников распределения.

2. Так как число мест всегда

должно быть равно числу зрителей, то недопустимо, чтобы один зритель занимал два места, чтобы один актер играл две роли.

3. По мере того как зрители приходят и уходят, места увеличиваются или уменьшаются в одинаковой для всех без различия степени; ибо, говорит Рид, *право собственности* *вовсе не естественное, но приобретенное право*, следовательно, в нем нет ничего абсолютного и, следовательно, факт захвата, на котором основывается это право, будучи фактом случайным, не может сообщить этому праву неизменности, какою он не обладает и сам. Это, по—

видимому, было понято
эдинбургским профессором, ибо он
добавляет: «Право жить включает в
себе право приобретать средства к
жизни, и то же самое правило
справедливости, которое требует,
чтобы жизнь невинного человека
была неприкосновенна, требует
также, чтобы его не лишали средств
для ее сохранения. И то и другое
одинаково священны...

Препятствовать работе другого —
значит причинять ему такую же
несправедливость, какую
причиняешь ему, надевая на него
оковы или заключая его в тюрьму.
Результат получается тот же и
вызывает те же самые чувства».

Таким образом, глава шотландской школы, не принимая во внимание никаких различий в способностях и усердии, а priori устанавливает равенство средств труда, предоставляя затем каждому работнику заботу о его индивидуальном благосостоянии согласно вечной аксиоме: кто хорошо будет работать, получит хороший результат.

Философу Риду не доставало не понимания принципа, но смелости сделать из него все выводы. Если права на жизнь равны, то равны также права на труд и права на захват. Могли ли бы островитяне, основываясь на праве собственности,

отталкивать баграми несчастных, потерпевших кораблекрушение, которые пытались бы взойти на их берег, могли ли бы они это сделать, не совершая преступления? Уже самая мысль о подобном варварстве возмутительна. Собственник, подобно Робинзону на его острове, при помощи копья и ружья отгоняет пролетария, которого затопляет волна цивилизации и который старается уцепиться за скалу собственности. «Дайте мне работу, — кричит изо всех сил пролетарий собственнику, — я буду работать за всякую плату, какую вы мне дадите!» — «Мне твой труд не нужен», — отвечает собственник, направляя на

пролетария острое своего копья или дуло своего ружья. «Понизьте по крайней мере квартирную плату. Мои доходы нужны мне для того, чтобы жить. Как я могу платить вам, не имея работы?» — «Это твое дело».

Тогда несчастный пролетарий дает увлечь себя потоку или пытается проникнуть в твердыню собственности; а собственник целится в него и убивает.

Мы слышали мнение спиритуалиста. Теперь мы спросим материалиста, затем эклектика. И наконец, покончив с философами, мы поищем ответа у юристов.

Согласно Дестют-де-Траси, собственность есть потребность

нашей природы. Не будучи слепым, нельзя отрицать, что эта потребность ведет к неприятным последствиям, но эти последствия — неизбежное зло, ничего не говорящее против самого принципа. Восставать против собственности из-за того, что ею злоупотребляют, было бы так же неразумно, как негодовать на жизнь, потому что она кончается смертью. Эта грубая и беспощадная философия обещает по крайней мере строгую и откровенную логику. Посмотрим же, как исполняется это обещание.

«Торжественно был подготовлен процесс против собственности... как будто от нас зависело, будет или не

будет существовать на свете
собственность... Как слушаешь
иных философов и законодателей, то
может показаться, что люди в какой—
то данный момент добровольно и без
причины вздумали говорить мое и
твое, что от этого можно и даже
должно было воздержаться. На
самом же деле мое и твоё никогда не
были выдуманы».

Будучи сам философом, г.
Дестют—де—Траси слишком большой
реалист. Мое и твоё не обозначает
непременно отождествления, которое
подразумевается, когда я говорю,
например: «*Твоя философия и мое*
равенство», ибо *твоя философия* —
это ты, занимающийся философией,

а *мое* равенство — это я, исповедующий равенство. Мое и твое обозначают гораздо чаще отношение; *твоя* страна, *твой* приход, *твой* портной, *твоя* молочница; *мой* номер в гостинице, *мое* место в театре, *мой* взвод или *мой* батальон в национальной гвардии. В первом смысле можно сказать: *мой* труд, *мой* талант, *моя* добродетель, но нельзя сказать: *мое* величие; и только во втором смысле *мое* поле, *мой* дом, *мои* виноградники, *мои* капиталы, подобно тому как служащий у банкира говорит: *моя* касса. Словом, *мое* и *твое* символы и выражения личных, но равных прав; в приложении к вещам, находящимся

вне нас, они обозначают обладание, функции, пользование, но никогда не обозначают собственности.

Если бы я не доказал это подлинными цитатами, никто не поверил бы мне, что вся теория нашего автора построена на этой жалкой двусмысленности.

«До появления всяких договоров люди находятся не в состоянии враждебности, как утверждает Гоббс, но в состоянии отчужденности. При таком состоянии нет ни справедливого, ни несправедливого в точном смысле слова; права одного совершенно не касаются прав другого, все и каждый имеют столько же прав, сколько и потребностей, и

общую обязанность удовлетворять последние помимо всяких сторонних соображений».

Признаем эту систему; верна ли она или ложна, все равно: Дестюту—де—Траси не удастся избежать равенства. Итак, согласно этой гипотезе, люди, находясь в состоянии отчужденности, не обязаны друг другу ничем; все они имеют право удовлетворять свои потребности, не считаясь с правами других, и, следовательно, право проявлять свое господство над природой, каждый сообразно своим силам и способностям. Отсюда по необходимости вытекает величайшее неравенство в распределении благ

между отдельными личностями. Таким образом, неравенство условий является здесь характерной чертой состояния отчужденности или первобытного состояния. Получается как раз обратное тому, что проповедует Руссо. Послушаем дальше нашего автора.

«Ограничения этих прав и этой обязанности возникают лишь в тот момент, когда устанавливаются молчаливые или формальные соглашения. Тут только возникает понятие о справедливости и несправедливости, т. е. о равновесии между правами одного и правами другого, которые до этого времени были равны по необходимости».

Нам необходимо столкнуться: *права были равны* — это значит, что каждый имел право удовлетворять *свои потребности, не принимая в соображение потребностей других*; иными словами, все имели одинаковое право вредить друг другу, и не было другого права, кроме права силы и хитрости. Ведь вредить друг другу можно не только войною и грабежом, но также захватывая что-либо раньше другого и присваивая его. И вот для того, чтобы уничтожить это одинаковое право употреблять силу и хитрость, одинаковое право причинять друг другу зло, этот единственный источник неравенства благ и зол,

начали заключать *молчаливые* или *формальные договоры* и установили равновесие. Таким образом, эти договоры имели целью обеспечить всем равенство благосостояния, следовательно, по закону противоположностей, если отчужденность есть принцип неравенства, то неизбежным результатом общества является равенство. Социальное равновесие есть уравнение прав слабого и сильного, ибо, поскольку они не равны, они чужды друг другу, не образуют союза и остаются врагами. Итак, если неравенство условий есть необходимое зло, то лишь при состоянии отчужденности, так как

общество и неравенство
противоречат одно другому;
следовательно, человек, созданный
для общества, создан также для
равенства. Логичность этого
умозаключения неоспорима.

Раз это так, то почему же, со
времен установления равновесия,
неравенство постоянно возрастает?
Каким образом царство
справедливости является всегда
царством отчужденности? Что
отвечает нам на это Дестют—де—
Траси?

*«Потребности и средства,
права и обязанности* вытекают из
способности хотеть, и если бы
человек ничего не хотел, то у него

ничего из этого не было бы. Но иметь потребности и средства, права и обязанности — значит *иметь* что-нибудь, *обладать* чем-нибудь. Они представляют собой столько же видов собственности, понимая собственность в самом широком и общем значении слова; они представляют собой принадлежащие нам вещи».

Это недостойная двусмысленность, которую не оправдывает даже потребность в обобщении. Слово *собственность* (*propriété*) имеет два смысла: 1) оно обозначает свойство, благодаря которому вещь является тем, что она есть, присущую ей особенность,

которую она отличается от других. В этом смысле говорят: *свойства* (propriétés) *треугольника* или *чисел*, *свойства магнита* и т.д.; 2) оно выражает право господства разумного и свободного существа над какой-либо вещью. В таком именно смысле употребляют его юристы. Таким образом, в предложении: *железо приобретает свойство* (propriété) *магнита*, слово *propriété* вызывает иное представление, чем в следующей фразе: *этот магнит представляет мою собственность* (propriété). Говорить несчастному, что у него есть свойство, потому что у него есть руки и ноги, что голод, терзающий его, и способность спать

на открытом воздухе являются его особенностями^[28], это значило бы играть словами и присоединять к бесчеловечности насмешку.

«Понятие собственности может основываться только на понятии личности. Когда возникает понятие собственности, оно неизбежно и неизменно возникает во всей своей полноте. Как только индивидуум сознает свое *я*, свою способность наслаждаться, страдать, действовать, он неизбежно убеждается также, что это *я* является исключительным собственником тела, которое оно одушевляет, его органов, сил и способностей... Необходимо, чтобы существовала собственность

естественная, раз существует
собственность искусственная и
договорная, ибо не может быть
ничего искусственного, что не имеет
своего основания в природе».

Преклонимся перед
добросовестностью и мудростью
философов. Человек имеет свойства
(*propriété*), т. е., в первом смысле
слова, особенности. Он обладает
собственностью (*propriété*) на них во
втором смысле слова, т. е.
господством над ними. Таким
образом, он имеет особенность
(*propriété*) способности (*propriété*)
быть собственником (*propriétaire*). Я
постыдился бы заниматься здесь
подобными глупостями, если бы речь

шла только о Дестют-де-Траси; но эта ребяческая путаница была уделом всего человеческого рода при возникновении обществ и языков, когда, вместе с первыми понятиями и первыми словами, возникла метафизика и диалектика. Все, о чем человек мог сказать *мое*, отождествилось в его уме с его личностью; он стал считать все это своей собственностью, своим именем, частью самого себя, членом своего тела, способностью своего ума. Обладание вещами было уподоблено собственности на преимущества своего тела и духа, и на этом ложном уподоблении было основано право собственности,

подражание искусства природе, как выражается на своем изящном языке Дестют-де-Траси.

Но как же этот утонченный идеолог не заметил, что человек не является даже собственником своих способностей? Человек обладает силами, качествами, способностями; природа дала ему их, чтобы он мог жить, познавать, любить. Он не обладает полным господством над ними и является по отношению к ним только узупфруктуарием; свое право пользования он может осуществить, только сообразуясь с законами природы. Если бы он был безусловным господином своих свойств и способностей, он не

допустил бы в себе чувства голода и жажды; он ел бы без всякой меры, прогуливался бы по огню, поднимал бы горы, проходил бы по 100 миль в час, лечил бы болезни без лекарства одною силою воли и сделался бы бессмертным. Он говорил бы: я хочу произвести — и произведения его, подобно идеалу, были бы совершенны; он говорил бы: я знаю — и знал бы, я люблю — и наслаждался бы любовью. Как! Человек, не будучи господином над самим собою, может быть господином чего—нибудь, вне его находящегося! Пусть он пользуется произведениями природы, раз он может жить только при условии пользования ими, но

пусть он откажется от притязаний
собственника и пусть помнит, что
название это лишь метафора.

Словом, Дестют-де-Траси
смешивает под одним общим
названием внешние *блага* природы и
искусства и силы или *способности*
человека, называя и те и другие
собственностью (*propriété*). И при
помощи этой двусмысленности он
надеется установить на
непоколебимых основах право
собственности. Но из этих
собственностей (*propriété*) одни
врожденные, как память,
воображение, сила, красота, другие
же *приобретенные*, как, например,
поля, воды, леса. При первобытном

состоянии или состоянии
отчужденности наиболее ловкие и
сильные субъекты, т. е. наилучше
одаренные в смысле врожденных
«собственностей», имеют
наибольшие шансы завладеть
собственностями приобретенными.
И вот для того, чтобы предупредить
такие захваты и вытекающую из них
борьбу, были придуманы равновесие,
справедливость, были заключены
молчаливые или формальные
договоры, т. е. чтобы в неравенство
собственностей врожденных внести
поправку путем уравнивания
собственностей приобретенных.
Если распределение не равное, то
участники его остаются врагами и

договор надо возобновлять. Итак, с одной стороны, мы имеем отчужденность, неравенство, антагонизм, войну, грабеж, избиения, а с другой — общество, равенство, братство, мир и любовь. Будем же выбирать.

Господин Жозеф Дютан, физик, инженер, геометр, но слабый законовед и совсем не философ, является автором «Philosophie de l'economie politique», в которой он счел нужным выступить на защиту собственности. Метафизика его, по-видимому, позаимствована у Дестют-де-Траси. Он начинает свое сочинение следующим, достойным Сганареля определением

собственности: «Собственность есть право, благодаря которому какая-нибудь вещь принадлежит данному лицу». Это значит буквально следующее: собственность есть право собственности.

После некоторой дозы празднословия на тему о воле, о свободе, о личности, после проведения различия между собственностями *нематериальными естественными* и собственностями *материальными естественными*, которые сводятся к врожденным и приобретенным собственностям Дестюта-де-Траси, г. Жозеф Дютан заканчивает следующими двумя общими положениями: 1)

собственность является для всякого человека правом естественным и ненарушимым; 2) неравенство в собственности есть необходимый результат природы. Оба эти положения можно свести к следующему, более простому: все люди имеют равное право на неравную собственность.

Господин Дютан упрекает г. де-Сисмонди в том, что он писал, будто земельная собственность не имеет иной основы, кроме законов и договоров; сам же он, говоря об уважении народа к собственности, замечает, что «здравый смысл его раскрывает ему природу первоначального договора,

заключенного между обществом и собственниками».

Он смешивает собственность с владением, общность с равенством, справедливое с естественным, естественное с возможным: то он принимает эти различные понятия, как равнозначащие, то как будто отличает их друг от друга, так что в конце концов опровергнуть его легче, чем понять. Заинтересовавшись заглавием книги, я, в тумане, напущенном автором, нашел только вульгарные идеи, поэтому я не буду больше возвращаться к этому сочинению.

Господин Кузен в своей *Philosophie morale*, с. 15, сообщает

нам, что всякая нравственность, всякий закон, всякое право даны нам в следующем завете: свободное существо, оставайся свободным. Я скажу: браво, учитель! Я хочу остаться свободным, если смогу. Он продолжает:

«Наш принцип верен, он хорош, он социален; нам не следует бояться сделать из него все выводы.

1. Если человеческая личность священна, она является таковою во всей своей природе и особенно в своих внутренних актах, в своих чувствах, мыслях и проявлениях воли. Отсюда проистекает уважение, вызываемое в нас философией, религией, искусствами,

промышленностью, торговлею, всеми продуктами свободы. Я говорю уважение, а не просто терпимость, ибо право бывает нетерпимо, но уважаемо.

Я преклоняюсь перед философией.

2. Моя святая свобода, для проявления вовне, нуждается в орудии, которое называется телом: таким образом тело причащается к святости свободы и само становится неприкосновенным. Отсюда принцип индивидуальной свободы.

3. Моя свобода, чтобы проявиться вовне, нуждается в арене для деятельности или материале, иными словами — в собственности

или в вещи. Эта собственность или эта вещь естественно приобщаются к неприкосновенности моей личности. Допустим, например, что я завладеваю предметом, сделавшимся полезным и необходимым орудием внешнего развития моей свободы. Я говорю: этот предмет принадлежит мне, так как он не принадлежит никому другому; с этого момента я, на законном основании, обладаю этим предметом. Таким образом, законность владения покоится на двух условиях: во—первых, я владею только при условии, что я свободен; уничтожьте свободу действий, и вы уничтожите во мне принцип труда. Только посредством труда я могу

присвоить себе собственность или вещь, и, только присвоив ее себе, я владею ею. Таким образом, принципом права собственности является свобода действий; этого, однако, еще недостаточно для того, чтобы узаконить владение. Все люди свободны, каждый может присвоить себе какую—нибудь собственность посредством труда; означает ли это, что все имеют право на всякую собственность? Вовсе нет. Для того чтобы я владел законным образом, нужно не только чтобы я, в качестве свободного существа, мог работать и производить; нужно еще, чтобы я первый завладел собственностью; словом, если труд и производство

являются принципом права собственности, то факт первоначального завладения является необходимым условием ее.

4. Я владею на законном основании, следовательно, я имею право использовать мою собственность так, как мне вздумается; я имею также право отдать ее. Кроме того, я имею право передать ее по завещанию, ибо с того момента, как акт свободы санкционировал мой дар, он и после моей смерти так же свят, как и при моей жизни».

Итак, чтобы сделаться собственником, надо, согласно г. Кузену, завладеть собственностью

путем захвата и труда. Добавлю от себя, что надо также поспевать вовремя, ибо если первые оккупанты уже завладели всем, то что же останется лицам, явившимся впоследствии? Что станется со свободами, имеющими орудие для того, чтобы действовать, но не имеющими объекта? Неужели им останется только уничтожить друг друга? Это ужасный исход, которого не предвидела философская предусмотрительность, ибо великие гении не обращают внимания на мелочи.

Заметим также, что г. Кузен за захватом и за трудом в отдельности не признает свойства создавать

собственность. У него последняя является только плодом их соединения. Это одно из проявлений свойственного г. Кузену эклектизма, от которого ему следовало бы воздерживаться более, чем кому-либо другому. Вместо того чтобы оперировать путем анализа, сравнения, исключения и вывода, который один только может показать истину среди различных форм мыслей и взглядов, г. Кузен смешивает все системы, а затем, одновременно одобряя и отрицая каждую из них в отдельности, он говорит: вот истина.

Но я предупредил, что не буду опровергать, что, наоборот, из всех

гипотез, придуманных для защиты собственности, я выведу принцип равенства, убивающий последнюю. Я сказал, что вся моя аргументация будет заключаться в отыскании во всех рассуждениях неизбежной основы равенства и что я надеюсь со временем показать, что принцип собственности уже в самом зародыше отравляет науку экономическую, науку о праве и о государстве, и сбивает их с истинного пути.

Разве не верно, с точки зрения г. Кузена, что раз свобода человека свята, то она свята во всех без различия индивидуумах; что если она для проявления вовне, т. е. для

того, чтобы жить, нуждается в собственности, то эта потребность в присвоении какой-либо собственности одинакова для всех; что, требуя от других уважения к моему праву присвоения, я со своей стороны должен уважать право других; что если, следовательно, в области бесконечного способность свободы к присвоению находит предел лишь в себе самой, то в области конечного эта же самая способность находит себе предел в математическом отношении числа свобод к пространству, которое они занимают? Не следует ли отсюда, что раз свобода не может препятствовать другой современной ей свободе

присвоить себе такую же вещь, какою обладает она, то она тем более не может лишать этой способности будущие свободы, ибо индивидуум погибает, но совокупность сохраняется, и закон вечного целого не может зависеть от его временной части. Не следует ли сделать отсюда вывод, что каждый раз, когда является на свет новое существо, одаренное свободой, остальные должны потесниться? И наоборот, когда новый пришелец является наследником нескольких долей, то право наследования заключается не в праве накоплять их в своих руках, но только в праве выбора между ними.

Я подражал г. Кузену даже в

слоге, и мне теперь стыдно. Разве нужны эти высокопарные выражения, эти звонкие фразы для того, чтобы выразить такие простые вещи? Для того чтобы жить, человек должен трудиться, следовательно, ему нужны орудия труда и материал. Потребность производить является его правом, и это право гарантируется ему его ближними, по отношению к которым он обязан сделать то же самое. Сто тысяч человек поселяются в пустынной стране, равной по площади Франции; каждый из этих людей имеет право на одну стотысячную часть всего запаса земли. Если число владельцев увеличивается, доля каждого

соответственно этому уменьшается, так что при 34 миллионах жителей каждый имеет право только на одну тридцатичетырехмиллионную часть территории. Организуйте теперь полицию, управление, труд, обмен, наследование и т. д. таким образом, чтобы средства труда оставались всегда одинаковыми для всех и чтобы каждый был свободен, тогда общество будет совершенно.

Из всех защитников собственности лучше всех обосновал ее г. Кузен. Он возражал экономистам, что труд может дать право собственности лишь постольку, поскольку ему предшествует захват; законникам же

он говорил, что гражданское право может дать определение и применение естественному праву, но что создать его оно не может. В самом деле, мало сказать: «Право собственности доказывается самым фактом существования последней, с этой точки зрения гражданский закон играет роль заявителя», это значило бы признать невозможность возразить что-либо тем, кто сомневается в законности самого факта. Всякое право должно оправдать себя или самим собою, или другим правом, ему предшествующим; собственность также не может избежать этой альтернативы. Вот почему г. Кузен

пытался найти ей обоснование в том, что он называет *святостью* человеческой личности, и в акте, посредством которого воля присваивает себе какую—нибудь вещь. «Раз человек прикоснулся к каким—либо вещам, — говорит один из учеников г. Кузена, — они приобретают от него характер, изменяющий и очеловечивающий их». Я со своей стороны признаюсь, что не верю в такое волшебство и не знаю ничего менее святого, чем человеческая воля. Но эта теория, весьма непрочная и с психологической и с юридической точки зрения, носит все—таки гораздо более философский и глубокий

характер, чем теории, основанные только на труде или на авторитете закона. И вот мы видим, к чему приводит теория, о которой мы говорили, — она приводит к равенству.

Но, быть может, философия смотрит на вещи слишком свысока и недостаточно практично; быть может, с высоких вершин философской спекуляции люди кажутся слишком маленькими, для того чтобы метафизики принимали в расчет различие между ними; быть может, наконец, равенство условий является одним из тех афоризмов, которые верны в своей величественной всеобщности, но

которые смешны и опасны, когда их хотят приложить к обыденной жизни, к социальным взаимоотношениям. Здесь, несомненно, представляется случай подражать мудрой воздержности моралистов и юристов, которые предостерегают нас от крайностей и от всяких определений, ибо, по их словам, нет ни одного, которое нельзя было бы уничтожить целиком, сделав из него все гибельные выводы: *omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit*^[29]. Равенство условий – эта ужасная догма для собственника, утешительная истина для бедного умирающего, отвратительная

действительность,
обнаруживающаяся под скальпелем
анатома, равенство условий,
перенесенное в область
политическую, гражданскую и в
область промышленности,
представляет собою только
обманчивую невозможность,
коварную приманку, сатанинскую
ложь.

Я никогда не буду стараться
обмануть читателя. Для меня всякий,
кто в своих словах и в своем
поведении пользуется увертками,
отвратительнее самой смерти. С
первой же страницы этого сочинения
я выражался настолько точно и ясно,
что все могли понять мои мысли и

мои намерения, и я надеюсь, все согласятся с тем, что трудно было бы обнаружить в одно и то же время больше смелости и искренности. Поэтому я думаю, что не слишком забегу вперед, если скажу, что недалеко то время, когда столь восхваляемая сдержанность философов, столь усердно рекомендуемая докторами нравственных и политических наук золотая середина будет считаться только позорной особенностью беспринципной науки и печатью ее падения. В законодательстве и в морали, так же как в геометрии, аксиомы абсолютны, определения точны и самые крайние выводы, раз

только они делались со всею строгостью, являются законами. Какая достойная жалости гордость! Мы ничего не знаем о своей природе и обвиняем ее в наших противоречиях; увлеченные нашим наивным невежеством, мы осмеливаемся восклицать: «Истина заключается в сомнении, наилучшим определением является отсутствие всякого определения». Мы когда-нибудь узнаем, происходит ли эта ужасная недостоверность в юриспруденции от свойств ее объекта или от наших предрассудков, не достаточно ли для объяснения социальных явлений изменить нашу гипотезу, подобно тому как Коперник

перевернул всю систему Птолемея.

Но что скажут читатели, если я докажу, что эта самая юриспруденция в своей аргументации постоянно опирается на равенство, для того чтобы оправдать господство собственности? Что мне на это возразят?

3. О гражданском законе как основе и санкции собственности

Потье, по-видимому, думает, что собственность, так же как и королевская власть, есть

божественное право. Происхождение его он ведет от от самого Бога: *ab Jove principium*^[30]. Вот как он начинает:

Бог обладает суверенным господством над вселенной и всеми заключающимися в ней вещами: *Domini est terra et plenitudo ejus orbis terrarum et universi qui habitant in eo.* — Для человеческого рода создал он землю и все обитающие на ней существа, и человеческому роду он предоставил господство, подчиненное его господству: *Ты утвердил его на делах рук твоих, ты положил у ног его природу*, говорит псалмопевец. Бог сделал этот дар человечеству со следующими

словами, с которыми он обратился к нашим предкам после сотворения мира: *Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю* и т. д.».

Кто после такого великолепного вступления не уверует, что человечество представляет собой как бы большую семью, живущую в братском единении под опекой почтенного отца? Но сколько на самом деле встречается враждующих братьев, сколько жестоких отцов и неблагодарных детей!

Бог даровал землю роду человеческому. Почему же я ничего не получил? *Он положил к моим ногам землю;* а между тем мне некуда приклонить голову. *Размножайтесь,*

говорит он устами своего толкователя Потье. О, премудрый Потье! Это так же легко сделать, как и сказать. Но дайте же птице мху, для того чтобы она могла свить свое гнездо!

«Когда человеческий род размножился, люди разделили между собою землю и большинство вещей, находившихся на ее поверхности, и то, что пришлось на долю каждого из них, стало принадлежать ему отдельно от всех других: таково происхождение права собственности».

Скажите лучше, права владения. Люди жили при коммунизме, носили ли он положительный или отрицательный характер, —

безразлично. У них совсем не было собственности, так как не было даже частного владения. Так как увеличение владения мало-помалу принуждало к труду, для того чтобы увеличить средства к жизни, то формально или безмолвно — это не меняет дела — пришли к соглашению, что работник сам будет единственным собственником продукта своего труда. Иными словами: был заключен договор чисто явочного характера, подтверждающий тот факт, что отныне никто не мог жить без труда. Для того, чтобы получить равенство в средствах к жизни, по необходимости нужно было

достигнуть равенства труда, а для того, чтобы труд был равен, нужны были одинаковые средства труда. Кто не трудясь, силою или хитростью завладевал средствами к жизни другого, тот нарушал равенство и становился выше и вне закона. Кто завладевал средствами производства в количестве большем, по сравнению с другими, под предлогом большей своей производительности, тот также нарушал равенство. Так как равенство выражало тогда право, то всякий посягнувший на равенство был *несправедлив*.

Таким образом, вместе с трудом родилось частное владение, право в вещи — *jus in re*, но в какой вещи?

Очевидно, в *продукте*, но не в *земле*. В таком именно смысле его всегда понимали арабы, а также, судя по словам Цезаря и Тацита, германцы. «Арабы, — говорит г. де-Сисмонди, — признающие право человека на стада, которые он воспитал, не оспаривают также права на урожай у того, кто засеял поле; но они не понимают, почему другой такой же человек не имеет права в свою очередь посеять что-нибудь. Неравенство, вытекающее из пресловутого права первого оккупанта, по их мнению, вовсе не основывается на принципе справедливости, и, когда вся площадь их земли оказывается разделенной

между известным числом жителей, тогда получается монополия последних в ущерб всему остальному народу, которому они не хотят подчиниться»...

В других местах землю разделили. Я допускаю, что благодаря этому возникла более крепкая организация между работниками и что этот раздел, определенный и постоянный, представляет больше удобств. Каким, однако, образом этот раздел мог создать для каждого изменяющееся право собственности на вещь, на которую все имели неприкосновенное и неизменное право владения? С точки зрения

юриспруденции такое превращение
владельца в собственника законным
путем невозможно. Оно
предполагает в примитивной
юрисдикции смешение посессорного
и петиторного и, при уступке,
которая, как предполагается, была
взаимной между участниками
раздела, соглашение на основе
естественного права. Первые
земледельцы, которые явились также
первыми законодателями, не были
такими учеными, как наши
законоведы; с этим я согласен, но
если бы даже они и были таковыми,
то хуже поступить они не могли бы:
они не предвидели последствий
превращения права частного

владения в абсолютную
собственность. Но почему же те,
которые впоследствии установили
различие между *jus in re* и *jus ad rem*,
не применили его к самому
принципу собственности?

Я напоминаю юристам их
собственное утверждение.

Право собственности если
вообще может иметь причину, то
только одну: *dominium non potest nisi
ex una causa contingere*. Я могу
владеть на том или ином основании,
но быть собственником я могу только
на одном основании: *non, ut ex
pluribus causis idem nobis deberi potest
ita ex pluribus causis idem potest
nostrum esse*. Полем, которое я

распахал, которое я обрабатываю, на котором построил мой дом, которое питает меня, мою семью и мой скот, я могу владеть: 1) по праву первого оккупанта, 2) по праву работника и 3) на основании общественного договора, который уступает мне его как долю при дележе. Но ни одно из этих оснований не дает мне власти собственника, ибо если бы я сослался на право захвата, то общество могло бы мне ответить: я захватило раньше тебя; если я поставлю на вид свой труд, оно скажет: ты и владеешь только на этом условии; если я сошлюсь на договор, оно возразит: этот договор устанавливает именно понятие лица,

обладающего правом пользования. Этим, однако, исчерпываются все доводы, выдвигаемые собственниками. В самом деле: всякое право, как учит нас Потье, предполагает причину, вызывающую его в человеке, который пользуется им. Но в человеке, который живет и умирает, в этом сыне земли, который проходит по ней как тень, по отношению к предметам внешнего мира существует только право владения, но не право собственности. Как же общество могло бы признать право против себя там, где нет вызывающей его причины? Каким образом общество, допуская владение, могло допустить

собственность? Как мог закон
санкционировать это
злоупотребление властью?

На это немец Ансильон
отвечает:

«Некоторые философы
утверждают, что человек, прилагая
свои силы к какому-нибудь предмету
внешней природы, к полю, к дереву,
приобретает права только на
внесенные им изменения, на форму,
которую он придает предмету, но не
на самый предмет. Такое деление
совершенно бессодержательно. Если
бы форму можно было отделить от
вещи, то, пожалуй, еще можно было
бы спорить, но так как это почти
никогда невозможно, то приложение

человеческих сил к различным предметам видимого мира является первой основой права собственности, первой причиной возникновения имущества».

Это пустой предлог. Если форма не может быть отделена от предмета, собственность от владения, то необходимо разделить владение. Во всяком случае, общество сохраняет за собою право устанавливать условия собственности. Я предполагаю, что приобретенное имущество дает десять тысяч франков валового дохода и что это имущество, что случается чрезвычайно редко, не может быть разделено. Я предполагаю затем, согласно

хозяйственному расчету, что в среднем ежегодный расход каждой семьи составляет три тысячи франков. Владелец этого имущества должен использовать его как хороший хозяин и ежегодно уплачивать обществу вознаграждение в десять тысяч франков, за вычетом всех издержек производства и трех тысяч франков, необходимых для содержания его семьи. Эти десять тысяч франков вовсе не будут арендной платой, а только вознаграждением.

Разве справедливостью продиктованы положения, вроде следующего:

«Если, благодаря труду, вещь

изменила свою форму, так что форму уже нельзя отделить от материи, не уничтожив самой вещи, необходимо либо лишить общество его прав, либо рабочего продуктов его труда.

Если вообще право собственности на материал получит перевес над правом собственности на то, что присоединяется к нему путем приращения за вычетом вознаграждения или, как в данном случае, собственность на второстепенное берет перевес над собственностью на главное.

В таком случае присвоение при помощи труда не будет применяться по отношению к частным лицам, но лишь по отношению к обществу».

Такова постоянная манера юристов рассуждать о собственности. Закон установлен для того, чтобы определить взаимные права людей, т. е. права каждого отдельного лица по отношению к другому отдельному лицу и права каждого по отношению ко всем. И хотя пропорция не может существовать без четырех членов, господа юристы никогда не принимают в расчет последнего члена. Пока человек противопоставляется человеку, собственность противопоставляется собственности и эти две силы уравниваются, но как только человек оказывается изолированным,

иначе говоря, противопоставлен обществу, которое он сам собою представляет, юриспруденция впадает в ошибку, Фемида теряет одну из чашек своих весов.

Послушайте реннского
профессора ученого Тулье:

«Каким образом это преимущество, приобретенное путем захвата, могло превратиться в постоянную непрерывную собственность, которая продолжала существовать и которую можно было требовать после того, как первый оккупант перестал владеть?

Земледелие было естественным следствием увеличения
народонаселения, и земледелие, в

свою очередь, благоприятствовало
росту народонаселения и сделало
необходимым установление
постоянной собственности, ибо кто
же захотел бы трудиться,
обрабатывать и засеять поле, не
будучи уверен в том, что сам соберет
жатву?»

Для того чтобы успокоить
земледельца, достаточно было бы
обеспечить ему обладание урожаем.
Допустим даже, что
санкционировали бы его
территориальный захват постольку,
поскольку он сам обрабатывал
захваченную землю. Это все, чего он
вправе был ждать, все, чего требовал
прогресс цивилизации. Но

собственность! собственность! право наследования на землю, которую человек сам не занял и не обрабатывает. Кто имел власть дать его, кто мог заявить на него притязания?

«Одного земледелия было мало для того, чтобы установить постоянную собственность; нужны были положительные законы и учреждения, наблюдающие за их выполнением; одним словом, нужно было гражданское государство.

Рост человеческого рода сделал необходимым земледелие. Необходимость обеспечить земледельцу плоды его труда вызвала потребность в постоянной

собственности и законах, обеспечивающих последнюю. Таким образом, мы обязаны установлением гражданского государства собственности».

Да, мы обязаны ей гражданским государством в том виде, какой придали ему вы, государством, которое сначала было деспотией, затем монархией, затем олигархией, а теперь стало демократией, но которое всегда было и есть тирания.

«Не будь уз собственности, никогда не удалось бы подчинить людей спасительному игу законов; не будь постоянных законов, земля была бы до сих пор громадным лесом. Мы можем поэтому вместе с самыми

добросовестными авторами сказать, что если временная собственность или право преимущества, которое дает захват, предшествует установлению гражданского общества, то постоянная собственность в том виде, в каком мы знаем ее теперь, есть создание гражданского права. Гражданское право установило то положение, что раз приобретенная собственность не утрачивается без согласия на то собственника и что она сохраняется даже после того, как собственник лишился обладания вещью и последняя находится в руках третьего лица.

Таким образом, собственность и

владение, которые в первобытном государстве смешивались, благодаря гражданскому праву сделались вещами различными и независимыми друг от друга; вещами, которые, говоря языком законов, не имеют более между собою ничего общего. Отсюда явствуется, какая глубокая перемена произошла в собственности и как сильно гражданские законы изменили ее сущность».

Таким образом, закон, устанавливая собственность, отнюдь не являлся выражением психологического факта, развитием естественного закона, приложением нравственного принципа. Закон в

полном смысле слова создал право, стоящее вне его компетенции; он реализовал абстракцию, метафору, фикцию, и он не потрудился даже предусмотреть, что из этого выйдет, какие возникнут неудобства, будет ли результат хорош или дурен. Он санкционировал эгоизм, он подтвердил чудовищные претензии, он удовлетворил преступные желания, как будто в его власти было наполнить бездну и насытить ад. Это был закон слепой, закон невежд, закон, не достойный этого имени, слово раздора, лжи и крови. Это он, все снова и снова воскрешаемый, восстанавливаемый и укрепляемый, подобно палладиуму обществ,

усыпил совесть народов, омрачил дух вождей и явился причиной всех народных бедствий. Этот закон был осужден христианством, но его восстановили невежественные служители последнего, настолько же не склонные изучить природу и человека, насколько не способные понять свое Писание.

Чем же, однако, руководствовался закон, созидая господство собственности, какому он следовал принципу, какому правилу?

Принципом его было равенство. Это невероятно, но это так.

Земледелие послужило основой территориальному владению и случайной причиной возникновения

собственности. Мало было обеспечить земледельцу продукт его труда; надо было в то же время обеспечить средства для его производства. Чтобы оградить слабого от вторжений сильного, чтобы предупредить грабежи и обманы, необходимо было установить между владельцами постоянные разграничения, непреодолимые препятствия. С каждым годом народонаселение возрастало и жадность колонистов увеличивалась; явилось стремление обуздать самолюбие, устанавливая пределы, о которые оно должно было разбиться. Таким образом, земля сделалась собственностью, благодаря

потребности в равенстве, необходимом для общественной безопасности и для того, чтобы каждый мог пользоваться спокойно плодами своего труда. Несомненно, раздел в географическом смысле никогда не был равномерным. Множество прав, хотя и вытекающих отчасти из природы, плохо истолкованных и еще более плохо применяемых, наследство, подарки, мены, затем привилегии рождения и сана — незаконные создания невежества и грубой силы — препятствовали установлению абсолютного равенства. Принцип, однако, от этого нисколько не изменился: равенство освятило

владение, равенство же освятило и собственность.

Земледельцам ежегодно нужно было поле для посева. Вместо того чтобы каждый год снова спорить и драться, вместо того чтобы переезжать постоянно с места на место, перетаскивать свои дома, свое имущество и семьи, для первобытных людей было гораздо удобнее и проще назначить каждому определенное и неотчуждаемое владение.

Нужно было, чтобы воин, возвращаясь с похода, за услуги, оказанные родине, не очутился без средств к жизни и получил свое наследственное достояние. Поэтому

вошло в обычай, что собственность сохраняется благодаря одному лишь намерению *pudo animo* – сохранить ее и что она утрачивается лишь с согласия и по желанию собственника.

Необходимо было, чтобы равенство раздела сохранялось от одного поколения к другому и чтобы при этом не было надобности в новом распределении земель после смерти главы отдельной семьи. Поэтому казалось естественным и справедливым, чтобы дети и родственники, сообразно степени родства и свойства, соединявших их с умершим, становились его наследниками. Отсюда возник

прежде всего феодальный патриархальный обычай признавать одного только наследника. Затем, согласно диаметрально противоположному толкованию принципа равенства, признание за всеми детьми права быть наследниками отца. Отсюда же, наконец, уничтожение права первородства, существовавшего у нас самих еще недавно.

Но что общего между этими грубыми попытками инстинктивной организации и истинной социальной наукой? Каким образом люди, не имевшие ни малейшего представления о статистике, регистрации, политической

экономии, могли дать нам законодательные принципы?

Закон, говорит один из современных юристов, есть выражение общественной потребности, провозглашение факта. Законодатель не создает, а только записывает его. Это определение вовсе не точно: закон есть правило, согласно которому должны удовлетворяться общественные потребности; его не народ голосует и не законодатель выражает, его открывает и формулирует ученый. Но, в конце концов, закон, в том виде, как его на протяжении полутoma определил г. Ш. Конт, первоначально мог быть только

выражением потребности и указанием средств для ее удовлетворения. Таковым остался закон и до настоящего времени. Правоведы, с присущим им буквоедством и почти механической точностью, упорные, враждебные всякой философии, всегда смотрели как на последнее слово науки на то, что было лишь необдуманном желанием добросовестных, но непредусмотрительных людей.

Эти древние основатели господства собственности не предвидели, что вечное и абсолютное право сохранять свое наследственное достояние, право, которое казалось им уравнительным,

потому что оно было общим, влечет за собою право отчуждать, продавать, дарить, приобретать и терять; что оно влечет за собою, следовательно, не что иное, как уничтожение равенства, ради которого они его установили. Но если бы даже они это предвидели, они не обратили бы на это внимания. Непосредственная потребность восторжествовала, а неудобства вначале, как это всегда почти случается, были слишком незначительны и остались незамеченными.

Они не предвидели, эти чистые сердцем законодатели, что если собственность сохраняется в силу одного намерения сохранить ее —

nudo animo, то она влечет за собою право сдавать внаем, в аренду, в рост, получать прибыль при обмене, создавать ренты, получать доход с земли, сохраняемой в силу намерения духа, между тем как тело занято в другом месте.

Эти патриархи нашей юриспруденции не предвидели, что если право наследования не есть данный природою способ сохранить равенство распределения, то семьи скоро сделаются жертвами самого бедственного неравенства и общество, пораженное в самое сердце одним из священнейших своих принципов, само себя уничтожит роскошью и нищетой^[31].

Они не предвидели... Но надо ли мне продолжать? Последствия достаточно очевидны и сами по себе, и здесь было бы неуместно пускаться в критику всего кодекса.

История собственности у народов древности представляет теперь интерес только для ученых или любителей. Правило юриспруденции гласит, что факт не создает права. Собственность не может не подчиняться этому правилу, поэтому всеобщее признание права собственности не оправдывает его существования. Человек заблуждался относительно строя обществ, относительно природы права, относительно приложения

справедливого, подобно тому как он ошибался относительно причины появления метеоров и движения небесных тел. Старые взгляды человека не могут считаться для нас символом веры; что нам за дело до того, что население Индии разделено на четыре касты, что на берегах Нила и Ганга земля когда-то была распределена между людьми сообразно знатности рода и сану, что греки и римляне поручали богам охранять собственность, что размежевание и регистрация сопровождалась у них религиозными обрядами? Разнообразие форм привилегий не уничтожает их несправедливости; культ Юпитера—

собственника^[32] не может служить аргументом против равенства граждан, подобно тому как культ Венеры всенародной не противоречит супружескому целомудрию.

Авторитет человеческого рода не имеет никакого значения для утверждения права собственности, так как это право, зависящее по необходимости от равенства, противоречит своему принципу. Одобрение религий, санкционировавших право собственности, не имеет значения, потому что священники всех времен служили правителям, а боги всегда говорили так, как желали политики.

Нельзя оправдывать собственность приписываемыми ей социальными преимуществами, ибо все они вытекали из принципа равенства владения, которого от собственности не отделяли.

Что после этого значит следующий дифирамб собственности?

«Установление права собственности есть важнейшее из человеческих учреждений...»

Да, подобно тому как монархия является самым славным из этих учреждений.

«Собственность — первая причина процветания человека на земле».

Потому что принципом ее предполагалась справедливость.

«Собственность сделалась законной целью его стремлений, надеждой его существования, прибежищем его семьи — словом, краеугольным камнем домашнего очага, городов и политического государства».

Все это создало одно владение.

«Она вечный принцип».

Собственность вечна, как и всякое другое отрицание.

«Всякого социального и гражданского института».

Вот почему всякое учреждение и всякий закон, основанный на собственности, погибнет.

«Это благо такое же драгоценное, как свобода».

Для разбогатевшего собственника.

«Действительная культура обитаемой земли...»

Если бы человек, обрабатывающий землю, перестал быть фермером, неужели земля обрабатывалась бы хуже?

«Гарантия и нравственность труда...»

Благодаря собственности труд есть не условие, но привилегия.

«Совершение справедливости...»

Что такое справедливость без равенства имущества? Весы с

фальшивыми гириями.

«Всякая мораль...»

Голодный желудок не знает морали.

«Всякий общественный порядок...»

Да, сохранение собственности.

«Основываются на праве собственности»[\[33\]](#).

Краеугольный камень всего существующего и камень преткновения для всего того, что должно быть, — вот что такое собственность.

Делаю резюме и вывод:

Оккупация не только ведет к равенству, она *препятствует* собственности. Поскольку всякий

человек имеет право в силу того, что он существует, захватывать и не может жить без материала для приложения труда, поскольку, с другой стороны, число владельцев постоянно изменяется, благодаря рождениям и смертям, то количество материи, на которое может претендовать каждый работник, изменяется сообразно тому, как изменяется число владельцев; поэтому владение всегда находится в зависимости от населения, а владение по праву, не оставаясь никогда одинаковым, не может превратиться в собственность.

Таким образом, всякий оккупант по необходимости является

владельцем или узуфруктуарием, что исключает для него возможность быть собственником. Право узуфруктуария заключается в следующем: он ответствен за доверенную ему вещь, он должен пользоваться ею, сообразуясь с общим благом и имея в виду сохранение и дальнейшее развитие вещи. Он не имеет права изменять, уменьшать и портить ее; он не может делить свой доход, предоставляя другому эксплуатировать вещь и получая от этого только прибыль. Одним словом, узуфруктуарий подчинен контролю общества, необходимости трудиться и закону равенства.

Этим уничтожается римское определение собственности как *права употреблять и злоупотреблять*; безнравственность, порожденная насилием, наиболее чудовищное из всех притязаний, санкционированных гражданскими законами. Человек получает свое право пользования из рук общества, которое одно только может владеть постоянно: личность умирает, общество же не умирает никогда.

Как глубоко противно повторять такие общеизвестные истины! Разве мы в настоящее время всего этого не знаем? Неужели еще раз придется вооружаться для того, чтобы они восторжествовали, неужели доводы в

их пользу так слабы, что только силою можно будет ввести их в наши законы?

Право завладения равно для всех.

Так как размеры завладения зависят не от воли, но от изменчивых условий пространства и числа, то собственность не может возникнуть.

Вот то, чего не выражал еще ни один кодекс, чего не допускает ни одна конструкция. Вот аксиома, которую отрицает гражданское право и право обычное!..

Но я слышу восклицания защитников другой системы: «Труд, труд создает собственность!»

Читатель, не дайте ввести себя в заблуждение! Это новое обоснование собственности хуже предыдущего, и мне потом придется просить у вас прощения за то, что я доказывал вещи более ясные и опровергал притязания более несправедливые, чем все те, какие видели вы.

Глава III

Труд как действительная причина господства наследственной собственности

Современные юристы, приняв на веру слова экономистов, все почти оставили теорию первоначального завладения, как слишком невыгодную, и приняли исключительно теорию, согласно которой собственность порождается трудом. Это значило прежде всего предаваться иллюзиям и вращаться в заколдованном кругу. Для того чтобы

работать, нужно завладеть, говорит г. Кузен, следовательно, сказал бы я, раз право завладения одинаково для всех, то для того, чтобы трудиться, надо подчиниться равенству. «Богатые, – восклицает Жан Жак, – сколько угодно могут говорить: я построил стену, я своим трудом добыл эту землю. – Кто дал вам возможность этого? Можем мы им ответить. На каком основании требуете вы от нас уплаты за труд, который мы вам не навязывали?» О такое рассуждение разбиваются все софизмы.

Но защитники труда не замечают, что их система явно противоречит кодексу, все параграфы

и все постановления которого предполагают собственность, основанную на факте первоначального завладения. Если труд, в силу вытекающего из него присвоения, является единственным источником собственности, то гражданский кодекс лжет, хартия является несправедливой и весь наш социальный строй представляет собой насилие над правом. Это с полной очевидностью обнаружится из этой и следующей главы, в которой мы должны заняться обсуждением как права на труд, так и самого факта собственности. Мы при этом убедимся одновременно, с одной стороны, в том, что наше

законодательство противоречит самому себе, с другой же — что новая юриспруденция противоречит и своему принципу, и законодательству.

Я предупредил, что теория, основывающаяся на собственности на труде, так же как и теория, основывающаяся на собственности на завладении, неизбежно предполагает равенство состояний, и читатель, вероятно, с нетерпением ждет, каким образом я из неравенства талантов и способностей выведу этот закон равенства. Читатель скоро будет удовлетворен. Но необходимо, чтобы я на один момент обратил внимание читателя на тот замечательный факт, что труд подставлен, вместо

завладения, в качестве принципа собственности, и чтобы я быстро очертил некоторые предрассудки, на которые собственники имеют привычку ссылаться и которые санкционируются законодательством, но уничтожаются до самого основания трудовой теорией.

Приходилось ли вам, читатель, присутствовать когда-нибудь при допросе обвиняемого? Приходилось ли вам наблюдать его хитрость и уловки, увиливания, извороты и запутывание? Разбитый, уличенный во всех своих уловках, подобно дикому зверю, преследуемый безжалостным судьей, постоянно

сбиваемый с позиции, он утверждает что-нибудь, затем отрицает то же самое и противоречит себе. Он исчерпывает все приемы диалектики, он в тысячу раз изобретательнее и хитрее, чем тот, кто придумал 72 формы силлогизма. Так же точно поступает собственник, вынужденный доказывать свое право. Сначала он отказывается отвечать, затем негодует, угрожает, старается увильнуть; затем, вынужденный вступить в борьбу, вооружается уловками, окружает себя сильнейшей артиллерией, открывает перекрестный огонь, выставляя и поочередно и одновременно захват, владение, давность, договоры,

вековой обычай, согласие всего мира. Побужденный на этой почве, собственник, подобно раненому кабану, переходит в нападение.

— Я не только захватил, — кричит он в ужасном волнении, — я работал, я производил, улучшал, изменял, созидал! Этот дом, это поле, эти деревья дело моих рук: я превратил дикий кустарник в виноград, лесное дерево в смоковницу; я теперь собираю урожай с бесплодной прежде земли; я удобрил землю своим потом, я платил тем людям, которые умерли бы с голоду, если бы не работали вместе со мной. Никто не облегчал моего труда и моих расходов, и я ни с кем не хочу

делиться.

Ты работал, собственник! Зачем же ты говорил о первоначальном захвате? Разве ты не был уверен в твоём праве, неужели ты надеялся обмануть людей и справедливость? Торопись с изложением твоих средств защиты, ибо приговор будет запелляционный и ты знаешь, что дело идет о возвращении взятого.

Ты работал; но что есть общего между трудом, который является твоим долгом, и присвоением вещей, принадлежащих всем. Разве ты не знал, что господство над землей нельзя захватить, так же как господство над воздухом и светом.

Ты трудился! Но разве ты не

заставлял трудиться других? Каким образом они потеряли, работая для тебя, то, что ты приобрел, не работая для них?

Ты трудился. Отлично! Посмотрим, что ты сделал. Мы будем считать, мерить, взвешивать; это будет Валтасарово взвешиванье, ибо я клянусь тебе этими весами, отвесом и наугольником, что если ты себе каким бы то ни было способом присвоил труд другого, то ты вернешь все без остатка.

Итак, принцип завладения оставлен. Теперь не говорят уже: земля принадлежит первому, завладевшему ею. Собственность, вытесненная из первой своей

позиции, отбрасывает свою старую отговорку; справедливость, устыдившись, отрекается от своих утверждений. И этот процесс общественной философии совершился лишь очень недавно. Пятьдесят веков понадобилось для искоренения одной—единственной лжи; сколько санкционированных захватов, прославленных нашествий и получивших благословение побед произошло за это время! Сколько отсутствующих были лишены своего достоинства, сколько бедных было изгнано, сколько голодных оттеснено смелым и проворным богатством. Сколько зависти и войн, какие пожары, какая бойня между

народами! Теперь наконец, благодаря времени и разуму, землю перестали считать призом. Когда нет других препятствий, то есть место для всех людей на земле. Каждый может привязать свою козу к изгороди, погнать корову на пастбище, засеять клочок поля и печь свой хлеб на собственном очаге.

Впрочем, нет, не каждый это может. Я слышу со всех сторон крики: слава труду и промышленности! Каждому по его способности и по его произведениям. И я вижу, что три четверти рода человеческого снова обездолены; можно подумать, что труд одних направляет дождь и град

на труд других.

«Проблема разрешена! —
воскликает г. Геннекен. —
Собственность, дочь труда, может
пользоваться настоящим и будущим
только под эгидой законов; она ведет
свое происхождение от
естественного права, силу свою
получила от права гражданского, и из
комбинации двух понятий: *труд и*
покровительство — возникло
положительное законодательство...»

Итак, проблема разрешена.
Собственность — дочь труда? Но
что же такое право приобретения,
право наследования, право дарить и
т. д., если это не право сделаться
собственником путем простого

завладения. Что такое ваши законы о совершеннолети, об опеке, об освобождении от нее, о лишении прав, если это не условия, на основании которых тот, кто уже трудится, приобретает или теряет право оккупации, т. е. собственности?..

Не имея возможности теперь заняться подробным обсуждением кодекса, я ограничусь рассмотрением трех предрассудков, приводимых чаще всего как доказательства в пользу собственности: 1) *присвоение* или возникновение собственности благодаря владению; 2) *признание общества* и 3) *давность*.

Затем я прослежу, к чему ведет

труд как в отношении положения трудящихся, так и в отношении собственности.

1. Земля не может быть присвоена

«Казалось бы, что годные для обработки земли должны быть отнесены к числу естественных богатств, так как они не созданы человеком, но даны ему природой даром. Но так как эти богатства не обладают подвижностью, свойственной воздуху и воде, так как поле есть пространство определенное и неизменное, так как

некоторые люди сумели завладеть землей, исключив из обладания ею всех остальных, давших свое согласие на это присвоение, то эта земля, бывшая прежде даровым, естественным благом, сделалась социальным богатством, за пользование которым надо платить» (*Say, Economie politique*).

Был ли я не прав, когда говорил в начале этой главы, что самыми сомнительными авторитетами в философии и законодательстве являются экономисты? Вот прародитель секты, который прямо ставит вопрос, каким образом блага природы, богатства, созданные провидением, могут сделаться

частной собственностью, и который отвечает на него такой грубой двусмысленностью, что просто не знаешь, чему приписать ее: недостатку ли ума у автора или его недобросовестности.

Какое отношение, спрашиваю я, имеет определенность и неизменность площади земли к праву присваивать ее? Я отлично понимаю, что вещь *определенная и не обладающая подвижностью*, какова земля, легче доступна присвоению, чем вода или воздух, что легче проявить право господства над землей, чем над воздухом. Но ведь дело не в том, что легче или труднее. Сэй принимает возможность за право. Ведь вопрос

совсем не в том, почему земля раньше сделалась предметом присвоения, чем море или воздух. Мы хотим знать, на основании какого права человек присвоил себе это благо, *которое он вовсе не создал и которое природа дает ему даром.*

Таким образом, Сэй вовсе не разрешает поставленного им самим вопроса. Но если бы даже он его разрешил, если бы данное им объяснение было настолько же удовлетворительно, насколько оно нелогично, нам все—таки оставалось бы еще спросить, кто имеет право взимать плату за пользование землей, этим благом, не созданным человеком? Кому следует давать

плату за землю? Тому, кто ее произвел, конечно. Кто создал землю? Бог. А если так, то проваливай, собственник!

Но создатель земли не продает ее; он ее дает и, отдавая, не предоставляет никому никаких преимуществ. Каким же образом в числе его детей одни оказываются старшими, а другие незаконными? Если равенство долей существовало с самого начала, то каким же образом возникло впоследствии неравенство?

Сэй дает понять, что, если бы вода и воздух не обладали подвижностью, они также сделались бы объектом собственности. Замечу, кстати, что это более чем гипотеза,

что это – действительность. Воздух и вода делались объектом собственности, не скажу, всегда, когда это было возможно, но всякий раз, когда на это получалось разрешение.

Португальцы, открыв путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, заявили, что они одни имеют право собственности на него, и Гроциус, совета которого спросили по этому случаю голландцы, не желавшие признавать прав португальцев, специально по этому поводу написал свой трактат «De mari libero»^[34], доказывающий, что море не может быть объектом присвоения.

Право охоты и рыбной ловли всегда составляло привилегию сеньоров и собственников; в настоящее время правительство и местные власти сдают его за деньги всякому, кто в состоянии платить за наем и за право иметь оружие. Пусть охоту и рыбную ловлю регулируют — это лучшее, что можно сделать, но когда их пускают с торгов, то этим самым создают монополию на воздух и воду.

Что такое паспорт? Это свидетельство, удостоверяющее личность путешественника, обеспечивающее ему и его имуществу безопасность; но фиск, имеющий свойство извращать даже

наилучшие вещи, сделал из паспорта средство шпионства и предмет налога. Не значит ли это продавать право передвижения?

Наконец, ведь не позволено брать воду из источника без разрешения владельца земли, окружающей источник, ибо на основании права приобретения источник принадлежит владельцу земли, если только он не принадлежит кому-нибудь отдельно; не позволено пропускать солнечный свет в свое жилище, не уплатив налога; нельзя осматривать двор, парк, сад без разрешения собственника, так же как и прогуливаться в них. Каждому зато

позволено запира́ть и огораживать свое владение. Все эти запреты представляют собой примеры запрещений, налагаемых не только на землю, но также на воздух и воду. Все мы, пролетарии, лишены причастия собственности. *Terra et aqua et aere et igne interdicti sumus*^[35].

Присвоение наиболее твердого элемента не могло произойти помимо присвоения трех других, так как, согласно французскому и римскому праву, право собственности на поверхность земли обуславливает собой право на все находящееся в ней и над ней: *cujus est solum, ejus est usque ad coelum*. Итак, если пользование водой, воздухом,

огнем исключает собственность, то пользование землей должно приводить к тому же. По-видимому, эта связь выводов предчувствовалась г. Ш. Контом в его *Traité de la propriété*, гл. V.

«Человек, лишенный в течение нескольких минут воздуха, перестал бы жить; частичное лишение воздуха причинило бы ему сильное страдание, частичное или полное лишение пищи вызвало бы у человека аналогичные явления, хотя и не так скоро. К таким же результатам, по крайней мере под известными широтами, повело бы лишение одежды и жилища... Таким образом, для того чтобы сохранить себя,

человек должен присваивать себе
непрестанно различные вещи. Но
вещи имеются на земле не в
одинаковом количестве; иные, как,
напр., свет небесных светил, воздух,
вода, заключающаяся в морях,
существуют в таком громадном
количестве, что люди не могут ни
заметно увеличить, ни заметно
уменьшить его. Каждый может себе
присваивать из них сколько ему
нужно без всякого ущерба для других,
не подвергая их ни малейшим
лишениям. Подобные вещи являются,
так сказать, собственностью всего
человеческого рода; в этом
отношении каждому только
вменяется в обязанность не

препятствовать другим пользоваться этими благами».

Будем продолжать перечисление, начатое г. Ш. Контом. Человек, которому было бы запрещено ходить по большим дорогам, останавливаться в полях, искать приюта в пещерах, собирать ягоды, разводить огонь, собирать травы и варить их в куске обожженной глины, не мог бы жить. Таким образом, земля, подобно воде, воздуху и свету, есть предмет первой необходимости, которым каждый должен свободно пользоваться, не препятствуя пользоваться ею другим; почему же земля сделалась собственностью? Ответ г. Ш. Конта очень любопытен.

Сэй утверждал, что она сделалась объектом собственности потому, что она *неподвижна*; г. Ш. Конт уверяет, что это происходит оттого, что она не *бесконечна*. Земля — предмет, ограниченный известными пределами, следовательно, она, согласно г. Конту, должна быть объектом присвоения. По-видимому, он должен бы сказать наоборот: следовательно, она не может быть объектом присвоения. Если мы присваиваем себе известное количество воздуха или света, мы никому не причиняем ущерба, потому что их всегда останется довольно. Иначе обстоит дело с землею. Пусть кто хочет и может

завладевает лучами солнца, пролетающим мимо ветром и волнами моря; я ему это позволяю и прощаю ему его злую волю. Но когда человек стремится превратить свое право владения землею в право собственности на нее, я объявляю ему войну не на жизнь, а на смерть.

Аргументация г. Ш. Конта опровергает его собственное положение: «В числе вещей, необходимых для нашего существования, — говорит он, — есть такие, количество которых неисчерпаемо. Другие имеются налицо в менее значительных количествах и могут удовлетворять потребностям лишь известного числа

людей. Одни предметы называются общими, другие – частными».

Рассуждение это отнюдь нельзя назвать точным. Вода, воздух и свет являются вещами *общими* не потому, что они *неисчерпаемы*, но потому, что они *необходимы*, до такой степени необходимы, что и природа—то, по—видимому, создала их в неограниченном почти количестве для того, чтобы эта неограниченность предоохранила их от всякого присвоения. Земля также является вещью, необходимою для нашего существования, следовательно, вещью общею и, следовательно, вещью, не поддающеюся присвоению. Но

количество земли гораздо меньше, чем количество других элементов, поэтому пользование ею должно быть урегулировано не ради выгоды немногих лиц, но в интересах безопасности всех — словом, равенство прав доказывается равенством потребностей. Если количество вещи ограничено, то равенство прав может быть осуществлено лишь посредством равенства владения — это аграрный закон, лежащий в основе аргументации г. Ш, Конта.

С какой бы стороны мы ни рассматривали вопрос о собственности — как только мы хотим исследовать его глубже, мы

приходим к равенству. Я не буду
дольше останавливаться на различии
между вещами, которые могут и не
могут сделаться собственностью. В
этом отношении экономисты и
правоведы делают достаточно
глупостей. Дав определение
собственности, гражданский кодекс
умалчивает о вещах, могущих и не
могущих быть объектами
собственности. Если же он даже
упоминает о вещах, *находящихся в
торговле*, то он при этом ничего не
определяет и ничего не
устанавливает. Между тем в
примерах не было недостатка,
таковыми являлись общие места и
изречения вроде следующих: *ad reges*

potestas omnium pertinet, ad singulos
proprietas. Omnia rex imperio possidet,
singula dominio^[36]. Общественная
суверенность противопоставляется
индивидуальной собственности!
Ведь это поистине пророчество
равенства, оракул республиканизма.
Примеров имелось множество. В
прежние времена церковные
имущества, владения короны, лены
дворянства были неотчуждаемыми и
неотъемлемыми. Если бы, вместо
того чтобы уничтожить эту
привилегию, Учредительное
собрание распространило ее на всех
граждан, если бы оно провозгласило
неотъемлемым право труда, так же
как и свободу, то революция была бы

завершена и нам бы оставалось только усовершенствовать сделанное.

2. Всеобщее признание не оправдывает собственности

В словах Сэя, приведенных выше, недостаточно ясно видно, ставит ли он право собственности в зависимость от неподвижности земли или от признания этого права всеми людьми. Конструкция его фразы такова, что ее можно понимать как в том, так и в другом смысле и даже в обоих вместе. Можно было бы даже утверждать, что

автор хотел сказать следующее: право собственности возникло первоначально из упражнения воли. Неподвижность земли дала ему возможность быть приложенным к земле, а всеобщее признание санкционировало это приложение.

Как бы то ни было, разве люди могли бы оправдывать собственность взаимным соглашением? Такой договор, даже если бы редактором его были Гроциус, Монтескье, Жан-Жак Руссо, даже если бы на нем имелись подписи всего рода человеческого, был бы безусловно равен нулю, и составленный на его основании акт был бы незаконен. Человек не может отказаться от

труда, так же как и от свободы; но признание права земельной собственности есть отказ от труда, ибо это есть отказ от средств труда, отказ от естественного права и от человеческого достоинства.

Но пусть это молчаливое или формальное признание существует. Что из этого вытекает? По-видимому, то, что отказы были взаимны: никто не отказывается от права, не получая взамен чего-либо равнозначущего. Таким образом, мы опять возвращаемся к равенству, условию *sine qua non* всякого присвоения. Оказывается, что, оправдав собственность всеобщим признанием, т. е. равенством, мы

вынуждены оправдывать неравенство условий собственностью. Из этого заколдованного круга нет выхода. В самом деле: если, согласно тексту общественного договора, условием собственности является равенство, то с момента уничтожения этого равенства договор нарушен и всякая собственность является узурпацией. Таким образом, мы ничего не выигрываем от этого якобы признания всех людей.

3. Давность на собственность невозможна

Право собственности было источником добра и зла на земле, первым звеном той долгой цепи преступлений и бедствий, которую человеческий род влачит за собою с самого своего возникновения. Ложь давности является чарами, омрачившими умы, дыханием смерти, смутившим сознание для того, чтобы остановить приближение человека к истине, и для того, чтобы поддержать поклонение заблуждению.

Кодекс определяет давность следующим образом: «Средство приобретать и освобождаться от обязательств, благодаря промежутку времени». Прилагая это определение

к идеям и верованиям, можно воспользоваться словом «давность» для того, чтобы обозначить постоянную склонность к старым предрассудкам, каков бы ни был предмет их, а также оппозицию, нередко бешеную и кровавую, которая во все эпохи встречает новые открытия и которая из мудреца делает мученика. Ни один принцип, ни одно открытие, при своем появлении на свет, не избежали встречи с целым лесом предубеждений и как бы с заговором всех старых предрассудков. Давность, противопоставленная разуму, давность, противопоставленная фактам и

всякой неизвестной раньше истине, — вот все содержание всякой философии status quo и символ консерваторов всех эпох.

Когда возникло христианство, давность была выставлена в защиту насилия, разнузданности и эгоизма; когда Галилей, Декарт, Паскаль и их ученики воскресили философию и науки, давность была выставлена в защиту философии Аристотеля; когда наши отцы в 1789 году требовали свободы и равенства, им противопоставили давность тирании и привилегий: «Собственники всегда существовали и всегда будут существовать». Этой глубокой истиной, последним усилием

прижатого к стене эгоизма доктора социального неравенства думают ответить на нападки своих противников, воображая без сомнения, что идеи имеют давность, подобно собственности.

Триумфальное шествие науки и выдающиеся ее успехи научили нас не доверять нашим мнениям, и мы с одобрением и с восторгом приветствуем естествоиспытателя, который при помощи тысячи опытов, основываясь на самом глубоком анализе, исследует новый принцип, остававшийся до тех пор незамеченным законом. Мы остерегаемся отвергать какую-нибудь идею, какой-нибудь факт под

предлогом, что некогда существовали люди более умные, чем мы, которые не заметили этих самых явлений, не провели тех же самых аналогий. Почему в политических и философских вопросах мы не так сдержанны? Почему мы усвоили эту смешную манеру утверждать, что все уже сказано, т. е., иными словами, что в области разума и нравственности все уже известно? Почему поговорка *ничто не ново под луною* придумана как будто исключительно для метафизических исследований?

Происходит это, надо признаться, потому, что мы и до сих пор еще создаем философию при

помощи нашего воображения, вместо того чтобы брать при этом на помощь наблюдение и определенный метод; потому, что до сих пор, вместо рассуждений и фактов, для решения вопросов брались в соображение фантазия и воля, вследствие чего до настоящего времени невозможно было отличить шарлатана от философа, мошенника от ученого. Со времен Соломона и Пифагора воображение изощрялось в угадывании психологических и социальных законов. В этом отношении можно, пожалуй, говорить, что *все сказано*, но тем не менее *все еще должно быть исследовано*. В политике (мы

приведем здесь лишь эту отрасль философии) каждый придерживается взглядов, соответствующих его интересам и страстям. Ум подчиняется тому, что ему повелевает воля; наука вовсе еще не существует; нет еще и намеков на достоверность. Всеобщее невежество влечет за собой всеобщую тиранию, и, между тем как свобода мысли написана в хартии, этой же хартией предписывается, под названием перевеса большинства, рабство мысли.

Продолжая выражаться языком гражданского кодекса, я скажу, что не стану вступать здесь в пререкания по поводу отказа в иске, к которому

прибегают собственники; это было бы слишком скучно и торжественно. Каждый знает, что существуют права, которые не могут быть потеряны за давностью. Что же касается вещей, приобретаемых благодаря протекшему времени, то всем известно, что давность требует определенных условий, и, если одно из них отсутствует, она теряет силу. Если, напр., верно, что обладание собственников было *гражданским, публичным, спокойным и непрерывным*, то верно также и то, что оно лишено было *правооснования*, так как все основания, приводимые ими, т. е. оккупация и труд, говорят столько же

в пользу пролетария—истца, сколько и в пользу собственника—ответчика. К тому же это владение лишено добросовестности, так как в основе его лежит юридическая ошибка и так как согласно изречению Павла: *nunquam in usucapionibus juris error possessori prodest* — юридическая ошибка уничтожает давность. В данном случае юридическая ошибка заключается либо в том, что настоящий владелец владеет на правах собственности, между тем как он имеет только право пользования, либо же в том, что он купил вещь, которую никто не имел права отчуждать или продавать.

Другая причина, почему

давность не может быть приведена в качестве аргумента в пользу собственности, — причина, извлеченная из самых недр юриспруденции, заключается в том, что право на владение недвижимостью представляет собою часть универсального права, никогда не исчезавшего, даже в самые бедственные эпохи существования человеческого рода, и пролетариям достаточно доказать, что они всегда пользовались известной частью этого права, для того чтобы быть восстановленными в нем вполне. Так, напр., кто имеет общее право владеть, давать, обменивать, отдавать взаймы, внаем, продавать,

видоизменять или даже уничтожить вещь, сохраняет это право целиком, благодаря одному акту отдачи в пользование, хотя бы он даже никогда иным способом не обнаруживал своей власти. Подобным же образом мы видим, что *равенство имущества, равенство прав, свобода, воля, личность* являются тождественными выражениями одной и той же вещи — *права сохранения и развития* — словом, права жить, по отношению к которому давность наступает лишь после смерти личности.

Наконец, что касается срока, установленного для приобретения чего-либо путем давности, то

излишне будет доказывать, что право собственности вообще не может быть приобретено никаким владением в течение десяти, двадцати, ста, тысячи и сотен тысяч лет и что, пока будет существовать хоть один человек, способный понять право собственности и оспаривать его, это право никогда не будет приобретаемо давностью. Принцип правоведения, аксиома разума не то же самое, что случайный факт, который может быть и не быть. Один человек может быть лишен своего владения на основании давности владения другого; но подобно тому как владелец не может воспользоваться правом давности

против самого себя, так и разум обладает способностью пересматривать и реформировать свои принципы. Заблуждения прошедшего ни к чему не обязывают его в будущем. Разум вечен и всегда тождествен самому себе. Институт собственности — творение разума невежественного — может быть упразднен разумом более развитым, поэтому собственность не может установиться благодаря давности. Все это безусловно неоспоримо и верно, и на этом именно основании установилось положение, что для юридических ошибок нет давности.

Но я не был бы верен своему методу, и читатель был бы вправе

обвинять меня в шарлатанстве и лжи, если бы я не имел больше ничего сказать ему относительно давности. Выше я говорил, что превращение земли в собственность незаконно и что, если бы даже это было не так, из этого вытекало бы только равенство собственности. Затем я доказал, что всеобщее признание ничего не говорит в пользу собственности и что если бы оно говорило в пользу чего-нибудь, то опять-таки в пользу равенства собственности. Мне остается доказать, что давность, если бы ее вообще можно было признать, обуславливала бы равенство собственности.

Доказательство этого не будет

ни длинным, ни трудным. Стоит вспомнить мотивы, заставившие установить давность.

«Давность, — говорит Дюно, — по—видимому, противоречит естественному равновесию, которое не позволяет, чтобы кого—нибудь лишали его имущества вопреки его желанию и без его ведома и чтобы один обогащался в ущерб другому. Но так как, если бы не было давности, часто случалось бы, что добросовестный приобретатель, после продолжительного владения, лишался бы последнего, а тот, кто освободился бы законным путем от обязательств, потерял бы свои права и оказался бы лишенным владения

или снова связанным обязательствами, то общественное благо требовало установления срока, после которого запрещалось бы беспокоить владельцев и искать права, остававшиеся слишком долго в пренебрежении... Таким образом, гражданское право только усовершенствовало естественное право и дополнило право родовое, благодаря способу, которым оно регулировало давность. А так как последняя основывается на общественном благе, которое всегда следует предпочитать благу частных лиц – *bono publico usucapio introducta est*, то ей следует благоприятствовать, если она выполняет условия,

установленные законом».

Тулье «Droit civil»: «Для того чтобы не оставлять слишком долго под сомнением, вредным для общего блага и нарушающим мир семей и прочность общественных договоров, собственность на вещи, законы установили срок, по истечении которого они отказываются удовлетворять иски и дают владению его древнее преимущество, присоединяя к нему собственность».

Кассиодор говорил о собственности, что она единственная безопасная пристань среди бурь раздоров и корыстолюбия: *hic unus inter humanos procellas portus, quem, si homines fervida voluntate praeterierint*

in undosis semper iurgiis errabunt^[37].

Таким образом, по мнению авторов, давность есть средство общественного порядка, в некоторых случаях восстановление примитивного приема достигать фикции гражданского закона, черпающего свою силу в необходимости улаживать споры, которых иначе нельзя было бы уладить. Ибо, как говорит Гроциус, время само по себе не имеет никаких реальных свойств. Все происходит во времени, но ничто не происходит благодаря ему. Давность или право приобретать, благодаря истечению известного промежутка времени, есть фикция закона, принятая

условно.

Однако всякая собственность неизбежно основывалась на давности или, как говорили римляне, на *usucapio*^[38], т. е. на продолжительном владении. И вот я спрашиваю прежде всего: каким образом владение по истечении некоторого промежутка времени может превращаться в собственность? Сделайте владение каким угодно продолжительным, нагромождайте годы и века — никогда вы не достигнете того, чтобы продолжительность, которая сама по себе ничего не создает, не изменяет и не переделывает, превратила узуфруктуария в собственника. Пусть

гражданский закон признает за добросовестным владельцем, доказавшим свое многолетнее владение, право не быть лишенным последнего любым пришельцем; делая это, закон только санкционирует установленное уже право, и давность, примененная таким образом, означает только, что владение, начавшееся 20, 30 или 100 лет назад, обеспечивается за оккупантом. Но когда закон заявляет, что промежуток времени превращает владельца в собственника, он допускает, что право может быть создано без всякой вызывающей его причины. Закон без мотивировки изменяет свойство субъекта, делает

постановление относительно того, чего вовсе не было в процессе, и превышает свои полномочия. Общественный порядок и безопасность граждан требовали только гарантий владения – зачем же закон создал собственность? Давность была как бы страхованием будущего – зачем же закон сделал из нее принцип привилегии?

Таким образом, возникновение давности тождественно с возникновением собственности, а так как последняя могла оправдать себя только при формальном условии равенства, то и давность является также одной из тысяч форм, которую приняла потребность сохранить это

драгоценное равенство. И это вовсе не пустая индукция — вывод, сделанный без достаточных оснований; доказательства его имеются во всех кодексах.

В самом деле, если все народы, следуя инстинкту справедливости и самосохранения, признали полезность и необходимость давности и если целью их было охранять интересы владельца, то могли ли они ничего не сделать для отсутствующего гражданина, очутившегося вдали от семьи и от родины благодаря торговле, войне или плену и лишенного возможности осуществить каким-нибудь актом свое владение? Нет. Поэтому в то

самое время, когда давность возродилась в закон, было признано, что собственность сохраняется в силу одного намерения — *nudo animo*. Но если собственность сохраняется благодаря одному намерению, если она утрачивается только в силу какого-нибудь действия собственника, то какую же пользу может принести давность? Каким образом закон осмеливается предрешать, что собственник, сохраняющий свою собственность благодаря одному только намерению, имел намерение покинуть то, что закон допустил отменить за давностью? Какой промежуток времени оправдывает подобное

предположение? По какому праву закон наказывает отсутствие собственника, лишая его его достояния? Что это значит? Ведь мы раньше убедились, что собственность и давность идентичны, а между тем теперь мы видим, что они уничтожают друг друга.

Гроциус, понимавший трудность этого вопроса, дал на него такой странный ответ, что его стоит привести здесь; «*Bene speradum de hominibus, ac propterea non putandum eos hoc esse animo, ut rei caducae causa, hominern alterrum velint in perpetuo peccato versari, quod evitari saepe non poterit, sine tali derelictione.*

(Найдется ли человек, — говорит он, — с такой нехристианской душою, который из-за пустяка хотел бы увековечить грех владельца, что неизбежно случилось бы, если бы он не захотел отречься от своего права?) Черт возьми! Я этот человек. Если бы миллиону собственников пришлось гореть из-за этого в аду до страшного суда, то я все-таки возложил бы на их совесть ту долю благ этого мира, которой они меня лишают. К своему замечательному рассуждению Гроциус прибавляет еще следующее: по его мнению, гораздо безопаснее отказаться от сомнительного права, чем жаловаться, нарушать покой народов

и разжигать пожар междоусобной войны. Я, пожалуй, согласен с этим, с тем, однако, чтобы меня вознаградили. Но если мне в этом вознаграждении отказывают, то какое дело мне, пролетарию, до покоя и безопасности богатых? *Общественный порядок* так же мало озабочивает меня, как и благосостояние собственников. Я хочу жить трудясь, в противном случае я умру сражаясь.

В какие бы тонкости мы ни пускались, все—таки давность противоречит собственности или, вернее, давность и собственность являются двумя формами одного и того же принципа, но формами,

которые служат друг другу
коррективом. Одной из величайших
ошибок древней и современной
юриспруденции было именно
притязание согласовать их. В самом
деле, если мы будем видеть в
установлении собственности только
желание гарантировать каждому его
долю земли и его право на труд; в
отделении собственности от
владения – прибежище, открытое для
отсутствующих, для сирот, для всех
тех, кто не знает или не умеет
защищать своих прав; в давности –
только средство либо отвергнуть
несправедливые притязания и
захваты, либо положить конец
недоразумениям, вызванным

перемещениями владельцев, то мы убедимся, что в этих различных формах человеческой справедливости обнаруживаются добровольные усилия разума, приходящего на помощь общественным инстинктам, что под этим сохранением всех прав скрывается чувство равенства, постоянная тенденция к уравниванию. Приняв в расчет рассуждения и внутренние чувства, мы даже в самом преувеличении принципов найдем подтверждение нашей доктрины, ибо если равенство условий и всемирная ассоциация не осуществились еще, то это произошло потому, что гений

законодателей и ложное знание судей служили в течение некоторого времени препятствием здравому рассудку народа, и, между тем как луч истины осветил первобытные общества, первые умозрения вождей их создавали только путаницу.

После первых договоров, после первых попыток законов и конституций, послуживших выражением первых потребностей, миссия правоведов заключалась в усовершенствовании законодательства, в восполнении его изъянов, в согласовании при помощи более точных определений того, что казалось противоречивым. Вместо того правоведы прилепились к букве

законов и ограничились рабской ролью комментаторов и буквоедов. Приняв за аксиомы, за вечные и несомненные истины внушения разума, по необходимости слабого и заблуждающегося, увлеченные общим мнением, порабощенные поклонением букве, правоведы по примеру богословов почитали непогрешимой истиной, непоколебимым принципом то, что признавалось всеми всегда и везде, — *quod ab omnibus, quod ubique, quod semper*, — как будто всеобщее, но добровольное верование доказывало что-нибудь другое, кроме того, что так всем кажется. Не следует заблуждаться на этот счет: мнение

всех народов может служить для констатирования того, что какой-либо факт воспринят, что закон смутно чувствуется, но оно ничего не может сказать нам о самом факте и о самом законе. Признание человеческого рода есть указание природы, но не закон природы, как говорил Цицерон. Под внешней видимостью скрывается истина, в которую совесть может верить, но которая может быть постигнута только разумом. Таков был ход развития человеческого духа во всем, что касается физических явлений и творения гения; может ли он быть иным в делах совести и управления нашими действиями?

4. Труд.

Труд сам по себе не обладает ни малейшей способностью присваивать предметы природы

Мы докажем, при помощи афоризмов самой политической экономии и права, т. е. при помощи самых благовидных возражений, какие может представить собственность:

1. Что труд сам по себе не обладает ни малейшей способностью присваивать предметы природы.

2. Что, признав даже за трудом

эту способность, мы все-таки придем к равенству собственности, независимо от характера, уникальности его продукта труда, и неравенства производительных способностей.

3. Что в смысле юридическом труд уничтожает собственность.

Следуя примеру наших противников и для того чтоб нельзя было найти за нами ни сучка ни задоринки, мы будем рассматривать этот вопрос как можно беспристрастнее.

Господин Ш. Конт, в *Traite de la propriété*, говорит:

«Франция, рассматриваемая как нация, имеет территорию, которая ей

принадлежит».

Франция, как один человек, владеет территорией, которой она пользуется, но Франция не является собственницей этой территории. Между нациями происходит то же самое, что и между отдельными людьми: они являются владельцами и работницами; господство над землей приписывается им благодаря неправильному употреблению слов. Право употребления и право злоупотребления так же мало может принадлежать народу, как и отдельному человеку. Наступит время, когда война, предпринятая для того, чтобы прекратить злоупотребление землей со стороны

какой—нибудь нации, будет священной войной.

Таким образом, г. Ш. Конт, намеревающийся объяснить, каким образом возникает собственность, и начинающий с предположения, что нация является собственницей, прибегает к софизму, именуемому *ложным умозаключением*, выведенным из недоказанных посылок, что разбивает всю его аргументацию.

Если читатель найдет, что сомнение в праве собственности нации на ее территорию обнаруживает чрезмерное преклонение перед логикой, то я напомним ему, что фиктивное право

национальной собственности в различные эпохи служило источником притязаний на сюзеренность, на налоги, регалии, личные повинности, на поставку людей, денег и товаров и вследствие этого – причиной отказа от уплаты налогов, причиной восстаний, войн и опустошений.

«На этой территории находятся весьма значительные пространства земли, не перешедшей еще в частную собственность. Земли эти, покрытые большею частью лесом, принадлежат всей массе населения, и правительство, получающее с них доходы, употребляет или, по крайней мере, *должно употреблять* их в

интересах общего блага».

Должно употреблять их! Это хорошо сказано и не дает возможности солгать.

«Пусть земли эти будут назначены в продажу...»

Почему назначены в продажу? Кто имеет право продать их? Если бы даже нация была собственницей, то вправе ли нынешнее поколение обездоливать будущие? Народ владеет на правах узупфруктуария; правительство управляет, надзирает, защищает и заботится о справедливом распределении; если даже оно и уступает какие-либо участки земли, то может уступать их только в пользование. Оно не имеет

права ни продать, ни отчуждать что бы то ни было. Не будучи собственником, правительство не может и передавать собственность.

«Пусть предприимчивый человек купит часть этих земель, напр., громадные болота; узурпации здесь не будет никакой, так как общество получит сполна всю стоимость их из рук правительства и после продажи будет не беднее, чем до нее».

Это становится смешным. Как! Эта продажа будет правильной и законной потому, что расточительный, неосторожный или неловкий министр *продает* государственные имущества и я,

состоящий под опекой государства, не имеющий ни совещательного, ни решающего голоса в государственном совете, не могу воспротивиться этой продаже? Опекуны народа расточают его достояние, и он ничего не может поделать против этого! Вы говорите, что я из рук правительства получил свою долю суммы, вырученной от продажи; но ведь я прежде всего вовсе не хотел продавать, а если бы даже и хотел, то не мог бы этого сделать, ибо не имел на это права. Кроме того, я вовсе не нахожу, чтоб эта продажа была выгодна. Мои опекуны одели нескольких солдат, починили какие-нибудь старые укрепления, соорудили несколько

дорогих и жалких памятников своего честолюбия; затем они устроили фейерверк и поставили несколько призовых столбов для лазания. Какое значение все это может иметь в сравнении с тем, что я теряю?

Приобретатель ставит изгороди, запирается в них и говорит: это принадлежит мне, всяк сам по себе и для себя. Таким образом получается участок земли, на который никто, кроме собственника и его друзей, не имеет права даже ступить ногой, который никому, кроме собственника и его слуг, не может принести пользы. Пусть такая продажа примет широкие размеры, и тогда народ, не желавший и не имевший права

продавать, не получивший
вырученной при продаже суммы, не
будет больше иметь места, где бы он
мог сеять и жать, где бы мог
отдыхать и даже жить. Он пойдет
умирать с голоду у дверей
собственника, рядом с той самой
собственностью, которая была его
достоянием. Собственник же, видя,
как он умирает, скажет: вот как
погибают бездельники и трусы!

Для того чтобы заставить
признать эту узурпацию
собственника, г. Ш. Конт делает вид,
будто ценность земель в момент
продажи понижается.

«Надо остерегаться, чтобы не
преувеличить значения этих

узурпаций. Их следует оценивать сообразно с тем, какое количество людей могли содержать захваченные земли, а также какое количество средств они доставили этим людям. Очевидно, напр., что если пространство земли, стоящее теперь 1000 франков, стоило только 5 сантимов, когда она была захвачена, то ценность захваченного равняется в действительности только пяти сантимам. Квадратная миля земли когда-то едва давала возможность дикарю жить в крайней нужде; в настоящее время она может дать средства для существования тысячи людей. $\frac{999}{1000}$ всей собственности являются законной собственностью

владельцев, следовательно, они узурпировали только $\frac{1}{1000}$ теперешней стоимости этой собственности».

Крестьянин на исповеди признался, что уничтожил документ, согласно которому он должен был уплатить 100 экю. Исповедник сказал; нужно отдать эти сто экю. Нет, ответил крестьянин. Я верну два лиара за лист бумаги.

Аргументация г. Ш. Конта напоминает нам простодушие этого крестьянина. Земля имеет ценность не только настоящего своего состояния, но также ценность будущего, которая зависит от нашего умения использовать ее. Уничтожьте

вексель, чек, процентную бумагу; уничтожив бумагу, вы уничтожите ценность, равную почти нулю, но вместе с этой бумагой вы уничтожите ваше право, а уничтожив свое право, вы теряете собственность. Уничтожьте землю или, что для вас то же самое, продайте ее. Вы этим не только отчуждаете два или три урожая, но вы уничтожаете все продукты, какие могли бы извлечь из нее вы, ваши дети и дети ваших детей.

Когда г. Ш. Конт, апостол собственности и панегирист труда, допускает отчуждение площади земли со стороны государства, то не следует думать, что он сделал это

допущение без причины. Это ему было нужно. Так как он отрицал теорию завладения и так как знал, кроме того, что труд не создает права без предшествующего ему разрешения на завладение, то он был вынужден предоставить право этого разрешения авторитету правительства, а это означает, что принципом собственности является суверенность народа или, иными словами, всеобщее признание. Относительно последнего предрассудка мы уже высказывались.

Говорить, что собственность есть дочь труда, и в то же время делать труду уступку, для того чтобы он мог проявляться, — это значит,

если я не ошибаюсь, создавать заколдованный круг. Мы увидим далее, к каким противоречиям это поведет.

«Определенное пространство земли не может производить больше продуктов, чем нужно для потребления одного человека в течение одного дня. Если владелец, посредством своего труда, сумеет заставить землю производить столько, сколько нужно на два дня, то он удвоит ценность этой земли, и эта новая ценность является делом его рук, его творением; он ни у кого не похитил ее, она представляет его собственность».

Я утверждаю, что владелец

вознаграждается за свои труды и за свою предприимчивость удвоившимся урожаем, но что он не приобретает никакого права на землю. Пусть трудящийся становится владельцем продукта, я это допускаю, но я не понимаю, каким образом собственность на продукты влечет за собой собственность на землю, производящую эти продукты. Ведь не делается же рыбак, который на одном и том же месте ловит больше рыбы, чем его собратья, благодаря своей ловкости, собственником этого места. Разве ловкость стрелка давала когда-нибудь последнему право собственности на дичь данного

округа? Аналогия же здесь полная: трудолюбивый земледелец находит в более обильном и лучшем по качеству урожае награду за свое усердие; если он улучшил землю, то имеет право на преимущество как владелец. Никогда и никоим образом нельзя допустить, чтобы он, на основании своего искусства, мог претендовать на право собственности на землю, которую он обрабатывает.

Для того чтобы превратить владения в собственность, нужно нечто иное, чем труд, ибо в противном случае человек перестал бы быть собственником с того самого момента, когда он перестал быть

работником. Согласно закону, собственность создается незапамятным, неоспоримым владением, одним словом, давностью. Труд есть только осязательный знак, материальный акт, посредством которого проявляется оккупация; если поэтому земледелец остается собственником после того, как он перестал работать и производить, если владение, вначале уступленное, затем терпимое, сделалось в конце концов неотчуждаемым, то это произошло благодаря преимуществам, предоставленным гражданскими законами, и в силу принципа завладения. Это до такой

степени верно, что нет ни одного договора продажи, ни одного условия аренды или найма, ни одной процентной бумаги, которая не предполагала бы этого. Я приведу здесь лишь один пример.

Сообразно с чем оценивается недвижимая собственность? Сообразно с прибылью, которую она дает. Если участок земли приносит 1000 франков, то говорят, что, капитализированная из 5 %, эта земля стоит 20 000 франков, из 4% -25 000 и т.д. Это значит, иными словами, что через двадцать или двадцать пять лет цена этой земли возвратится покупателю. Если, таким образом, через известный

промежуток времени цена какой-нибудь недвижимости оказывается вполне оплаченной, то почему же покупатель продолжает быть собственником? Благодаря праву завладения, без которого всякая продажа была бы выкупом.

Таким образом, теория присвоения посредством труда противоречит кодексу, и когда защитники этой теории хотят пользоваться ею для объяснения законов, то они противоречат самим себе.

«Если люди умудряются сделать плодородной землю, которая ничего не давала и, даже более того, была вредоносна, как напр., некоторые

болота, то они тем самым создают собственность всю целиком».

Зачем преувеличивать, зачем говорить двусмысленности, как будто имеется в виду навести кого—нибудь на ложный след? *Они создают собственность всю целиком*; вы хотите сказать, что они создают производительную способность, которой раньше не существовало; но эта способность может быть создана лишь при условии существования материи, на которой она основывается. Вещество земли остается одно и то же, изменяются только ее свойства и особенности. Человек создал все, все, исключая саму материю. И вот я утверждаю,

что человек может только владеть и пользоваться этой материей при условии постоянного труда, дающего ему временно право собственности на продукты, которые он произвел.

Итак, первый пункт разрешен: собственность на продукт, даже если она допустима, не влечет за собой собственности на орудия производства этого продукта. Мне кажется, что это положение не требует более пространных доказательств. Существует тождество между солдатом, владельцем своего оружия, каменщиком, владельцем доверенных ему материалов, рыбаком, владельцем вод, охотником, владеющим полями и лесами, и

земледельцем, владеющим землею. Все они, если угодно, собственники своего продукта, но ни один из них не является собственником орудий своего труда. Право на продукт труда исключительно; это *jus in re*, право на орудия труда общее; это – *jus ad rem*.

5. Труд ведет к равенству собственности

Допустим, однако, что труд дает право собственности на материю; почему же этот принцип не является универсальным, почему выгоды этого

якобы закона предоставлены незначительной группе людей, почему в них отказано массе трудящихся? Одного философа, утверждавшего, что когда-то все животные родились из земли, согретой лучами солнца, наподобие того, как из нее появляются грибы, спросили, почему теперь земля не производит ничего таким способом? На это он ответил, что земля состарилась и утратила свою плодovitость. Быть может, и труд, прежде такой плодотворный, также сделался бесплодным? Почему арендатор не приобретает теперь, посредством труда, той земли, которую некогда приобрел трудом же

собственник?

Потому что земля уже сделалась собственностью, отвечают нам. Это не ответ. Имение сдано в аренду с условием уплаты по 50 буасо с гектара. Талант и трудолюбие арендатора удваивают доход с этого имения, излишек дохода является делом рук арендатора. Допустим, что собственник земли, проявляя редкую умеренность, не забирает этого излишка путем повышения арендной платы и предоставляет земледельцу пользоваться плодами его трудов. Справедливость в таком случае еще вовсе не удовлетворена. Улучшив землю, арендатор создал новую ценность, входящую в данную

собственность, и поэтому имеет право на известную долю в ней. Если имение стоило первоначально 100 000 франков, а благодаря трудам арендатора приобрело стоимость 150 000 франков, то арендатор, создатель этой добавочной стоимости, есть законный собственник одной трети всего имения. Даже г. Ш. Конт не может опровергнуть этого вывода, ибо он сам сказал:

«Люди, делающие землю более плодородной, так же полезны своим ближним, как если б они создавали новые участки земли».

Почему же это правило неприложимо к тому, кто улучшает землю, если оно приложимо к тому,

кто ее впервые распахивает? Благодаря труду последнего ценность земли равняется единице, благодаря труду первого ценность эта удваивается, и тот и другой создали равные ценности, почему же они не могут получить равные доли собственности? Я сомневаюсь, чтобы против этого можно было возразить что-нибудь основательное, не сославшись снова на право первого завладения.

Мне могут возразить, однако, что исполнение моего требования не повлечет за собою особенно значительного раздробления собственности. Ценность земли не возрастает до бесконечности; после

двух—трех улучшений земля быстро достигает максимума своего плодородия. То, что агрономия прибавляет к нему, зависит в большей степени от прогресса наук и от распространения просвещения, нежели от искусства земледельцев. Таким образом, возможность присоединить нескольких работников к общей массе собственников не может служить аргументом против собственности.

Если б все наши усилия привели только к распространению привилегии на землю и монополии в промышленности на несколько сотен человек из миллионной массы пролетариев, то это было бы весьма

жалким результатом. И тот, кто приписал бы нам эту цель, показал бы только свое непонимание наших идей, свое невежество и нелогичность.

Если работник, увеличивший ценность вещи, имеет право на собственность, то работник, поддерживающий эту ценность, приобретает такое же право. Ибо что значит поддерживать? Это значит непрестанно прибавлять, непрестанно создавать вновь.

Что значит культивировать землю? Это значит ежегодно возобновлять ее ценность, препятствовать уменьшению или уничтожению ценности земли. И вот,

допуская, что существование
собственности явление
рациональное и законное, что аренда
явление справедливое, я утверждаю,
что тот, кто культивирует землю,
приобретает такое же право
собственности на нее, как и тот, кто
ее впервые распахивает или
улучшает, и что каждый раз, когда
арендатор уплачивает арендную
плату, он получает на поле, отданное
на его попечение, дробь права
собственности, знаменателем
которой является сумма его арендной
платы. Если вы не согласитесь с
этим, то должны будете признать
произвол и тиранию, кастовые
привилегии и рабство.

Кто трудится, тот становится собственником — этот факт нельзя отрицать при современном состоянии экономической науки и права. Но когда я говорю «собственник», я не разумею при этом, подобно иным лицемерным экономистам, собственника своего жалованья или заработной платы, а собственника созданной вновь ценности, из которой извлекает выгоду один лишь хозяин земли.

Так как все это имеет отношение к теории заработной платы и распределения продуктов и так как этот вопрос никогда еще серьезно не обсуждался, то я позволю себе остановиться на нем;

это будет бесполезно для нашей цели. Многие толкуют о том, что надо допустить трудящихся к участию в прибыли; но это участие должно носить чисто благотворительный характер. Никто никогда не утверждал, а быть может, даже и не подозревал, что это участие — естественное, необходимое право, свойственное труду, неотделимое от понятия производителя, хотя бы это был последний чернорабочий.

Вот какое положение предлагаю я. *Работник, даже после получения им заработной платы, сохраняет естественное право собственности на произведенную им вещь.*

Продолжаю цитировать г. Ш. Конта:

«Для осушения этого болота, для выкорчевывания деревьев и кустов — словом, для очистки почвы употреблялись рабочие; они увеличили ценность земли, превратили ее в более значительную собственность. Прибавленная ими ценность выплачивается им в виде пищевых припасов, выданных и в виде поденной платы; ценность же эта становится собственностью капиталиста».

Такой платы работникам мало: труд их создал ценность, и эта ценность является их собственностью. Но они ее не

продавали и не обменивали, а вы, капиталист, вовсе не приобрели ее. Так как вы доставляли материал для работы и пищу для работающих, то вы имеете право на известную долю всего; вы содействовали производству и поэтому должны получить право на участие в пользовании продукта. Но ваше право не может упразднить права рабочих, которые вопреки вашей воле были вашими товарищами в деле производства. Что вы толкуете о заработной плате? Деньги, которые вы уплатили рабочим за их труд, составят лишь незначительную часть дохода вечного, оставленного вам рабочими. Заработная плата есть расход на

содержание и возобновление сил рабочего; вы напрасно считаете ее ценою, уплаченною при покупке. Рабочий ничего не продал: он не знает ни своих прав, ни размеров сделанной вам уступки, ни смысла договора, который вы якобы заключили с ним. С его стороны видим полное неведение; с вашей же, если уж нельзя сказать — обман и надувательство, то во всяком случае — заблуждение и хитрость.

Другой пример, быть может, лучше и полнее пояснит нашу мысль.

Всем известно, какого труда стоит превращение необработанной земли в обработанную и плодородную. Труд этот так велик,

что отдельный человек в большинстве случаев погиб бы, прежде чем ему бы удалось привести землю в такое состояние, когда она могла бы прокормить его. Для приведения земли в такое состояние необходимы объединенные усилия целого общества и всех ресурсов промышленности. Г—н Ш. Конт приводит целый ряд достоверных фактов, подтверждающих эту мысль, не замечая при этом, что он таким образом собирает факты, опровергающие его собственную теорию.

Предположим, что колония, состоящая из двадцати или тридцати семей, поселяется в дикой

местности, поросшей лесом и кустарником и уступленной ей согласно договору с туземцами. Каждая из семей обладает известным капиталом, хотя и небольшим, но достаточным для колониста и заключающимся в животных, зерновом Хлебе, земледельческих орудиях, а также в небольшой сумме денег и съестных припасов. Разделив весь участок земли, колонисты устраиваются каждый по—своему и принимаются за распашку своих наделов. Но через несколько недель после невероятных, утомительных и почти безуспешных усилий колонисты наши начинают роптать: ремесло их

кажется им тяжелым, условия труда невыносимыми; они проклинаяют свое жалкое существование.

Вдруг один из самых рассудительных в колонии режет свинью, солит часть мяса, а остальную часть решает пожертвовать и отправляется к своим товарищам по несчастью. Друзья, говорит он им, как много вы работаете, как мало достигаете и как плохо вы живете! Две недели труда довели вас до крайности... Заключим условие, которое все выгоды предоставит вам; я буду вас кормить и поить; в день вы будете зарабатывать столько-то; мы будем работать вместе, и, ей-богу, друзья,

мы будем счастливы и довольны.

Могут ли устоять голодные желудки перед таким соблазном? Самые нуждающиеся следуют призыву хитрого предпринимателя. Работа закипает; взаимная помощь, удовольствие быть в обществе, соревнование удваивают силы; дело быстро подвигается вперед; природу побеждают с песнями и со смехом; вскоре земля меняет свой вид, подготовленная почва ждет посева. Тогда собственник расплачивается со своими рабочими, они покидают его с благодарностью и с сожалением вспоминают о счастливых днях, проведенных вместе с ним.

Другие колонисты следуют

примеру своего предприимчивого собрата и тоже достигают полного успеха; когда им удастся устроиться, остальные возвращаются к своим участкам и принимаются за раскорчевку. Но во время раскорчевки надо чем-нибудь жить. Пока они корчевали у соседа, они у себя не делали ничего, время для посева упущено, один год уже прошел. Люди рассчитывали на то, что, продав свой труд, они могут только выиграть, сберегая свои запасы и получая сверх того еще и деньги. Но расчет оказался неверным. Они создали для другого орудия труда, но для себя не создали ничего; распахивать землю по-

прежнему трудно; одежда изнашивается, запасы истощаются, скоро и кошелек пустеет. Выгадывает от этого опять—таки тот, для кого остальные работали; он один может доставить недостающие припасы, ибо он один имел возможность обработать свое поле. Затем, когда все средства бедного колониста истощены, является, подобно сказочному чудовищу, издали чующему свою жертву, наш прежний доброжелатель. Одному он предлагает снова взять его на поденную работу, другому — продать за хорошую цену часть этой плохой земли, которая лежит и будет лежать втуне. Иными словами,

доброжелатель заставляет одного обрабатывать землю другого в его, доброжелателя, пользу. Таким образом, лет через двадцать из тридцати колонистов, обладавших первоначально одинаковыми состояниями, пять или шесть сделаются собственниками всего участка земли, остальные же окажутся ограбленными... самым доброжелательным образом.

В наш век буржуазной морали нравственное чувство настолько атрофировалось, что я ничуть не буду удивлен, если многие честные собственники искренно спросят меня, что я во всем этом вижу дурного, несправедливого и

незаконного. Грязные душонки! живые мертвецы! можно ли убедить вас, если вы даже, глядя на явное воровство, не понимаете, что это именно воровство! Человек при помощи ласковых и вкрадчивых слов сумел заставить других работать в его пользу; затем, обогащенный их трудами, он отказывается дальше содержать, на продиктованных им же условиях, людей, создавших его благосостояние... и вы спрашиваете, что в его поведении есть дурного? Под предлогом, что он уже уплатил своим рабочим, что он им ничего не должен, что он не может помогать другим, ибо у него есть своя работа, он отказывается, повторяю я, помочь

устроиться другим, как они помогали ему. А когда покинутые им работники, беспомощные благодаря своему одиночеству, вынуждены продать свое имущество, этот неблагодарный собственник и хитрый предприниматель извлекает выгоду из их разорения. И вы находите, что это справедливо? Берегитесь! В ваших испуганных взглядах я замечая не простодушное удивление человека, бессознательно остававшегося в неведении, а скорее упреки нечистой совести.

Капиталист, говорят, заплатил рабочим *поденную плату*. Для того чтоб быть точным, надо сказать, что капиталист столько раз заплатил

рабочим поденную плату, сколько он каждый день занимал рабочих, а это не совсем одно и то же. Дело в том, что капиталист не оплатил громадной силы, возникающей благодаря сотрудничеству рабочих, благодаря единовременности и гармонии их усилий. Двести гренадеров в течение нескольких часов установили луксорский обелиск; можно ли допустить, что человек в течение 200 часов также мог бы сделать это, а ведь, по расчету капиталистов, вознаграждение как 200 гренадерам, так и этому человеку должно быть одинаково. Между тем пустыня, которую нужно превратить в обработанное поле, дом, который

нужно построить, фабрика, которую
нужно эксплуатировать,
представляют своего рода обелиск,
своего рода гору, которую надо
сдвинуть с места. Самое маленькое
состояние, самое ничтожное
предприятие требуют такого
количества одновременной работы и
такой многосторонности, каких один
человек никогда не может проявить.
Удивительно, что экономисты до сих
пор не замечали этого. Посмотрим
же теперь, что капиталист получил и
что он дал в обмен.

Работнику нужна плата, которая
давала бы ему возможность жить во
время процесса труда, ибо
производить он может, только

потребляя. Тот, кто дает человеку работу, должен давать ему также пищу и содержание или соответствующее вознаграждение; это первое и необходимое условие всякого производства. Предположим покамест, что капиталист исполнил его.

Необходимо, чтобы рабочий кроме своего нынешнего пропитания нашел в своем производстве гарантию пропитания в будущем, в противном случае источник продукта иссякнет и его производительность исчезнет. Иными словами, необходимо, чтобы труд предстоящий постоянно возрождался из труда уже выполненного — таков всеобщий

закон воспроизводства. Таким образом, собственник—земледелец находит: 1) в своих урожаях средства не только для того, чтобы прожить вместе с семьею, но также для того, чтобы поддерживать и улучшать свое хозяйство, для того, чтобы разводить животных, одним словом, для того, чтобы продолжать работать и воспроизводить; 2) в собственности на средства производства постоянную гарантию сохранения источника эксплуатации и труда.

Каков источник эксплуатации для того, кто продает свой труд? Мы предполагаем, что собственник нуждается в нем и согласен дать ему занятие. Как прежде крестьянин

получал свою землю благодаря щедрости и благосклонности сеньора, так в наше время рабочий получает работу потому, что она нужна хозяину и собственнику. Это значит владеть на основании права, которое может быть отменено. Но самое это право является несправедливостью, потому что обуславливает собою неравенство договаривающихся сторон. Вознаграждение рабочего не превышает его постоянных расходов и не обеспечивает ему вознаграждения в будущем, между тем как капиталист находит в орудии, произведенном рабочим, залог независимости и

обеспеченности в будущем.

И вот этим—то воспроизводительным ферментом, этим вечным зародышем жизни, подготовлением фонда и средств производства капиталист обязан производителю, которого он никогда вполне не вознаграждает. Именно это мошенническое утаивание ведет к объединению трудящихся, к роскоши бездельников и к неравенству условий жизни. В нем—то главным образом и заключается то, что так удачно было названо эксплуатацией человека человеком.

Возможно только одно из трех: либо рабочий будет получать свою долю продукта, произведенного им

совместно с хозяином, за вычетом своего жалованья, либо хозяин вернет рабочему эквивалент производительных услуг, либо же, наконец, он обяжется давать ему работу всегда. Раздел продукта, взаимность услуг или гарантия постоянного труда — вот что представляется на выбор капиталисту; но очевидно, что он не может исполнить второго и третьего из этих условий. Он не может ни отплатить услугой за услугу тысячам рабочих, которые непосредственно или косвенно создали его благосостояние, ни давать им всем и всегда работу. Остается, следовательно, раздел продукта. Но

если продукт будет разделен, то все условия будут равны и не будет больше ни крупных капиталистов, ни крупных собственников.

И вот когда г. Ш. Конт, продолжая свою гипотезу, показывает нам своего капиталиста приобретающим последовательно собственность на все вещи, за которые он платит, он все больше и больше запутывается в своем жалком паралогизме, а так как аргументация его не изменяется, то не изменяется также наше опровержение.

«Другие рабочие заняты постройкою; одни заготавливают камень в каменоломнях, другие перевозят его, третьи обтесывают, а

четвертые укладывают на место. Каждый из них прибавляет к веществу, проходящему через его руки, известную ценность, и эта ценность — продукт его труда и составляет его собственность. По мере того как она образуется, он продает ее собственнику земли, который платит ему деньгами и пищевыми продуктами».

Divide et impera! (разделяй и властвуй!). Разделяй, и ты сделаешься богатым; разделяй, и ты обманешь людей, ослепишь их разум и насмеешься над справедливостью. Отделите работников друг от друга, и тогда, быть может, заработная плата каждого превысит ценность каждого

индивидуального продукта; но ведь речь идет вовсе не об этом. Труд тысячи людей, работающих в течение двадцати дней, оплачивается так же, как оплачивался бы труд одного человека, если бы он проработал 55 лет. Но труд этой тысячи людей в течение двадцати дней сделал то, чего усилиями одного человека не удалось бы достигнуть и в миллионы веков. Справедливо ли это? Еще раз повторяю: нет! Если даже вы оплатили все индивидуальные силы, то вы не оплатили силы коллективной, следовательно, всегда останется коллективное право собственности, которого вы не приобретали и которым вы

пользуетесь несправедливо.

Пусть двадцатидневная заработная плата достаточна для того, чтобы эта масса людей могла питаться, одеваться и нанимать себе квартиру в течение двадцати дней. Что делать этим людям, когда, по истечении двадцати дней, работа прекращается и если они, по мере создания продуктов, предоставляют их собственникам, которые вскоре бросят их на произвол судьбы. Между тем как собственник, благодаря помощи всех трудящихся, отлично устраивается, живет в довольстве и не имеет надобности бояться недостатка работы и хлеба, рабочий может надеяться только на

благосклонность этого же самого собственника, которому он продал свою свободу. Если собственник, довольствуясь приобретенным состоянием и правами, откажется дать занятие работнику, что тогда станется с последним? Он подготовил прекрасную почву, но ему не удастся сеять на ней. Он построил удобный и роскошный дом, но жить в нем не будет. Он произвел все, но не будет пользоваться ничем.

Труд ведет нас к равенству; каждый шаг, который мы делаем, все больше приближает нас к нему. Если бы силы, прилежание и изобретательность рабочих были одинаковы, то, очевидно, были бы

одинаковы и их состояния. В самом деле, если бы, как утверждают и как мы допустили выше, работник являлся бы собственником создаваемой им ценности, то отсюда следовало бы:

1. Что трудящийся приобретает за счет бездеятельного собственника.

2. Что так как производство по необходимости коллективно, то рабочий имеет право на участие в продуктах и в прибыли соразмерно выполненному им труду.

3. Что всякий накопленный капитал, будучи собственностью общественной, отнюдь не может быть объектом собственности частной.

Эти выводы неопровержимы. Их одних было бы достаточно для того, чтобы перевернуть всю нашу политическую экономию, чтобы изменить наши учреждения и законы. Почему те, кто установил самый принцип, отказываются следовать ему? Почему все эти господа Сэи, Конты, Геннекены и проч., утверждавшие, что СОБСТВЕННОСТЬ создается трудом, стараются теперь иммобилизировать ее, приписывая ее происхождение захвату и давности?

Предоставим, однако, этих софистов их противоречиям и их ослеплению. Здравый смысл народа по достоинству сумеет оценить их

увертки. Постараемся просветить народ и указать ему путь. Равенство приближается. Мы отделены от него уже небольшим промежутком. Завтра он будет пройден.

6. В обществе все вознаграждения за труд равны

Когда сенсимонисты, фурьеристы и вообще все те, кто в настоящее время занимается социальной экономией и реформами, пишут на своем знамени:

«Каждому по его способностям,
каждой способности по делам ее»

(Сен—Симон);

«Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту» (*Фурье*), они хотя и не говорят этого определенно, но подразумевают, что произведения природы, созданные трудом и искусством, являются вознаграждением, премией, венцом для всякого рода выдающихся и замечательных способностей. Они смотрят на землю как на громадное ристалище, на котором соперничают уже, правда, не при помощи копий и мечей, не при помощи силы и обмана, но при помощи приобретенных богатств, знаний, талантов и даже добродетелей. Одним словом, они и вместе с ними

весь свет подразумевают, что наибольшие способности должны получать наибольшее вознаграждение и что — да позволено мне будет воспользоваться коммерческим термином, который по крайней мере не страдает двусмысленностью, — жалование должно быть пропорционально заслугам и способностям.

Ученики наших двух якобы реформаторов не могут отрицать, что мысль их была именно такова, ибо отрицание это противоречило бы их официальным заявлениям и нарушило бы целостность их систем. Впрочем, такого отрицания с их стороны нечего опасаться: обе эти

секты считают делом чести возвести в принцип неравенство условий по аналогии с природой, которая, как они утверждают, сама стремится к неравенству способностей. Эти секты надеются только, что благодаря предлагаемой ими политической организации неравенство социальное всегда будет соответствовать неравенству естественному. Что же касается вопроса об осуществимости неравенства условий, я разумею при этом неравенство жалований, то они заботятся об этом так же мало как и об определении способностей^[39].

Каждому по его способностям, каждой способности по делам ее.

Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту.

С тех пор, как Сен–Симон умер, а Фурье стал противоречить самому себе, никто из их многочисленных сторонников не пытался дать публике научное изложение этого великого изречения, и я готов прозакладывать сто против одного, что ни один фурьерист даже и не подозревает, что этот двусторонний афоризм поддается двум различным толкованиям.

Каждому по его способностям, каждой способности по делам ее.

Каждому сообразно его капиталу, труду и таланту.

Это положение понято, как

говорится, in sensu obvio, т. е. во внешнем, вульгарном смысле, ложно, абсурдно, несправедливо, противоречиво, враждебно свободе, тиранично, антисоциально и возникло безусловно под непосредственным влиянием собственнического предрассудка.

Прежде всего из элементов, получающих вознаграждение, должен быть исключен *капитал*. Судя по некоторым брошюрам фурьеристов, с которыми я успел познакомиться, они отрицают право завладения и не признают иного принципа собственности, кроме труда. При такой предпосылке они если бы вдумались, то поняли бы,

что капитал для своего собственника производит только на основе права завладения и, следовательно, такое производство незаконно. В самом деле, если труд есть единственный принцип собственности, я перестаю быть собственником по мере того, как другой, эксплуатируя мое поле, выплачивает мне за него аренду. Мы доказали это при помощи неопровержимых доводов. То же самое можно сказать относительно всех капиталов. Поэтому поместить капитал в какое—нибудь предприятие — значит, согласно строгому смыслу права, обменять этот капитал на эквивалентную сумму продуктов. Я не буду здесь пускаться в

бесполезные рассуждения по этому поводу, тем более что я намерен в следующей главе основательно заняться исследованием того, что называют *производством при посредстве капитала*.

Итак, капитал может быть предметом обмена, но не может быть источником дохода.

Остаются *труд* и *талант* или, по выражению Сен-Симона, *дела* и *способности*. Их я теперь и рассмотрю последовательно.

Должно ли жалованье быть пропорциональным труду, иными словами, справедливо ли, чтобы тот, кто больше делает, больше и получал? Заклинаю читателя удвоить

здесь свое внимание.

Чтобы сразу решить эту проблему, достаточно поставить следующий вопрос: является ли труд *условием* или *борьбою*? Мне кажется, что относительно ответа не может возникнуть никаких сомнений.

Бог сказал человеку: в поте лица своего будешь ты есть хлеб свой, иными словами: ты сам будешь производить твой хлеб; с большим или меньшим удовольствием, смотря по тому, насколько ты сумеешь направлять и регулировать свои силы, ты будешь трудиться. Бог не сказал: ты будешь отнимать хлеб у твоего ближнего, но сказал: ты будешь трудиться рядом со своим

ближним и оба вы будете жить в мире. Попытаемся развить дальше смысл этого закона, крайняя простота которого могла бы подать повод к двусмысленным толкованиям.

В труде следует различать две вещи: *ассоциацию* и *подлежащий эксплуатации материал*.

В качестве членов ассоциации, союзников, трудящиеся равны, и было бы противоречием, если бы один получал больше другого. Так как продукт одного работника не может быть оплачен иначе как продуктом другого рабочего, то, раз продукты эти не равны, остаток или разница между продуктами более

сильного и более слабого не может быть приобретена обществом, и, следовательно, не вступив в обмен, не может нарушить равенства вознаграждения. Отсюда для более сильного работника может возникнуть, если угодно, неравенство естественное, но отнюдь не социальное, ибо никто не утратит своей силы и своей производительной способности. Одним словом, общество обменивает равные продукты, т. е. оплачивает только работу, сделанную для него. Вследствие этого оно одинаково оплачивает всех трудящихся; то, что они могли бы произвести вне общества, так же мало касается

последнего, как различие их голосов или цвета их волос.

Можно подумать, что я сам устанавливаю принцип неравенства. На самом деле происходит обратное: сумма работ, которые могут быть сделаны для общества, т. е. работ, поддающихся обмену при данных средствах эксплуатации, тем больше, чем больше число работников и чем более ограничена задача, поставленная перед каждым из них. Отсюда следует, что естественное неравенство нейтрализуется все больше по мере того, как расширяется ассоциация, и что большая сумма потребительных ценностей производится сообща.

Таким образом, единственной вещью, которая могла бы восстановить в обществе неравенство труда, было бы право захвата, право собственности.

Предположим, что эта ежедневная общественная задача, заключающаяся в обработке земли, прополке, собирании жатвы и т. д., составляет два квадратных декаметра и что в среднем для выполнения ее нужно семь часов труда: один рабочий выполнит свой урок за 6 часов, другой за 8, большинство же употребит для выполнения его 7 часов. Но сколько бы каждый из них не затратил на это времени, вознаграждение они получают

равное, раз урок выполнен.

Имеет ли право работник, способный выполнить свой урок за 6 часов, отнимать у рабочего менее искусного его работу под предлогом своей большей силы и большей ловкости и лишать его таким образом труда и хлеба; кто осмелился бы утверждать это? Пусть тот, кто кончит свою работу раньше других, отдыхает, если ему угодно, пусть он для поддержания своих сил и развития своего духа, а также для развлечения занимается упражнениями и полезным трудом, он может это делать, не принося никому вреда, но пусть воздерживается от корыстных услуг.

Сила, гений, трудолюбие и все вытекающие из них личные преимущества представляют собою творения природы и, до известной степени, индивидуума. Общество оценивает их по достоинству, но платит им не за то, что они могут произвести, но за то, что они производят; и вот сумма произведений каждого ограничивается правами всех.

Если бы протяжение земли было бесконечно, а количество материи, поддающейся эксплуатации неистощимо, все-таки нельзя было бы следовать положению: *каждому согласно его труду*; а почему? Потому что, повторяю, общество, из

какого бы числа людей оно не состояло, может давать им всем только одинаковое вознаграждение, так как оно платит им их собственными продуктами. Впрочем, согласно допущенной нами гипотезе, ничто не может помешать более сильным использовать свои преимущества, и вследствие этого внутри самого общественного равенства могли бы воскреснуть недостатки естественного неравенства. Но земля, в смысле производительной силы ее населения и способности последнего к размножению, весьма ограничена. Кроме того, благодаря громадному разнообразию произведений и

крайнему разделению труда, социальный урок легко выполнить. И вот именно этой ограниченностью могущих быть произведенными вещей и легкостью их производства нам дан закон абсолютного равенства.

Да, жизнь — борьба, но это отнюдь не борьба человека с человеком; это борьба человека с природой; каждый должен принимать в ней личное участие. Если в этой борьбе сильный помогает слабому, он заслуживает похвалы и любви; но помощь его должна быть принята добровольно, а не навязана насильно, за известную плату. Всем предстоит один путь, не

слишком продолжительный и не слишком трудный; всякий выполнивший его получает свое вознаграждение, нет никакой надобности быть первым.

В типографиях, где каждый рабочий обыкновенно занят отдельной работой, наборщик получает определенную плату за тысячу набранных букв, печатник — за тысячу отпечатанных листов. Здесь, так же как и повсюду, встречается неравенство таланта, так же как умения. Когда нет оснований опасаться безработицы и застоя в делах, когда нет недостатка в материале для печатания, каждый волен обнаружить свое усердие,

развернуть во всю ширь свои способности. Тогда тот, кто делает больше, зарабатывает больше, кто делает меньше, меньше и зарабатывает. Когда количество печатного материала уменьшается, наборщики и печатники распределяют между собою работу; всякий желающий заработать больше других считается вором и предателем.

В этом поведении типографских рабочих проявляется философия, до которой никогда не умели возвыситься ни экономисты, ни законоведы. Если бы наши законодатели внесли в свои своды законов принцип распределительной

справедливости, господствующий в типографиях, если бы они наблюдали народные инстинкты не для того, чтобы рабски следовать им, а для того, чтобы реформировать и обобщить их, то свобода и равенство давно уже покоились бы на непоколебимой основе, никому уже теперь не приходилось бы спорить о праве собственности и необходимости социальных различий.

Было вычислено, что если бы труд был распределен сообразно числу здоровых людей, то средняя продолжительность рабочего дня во Франции не превышала бы пяти часов. Как можно после этого

осмелиться говорить о неравенстве трудящихся?

Принцип *каждому* *сообразно* *его труду*, истолкованный в смысле *кто больше работает, тот больше и получает*, предполагает два, очевидно, ложных обстоятельства: одно экономического характера, т. е. что доли отдельных лиц в общественном труде могут быть неодинаковы, другое же физического характера, что количество вещей, могущих быть произведенными, беспредельно.

Но, скажут мне, быть может, могут найтись люди, которые пожелают выполнить только половину заданного им урока... И

это вас смущает? Очевидно, они готовы удовольствоваться лишь половиной своего вознаграждения. Получив вознаграждение, соответствующее их труду, будут ли они иметь причину жаловаться и нанесут ли этим ущерб другим? В этом смысле будет справедливо применение пословицы: «Каждому по делам его». Это истинный закон справедливости.

Впрочем, здесь можно привести целый ряд возражений, сплошь относящихся к областям полицейской и промышленной организации. На все такие возражения я отвечу так: все вопросы должны разрешаться согласно

принципу равенства. Могут, между прочим, заметить, что есть такие работы, при невыполнении которых все производство должно остановиться. Должно ли страдать общество от нерадения нескольких лиц; должно ли оно из уважения к праву на труд отказаться от продукта, который ему не был доставлен; не может ли оно создать его своими средствами и кому в таком случае достанется вознаграждение?

Обществу, которое выполнит оставшуюся невыполненной работу либо непосредственно, либо посредством особо назначенных лиц, но во всяком случае так, чтобы всеобщее равенство не пострадало и

чтобы только ленивый был наказан за свою леность. К тому же если общество не может проявить чрезвычайную строгость к отсталым, то оно имеет право, в интересах собственного существования, не допускать злоупотреблений.

Могут сказать еще, что во всякой промышленности нужны руководители, инструкторы, надсмотрщики и проч., будут ли они так же работать? Нет; ибо их задача заключается в руководстве, обучении и присмотре. Но они должны быть избраны из числа рабочих самими рабочими и должны удовлетворять известным условиям выборности. Так же обстоит дело со всякой

общественной, административной или учебной функцией.

Итак, первый пункт всеобщего регламента гласит:

Ограниченное количество пригодного для эксплуатации материала обуславливает собой необходимость распределять труд сообразно числу трудящихся. Данная всем способность выполнить общественный, т. е. одинаковый, для всех урок и невозможность платить работнику чем-либо иным, кроме продукта труда другого работника, оправдывают равенство вознаграждений.

7. Неравенство способностей является необходимым условием имущественного равенства

Иногда выставляется следующее возражение, представляющее собой второй пункт сенсимонистского положения и третий пункт положения Фурье:

Работы, подлежащие выполнению, не все одинаково легки; есть такие работы, которые требуют большого превосходства таланта и ума и которые оцениваются именно сообразно этому. Артист, ученый, государственный деятель оцениваются сообразно их превосходству, и это превосходство

уничтожает всякое равенство между ними и другими людьми. Перед этими вершинами знания и гения закон равенства исчезает. И вот если равенство не абсолютно, то оно вообще не существует; от поэта мы спустимся к романисту, от скульптора — к каменотесу, от химика — к повару и т. д.; способности классифицируются по порядкам, родам, видам; крайности таланта соединяются между собою талантами посредствующими. Человечество представляет собой обширную иерархию, в которой человек оценивается по сравнению с другими и сообразно достоинству своих произведений.

Это возражение во все времена казалось ужасным и служило камнем преткновения как для экономистов, так и для сторонников равенства. Оно внушило одним величайшие заблуждения и заставило других говорить невероятные пошлости. Гракх Бабеф хотел, чтобы всякое превосходство *строго наказывалось и даже подвергалось преследованию как социальное зло*. Для того чтобы упрочить свой коммунизм, он хотел приравнять всех граждан к низшему из них. Были случаи, когда невежественные избиратели отвергали неравенство знаний, и я нисколько бы не был удивлен, если бы в один прекрасный день нашлись

другие, протестующие против
неравенства добродетелей.
Аристотель был изгнан, Сократ
принял яд, Эпаминонд был
привлечен к суду, потому что
невежественные и развратные
демагоги нашли, что они слишком
превосходят их умом и
добродетелью. Такие нелепости
будут повторяться до тех пор, пока
ослепленное и подавленное
богатством население, уstraшенное
неравенством состояний, будет
опасаться возвышения нового тирана.

Наиболее чудовищными кажутся
предметы, рассматриваемые с
чересчур близкого расстояния. Ничто
подчас не может казаться менее

правдоподобным, чем сама истина. С другой стороны, по словам Ж. - Ж. Руссо, «нужно быть большим философом для того, чтобы заняться наблюдением обыденных явлений», а согласно д'Аламберу, «истина, которая обнаруживается людям со всех сторон, нисколько не поражает их, если им не указать на нее пальцем». Патриарх экономистов Сэй, у которого я позаимствовал эти цитаты, мог бы извлечь из них пользу для себя. Воистину тот, кто смеется над слепыми, должен бы сам носить очки, а замечающий это – близорук.

Странная вещь! То, что так пугало умы, есть не возражение против равенства, но самое условие

равенства!..

Естественное неравенство — условие равенства состояний!.. Какой парадокс!.. Я повторяю мое утверждение, чтобы не думали, что я ошибаюсь: неравенство способностей есть *conditio sine qua non* равенства состояний.

В обществе следует различать две вещи: *функции и отношения*.

1. *Функции*. Всякий работник считается способным выполнить возложенную на него задачу или, выражаясь вульгарным языком, всякий ремесленник должен знать свое ремесло. Когда рабочий удовлетворительно выполняет свою работу, то между функцией и ее

желать раздражения наших чувств и чего требует наш ум. Мы интенсивно желаем только того, что хорошо себе представляем, и чем лучше мы его себе представляем, тем более способны произвести его.

Так как функции вызываются потребностями, потребности желаниями, а желания самопроизвольными восприятиями, воображением, то тот же самый ум, который воображает, может также производить; следовательно, никакая работа не может превосходить способностей работника. Одним словом, если функция влечет за собою исполнителя ее, то это происходит потому, что в

действительности исполнитель
существует раньше функции.

Итак, воздадим дань удивления
бережливости природы. При
множестве различных потребностей,
которые она нам дала и которые
изолированный человек не мог бы
удовлетворить своими единичными
усилиями, природа должна была дать
роду могущество, в котором она
отказала индивиду, — отсюда *принцип
разделения труда*, принцип,
основанный на *специализации
призваний*.

Более того, удовлетворение
известных потребностей требует от
человека постоянного творчества,
между тем как другие могут быть

удовлетворены усилиями одного человека для миллионов людей и на целые тысячелетия. Так, напр., потребность в одежде и пище требует постоянного воспроизведения, между тем как знакомство с системой мира может быть приобретено раз навсегда двумя—тремя избранными людьми. Так, постоянное течение рек поддерживает нашу торговлю и приводит в движение наши машины, солнце же, одинокое в пространстве, освещает мир. Природа, которая могла бы создавать Платонов и Вергилиев, Ньютонов и Кювье как же, как она создает пастухов и земледельцев, не желает этого,

сообразуя редкость гения с долговечностью его созданий и уравнивая число способностей достаточностью каждой из них.

Я не буду здесь рассматривать вопрос, не является ли расстояние, существующее между людьми в смысле таланта и интеллигентности, результатом нашей жалкой цивилизации и не превратилось ли бы то, что теперь называют *неравенством способностей*, при более счастливых условиях, в *различие в способностях*: я допускаю худший случай и для того, чтобы меня не обвинили в увеличении, готов признать какие угодно неравенства талантов [\[40\]](#). Иные

философы, увлеченные любовью к уравниванию, утверждают, что все умы равны и что различия между ними зависят от воспитания. Я, признаюсь, далек от того, чтобы разделять это учение, которое, впрочем, будучи истинным, привело бы к выводам диаметрально противоположным тем, которые из него делают теперь; ибо если способности равны и никто не может быть принужден к чему бы то ни было, то работы, считающиеся самыми грубыми, унижительными или тяжелыми, должны оплачиваться лучше всех других, в такой же степени противоречит принципу *каждой способности по делам ее*,

как и принципу равенства. Дайте мне, наоборот, общество, в котором каждый род таланта находится в численном соотношении с потребностями и в котором каждый производитель должен производить только то, к чему обязывает его его специальность, — и я, не нарушая иерархии функций, выведу из него равенство состояний.

Перейдем теперь ко второму пункту.

2. *Отношения.* Говоря об элементе труда, я показал, каким образом, при одинакового рода производительных услугах и при условии, что способностью выполнять общественный труд

обладают все, неравенство индивидуальных сил не может повлечь за собою никакого неравенства вознаграждения. Между тем справедливость требует признать, что известные способности совершенно непригодны для некоторых услуг, так что если бы человеческая промышленность вдруг была бы ограничена каким-нибудь одним родом произведений, то сразу появилась бы масса людей неспособных и вследствие этого возникло бы величайшее социальное неравенство. Но все и без моих слов знают, что разнообразие отраслей промышленности делает

невозможной бесполезности той или иной способности. Истина эта настолько общеизвестна, что я на ней останавливаться не буду. Таким образом, вопрос сводится к доказательству того, что функции равны между собою, подобно тому как равны между собою рабочие, выполняющие одну и ту же функцию.

Иные удивляются тому, что я отказываю гению, знаниям, мужеству — словом, всем достоинствам, пред которыми преклоняется мир, в проявлениях уважения, выражающихся в титуле, власти и роскоши; отказываю в этом не я, но бережливость, справедливость и свобода. Свобода!

Впервые в этой борьбе я упомянул ее имя. Пусть же она станет в защиту своего собственного дела, пусть завершит свою победу.

Всякий договор, имеющий целью обмен продуктов или услуг, может быть квалифицирован как торговая операция.

Кто говорит «торговля», тот говорит: обмен равных ценностей, ибо если бы ценности не были равны и если бы оставшаяся в убытке сторона заметила это, то она не согласилась бы на обмен и торговая сделка не состоялась бы.

Торговля может происходить только между свободными людьми; во всех других случаях могут

совершаться сделки, вынужденные силой или хитростью, но это не будут торговые сделки.

Свободен человек, имеющий возможность пользоваться своим разумом и способностями, не ослепленный страстью и не находящийся под давлением страха или под влиянием ложных взглядов.

Таким образом, при всяком обмене существует нравственное обязательство, согласно которому ни один из контрагентов не должен выигрывать в ущерб другому. Иными словами, для того чтобы торговля была законной и истинной, в ней не должно быть места неравенству. Это первое условие возможности

торговли; вторым условием является ее добровольность, т. е., иными словами, контрагенты должны вступать в сношения друг с другом с полным сознанием и вполне свободно.

Итак, я определяю торговлю или обмен как акт социальный.

Негр, продающий свою жену за нож, детей за стеклянные бусы и, наконец, себя самого за бутылку водки, — не свободен. Торговец человеческим мясом, с которым он вступает в сношения, не союзник его, а враг.

Цивилизованный рабочий, продающий свой труд за кусок хлеба, строящий дворцы для того, чтобы

жить в хлеву, изготавливающий самые роскошные ткани для того, чтобы одеваться в лохмотья, производящий все для того, чтобы обходиться безо всего, — не свободен. Хозяин, на которого он работает, не становясь его союзником, посредством обмена заработной платы и услуг, происходящих между ними, становится его врагом.

Солдат, который служит своей родине из страха, а не из любви, не свободен. Его товарищи и начальники, служители или органы военного правосудия — его враги.

Крестьянин, снимающий в аренду землю, промышленник, пользующийся кредитом,

плательщик, обязанный платить прямые и косвенные, личные, имущественные и проч. налоги, и депутат, вотирующий эти налоги, не понимают своих действий и не свободны в них. Их врагами являются собственники, капиталисты и правительство.

Возвратите людям свободу, просветите их ум, так чтобы они могли понимать смысл своих договоров, и вы убедитесь, что при обменах они будут руководствоваться совершеннейшим равенством, не признавая никаких преимуществ за талантом и знанием, вы убедитесь, что в области коммерческих понятий, т. е. в области

общественной, слово
«превосходство» лишено
содержания.

Пусть мне поет Гомер; пусть я слушаю этого великого гения, в сравнении с которым я простой пастух, скромный земледелец, ничто. В самом деле, если сравнить произведение с произведением, то что такое мой сыр или мои бобы в сравнении с «Илиадой»? Но если, в качестве вознаграждения за свою неподражаемую поэму, Гомер захочет взять у меня все, что я имею, и сделать меня своим рабом, то я откажусь от удовольствия слушать его песни и поблагодарю его. Я могу обойтись без «Илиады» и подождать,

в случае надобности, пока явится «Энеида»; Гомер же и дня не может обойтись без моих продуктов, пусть же он удовольствуется тем немногим, что я могу ему дать, и пусть поэзия его поучает, утешает и ободряет меня.

Как! — скажете вы. Таковы условия, в которых должен будет жить тот, кто воспевает богов и людей! Милостыня с ее унижением и страданиями! Какое варварское великодушие!.. Пожалуйста, не волнуйтесь. Собственность делает из поэта Креза или нищего, и одна только свобода может воздать ему должное. Ведь о чем идет речь? Об установлении прав того, кто поет, и обязанностей того, кто слушает. Так

вот, заметьте себе следующее, весьма важное для разрешения этого вопроса обстоятельство: оба они вольны один продать, другой купить, а в силу этого притязания каждого из них теряют свое значение. Преувеличенное или правильное представление, которое может иметь один из них о своих стихах, другой о своей щедрости, не может влиять на условия договора. Не в оценке таланта, но в оценке произведений мы должны искать мотивы наших суждений.

Для того чтобы певец Ахилла получил должное вознаграждение, нужно прежде всего, чтобы он заставил признать себя, и тогда

обмен его стихов на какое бы то ни было вознаграждение, будучи актом свободным, должен быть также и актом справедливым, т. е. необходимо, чтобы гонорар поэта равнялся его произведению. Какова же ценность этого произведения?

Я предполагаю прежде всего, что эта «Илиада», этот шедевр, за который следует уплатить по действительной его ценности, обладает ценностью бесконечной. Уж большего от меня и требовать нельзя. Если публика, которая вольна приобретать это произведение, отказывается от него, то очевидно, что, раз оно не может быть обменено, его внутренняя, присущая

ему ценность не уменьшится, но
ценность меновая или
производительная полезность его
будет сведена к нулю. Благодаря тому
что все права и все свободы должны
быть одинаково неприкосновенными,
нам следует искать размер
причитающегося поэту
вознаграждения между бесконечным,
с одной стороны, и ничто – с другой,
на равном от обоих расстоянии.
Иными словами, установить
требуется не внутреннюю стоимость
продаваемой вещи, но стоимость
относительную. Дело начинает
упрощаться: какова же
относительная ценность? Какое
отношение заслужил автор поэмы,

подобной «Илиаде»?

Согласно определениям политической экономии, этот вопрос был первый, который ей следовало бы разрешить, но она не только не разрешила его, но, наоборот, объявила его неразрешимым. По мнению экономистов, относительная, или меновая, стоимость вещей не может быть определена абсолютным образом и по существу своему изменчива.

«Ценность какой-нибудь вещи, — говорит Сэй, — есть величина положительная, но только для данного момента. По природе своей она постоянно изменяется во времени и пространстве. Ничто не

может сделать ее определенной, ибо она основывается на потребностях и средствах производства, непрерывно меняющихся. Эта изменчивость усложняет явления политической экономии и чрезвычайно затрудняет их наблюдение и разрешение связанных с ними вопросов. Я не вижу средств помочь этому; не в нашей власти изменять природу вещей».

В других местах Сэй говорит и повторяет, что так как ценность основывается на полезности, полезность же всецело зависит от наших потребностей, прихотей, моды и проч., то ценность так же изменчива, как и взгляды людей.

Политическая экономия, будучи наукой о ценностях, о их производстве, распределении, обмене и потреблении, невозможна, раз меновая ценность не поддается определению. Каким же образом политическая экономия может быть наукой? Каким образом два экономиста могут без смеха взирать друг на друга? Как осмеливаются они наносить оскорбления метафизикам и психологам? Как! Этот безумец Декарт воображал, что философия нуждается в непоколебимой основе, в *aliquid inconcussum*, на котором можно было бы построить здание науки, и даже искал этой основы, а Гермес

политической экономии, трижды величайший Сэй, посвятивший целый полутом торжественному доказательству того, что *политическая экономия есть наука*, осмеливается утверждать после этого, что установить объект этой науки невозможно, что, иными словами, наука эта не имеет принципа и основания. Он не знал, знаменитый Сэй, что такое наука, или, точнее, он не знал того, о чем решался говорить.

Пример, данный Сэем, принес плоды. Политическая экономия в том состоянии, в котором она сейчас находится, похожа на онтологию. Обсуждая следствия и причины, она

ничего не знает, ничего не объясняет, не приходит ни к каким выводам. То, что получило название экономических законов, сводится к нескольким тривиальным общим местам, которым думали придать вид глубины, выразив их в замысловатой форме специальными терминами. Что же касается разрешения социальных проблем, которое пытались дать экономисты, то можно сказать, что оно если не было наивным, то было абсурдным. Двадцать пять лет уже политическая экономия, подобно густому туману, нависла над Францией, задерживая всякое движение духа и подавляя всякую свободу.

Имеет ли всякое создание промышленности продажную, абсолютную, неизменную, а следовательно, законную и истинную ценность? – Да.

Всякое произведение человека может ли обмениваться на произведение другого человека? – Да.

Сколько гвоздей стоит пара башмаков?

Если бы мы могли разрешить эту столь трудную проблему, мы имели бы ключ к социальной системе, которого человечество ищет уже в течение шести тысяч лет. Перед этой проблемой экономисты приходят в смущение, крестьяне же, не

умеющие ни читать, ни писать, не колеблясь отвечают: столько же, сколько можно сделать в одинаковое время и с одинаковыми затратами.

Итак, абсолютная ценность вещи определяется временем, затраченным на ее изготовление, и затратами; какова ценность алмаза, который стоило только поднять с земли? — Ценность его равна нулю, ибо он не есть произведение человека. — Какова будет его ценность, когда его отшлифуют и вставят в оправу? — Она определится временем и расходами, которые потратит работник. — Почему же алмаз продается за такую дорогую цену? — Потому что люди не

свободны; общество должно урегулировать обмен и распределение как самых обыкновенных, так и самых редких вещей, чтобы каждый мог воспользоваться ими. — Что же такое ценность оценки? — Это ложь, несправедливость, кража.

Таким образом, легко примирить всех. Если средняя между ценностью бесконечной и ценностью нулевой, искомая нами величина ценности определяется для каждого продукта суммой затраченных на него времени и издержек, то поэма, стоившая своему автору тридцатилетнего труда и расхода в 10 000 франков на

путешествия, книги и проч., должна быть оплачена тридцатилетним обычным вознаграждением работника плюс 10 000 франков в возмещение расходов. Предположим, что вся сумма составляет 50 000 франков. Если общество, приобретающее поэму, состоит из миллиона людей, то каждый из них должен заплатить 5 сантимов.

Это может дать повод к некоторым возражениям.

1. Один и тот же продукт в различные эпохи и в различных местах может стоить больше или меньше времени, больших или меньших расходов. В этом отношении верно, что ценность есть

величина изменчивая, но эта изменчивость иная, чем изменчивость, предполагаемая экономистами, которые, в качестве причин ее, кроме издержек производства приводят вкусы, капризы, моду, взгляды и т. д.; одним словом, истинная ценность какой-либо вещи неизменна в своем алгебраическом выражении, хотя денежное выражение ее и может меняться.

2. Всякий потребованный продукт должен быть оплачен сообразно тому, сколько он отнял времени и расходов, не выше и не ниже. Всякий непотребованный продукт представляет собою потерю

для производителя, нуль в коммерческом отношении.

3. Незнание принципа оценки и во многих случаях трудность его приложения являются причиной обмана в торговле и одною из важнейших причин неравенства состояний.

4. Для того чтобы оплачивать известные отрасли промышленности, известные продукты, необходимо общество тем более многочисленное, чем реже таланты и чем дороже продукты, чем разнообразнее науки и искусства. Если, напр., общество, состоящее из 50 земледельцев, может содержать школьного учителя, то для

содержания сапожника оно должно состоять уже из ста членов, для содержания кузнеца – из 150, портного – 200 и т. д. Если число земледельцев возрастает до 1000, 10 000, 100 000 и т. д., то по мере роста их числа необходимо, чтобы возрастало в таком же отношении число работников, производящих предметы первой необходимости, таким образом, чтобы наиболее высокие функции были возможны только в наиболее могущественных обществах[\[41\]](#).

Различие способностей заключается только в одном: характерной особенностью гения, печатью его славы является тот факт, что он не может родиться и

развиваться иначе как в лоне великой национальности. Но это физиологическое условие возникновения гения не увеличивает его социальных прав; наоборот, запоздалость его появления доказывает, что в экономической и гражданской области наиболее высокий ум подчиняется равенству благ, равенству, предшествующему ему и которое он как бы венчает собой.

Это оскорбительно для нашей гордости, но тем не менее это истина, не подлежащая сомнению; и в этом случае психология приходит на помощь социальной экономии, показывая нам, что материальное

вознаграждение и талант
несоизмеримы, что в этом
отношении положение всех
производителей равно, что,
следовательно, всякое сравнение
между ними, всякое различие
состояний невозможно.

В самом деле: всякое
произведение, выходящее из рук
человека, в сравнении с грубой
материей, из которой оно сделано,
представляет собою огромную
ценность. В этом отношении
расстояние между парой деревянных
башмаков и обрубком орехового
дерева так же велико, как между
статуей Скопаса и куском мрамора.
Изобретательность самого простого

ремесленника настолько же превосходит обрабатываемые им вещества, насколько гений Ньютона превосходит инертные небесные тела, размеры, расстояние и движение которых он вычислил. Вы требуете для таланта и для гения соответственных почестей и соответственных благ; так вот, оцените мне талант дровосека, и я оценю вам талант Гомера. Если вообще что-нибудь может служить вознаграждением разума, то только разум. Это происходит, когда производители различных вещей воздают друг другу должные похвалы и удивление. Но идет ли при этом речь об обмене произведениями с

целью удовлетворить взаимные потребности? Такой обмен может происходить только при условии хозяйственного распределения, не принимающего во внимание таланта и гения, распределения, законы которого выводятся не из неопределенного и не имеющего значения чувства удивления, но из справедливого сравнения между должным и *имеющимся налицо*, одним словом, из коммерческой арифметики.

Однако для того, чтобы не воображали, будто свобода покупать и продавать — единственное условие равенства вознаграждений и будто общество может найти защиту

против превосходства таланта только в известной силе инерции, не имеющей ничего общего с правом, я объясню, почему одинаковое вознаграждение может оплачивать все способности, почему различие в вознаграждении несправедливо; я докажу вменяемую таланту обязанность не возвышаться над социальным уровнем; я подчиню самое превосходство гения равенству состояний. Выше я привел отрицательные условия равенства вознаграждений всех способностей; теперь я изложу его положительные условия.

Послушаем прежде всего экономиста; всегда приятно

посмотреть, как он рассуждает и как умеет быть справедливым; к тому же без него, без его забавных выхонок и изумительных аргументов мы ничего не поймем. Равенство, столь ненавистное экономисту, всем обязано политической экономии.

«Когда семья врача (в тексте сказано адвоката, но этот пример не так удобен) затратила на его образование 40 000 франков, то эту сумму можно рассматривать как пожизненную ренту, помещенную в его голову. Благодаря этому позволительно рассматривать ее, как долженствующую приносить ежегодно 4000 франков. Если врач зарабатывает ежегодно 30 000

франков, то ему, за вычетом этих четырех тысяч, останется 26 000 в качестве дохода с его личного таланта, данного ему природой. При таком расчете если капитализировать из 10% этот природный капитал, то он будет равен 26 000 франков плюс капитал в 40 000 франков, который израсходовали родители на его обучение. Сумма этих капиталов составляет его состояние» (Сэй, Cours complet, etc.).

Сэй делит состояние врача на две части. Одна представляет капитал, затраченный на его образование, другая – его личный талант. Такое разделение

справедливо, оно соответствует природе вещей, оно общепринято, оно служит подкреплением к великому аргументу неравенства способностей. Я без всяких оговорок принимаю это разделение; посмотрим же, к чему оно нас приводит.

1. Сэй относит к *имеющимся* у врача 40 000 франков, затраченных на его образование. Эти 40 000 франков должны быть отнесены ему в дебет, ибо если этот расход был сделан для него, то он не был сделан им; поэтому, отнюдь не имея права присвоить себе эти 40 000 франков, врач должен возместить их из своего продукта, должен вернуть их тому,

кому он их должен. Заметим, впрочем, что Сэй говорит о *доходе*, вместо того чтобы говорить о возмещении, потому что он придерживается ложного принципа, будто капиталы производительны. Таким образом, расход на образование какого-нибудь таланта есть заем, заключенный этим самым талантом; в силу одного того, что он существует, он оказывается должником в сумме, равной сумме, затраченной на его образование. Это настолько верно, настолько далеко от всякой надуманности, что если в какой-нибудь семье воспитание одного ребенка стоило вдвое или втрое дороже, чем воспитание его

братьев, то последние, при разделе наследства, могут удержать в свою пользу часть его, равную затратам. Это не представляет также никаких затруднений при опеке, когда имуществом, от имени несовершеннолетних, распоряжаются опекуны.

2. То, что я сейчас говорил о заключенном талантом обязательстве возратить расходы, нисколько не смущает экономиста. Человек, обладающий талантом, получает наследство от своей семьи, а вместе с тем и долг в 40 000 франков, лежащий на нем. Эти 40 000 он себе в конце концов присваивает и таким образом становится собственником

их. Оказывается, что мы оставили в стороне право таланта и вернулись к праву завладения. Тотчас же вновь возникают все вопросы, поставленные нами во второй главе. Что такое право захвата, что такое наследство? Есть ли право наследования, право совместительства или только право выбора? Откуда отец врача получил свое состояние? Был ли он собственником или только узуфруктуарием? Если он был богат, пусть объяснят нам его богатство, если он был беден, то как он мог сделать подобную затрату? Если он получал помощь, то как эта помощь могла создать привилегию

обязанного лица перед его благодетелями и т. д.

3. «Остаются 260 000 франков в качестве дохода личного таланта, данного природой» (Сэй, там же). Отсюда Сэй заключает, что талант нашего врача был эквивалентен капиталу в 260 000 франков. Наш ловкий математик принимает вывод за принцип, а между тем не заработок должен определять ценность таланта, но, наоборот, талант должен определять размеры заработка. Ведь может случиться, что при всех своих заслугах данный врач ничего не зарабатывает; можно ли сделать отсюда вывод, что талант или состояние этого врача равняются

нулю? Таков между тем вывод из рассуждения Сэя, вывод, очевидно, абсурдный.

Итак, оценка таланта в денежных единицах вещь невозможная, так как талант и монета вещи несоизмеримые. При помощи какого разумного аргумента можно бы доказать, что врач должен зарабатывать вдвое, втрое или во сто раз больше, чем крестьянин? Это затруднение неразрешимое, которое до сих пор разрешалось только скупостью, необходимостью и гнетом. Право таланта должно получить не такое определение, но как же сделать последнее?

4. Прежде всего я утверждаю,

что врач не может быть поставлен в худшее положение, чем остальные производители, что он не может очутиться вне пределов равенства; доказывать этого я не стану, но я прибавлю, что врач не может также возвыситься над этим равенством, ибо талант его есть собственность коллективная, за которую он не платил и за которую он вечно останется в долгу.

Подобно тому как создание всякого орудия производства есть результат коллективной силы, и талант, так же как и знания человека, является продуктом мирового разума и общечеловеческого знания, медленно накапливавшегося при

посредстве множества учителей и при помощи целого ряда более низких отраслей промышленности. Заплатив своим профессорам, уплатив за свои книги, за свои дипломы и все свои издержки, врач так же мало оплатил свой талант, как капиталист оплатил свое имение и свой замок, выдав жалованье рабочим. Человек талантливый помогал воспитывать в себе самом полезное орудие, поэтому он является его совладельцем, но не его собственником. Таким образом, в нем одновременно заключаются и свободный работник, и накопленный социальный капитал. В качестве работника он призван к

употреблению орудия, к управлению механизмом, каковым являются его собственные способности; в качестве капитала он себе не принадлежит и эксплуатирует себя не для себя, но для других.

Талант скорее мог бы дать повод понизить ему вознаграждение, но не повысить его над обычной нормой, если бы со своей стороны талант не нашел в своем превосходстве защиту против упрека за жертвы, которые он вызвал. Всякий производитель получает воспитание, всякий работник представляет собою талант, способность, т. е. коллективную собственность, создание которой обходится, однако, не всегда

одинаково дорого. Меньше учителей, меньше времени, меньше традиций необходимо для того, чтобы воспитать земледельца и ремесленника; созидательные усилия или, если можно так выразиться, продолжительность социального созревания соответствуют уровню способностей, но между тем как врач, поэт, художник, ученый производят мало и поздно, производство земледельца менее прибыльно и приступает он к нему рано. Какова бы ни была способность человека, раз эта способность создана, он себе более не принадлежит. Подобный материалу, который обрабатывает

искусная рука, он имел способность *сделаться*, а общество *сделало* его. Может ли горшок сказать горшечнику: я есмь то, что я есмь, и тебе я не обязан ничем?

Художник, ученый, поэт получают справедливую награду уже в виде полученного от общества разрешения посвятить себя наукам и искусству. Таким образом, они на самом деле работают не для себя, но для общества, которое создало их и освободило их от всяких других обязанностей. Общество в крайнем случае может обойтись без прозы и стихов, без музыки и живописи, без того, чтоб «...была ему звездная книга ясна...», но ни одного дня не

может обойтись без крова и пищи.

Несомненно, человек живет не одним хлебом; он должен также, согласно Евангелию, *жить словом Божиим*, т. е. любить добро и осуществлять его, познавать прекрасное, удивляться ему и изучать чудеса природы. Но для того чтобы иметь возможность культивировать дух, он должен прежде всего поддерживать свое тело. Эта последняя обязанность так же настоятельна в силу необходимости, как другая в силу благородства. Если очаровывать и поучать людей похвально, то похвально также и кормить их. Когда общество, верное принципу разделения труда, доверяет

одному из своих членов выполнение какой—нибудь научной или художественной миссии, побуждая его покинуть обычное занятие, оно должно вознаградить его за тот его труд, который мог бы быть направлен на производство необходимых ему вещей, но больше оно ничем ему не обязано. Если бы он потребовал большего, то общество, отказываясь от его услуг, свело бы также на нет его притязания, и тогда, принужденный для того, чтобы жить, заниматься трудом, для которого природа его не предназначила, человек гениальный почувствовал бы свою слабость и влачил бы самое жалкое существование.

Рассказывают, что одна знаменитая певица запросила с императрицы Екатерины II 20 000 рублей. Екатерина ответила ей: «Но ведь это больше, чем я даю моим фельдмаршалам!» — «Вашему величеству, — возразила певица, — остается только заставить петь своих фельдмаршалов».

Если бы Франция, более могущественная, чем императрица Екатерина, сказала г-же Рашель: «Вы будете играть за 100 луи или пойдете прясть пряжу», а господину Дюпре: «Вы будете петь за 2400 франков или отправитесь работать в виноградниках», то неужели артистка Рашель и певец Дюпре

покинули бы театр? Если бы даже они это и сделали, то первые и раскаялись бы.

Говорят, что г-жа Рашель получает от Comédie Française 60 000 франков в год. Для такого таланта, каким обладает она, гонорар этот невелик; почему бы не платить 100—200 тысяч франков? Почему бы не назначить ей цивильный лист? Что за мещанство! Разве можно торговаться с артисткой, подобной г-же Рашель?

Возражают, что администрация не могла без убытка дать больше, что, конечно, талант артистки велик, но что, устанавливая ее жалованье, пришлось также принять в

соображение бюджет компании.

Все это справедливо, но все это также подтверждает сказанное мною выше, т. е. то, что талант артиста может быть бесконечен, но что его денежные потребности, по необходимости, должны быть ограничены, с одной стороны, полезностью услуг, оказываемых им обществу, которое ему платит, с другой стороны, средствами этого общества; иными словами, требование продавца уравнивается предложением покупателя.

Г-жа Рашель, говорят, дает французскому театру больше шестидесяти тысяч франков дохода; я

согласен с этим, но в таком случае я призываю к ответу французский театр: с кого он получает этот доход? — С совершенно свободных любопытных. — Да, но рабочие, квартиронаниматели, арендаторы и проч., у которых эти любопытные берут все, что потом несут в театр, разве они свободны? А когда лучшая часть продуктов их труда тратится помимо их на зрелища, то можно ли сказать с уверенностью, что семьи их в это самое время ни в чем не терпят недостатка? До тех пор, пока французский народ не выскажет вполне определенно и с полным знанием дела своей воли относительно вознаграждения, какое

должны получать художники, ученые и общественные деятели, жалование, получаемое г-жою Рашель и всеми ей подобными, будет принудительным налогом, взятым силою для того, чтобы вознаградить тщеславие и поддерживать разврат.

Только благодаря тому, что мы несвободны и недостаточно просвещены, мы терпим такое надувательство, и работник допускает, что авторитет власти и эгоизм таланта извлекают выгоды из любопытства праздных людей; только благодаря тому, что мы несвободны и невежественны, мы переносим вечные, чудовищные неравенства, поддерживаемые и

одобряемые общественным мнением.

Вся нация, и только нация платит ученым, артистам, писателям и должностным лицам, из чьих бы рук они ни получали свое вознаграждение. Чем должно руководствоваться общество, уплачивая им вознаграждение? Принципом равенства. Я доказал это, когда давал оценку таланта, и подтверждаю это в следующей главе невозможностью всякого социального неравенства.

Что же мы доказали всем предыдущим? Вещи настолько простые, что они кажутся прямо—таки глупыми.

Подобно тому как

путешественник не может присвоить себе в собственность большой дороги, по которой он проходит, так я земледелец не может сделать своей собственностью землю, которую он засеивает.

Если тем не менее, благодаря своему труду, работник может присвоить себе вещество, которое он эксплуатирует, то и всякий эксплуатирующий последнее может сделаться собственником с таким же правом.

Всякий капитал, как материальный, так и духовный, будучи созданием коллективным, представляет собою, следовательно, и собственность коллективную.

Сильный не имеет права препятствовать своим вторжением труду слабого, человек ловкий не вправе злоупотреблять доверчивостью простака.

И наконец, никто не может быть принужден купить то, чего он не желает, и тем более заплатить за то, чего он не покупал. Следовательно, так как меновая ценность продукта определяется не мнением продавца или покупателя, но суммою времени и расходов, затраченных на него, то собственность каждого всегда остается одинаковой.

Разве все эти истины не просты до чрезвычайности? Да, читатель, но какими бы они ни казались вам

наивными, вы узнаете истины еще более наивные и еще более пошлые. Мы идем путем, противоположным тому, каким идут математики. По мере того как они подвигаются вперед, задачи их становятся все труднее и сложнее. Мы же, наоборот, начав с вопросов самых запутанных, приходим к аксиомам.

Однако для того, чтобы закончить эту главу, мне надо еще изложить одну из тех необыкновенных истин, которые никогда еще не были открыты ни правоведами, ни экономистами.

8. При господстве справедливости

труд разрушает собственность

Это положение есть вывод из двух предыдущих параграфов, которые мы здесь прежде всего резюмируем. Изолированный человек может удовлетворить только незначительную часть своих потребностей; вся сила человека в обществе и в разумной комбинации всех человеческих сил; разделение труда и кооперация увеличивают количество и разнообразие продуктов; благодаря специализации приемов, качество предметов потребления повышается.

Нет, следовательно, ни одного человека, который не жил бы

произведениями многих тысяч различных рабочих, нет ни одного рабочего, который не получал бы от общества все, что нужно для потребления, а вместе с тем и средства воспроизводства. Кто в самом деле может сказать: я один произвожу то, что потребляю, я ни в ком не нуждаюсь. Может ли земледелец, которого старые экономисты считали единственным истинным производителем, земледелец, получающий жилище, мебель, одежду, пищу благодаря помощи каменщика, плотника, портного, мельника, булочника, мясника, лавочника, кузнеца и проч., может ли, говорю я, земледелец

похвастаться тем, что производит все сам?

Предметы потребления даются каждому всеми; на этом же основании производство каждого предполагает производство всех. Один продукт не может существовать без других продуктов, изолированная отрасль промышленности вещь невозможная. Что сделал бы земледелец со своим урожаем, если бы другие не приготовили для него сараев, плугов, повозок, одежды и т. д. Что мог бы сделать ученый без книгопродавца, типограф без словолитчика и механика, а эти последние без целого ряда других работников... Мы не будем

продолжать этого перечисления, чтобы нас не обвинили в пристрастии к общим местам. Все отрасли промышленности, благодаря своим взаимоотношениям, соединяются в одно целое, все продукты служат друг другу целью и средством, все роды таланта представляют собой только ряд метаморфоз от низшего к высшему.

И вот этот неоспоримый и не опровергнутый факт, что в изготовлении каждого продукта участвуют многие, ведет к тому, что все частные произведения делаются общими. Таким образом, каждый продукт, выходя из рук своего творца, оказывается обремененным ипотекой

общества. Сам производитель имеет на свой продукт право, выражающееся дробью, знаменатель которой равен числу индивидов, составляющих общество. Правда, что взамен этого производитель имеет право на все продукты других людей. Но разве не очевидно, что эта взаимность, отнюдь не допуская собственности, уничтожает даже владение? Работник не является даже владельцем своего продукта; как только он заканчивает последний, общество забирает его.

Мне, однако, могут возразить, что если даже будет так, если продукт не будет принадлежать производителю, то эквивалент,

который дает общество каждому рабочему за его продукт, жалованье, вознаграждение, заработная плата, сделается его собственностью. Неужели вы станете отрицать, что эта—то уж собственность законна? Если работник, вместо того чтобы целиком израсходовать свое вознаграждение, сделает какие—либо сбережения, то неужели же можно лишить его их?

Работник не является даже собственником платы за свой труд. Он не может безусловно распоряжаться ею. Не будем ослепляться ложной справедливостью: то, что дается рабочему в обмен на его продукт,

дается ему не как вознаграждение за выполненный труд, но как средство к жизни и аванс под работу, которую еще надо выполнить. Мы потребляем прежде, чем производим; работник в конце дня может сказать: я уплатил мои вчерашние расходы, завтра я уплачу расходы сегодняшние. В каждый момент своей жизни член общества выходит из границ своего текущего счета; он умирает, не имея возможности свести концы с концами; может ли он при таких условиях накопить сокровища?

Говорят о сбережениях: это выражение, созданное собственником. При господстве равенства всякое сбережение, не

имеющее целью дальнейшего производства или наслаждения, невозможно. Почему? Потому что эти сбережения не могут быть капитализированы, теряют смысл и *конечную причину*. Это выяснится лучше при чтении следующей главы.

Вывод:

Работник по отношению к обществу является должником, неизбежно умирающим, не выплатив своего долга. Собственник является недобросовестным поверенным, отрицающим, что ему что-либо дали,

и требующим платы за дни, месяцы и годы, в течение которых он считался поверенным.

Принципы, которые мы здесь изложили, .могут показаться иным читателям чересчур отвлеченными, поэтому я воспроизведу их в более конкретной форме, доступной самым ограниченным умам и чреватой чрезвычайно интересными выводами.

Глава IV

Собственность невозможна

Последним доводом собственников, неотразимым, по их мнению, аргументом является утверждение, что равенство условий невозможно. «Равенство условий – химера! – восклицают они с торжествующим видом. – Разделите сегодня все блага поровну, завтра это равенство исчезнет!»

К этому банальному утверждению, которое они повсюду повторяют с невероятной уверенностью, они всегда

прибавляют следующее, сделавшееся обычным их припевом замечание: если бы все люди были равны, никто не захотел бы работать.

Припев этот поется на разные лады:

Если бы все были хозяевами, никто не захотел бы слушаться.

Если бы не было богатых, то кто давал бы работу беднякам?..

Если бы не было бедных, то кто работал бы на богатых?.. Впрочем, обвинять мы никого не будем. Попробуем лучше дать ответ на эти рассуждения.

Если я докажу, что именно сама собственность невозможна; что именно собственность —

противоречие, химера, утопия; если я докажу это не метафизическими и юридическими соображениями, но при помощи чисел, при помощи уравнений и вычислений; если я докажу это, каков тогда будет ужас изумленного собственника? И что скажете вы, читатель, если я обращу аргументацию собственников против них самих?

Миром управляют числа, *mundum regunt numeri*; этот афоризм относится настолько же к области нравственной и политической, насколько и к области небесных тел и молекул. Элементы права те же, что и элементы алгебры. Законодательство и правление не что

иное, как искусство классификации и уравнивания сил: вся юриспруденция заключается в арифметических правилах. Эта глава и следующая должны обосновать это невероятное учение. Тогда перед взором читателя раскроется громадная и новая область, тогда мы уразумеем в форме численных отношений синтетическое единство философии и наук, тогда, преисполненные восторгом и изумлением перед глубокой и величественной простотой природы, мы воскликнем вместе с апостолом: «Да, Вечный все сотворил при помощи числа, веса и меры». Мы тогда поймем, что равенство условий

не только возможно, но представляет собою единственно возможное; что кажущаяся невозможность такого равенства происходит оттого, что мы всегда представляем его себе либо в связи с собственностью, либо в связи с общностью, между тем как и первая и вторая одинаково противны природе человека. Мы поймем, наконец, что ежедневно и ежечасно, в то время как мы говорим с уверенностью о неосуществимости равенства отношений, оно осуществляется на самом деле; что приближается момент, когда мы, не искавшие и даже не желавшие его, установим его повсюду; что с ним, в нем и через него должен

обнаруживаться политический
строй, соответствующий природе и
истине.

Говоря об ослеплении и
упорстве, вызываемых страстями,
кто-то сказал, что если бы человеку
понадобилось отрицать
арифметические истины, то он
нашел бы возможность подвергнуть
сомнению их достоверность. Здесь
представляется случай проделать
этот любопытный опыт. Я теперь
поведу атаку на собственность уже
не при помощи ее собственных
афоризмов, но при помощи
вычислений. Пусть же собственники
готовятся наблюдать за точностью
моих вычислений, ибо, если, к

несчастьем для собственников, последние окажутся правильными, собственники погибнут.

Доказывая невозможность собственности, я доказываю ее несправедливость; в самом деле:

То, что *справедливо*, тем более *полезно*.

То, что *полезно*, тем более *истинно*.

То, что *истинно*, тем более *возможно*.

Следовательно, все, что выходит за пределы возможного, выходит также и из пределов истины, полезности и справедливости. Следовательно, уже а priori можно судить о справедливости какой-либо

вещи по ее невозможности, так что вещь абсолютно невозможная будет в то же время и абсолютно несправедливой.

Собственность физически и математически невозможна

Доказательство

Аксиома. *Собственность есть присвоенное собственником ни на чем не основанное право (droit d'aubaine)^[42] собственника на вещь, отмеченную им его печатью.*

Это положение есть истинная аксиома, ибо:

1. Это не есть определение, так как не выражает всего того, что включает в себе право собственности, т. е. право продавать,

обменивать, дарить; право изменять, преобразовывать, потреблять, уничтожать, употреблять и злоупотреблять и т. д. Эти права представляют собою различные действия собственности, которые можно рассматривать отдельно, но о которых мы здесь говорить не станем, имея в виду заняться одним из них, именно правом получать что-либо без достаточных на то оснований (*droit d'aubaine*).

2. Это положение общепризнанное; никто не может отрицать его, не отрицая фактов, не будучи тотчас же опровергнутым опытом всего света.

3. Это положение

непосредственно очевидное, так как факт, который оно выражает, всегда либо на самом деле, либо, так сказать, в потенции сопровождает собственность и так как последняя обнаруживается главным образом в нем и состоит также именно из него.

4. Отрицание этого положения, наконец, включает в себе противоречие: право получать доход (droit d'aubaine) действительно присуще собственности, тесно связано с нею, и там, где оно не существует, нет также и собственности.

Примечание. Доход (aubaine) имеет различные названия сообразно с теми вещами, которые его создают:

аренда для земли, *наемная плата* для домов и недвижимостей, *рента* для вечных вкладов, *процент* для денег, *доход*, *прибыль*, *барыш* (не следует смешивать их с заработной платой или справедливой платой за труд) для обмена.

Доход (*aubaine*) представляет собою своего рода регалию, осязаемое и могущее быть потребленным проявление почтения, принадлежит собственнику в силу его номинальной и, так сказать, метафизической оккупации: он наложил свою печать на данную вещь и этого достаточно для того, чтобы никто не мог завладеть этой вещью без его разрешения.

Это разрешение завладеть его вещью собственник может дать даром, но обыкновенно он его продает. Фактически эта продажа есть мошенничество и растрата общественного имущества, но благодаря фикции легальности самой собственности эта мошенническая продажа, неизвестно почему строго караемая в других случаях, становится для собственника источником прибыли и почета.

Признательность, которую собственник требует за уступку своего права, выражается либо в денежных знаках, либо в доходе натурою с данного произведения. Таким образом, благодаря праву

получать доходы (*droit d'aubaine*),
собственность пожинает, но не сеет,
собирает, но не обрабатывает,
потребляет, но не производит,
наслаждается и ничего не делает.
Боги собственности очень не похожи
на кумиров псалмопевца, последние
имели руки, но не прикасались,
первые же *manus habent et palrabunt*.

Все таинственно и
сверхъестественно в пожаловании
права получения доходов (*droit
d'aubaine*). Ужасные обряды
сопровождают инаугурацию
собственника, подобно тому как
некогда обрядами же
сопровождалось посвящение новых
членов орденов. Прежде всего

происходит *посвящение* вещи, посвящение, посредством которого до сведения всех, что они должны платить определенный взнос собственнику всякий раз и сколько раз они пожелают в обмен на данное и подписанное им разрешение пользоваться его вещью.

Затем произносится *анафема*, которая, раз за вещь не заплачено, воспрещает касаться вещи даже в отсутствие собственника и объявляет святотатцем, преступником и злодеем, достойным кары светской власти, всякого, кто посягнет на собственность.

Наконец, следует *освящение*, благодаря которому собственник или

предполагаемый святой, бог—покровитель данной вещи, обитает в ней духовно, подобно божеству, витающему в святилище. Благодаря действию этого освящения, субстанция вещи, так сказать, обращена в личность собственника, всегда присутствующего во всех видах или видоизменениях данной вещи.

Таково учение юристов в его чистом виде. «Собственность, — говорит Тулье, — есть *нравственное качество*, присущее вещи, реальная связь, соединяющая ее с собственником и не могущая быть нарушенной без согласия последнего». Локк почтительно

предполагал, что Бог, пожалуй, мог создать материю мыслящую; Тулье утверждает, что собственник делает ее *нравственной*. Много ли нужно еще для того, чтобы обожествить собственника? Почести и теперь уже ему воздаются божеские.

Собственность есть право получать доходы (droit d'aubaine), т. е. власть производить без труда, а производить без труда — значит из ничего создать нечто, одним словом, творить. Это, конечно, нетрудно для того, кто может сделать нравственной материю. Поэтому юристы правы, прилагая к собственникам слова Писания: Ego dixi: Dii estis et filii Excelsi omnes^[43]

(Я говорю: вы боги и все вы сыны Всевышнего).

Собственность есть право получения доходов (droit d'aubaine) – эта аксиома будет для нас как бы именем апокалипсического зверя, именем, заключающим в себе всю тайну этого зверя. Известно, что тот, кто раскрыл бы тайну этого имени, уразумел бы все пророчества и победил бы зверя. И мы также убьем сфинкса собственности, разъяснив нашу аксиому. Исходя из права, из этого в высшей степени характерного факта, мы проследим все изгибы древнего змия, мы перечислим все человекоубийственные извивы этого ужасного солитера, голова которого,

вооруженная тысячами присосков, всегда избегала ударов самых злейших своих врагов и оставляла в их руках только громадные куски своего тела. Для победы над этим чудовищем нужно было не мужество; ему суждено погибнуть лишь тогда, когда вооруженный волшебным жезлом пролетарий измерит его.

Выводы. 1. *Величина дохода* (aubaine) пропорциональна вещи. Каков бы ни был размер процента—3, 5, 10 или $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, все равно закон его роста остается неизменным и заключается в следующем:

Всякий капитал, выражающийся в деньгах, может быть рассматриваем как член арифметической

прогрессии, арифметическое отношение которой равняется 100, и доход от этого капитала равняется соответственному члену другой арифметической прогрессии, отношение которой равно величине процента. Таким образом, если капитал в 500 франков будет пятым членом арифметической прогрессии, отношение которой равно 100, то доход с него в 3% будет равен пятому члену арифметической прогрессии, отношение которой равняется 3:

100	200	300	400	500
-----	-----	-----	-----	-----

3	6	9	12	15
---	---	---	----	----

Знакомство с логарифмами этого рода, таблицы которых, в

высшей степени разработанные, имеются у каждого собственника, даст нам ключ к пониманию самых любопытных загадок и поведет нас от одной неожиданности к другой.

Согласно этой логарифмической теории права получения дохода (*droit d'aubaine*) всякая собственность, с даваемым ею доходом, может быть определена как число, логарифм которого равен сумме его единиц, деленной на сто и умноженной на величину процента. Так, напр., дом, оцененный в 100 000 франков и сданный внаем из 5%, согласно формуле $(100\ 000 \times 5)/100 = 5000$, дает 5000 франков дохода. И наоборот, имение, дающее 3000

франков дохода капитализированных из $2\frac{1}{2}\%$, согласно другой формуле $(3000 \times 100)/2\frac{1}{2} = 120\,000$, стоит 120 000 франков.

В первом случае отношение прогрессии, показывающей увеличение суммы %, равно 5, во втором случае — $2\frac{1}{2}$.

Примечание. Доход (aubaine), известный под названиями арендной платы, ренты, процента, уплачивается ежегодно; плата за наем вносится еженедельно, ежемесячно, ежегодно; прибыль и барыш получают при каждом обмене. Таким образом, доход пропорционален в одно и то же

время и времени и предмету; поэтому—то было сказано: *foenus serpit sicut cancer* (ростовщичество растет подобно язве рака).

2. *Доход (aubaine), уплачиваемый собственнику держателем данной вещи, потерян для последнего.* Ибо если бы собственник, в обмен за получаемый им доход, должен был давать нечто большее, чем разрешение пользоваться вещью, то его право собственности не было бы совершенным, он не владел бы *jure optimo, jure perfecto*^[44], т. е. не был бы действительным собственником. Итак, все, что переходит из рук владельца в руки собственника в качестве налога, уплаты за

разрешение владеть, становится собственностью второго и утрачивается безвозвратно первым, который ничего не может получить обратно иначе как в виде подарка, милостыни, вознаграждения за услугу или платы за доставленный им товар. Словом, находка (aubaine) утрачивается заемщиком; *res perit solventi*, сказал бы энергичный римлянин.

3. *Право получать доходы (droit d'aubaine) осуществляется по отношению к собственнику так же, как по отношению к иноземцу.* Хозяин вещи, различая в своем лице владельца и собственника, назначает самому себе, за пользование своей

собственностью, такое же вознаграждение, какое он мог бы получать от третьего лица; таким образом, капитал в руках капиталиста приносит доход, так же как в руках заемщика или ответственного члена коммандитного общества. В самом деле, если я, вместо того чтобы брать 500 франков за наем моей квартиры, предпочту сам пользоваться ею, то я, очевидно, остаюсь должен самому себе столько, сколько я отказываюсь брать у другого; принцип этот повсюду проводится в торговле, и экономисты считают его аксиомой. Поэтому промышленники, являющиеся собственниками своего оборотного

капитала, хотя и не должны никому платить проценты, всегда вычисляют свою прибыль, вычтя предварительно свои расходы, жалованье и процент на капитал. По этой же причине ростовщики стараются иметь как можно меньше свободных денег: всякий капитал по необходимости приносит проценты, если же этот процент никем не вносится, то его надо брать из капитала, который тогда уменьшится сообразно величине процента.

Таким образом, благодаря праву получения доходов (*droit d'aubaine*) капитал сам себя разрушает; Папиниан, несомненно, выразил бы эту мысль в следующей настолько же

энергичной, насколько и изящной формуле: *Foenus mordet solidum*^[45]. Я извиняюсь, что так часто прибегаю здесь к латыни; я таким образом воздаю должное народу, который в большей степени, чем все другие народы, был народом–ростовщиком.

1–е предложение.

Собственность невозможна, потому что от ничего она требует нечто.

Рассмотрение этого предложения ведет к тому же, к чему привело рассмотрение происхождения аренды (*fermage*), по поводу которого так много спорили экономисты. Когда я читаю то, что большинство из них писали по этому

поводу, я не могу воздержаться от смешанного чувства досады и презрения при виде этого нагромождения пошлостей, где глупость соперничает с низостью. Если бы не ужасные выводы, то эти теории можно было бы назвать сказкой про белого бычка. Искать рационального и законного источника того, что в действительности является только кражей, мошенничеством и грабежом, — это верх безумия, высшая степень гипноза, до которой мог довести даже просвещенные умы извращенный эгоизм.

«Земледелец, — говорит Сэй, — является фабрикантом хлеба, и в

числе орудий, которые служат ему для изменения вещества, он употребляет большое орудие, названное нами полем. Когда он является не собственником поля, а только арендатором его, то это поле также является орудием, за наем которого он платит собственнику. Арендатор заставляет возместить свои расходы покупателя, последний — еще какое-нибудь третье лицо, пока наконец продукт доходит до потребителя, возмещающего первый расход плюс все остальные, последующие расходы на продукт».

Оставим в стороне все последовательные расходы, благодаря которым продукт доходит до

потребителя, и займемся теперь только первым из этих расходов—авансов, уплачиваемых собственнику арендатором. Спрашивается, на каком основании собственник заставляет платить себе эту ренту?

Согласно Рикардо, Мак—Куллоху и Миллю, арендная плата в собственном смысле слова есть не что иное, как *излишек продукта более плодородной земли над продуктом земель низшего качества*. Таким образом, арендная плата начинает поступать с земли первого рода лишь с того момента, когда, благодаря увеличению населения, является необходимость прибегнуть к землям второй категории.

Трудно найти в этом какой-нибудь смысл. Каким образом из различия в качестве почвы может возникнуть право на нее? Каким образом различие качеств гумуса может породить законодательно-политический принцип? Для меня эта метафизика так тонка или, быть может, настолько густа, что я, чем больше вникаю в нее, тем меньше понимаю. — Пусть земля a , способная пропитать 10 000 человек, и земля b , способная пропитать 9000, по площади равны. Когда, благодаря приросту населения, люди, живущие на земле a , будут вынуждены обрабатывать землю b , собственники земли a заставят платить

арендаторов этой земли ренту, рассчитанную в отношении 10 к 9. Вот, по-моему, смысл того, что говорят Рикардо, Мак-Куллох и Милль. Но если земля *а* прокармливает столько людей, сколько она вообще в состоянии прокормить, т. е. если обитатели земли *а* имеют ровно столько, сколько необходимо для их жизни, то как же могут они платить арендную плату?

Если бы они ограничились утверждением, что различие в качестве земли было случайным поводом возникновения ренты, но не его причиной, то мы могли бы извлечь из этого простого замечания

весьма драгоценные сведения, а именно уяснение того, что принципом установления ренты было стремление к равенству. В самом деле, если право всех людей на владение хорошей землей равно, то никто не может быть вынужден без вознаграждения обрабатывать земли худшие. Таким образом, согласно Рикардо, Мак-Куллоху и Миллю, арендная плата представляла бы собою вознаграждение, имеющее целью уравнивать прибыль и труд. Эта система практического равенства, надо признаться, дурна, но намерения были добрые; какой же вывод могли бы сделать из своей теории в пользу собственности

Рикардо, Мак—Куллох и Милль? Их теория обращается против них самих и разбивает их.

Мальтус полагает, что источником аренды является способность земли давать больше средств к жизни, чем нужно для содержания обрабатывающих ее людей. Я спрашиваю теперь Мальтуса, почему успешность труда дает людям праздным право участвовать в пользовании произведениями этого труда?

Но почтенный г. Мальтус ошибается относительно значения факта, о котором он говорит. Да, земля имеет способность давать больше средств к жизни, чем нужно

для тех, кто ее обрабатывает, если под обрабатывающими ее подразумевать только арендаторов. Портной также prepares больше одежды, чем ему нужно самому, столяр – больше мебели, чем нужно для его хозяйства. Но так как различные профессии находятся во взаимоотношении и поддерживают друг друга, то *обрабатывающими* землю следует считать не только земледельцев, но представителей всех искусств и ремесел, вплоть до врача и учителя. Принцип, который Мальтус приписывает аренде, есть принцип торговли, но так как основным законом торговли является эквивалентность обмениваемых

продуктов, то все нарушающее эквивалентность нарушает также этот закон. Здесь налицо ошибка в оценке, которую надо исправить.

Буханан, комментатор Смита, видел в арендной плате результат монополии и утверждал, что один только труд обладает производительностью.

Придерживаясь такого взгляда, он полагал, что без этой монополии продукты стоили бы дешевле, и причиной существования арендной платы считал гражданский закон. Этот взгляд представляет собой вывод из взгляда, признающего гражданский закон основой собственности. Но почему же

гражданский закон,
долженствующий быть писанным
разумом, санкционировал эту
монополию? Ведь тот, кто говорит о
монополии, неизбежно исключает
при этом справедливость. Итак,
говорить, что арендная плата есть
монополия, санкционированная
законом, — это значит говорить, что
несправедливость имеет своим
принципом справедливость, а такое
утверждение — очевидный абсурд.

Сэй отвечает Буханану, что
собственник вовсе не является
монополистом, потому что
монополист «есть тот, кто не
прибавляет товару ни на йоту
полезности».

Какую же полезность вещи, произведенные арендатором, приобретают от собственника? Разве он пахал, сеял, косил, жал, полел, веял? Ведь при помощи этих действий арендатор и его семья увеличивают полезность веществ, которые они потребляют для того, чтобы воспроизвести их.

«Землевладелец—собственник увеличивает полезность товаров при помощи своего орудия, каковым является земля; это орудие получает вещество, из которого состоит хлеб, в одном виде и возвращает его в другом. Действие земли представляет собой химическую операцию, благодаря которой

вещество зерна изменяется таким образом, что оно, уничтожаясь, размножается. Итак, земля есть производитель полезности; когда она заставляет платить за эту полезность в виде аренды или заработной платы своему собственнику, то она дает в то же время потребителю, в обмен за то, что он платит, некоторую долю ценности. Она дает ему произведенную полезность, и именно, производя эту полезность, земля является производительной, так же как и труд».

Поясним все это.

Кузнец, приготовляющий для земледельца орудия обработки почвы, плотник, делающий для него

телегу, каменщик, строящий для него сарай, и проч., — все они содействуют сельскохозяйственному производству, изготовляя необходимые для него предметы. Все они производители полезности. В силу этого все они имеют право на долю продукта.

«Несомненно, — говорит Сэй, — но земля есть также орудие, услуги которого должны быть оплачены, следовательно...»

Я согласен с тем, что земля орудие, но кто работает этим орудием? Не собственник ли? Не он ли, в силу права собственности, в силу этого нравственного качества, проникшего в землю, сообщает ей силу и плодородие? В том-то именно

и заключается монополия
собственника, что он, не создав
орудия, заставляет платить себе за
пользование им. Пусть явится
Создатель и сам потребует арендной
платы за землю — мы посчитаемся с
ним, или пусть собственник, его
якобы поверенный, покажет нам
свою доверенность.

«Услуга собственника, —
добавляет Сэй, — удобна для него; с
этим согласен и я».

Наивное признание!

«Но мы не можем обойтись без
нее. Не будь собственности,
земледельцы дрались бы друг с
другом из-за земли, не имеющей
собственника, и земля оставалась бы

необработанной...»

Итак, роль собственника сводится к тому, чтобы примирить земледельцев, отнимая у них все... О справедливость, о разум! О чудесная наука экономистов! Собственник, по мнению последних, подобен тому прохожему, которого два путешественника, поспорившие из-за устрицы, позвали рассудить их и который, вскрыв устрицу и проглотив ее, сказал им:

«Присуждаю вам по раковине».

Можно ли сказать о собственности что-либо худшее?

Объяснит ли нам Сэй, почему земледельцы, которые без собственника дрались бы между

собою из-за обладания землей, не дерутся теперь из-за того же с собственниками? По-видимому, потому, что они считают последних законными владельцами, и потому, что уважение к фиктивному праву в них сильнее, чем жадность. Я доказал во второй главе, что владения без собственности достаточно для сохранения порядка в обществе. Неужели было бы труднее привести к соглашению владельцев, не имеющих хозяина, чем арендаторов, имеющих над собою собственников? Люди труда, уважающие в ущерб себе фиктивное право праздных людей, вряд ли решились бы нарушить естественное

право производителя. Как! Разве колонист сделался бы более жадным к земле, если бы, перестав пользоваться ею, утратил на нее право? Неужели невозможность требовать дохода, взимать налог в свою пользу с труда другого могла бы сделаться источником раздоров и судебных процессов? Странная логика у господ экономистов! Мы, однако, еще не кончили. Допустим, что собственник является законным хозяином земли.

«Земля есть орудие производства», — говорят экономисты. Это верно. Но когда они, превращая существительное в прилагательное, говорят, что «земля

есть орудие производительное», они
впадают в постыдное заблуждение.

Согласно Кенэ и старым
экономистам, всякое производство
исходит от земли. Смит, Рикардо,
Дестют-де-Траси, наоборот,
считают источником производства
труд. Сэй и большинство тех,
которые явились после него, учат, что
и земля, *и* труд, *и* капиталы
производительны. Это называется
эклектизмом в политической
экономии. Истина заключается в
том, что *ни* земля, *ни* труд, *ни*
капиталы непроизводительны.
Производство является результатом
этих трех одинаково необходимых
элементов, которые, взятые порознь,

одинаково бесплодны.

В самом деле, политическая экономия трактует о производстве, распределении и потреблении богатств или ценностей, но каких ценностей? Ценностей, произведенных человеческой промышленностью, т. е. результатов превращений, которые человек заставил претерпеть вещество, чтобы сделать его пригодным для употребления, а вовсе не естественных произведений природы. Если бы даже труд человека заключался только в простом движении рукою, то все-таки без этого движения для него не может быть произведенной

ценности; без этого движения соль, заключающаяся в морях, вода источников, полевая трава, лесное дерево как бы не существуют; море без рыбака и его сетей не дает рыбы, лес без дровосека и его топора не дал бы ни дров, ни материала для постройки; поле без косца не дает ни сена, ни отавы; природа представляет собой как бы громадную массу материи, которую можно эксплуатировать в целях производства; но сама природа производит только для природы. С точки зрения экономической ее произведения, по отношению к человеку, не являются еще произведениями.

Капиталы, орудия, машины также непроеизводительны; молот и наковальня без кузнеца и железа ковать не могут; мельница без мельника и зерна не может молотить и т. д. Сложите вместе орудия и первоначальные материалы, бросьте плуг и семена на плодородную землю, оборудуйте кузницу, зажгите огонь и затем бросьте все это, и вы также ничего не произведете. Факт этот был замечен экономистом, у которого больше здравого смысла, чем у остальных его товарищей: «Сэй заставляет капиталы играть активную роль, не соответствующую их природе: капиталы — это орудия сами по себе инертные» (Ж. Дроз.

Политическая экономия).

Если, наконец, даже соединить труд и капиталы, но плохо комбинировать их, то они также ничего не произведут. Обработайте песчаную пустыню, обмолотите воду рек, просейте через решето типографский шрифт — все это не даст вам ни хлеба, ни рыбы, ни книг. Ваш труд будет настолько же непроизводителен, как труд армии Ксеркса, который, по словам Геродота, заставил три миллиона своих солдат в течение суток сечь розгами Геллеспонт в наказание за то, что он разрушил и унес понтонный мост, построенный по приказу великого царя^[46].

Орудия и капиталы, земля и труд, рассматриваемые отдельно и отвлеченно, могут считаться производительными только в переносном смысле слова. Поэтому собственник, требующий налога в свою пользу в виде платы за услугу своего орудия, за производительную силу земли, делает совершенно ложное предположение, а именно что капиталы производят сами по себе. Заставляя оплачивать этот воображаемый продукт, собственник в буквальном смысле слова ни за что получает нечто.

Возражение. Если, однако, кузнец, плотник, одним словом, всякий занятый в промышленности

человек имеет право на продукт благодаря доставленным им орудиям и если земля есть орудие производства, то почему же это орудие не может доставить своему истинному или предполагаемому собственнику известную долю продукта, какую получает, напр., кузнец?

Ответ. Здесь мы наталкиваемся на самую сущность загадки, которую следует распутать для того, чтобы разобраться в странных последствиях права получать доход (*droit d'aubaine*).

Работник, изготовляющий или починяющий орудия земледельца, получает за это плату *один раз*: либо в момент сдачи работы, либо в

определенные сроки. Раз эта плата выдана рабочему, то орудия, доставленные им, уже не принадлежат ему более. Никогда он не требует двойной платы за одно и то же орудие, за одну и ту же починку; если он ежегодно получает известную долю продуктов фермера, то это происходит потому, что ежегодно же он что-нибудь делает для него.

Собственник, наоборот, ничего не уступает из своего орудия. Он вечно заставляет платить себе за него и вечно сохраняет его за собою.

В самом деле наемная плата, которую получает собственник, не включает в себя расходов на

содержание и починку орудия; расходы эти ложатся на нанимателя и лишь постольку касаются собственника, поскольку он заинтересован в сохранении вещи. Если даже он берется сам позаботиться об этом, то он заставляет платить себе за свою услугу.

Наемная плата не представляет собою также произведения орудия, так как орудие само по себе ничего не производит. В этом мы уже убедились выше и еще раз будем иметь случай убедиться при дальнейшем изложении.

Наконец, наемная плата не выражает собою также участия

собственника в производстве, ибо участие это, так же как участие кузнеца или плотника, могло бы заключаться только в уступке всего орудия или части его, но в таком случае собственник перестал бы быть собственником, а это заключало бы противоречие понятию собственности.

Итак, между собственником и арендатором не происходит ни обмена ценностей, ни обмена услуг. Следовательно, как мы уже говорили в нашей аксиоме, арендная плата есть настоящая находка (*aubaine*), вымогательство, основанное исключительно на хитрости и насилии, с одной стороны, на

слабости и невежестве – с другой. *Произведения*, говорят экономисты, *могут быть куплены только за произведения*. Этот афоризм есть приговор над собственностью. Собственник, сам ничего не производящий и не производящий также ничего посредством своего орудия, но получающий продукты ни за что, является либо паразитом, либо мошенником. Следовательно, если собственность может существовать только как право, то она невозможна.

Выводы. 1. Республиканская конституция 1793 года, определившая собственность как «право пользоваться плодами своего

труда», впала в грубую ошибку. Ей следовало сказать: собственность есть право пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению имуществом другого, плодами труда и прилежания другого.

2. Всякий владелец земель, домов, орудий, машин, денег и т. д., отдающий свою вещь внаем за плату, превышающую расходы на ремонт, которые лежат на нанимателе и представляют собою продукты, обмениваемые им на другие продукты, — всякий такой владелец повинен в обмане и мошенничестве. Одним словом, всякая наемная плата, взимаемая под видом возмещения проторей и убытков с процентами,

но на самом деле представляющая собою плату за наем, есть акт собственности, кража.

Историческая справка. Дань, которую победоносная нация заставляет платить нацию побежденную, есть настоящая арендная плата (fermage, подразумевается не аренда в современном смысле слова, но подать, которую в средневековой Франции сеньор взимал с зависимого от него крестьянина. — Примеч. пер.). Сеньориальные права, уничтоженные революцией 1789 года, десятина, неотчуждаемое имущество (mains mortes), барщины и проч. представляли собой различные

формы права собственности; и те, что под именем сеньоров, духовных сановников и проч. пользовались этими правами, были только собственниками. Защищать в настоящее время собственность — значит осуждать революцию.

2-е предложение.

Собственность невозможна, ибо там, где она признана, производство обходится дороже, чем оно стоит.

Предыдущее предложение относилось к области права, настоящее же относится к области экономии. Оно служит доказательством, что собственность, имеющая своим источником

насилие, дает в результате отрицательную ценность.

«Производство, – говорит Сэй, – есть большой обмен. Для того чтобы обмен был производителен, необходимо, чтобы ценность всех услуг уравнивалась ценностью произведенной вещи. Если это условие не было выполнено, обмен был неравным, производитель дал больше, чем получил».

Так как ценность имеет своим условием необходимость полезности, то, следовательно, всякий бесполезный продукт, по необходимости, не имеет ценности, не может быть обмениваем и не может служить для *уплаты* за услуги

производства.

Итак, если производство может уравновесить потребление, то оно все-таки не может превзойти его, ибо истинное производство возможно только там, где существует производство полезности, а полезность только там, где имеется возможность потребления. Таким образом, всякий продукт, который, благодаря избыточности своей, не идет в потребление, становится, поскольку он не потреблен, бесполезным, непригодным к обмену, теряет ценность и вместе с тем способность оплачивать что бы то ни было, одним словом, перестает быть продуктом.

Потребление, в свою очередь, для того, чтобы быть законным, для того, чтобы быть истинным потреблением, должно воспроизводить полезности, ибо если оно непроизводительно, то продукты, уничтоженные им, являются уничтоженными ценностями, вещами, произведенными в убыток, и это обстоятельство понижает цену продуктов ниже их ценности. Человек имеет власть уничтожать, но потребляет он только то, что воспроизводит; следовательно, в правильном хозяйстве между производством и потреблением существует равновесие.

Установив все это, я допускаю, что существует племя, состоящее из тысячи семей, населяющее определенную замкнутую территорию и совершенно не занимающееся внешней торговлей. Это племя представит для нас в миниатюре все человечество, которое, населяя весь земной шар, точно так же изолировано. В самом деле, так как различие между племенем и целым родом человеческим заключается лишь в численности, то экономические результаты должны быть безусловно те же самые.

Итак, я предполагаю, что эта тысяча семей занимается

исключительно производством хлеба и должна платить ежегодно натурою 10% со своего продукта сотне отдельных лиц из своей среды. Как видно, здесь право получения дохода (*droit d'aubaine*) было бы похоже на предварительное взимание части продукта общественного производства. Куда же пойдет эта часть?

Она не может пойти на продовольствие племени, ибо снабжение его продовольствием не имеет ничего общего с арендой; она не может пойти на уплату за услуги и продукты, ибо собственники, работая, подобно всем другим, работают только для себя. Она,

наконец, не принесет пользы получающим ее, ибо они, собрав хлеб в достаточном для их потребления количестве и не имея возможности приобрести что-либо другое в обществе, не знающем торговли и промышленности, не будут иметь возможности воспользоваться преимуществами своих доходов.

В таком обществе десятая часть продукта не будет потребляема, десятая часть труда не будет оплачена и, следовательно, производство будет обходиться дороже, чем оно стоит.

Превратим теперь триста наших производителей хлеба в разного рода ремесленников. Пусть тогда будет

100 садовников и виноделов, 60 сапожников и портных, 50 плотников и кузнецов, 80 человек, занимающихся различными профессиями, и для полноты картины 7 школьных учителей, 1 мэр, 1 судья, 1 священник. Каждая отрасль ремесла обслуживает все племя. Если все производство выразить тысячей, то потребление каждого работника будет равняться единице, т. е. на долю мяса и хлебных продуктов придется 0,700, вина и овощей — 0,100, одежды и обуви — 0,060, железных и деревянных изделий — 0,050, различных продуктов — 0,080, образования — 0,007, администрации — 0,002,

богослужения – 0,001. А всего 1.

Но общество должно уплачивать ренту в 10%; следует заметить, что все равно, будут ли платить ее одни земледельцы или все вообще трудящиеся, результат будет один и тот же. Фермер повышает цену своих продуктов сообразно с тем, что он должен уплатить. Ремесленники делают то же самое; затем, после некоторых колебаний, равновесие устанавливается и каждый платит приблизительно равную часть. Было бы серьезной ошибкой предполагать, что в нации одни только арендаторы платят арендную плату, – в этом участвует вся нация.

Таким образом, благодаря

вычету в 10%, потребление каждого работника принимает следующий вид: хлеб и мясо – 0,630, вино и овощи – 0,090, обувь и одежда – 0,054, железные и деревянные изделия – 0,045, разные продукты – 0,072, образование – 0,0063, администрация – 0,0018, богослужение 0,0009, – всего 0,9.

Работник произвел 1, а потребляет только 0,9, следовательно, он теряет десятую часть цены своего труда: производство все-таки обходится дороже, чем оно стоит. С другой стороны, десятина, собранная собственниками, также не представляет собою ценности, ибо,

будучи сами работниками, они могут прожить девятью десятыми своего продукта и, подобно всем остальным, ни в чем не нуждаются. Зачем им удвоение их порции хлеба, вина, мяса, одежды и проч., если они не могут ни потребить их, ни обменять? Следовательно, арендная плата для них, как и для всех других работников, не представляет ценности и погибает в их руках. Если вы расширите гипотезу и увеличите разнообразие продуктов, то результат не изменится.

До сих пор я рассматривал собственника, как принимающего участие в производстве, не только, как говорит Сэй, посредством услуг

своего орудия, но фактически трудом своих рук. Однако легко понять, что при подобных условиях собственность никогда не будет существовать. Что же происходит?

Собственник — животное по существу своему похотливое, лишенное стыда и совести — не приспособлен к упорядоченной, дисциплинированной жизни. Если он любит собственность, то лишь ради того, чтобы поступать с нею по своему произволу когда и как ему вздумается. Уверенный в средствах к жизни, он предается легкомыслию и изнеженности; он играет, занимается глупостями, ищет новых впечатлений. Для того чтобы

наслаждаться сама собою, собственность должна отказаться от общих условий жизни, предаваться роскоши и нечистым удовольствиям.

Вместо того чтобы отказаться от арендной платы, погибающей в их руках, и облегчить таким образом общественный труд, наши сто собственников отдыхают. Благодаря их отказу от работы, абсолютное производство уменьшается на 100, между тем как потребление остается неизменным. Производство и потребление, по-видимому, уравниваются. Однако, раз собственники перестали работать, их потребление, согласно экономическим принципам,

непроизводительно. Следовательно, в обществе теперь уже не сто долей услуг остаются неоплаченными продуктом, как прежде, но сто долей продуктов потребляются без эквивалентных услуг. Дефицит всегда один и тот же, какая бы статья бюджета его ни выражала. Либо афоризмы политической экономии ложны, либо собственность, противоречащая им, невозможна.

Экономисты, рассматривающие всякое непроизводительное потребление как зло, как кражу, совершенную у человеческого рода, непрестанно увещевают собственников трудиться и быть умеренными, бережливыми. Они

проповедуют им необходимость быть полезными, возвращать производству то, что от него получают; они усердно громят роскошь и лень; мораль эта, конечно, прекрасна, жаль только, что она лишена здравого смысла. Собственник, который трудится или, как говорят экономисты, приносит пользу, заставляет платить себе за этот труд и за эту пользу. Но разве он, благодаря этому, менее празден по отношению к собственностям, которых он не эксплуатирует, но с которых получает доход? Что бы он ни делал, условием его существования всегда является непроизводительность и

мошенничество; он не может перестать растрачивать и уничтожать, иначе как перестав быть собственником.

Но это еще далеко не худшее из зол, к которым ведет собственность. Понятно, что общество может поддерживать праздных людей. В нем всегда будут существовать слепые, безрукие, слабоумные, нетрудно ему будет также пропитать нескольких лентяев. Здесь Только затруднения начинают увеличиваться и усложняться.

3—е

предложение.

Собственность невозможна, потому что при данном капитале

*производство пропорционально
труду, но не собственности.*

Для того чтобы вносить арендную плату, равную 100, считая по 10% с продукта, нужно, чтобы продукт равнялся 1000, а для этого нужна сила 1000 работников. Отсюда следует, что, освободив от работы наших 100 работников—собственников, имевших одинаковое право вести жизнь рантье, мы сделали невозможным для себя выплачивать им их доходы. В самом деле, если производительная сила, равнявшаяся раньше 1000, уменьшилась до 900, то производство также уменьшилось до 900 и десятая часть от него будет равняться 90.

Таким образом, десяти собственникам из ста не придется платить ничего, если остальные 90 захотят получить свою арендную плату полностью, или же всем им придется согласиться на уменьшение арендной платы на 10%, ибо не работнику, исполнившему все свои обязанности и производившему по-прежнему, придется страдать от ухода собственника. Последнему самому придется страдать от последствий своей бездеятельности. Тогда собственник окажется более бедным, благодаря именно тому, что захочет наслаждаться; пользуясь своим правом, он теряет его, так что собственность как будто

уменьшается и улетучивается, по мере того как мы стараемся схватить ее. Чем больше мы за нею гоняемся, тем неуловимее она становится. Что же это за право, которое изменяется пропорционально численным отношениям и которое может быть уничтожено арифметической комбинацией?

Собственник–работник получал: 1) как работник 0,9 жалованья, 2) как собственник 1,0 арендной платы. Он сказал себе: моей аренды достаточно; мне не нужно работать, чтобы иметь все в изобилии; и вот расход, на который он рассчитывал, оказывается, уменьшился на 10%, и он даже не понимает, как это

произошло. Принимая участие в производстве, он сам именно производил те 10%, которых он не получает более; и, думая, что он работает только для себя, он, сам того не замечая, при обмене своих продуктов, нес потерю, в результате которой сам себе платил 10% своей собственной арендной платы. Подобно всем другим, он производил 1, а получал только 0,9.

Если бы вместо 900 работников было только 500, то сумма арендной платы уменьшилась бы до 50; если бы их было только 100, она упала бы до 10. Итак, мы можем, в качестве закона экономии собственников, установить следующую аксиому:

доход (aubaine) должен уменьшаться по мере того, как число праздных людей возрастает.

Этот первый результат приведет нас к другому, еще гораздо более неожиданному: мы одним ударом освободимся от всех тягот собственности, не уничтожая ее, не причиняя несправедливости собственникам, посредством в высшей степени консервативного приема.

Мы видели, что, если арендная плата общества, состоящего из 1000 работников, равна 100, арендная плата 900 будет равняться 90, 800 – 80, 100–10 и т.д. Если бы общество состояло из одного только

работника, арендная плата составляла бы 0,10, независимо от размеров и ценности составляющей собственности земли. Следовательно, *при данном земельном капитале производство будет пропорционально труду, но не пропорционально собственности.*

Постараемся же теперь, согласно этому принципу, найти максимум дохода (аубайне) для всякой собственности.

Что такое представляет собой, по существу, арендный договор? Это договор, посредством которого собственник уступает арендатору пользование своею землею в обмен на часть того, что он, собственник,

получал от нее. Если, благодаря увеличению своей семьи, арендатор окажется в десять раз работоспособнее своего собственника, он будет производить в десять раз больше. Может ли это послужить причиной для того, чтобы собственник увеличил арендную плату? Его право не гласит: чем больше ты производишь, тем больше я требую, но, чем больше я даю, тем больше я требую. Увеличение семьи фермера, число рук, которыми он располагает, размеры его прилежания, причины увеличения производства — все это не касается собственника; его притязания должны измеряться

производительной силой, заключающейся в нем самом, но не производительными силами других людей. Собственность есть право получать доход (*droit d'aubaine*), но не право взимать подушную подать. Каким образом человек, едва способный обрабатывать один несколько сажень, в силу того что у него есть 10 000 гектаров собственной земли, может потребовать от общества в 10 000 раз больше, чем он мог бы произвести сам? Каким образом цена займа увеличивалась бы пропорционально таланту и силе заемщика, вместо того чтобы увеличиваться пропорционально полезности,

которую может извлечь из него собственник? Итак, мы вынуждены признать следующий второй экономический закон: *мерилом дохода (aubaine) является дробь производства собственника.*

Что же такое это производство? Иными словами: о каком убытке может говорить господин и хозяин земли, уступая ее в пользование фермеру?

Так как производительная сила собственника, подобно производительной силе каждого другого рабочего, равна единице, то продукт, которого он лишает себя, уступая свою землю, также равняется единице. Если, следовательно, норма

дохода (aubaine) равна 10%, то максимум всякого дохода (aubaine) будет равняться 0,1.

Но мы видели, что каждый раз, когда один из собственников покидает производство, сумма продуктов уменьшается на одну единицу; таким образом, приходящийся на его долю доход, равнявшийся 0,1, пока он оставался работником, после его ухода, согласно закону уменьшения арендной платы, будет равняться 0,09. Это приводит нас к следующей, последней формуле: *максимум дохода собственника равняется квадратному корню из продукта одного работника* (если продукт этот

выражается в каком-нибудь определенном числе); уменьшение, претерпеваемое этим доходом, когда собственник остается праздным, равняется дроби, числителем которой будет единица, а знаменателем — число, выражающее собою продукт.

Таким образом, максимум дохода собственника, остающегося праздным или работающего за свой собственный счет, вне общества, исчисленный из 10% на среднее производство в 1000 франков на рабочего, будет 90 франков. Если, следовательно, во Франции насчитывается 1 миллион собственников, получающих в

среднем 1000 франков дохода и тратящих его непроизводительно, то, вместо 1 миллиарда, который они заставляют платить себе каждый год, им, согласно точному смыслу права и согласно самому точному расчету, следует только 90 миллионов.

Уменьшение налогового бремени, лежащего главным образом на трудящихся классах, на 910 миллионов представляет собою весьма значительное облегчение. Счеты наши, однако, еще не покончены, и работник еще не знает всех размеров своих прав.

Что такое право на получение дохода (*droit d'aubaine*), сведенное, как мы сейчас только это сделали, к

справедливым размерам? Это есть признание права завладения; но так как право завладения равно для всех, то все с одинаковым правом будут собственниками. Всякий человек будет иметь право на доход, равный известной дроби его продукта. Если, следовательно, рабочий, в силу права собственности, обязан платить собственнику ренту, то собственник, в силу того же права, обязан платить такую же ренту работнику, а так как права их взаимно уравниваются, то разность между ними равна нулю.

Примечание. Если арендная плата, согласно закону, может быть только дробью предполагаемого продукта собственника, каковы бы

ни были размеры и значение собственности, то то же самое имеет место для большего числа отдельных мелких собственников, ибо хотя один человек может эксплуатировать отдельно каждую из их собственности, но он не может эксплуатировать их одновременно все.

Сделаем теперь вывод: право на получение дохода (*droit d'aubaine*), могущее существовать лишь в весьма узких пределах, ограниченных законами производства, уничтожается правом завладения; но без этого права нет собственности, следовательно, собственность невозможна.

4—е

предложение.

Собственность невозможна потому, что она смертоносна.

Если бы право на получение дохода (*droit d'aubaine*) могло быть подчинено законам разума и справедливости, то оно свелось бы к вознаграждению или возмещению расходов, максимум которого для отдельного человека никогда не превышал бы известной дроби того, что он сам способен произвести; мы это доказали выше. Но зачем право получать доход, назовем его, впрочем, настоящим его именем — право кражи, стало бы подчиняться разуму, с которым не имеет ничего общего?

Собственник не довольствуется доходом, предоставленным ему природою и здравым смыслом: он заставляет платить себе в десять, сто, тысячу, миллион раз больше. Один он извлек бы из принадлежащей ему вещи только 1 единицу продукта, но от общества, созданного вовсе не им, он требует уже не вознаграждения, пропорционального его, собственника, производительной способности, но подушной подати; он оценивает своих братьев сообразно их силе, численности и прилежанию. У земледельца рождается сын. Отлично, говорит собственник, это лишний доход. Как совершилось это превращение арендной платы в

подушный налог? Как могли допустить наши юристы и богословы, эти изворотливые ученые, что право на получение дохода (*droit d'aubaine*) приобрело такое распространительное толкование?

Рассчитав, на основании производительности своей собственности, сколько рабочих она может занять, собственник делит ее на части и говорит: каждый будет мне платить доход (*aubaine*). Таким образом, ему стоит только разделить свою собственность, чтобы увеличить свои доходы. Вместо того чтобы исчислять следуемые ему проценты на основании собственного своего труда,

собственник исчисляет их соответственно своему капиталу. Благодаря этому, собственность, дающая в руках хозяина всего только единицу продукта, даст ему в руках других людей десять, сто, тысячу, миллион единиц. Ему остается только записывать имена приходящих к нему работников, задача его сводится к выдаче разрешений и расписок.

Не довольствуясь выгодами своего положения, собственник не желает также нести дефицит, вытекающий из его собственной бездеятельности: он его также возлагает на работника, от которого требует всегда одной и той же платы.

Повысив арендную плату до крайних пределов возможного, собственник никогда не понижает ее; дороговизна средств к жизни, недостаток рабочих рук, неблагоприятная погода и даже смертность его не касаются. Зачем ему страдать от бедствий данного момента, раз он сам не работает?

Здесь начинается новый ряд явлений.

Сэй, рассуждающий удивительно верно, когда он нападает на налоги, но не желающий понять, что собственник в такой же мере грабит арендатора, как и сборщик податей, говорит, поддерживая Мальтуса:

«Если сборщик податей, его

помощники и пр. берут шестую часть продукта, то они тем самым заставляют производителей питаться, одеваться и вообще жить, пользуясь пятью шестыми своего продукта. С этим соглашаются, но в то же время говорят, что каждый может жить и на пять шестых своего продукта. Я, если угодно, тоже согласен с этим; но я в свою очередь спрошу, мог ли бы производитель жить так же хорошо, если бы у него вместо одной шестой отнимали две шестых или треть его продукта? — Нет, но он все-таки мог бы жить. — Тогда, спрашивается, был ли бы он в состоянии жить, если бы его лишили двух третей, трех четвертей его продукта? Я замечая,

что мне на это ничего не отвечают».

Если бы вдохновитель французских экономистов был менее ослеплен собственническими предрассудками, то он увидел бы, что аренда ведет к таким же результатам.

Пусть семья крестьянина состоит из шести человек: отца, матери и четырех детей; все они живут в деревне, эксплуатируя небольшое имение. Я предполагаю, что они, работая усердно, могут, что называется, свести концы с концами; удовлетворяя все свои потребности, они не делают долгов, но не делают и сбережений. Каков бы ни был год, прожить они могут; когда урожай

хорош, отец пьет немного больше вина, дочери покупают себе платья, сыновья — новую шляпу; они едят пшеничный хлеб, иногда немного мяса. И вот я утверждаю, что эти люди гибнут, разоряются.

Ибо, согласно третьему выводу из нашей аксиомы, они сами себе должны выплачивать ежегодно известный процент на принадлежащий им капитал; пусть он будет равен 8000 франков по $2\frac{1}{2}\%$ годовых, это составит 200 франков в год. Если эти 200 франков не вычитаются из валового дохода и не капитализируются как сбережение, но поступают в потребление, то в активе нашей

семьи получается ежегодный дефицит в 200 франков, так что через сорок лет эти добрые люди, не подозревающие ничего подобного, съедят свое имение и будут разорены.

Такой вывод кажется смешным, но на самом деле это печальная истина.

Наступает время призыва... Что такое призыв? Это акт насилия, который правительство совершает над семьями, насильственное отнятие людей и денег. Крестьяне очень не любят отпускать своих детей, и я полагаю, что они правы. Трудно допустить, чтобы двадцатилетний мужчина извлек для себя пользу из пребывания в казарме.

Если он, живя в ней, не развращается, то учится презирать себя. О нравственности солдата в общем можно судить по его ненависти к мундиру; француз, находящийся на военной службе, либо несчастный, либо негодяй. Этого не должно бы быть, но тем не менее это так. Спросите сто тысяч людей — ни один из них не опровергнет моих слов.

Для того чтобы избавить своих сыновей от рекрутчины, наш крестьянин платит 4000 франков, которые он занял из 5%, что и составит упомянутые нами выше 200 франков. Если до сих пор производство семьи, регулярно

уравновешивавшееся потреблением, равнялось 1200 франков, т. е. 200 франков на каждого члена семьи, то теперь для уплаты процентов либо шести работникам нужно произвести столько, сколько производят семь, либо же им нужно потреблять столько, сколько потребляют пять. Потребление урезать нельзя, ведь нельзя же урезать необходимое. Производить больше также невозможно, нельзя работать ни больше, ни лучше. Может быть, избрать средний путь, потреблять за пятерых с половиной и производить за шестерых с половиной? Тогда вскоре обнаружится, что с желудком немыслимо вступать в соглашения;

что известного предела воздержности перейти нельзя и что, не подвергая опасности здоровье, из необходимого можно сберечь очень мало; что же касается излишка продуктов, то достаточно сильного утренника, засухи, падежа скота, для того чтобы все надежды земледельца рушились. Одним словом, проценты платить будет не из чего, недоимки накопятся, именнице будет отобрано, а прежний владелец изгнан из него.

Таким образом, семья, жившая счастливо, пока она не пользовалась правом собственности, тотчас же впадает в нищету, как только необходимость заставила ее воспользоваться этим правом. Для

того чтобы удовлетворить собственности, колонист должен бы обладать одновременно и способностью увеличивать площадь земли, и умением увеличивать ее плодородие словами. Будучи только владельцем земли, человек находит на ней пропитание, но, становясь собственником, он уже не может довольствоваться тем, что она дает. Человек может производить не больше, чем он потребляет, плод его труда является и наградой за труд, для уплаты за пользование орудием ничего не остается.

Выплачивать то, чего он не в состоянии произвести, — такова судьба арендатора с тех пор, как

собственник отказался от участия в производстве, для того чтобы эксплуатировать работника при помощи новых приемов.

Вернемся теперь к нашему первоначальному предположению.

Девятьсот работников, уверенные в том, что они произвели столько же, как и прежде, изумлены, когда после вноса арендной платы они оказываются на одну десятую часть беднее, чем в предыдущем году. В самом деле, прежде эта десятая часть производилась собственником—рабочим, принимавшим участие и в производстве и в платежах; теперь же эта десятая часть не была произведена, но уплатить ее нужно.

Таким образом, потребление производителей должно уменьшиться. Чтобы пополнить непонятный дефицит, работник делает заем, уверенный в возможности погасить его; но на следующий год оказывается необходимым новый заем и проценты возрастают. У кого занимает работник? У собственника. Собственник дает займы рабочему полученный от него же излишек, и этот излишек, который он должен бы вернуть, тоже дает ему прибыль в форме процентов. Долг возрастает бесконечно, собственнику надоедает давать займы производителю, никогда не возвращающему взятое, а

производитель, постоянно
подвергающийся грабежу и
постоянно занимающий то, что у
него же было взято, в конце концов
разоряется.

Предположим, что собственник,
нуждающийся для получения доходов
в арендаторе, прощает ему долг.
Тогда окажется, что он совершил
подвиг благотворительности, и
господин кюре в своей проповеди
рекомендует прихожанам
помолиться за него, между тем как
бедный арендатор, сконфуженный
неистощимым милосердием хозяина
и наученный катехизисом молиться
за благодетелей, обещает себе
удвоить усердие и лишения, для того

чтобы отблагодарить такого достойного хозяина.

На этот раз арендатор старается принять меры, он повышает цены на хлеб. Ремесленник также повышает цену на свои продукты, происходит реакция, и после некоторых колебаний арендная плата, часть которой крестьянин пытался переложить на ремесленника, оказывается в прежнем положении. Между тем как арендатор радуется успеху своих мероприятий, он на самом деле стал еще беднее, чем прежде, но бедность его увеличилась в несколько меньшей против прежнего пропорции. Дело в том, что при общем повышении цен

пострадал и собственник, и, таким образом, работники обеднели не на одну десятую, а только на девять сотых. Но долг остается долгом, и для уплаты его надо снова занимать, платить проценты, откладывать сбережения и голодать. Голодать приходится из-за девяти сотых, которые работнику не следовало бы платить и которые он все-таки платит, из-за погашения долга и ради уплаты процентов на этот долг; а когда урожай плохой, голод ведет к полному истощению. Говорят: надо больше работать. Но ведь прежде всего чрезмерный труд действует на человека так же убийственно, как и недоедание, что будет, если

практиковать и то и другое одновременно? *Надо больше работать* — этим, по-видимому, хотят сказать, что *надо больше производить*. При каких же условиях происходит производство? При условии комбинированного действия труда, капитала и земли. Труд дает арендатор; капиталы же образуются только благодаря сбережениям, и если бы арендатор мог сберечь что-нибудь, он уплатил бы свои долги. Допустим даже, что капитал у фермера есть, но что он с ним будет делать, если площадь обрабатываемой им земли не увеличится? Именно площадь земли надо бы увеличить.

Быть может, скажут наконец, что надо работать лучше и плодотворнее? Но ведь арендная плата рассчитана на среднюю производительность, превзойти которую нельзя; в противном случае собственник повысил бы эту плату. Разве крупные землевладельцы не увеличивали постепенно арендную плату, по мере того как рост народонаселения и развитие промышленности показывали им, что' общество может извлечь из их земель. Собственник остается чуждым социальным интересам. Подобно коршуну, он, впившись глазами в свою жертву, готов накинуться на нее и пожрать ее.

Факты, которые мы видели, наблюдая общество из тысячи людей, совершаются, в больших только размерах, внутри каждой нации и внутри всего человечества, конечно, они при этом значительно усложняются и видоизменяются, но описывать эти усложнения и видоизменения в мою задачу не входит.

Собственность, ограбившая рабочего при помощи ростовщичества, теперь медленно убивает его изнурением. Без грабежа и убийства собственность не может существовать. Но даже при их помощи она быстро погибает за отсутствием поддержки:

следовательно, $\mathcal{H}^1$ – собственность невозможна.

5-е предложение.

Собственность невозможна, потому что разлагает общество.

Когда на осла наваливают чрезмерную тяжесть, он падает; человек непрестанно идет вперед. Это непоколебимое мужество хорошо известно собственнику, и на нем он основывает свои расчеты. Свободный рабочий производит 10 единиц; для меня, думает собственник, он произведет 12.

В самом деле, прежде чем допустить конфискацию своего поля, прежде чем распрощаться с

отеческой кровлей, крестьянин, историю которого мы рассказали, делает отчаянную попытку – снимает в аренду новый участок земли. Он будет сеять на одну треть больше, а так как половина нового продукта будет принадлежать ему, то он получит излишек в одну шестую и уплатит ренту. Какого это будет стоить труда! Для того чтобы увеличить свой продукт на одну шестую, крестьянину придется усилить свой труд не на одну, а на две шестых. Только такою ценою может он собрать урожай и внести арендную плату, которую он вносить бы не должен.

Ремесленник в свою очередь

старается сделать то же самое, что и крестьянин: последний работает больше и обездоливает своих соседей; первый же понижает цену своего продукта, старается захватить в свои руки производство и продажу и вытеснить своих конкурентов. Чтобы насытить собственность, нужно, прежде всего, чтобы рабочий производил сверх своих потребностей; затем, чтобы он работал сверх сил, ибо, благодаря уходу рабочих, сделавшихся собственниками, второе всегда является следствием первого. Но для того чтобы производить сверх сил и потребностей, нужно завладеть производством другого и,

следовательно, уменьшить число производителей: таким образом собственник, понизивший производство своим уходом, понижает его еще более, поддерживая барышничанье трудом. Посмотрим, что из этого выходит.

Так как после уплаты ренты работник заметил дефицит в одну десятую, то он именно на эту сумму старается увеличить свое производство. Единственное средство для достижения этой цели — усиленный труд, и работник прибегает к нему. Недовольство собственников, не получивших сполна всей платы, выгодные предложения, какие им делают

другие арендаторы, которые кажутся собственникам более прилежными, трудолюбивыми и достойными доверия, скрытые махинации и интриги – все это вызывает перемену в распределении работ и удаление известного числа производителей. Из 900 – 90 будут изгнаны для того, чтобы производство остальных увеличилось на одну десятую. Но увеличится ли от этого общая сумма произведений? Вовсе нет; мы будем иметь 810 работников, производящих столько же, сколько производили 900, а между тем они должны были бы производить столько, сколько производили 1000. Но так как арендная плата устанавливалась не

сообразно труду, но сообразно заключающемуся в земле капиталу, и к тому же она не уменьшается, то долги, как и прежде, увеличиваются. Итак, мы видим общество, которое все более и более уменьшается; оно погибло бы, если б разорения, банкротства, политические и экономические катастрофы не устанавливали периодически равновесия и не отвлекали бы внимания людей от истинных причин всех бедствий.

После захвата капиталов и земель начинается ряд экономических мероприятий, благодаря которым снова известное число работников оказывается

выброшенным из производства. Преследуя повсюду только выгоду, арендатор и предприниматель каждый говорит самому себе: я имел бы средства уплатить арендную плату и проценты, если бы мне приходилось платить меньше за рабочие руки. Тогда возникают изумительные изобретения, предназначенные для того, чтобы облегчить и ускорить работу, но на самом деле являющиеся адскими машинами, убивающими рабочих тысячами.

«Несколько лет тому назад графиня Страфффорд выселила со своих земель 15 000 человек, арендовавших эти земли. Такой же

акт частного административного произвола был совершен в 1820 году другим крупным шотландским помещиком по отношению к 600 семьям арендаторов» (*Tiisso. Du Suicide et de la Révolte*).

Цитированный мною автор, написавший весьма красноречивые страницы о революционном духе, волнующем современные общества, не говорит, одобрил ли бы он изгнанников, если бы они восстали. Я со своей стороны открыто заявляю, что, на мой взгляд, восстание было первым их правом и священнейшею обязанностью, и теперь у меня одно только желание, чтобы это мое убеждение было понято.

Общество разлагается: 1) благодаря периодическим, насильственным актам устранения рабочих, что мы уже видели и еще увидим ниже; 2) благодаря тому, что собственность ограничивает потребление рабочих. Оба эти вида самоубийства сначала происходят одновременно, вскоре, однако, первый приобретает новую силу благодаря второму; голод присоединяется к эксплуатации и делает труд в одно и то же время и более необходимым, и более редким.

Согласно принципам торговли и политической экономии, для того чтобы промышленное предприятие имело успех, нужно чтобы продукт

его был равен: 1) процентам на капитал; 2) расходам на содержание этого капитала; 3) сумме вознаграждения, получаемого всеми рабочими и предпринимателями; кроме того, нужно, чтобы предприятие давало еще известный чистый доход.

Можно удивляться хищническому и стяжательному гению собственности: сколько бы названий ни носил доход (*aubaine*), собственник требует уплаты его под всеми этими названиями одновременно. Он получает ее: 1) в форме процентов, 2) в форме прибыли. Ибо, говорит он, проценты на капитал составляют часть

авансируемой на производство суммы. Если вложить в какую-нибудь фабрику 100 000 и получать с нее, за вычетом расходов, только 5000 франков в год, то это значит получать только проценты на капитал, но не прибыль. Но собственник не такой человек, чтобы согласиться работать даром. Подобно льву в басне, он заставляет платить себе за все свои преимущества, так что в конце концов, когда он удовлетворен, для союзников его ничего не остается.

Ego primam tollo, nominor
quia leo:

Secundam quia sum fortis

tribuetis mihi:

Cum quia plus valeo, me
sequetur tertia:

Malo adficietur, si quis
quartam tetigerit^[47].

Я не знаю ничего лучше этой
басни:

Я предприниматель и беру
себе первую часть:

Я работник и беру вторую:

Я капиталист и беру
третью:

Я собственник и беру себе
все.

В четырех строках Федр перечислил все формы собственности.

Я говорю, что эти проценты и тем более эта прибыль невозможны.

Что такое представляют собою работники по отношению друг к другу? Они являются различными членами большого промышленного общества, и на каждого из них в отдельности возложена известная доля всего вообще производства, согласно принципу разделения труда и функций. Допустим, что общество состоит только из трех членов: одного скотовода, одного дубильщика и одного сапожника. Все общественное производство сводится

к изготовлению сапог. Если я спрошу, какую долю продукта общества должен получать каждый производитель, то первый попавшийся школьник ответит мне, что, согласно правилу товарищества, каждый должен получить одну треть. Но для нас вовсе не важно установить равенство прав работников, вступивших в союз на основании договора; нам нужно доказать, что наши три работника, будут ли они объединены договором или нет, должны действовать так, как будто договор существует, что, добровольно или против воли, они, в силу всего хода вещей, в силу математической необходимости,

должны составлять общество.

Для изготовления сапог нужно проделать три операции: выкормить скот, выделать шкуры, скроить и сшить сапоги. Если кожа, выходя из хлева фермера, стоит 1, то, выходя из мастерской скорняка, она стоит 2, а при выходе из лавки сапожника 3. Каждый работник произвел известную сумму полезности; сложив все эти суммы полезности, мы получим ценность произведенной вещи. Для того чтобы получить какое-либо количество данной вещи, производитель должен заплатить сначала за свой собственный труд, а затем за труд других производителей. Таким

образом, для того чтобы получить 10 единиц кожи, превращенной в башмаки, фермер должен дать 30 единиц сырой, а скорняк 20 единиц выделанной кожи. Ибо 10 единиц кожи, переработанной в башмаки, стоят столько же, как и 30 единиц невыделанной кожи, ибо на первые истрчено столько же труда тремя производителями, как на вторые одним, а 20 единиц выделанной кожи, благодаря труду, затраченному на них скорняком, стоят столько же, как и 30 единиц сырой кожи. Но если сапожник потребует от фермера 33, а от скорняка 22 единицы в обмен на 10 единиц своих изделий, то обмен не состоится, так как фермер и

скорняк, платившие за труд сапожника 10 единиц, будут вынуждены заплатить 11 за то, за что они получили 10, а это невозможно.

Однако именно это и происходит каждый раз, когда промышленник получает прибыль, как бы эта прибыль ни называлась: рентой ли или арендной платой, процентами, барышом. Если бы в маленьком обществе, о котором мы говорили, сапожнику пришлось занять деньги для того, чтобы купить инструменты, кожу и средства к жизни, нужные ему, пока он не получит своего заработка, то очевидно, что для уплаты процентов по займу он должен получать

прибыль с фермера и скорняка. Но получение прибыли без обмана невозможно, и поэтому проценты всею тяжестью лягут на злосчастливого сапожника и разорят его.

Я взял примером случай фантастический и неестественно простой: нет человеческого общества, в котором функции сводятся к трем. Наименее цивилизованное общество немыслимо без целого ряда ремесел. В настоящее время число промышленных функций (я подразумеваю при этом всякую полезную функцию), быть может, превышает тысячу. Но каково бы ни

было число занятых исполнением этих функций людей, экономический закон от этого не изменяется: для того чтобы производитель мог жить, необходимо, чтобы заработная плата его выкупала его продукт.

Экономисты не могут не знать этого основного принципа их якобы науки; почему же они упорно поддерживают собственность, неравенство вознаграждения, законность ростовщичества, честность барыша, если все эти вещи противоречат экономическому закону и делают невозможными всякие сделки? Предприниматель покупает на 100 000 франков сырого

материала, он уплачивает 50 000 франков заработной платы и хочет получить на 200 000 франков продуктов, т. е. хочет получить прибыль с сырого материала, и с труда своих рабочих. В состоянии ли, однако, просуществовать поставщики сырья и работники, если заработной платы их недостаточно для того, чтобы выкупить произведённые ими для предпринимателя продукты? Я ниже разовью мой вопрос, ибо для разрешения его необходимо войти в подробности.

Если работник в среднем получает за свой труд по 3 франка в день, то для того, чтобы капиталист, дающий ему работу, получал сверх

собственного своего жалованья еще хотя бы проценты на капитал, вложенный в сырье, необходимо, чтобы он, продавая дневной труд рабочего, принявший форму товара, получал за него больше 3 франков. Поэтому рабочий не может выкупить то, что он произвел для хозяина. Это верно относительно работников всех профессий: портных, шапочников, столяров, кузнецов, скорняков, каменщиков, типографов, приказчиков и пр. и пр.; все они, вплоть до земледельца и винодела, не могут выкупить своих продуктов, ибо, работая на хозяина, получающего прибыль в той или иной форме, они, для выкупа своих

продуктов, должны были бы уплатить за свой собственный труд больше, чем получают сами.

Во Франции 20 миллионов работников, трудящихся во всех отраслях науки, искусства и промышленности, производят все вещи, необходимые для существования человека. Допустим, что сумма их рабочих дней ежегодно равняется 20 миллиардам. Благодаря существованию права собственности и целого ряда видов дохода: десятины, процентов, прибыли, арендной платы, платы за наем, ренты и всякого рода барыша — собственники и хозяева оценивают свои продукты в 25 миллиардов. Что

же это значит? Это значит, что работники, вынужденные покупать произведенные ими же продукты, должны либо платить 5 единиц за то, за что сами они получили 4, либо из пяти дней один проводить в посте.

Если во Франции найдется экономист, способный доказать, что расчет мой неверен, то я прошу его назвать себя и обязуюсь формально взять назад все то, что я по злобе и несправедливости ставил в упрек собственности.

Посмотрим теперь, к каким последствиям ведет существование прибыли?

Если бы заработная плата рабочих была одинакова во всех

профессиях, то дефицит, вызванный
начетом собственника, ощущался бы
в одинаковой степени всеми, но и
причина зла была бы настолько
очевидной, что ее давно заметили и
устранили бы. Но так как между
заработной платой людей, начиная с
подметальщика и кончая министром,
существуют такие же различия, как и
между собственностями, то
современная система социального
грабежа сильнее отражается на
слабых, чем на сильных: чем ниже
стоит рабочий на социальной
лестнице, тем больше терпит он
лишений, а низший класс общества в
буквальном смысле слова гол и
поедается остальными.

Рабочий народ не может купить ни материи, которые он ткёт, ни мебель, которую он изготавливает, ни металлы, которые он выковывает, ни драгоценные камни, которые шлифует, ни гравюры, которые вырезает. Он не может приобрести ни посеянный им хлеб, ни приготовленное им вино, ни мясо воспитанных им животных; ему нельзя жить в построенных им домах, присутствовать на оплаченных им спектаклях, воспользоваться отдыхом, нужным его телу. Почему? Потому что, желая воспользоваться всем этим, он должен бы заплатить за него цену стоимости и потому что право на

получение дохода (droit d'aubaine) не допускает этого. На вывесках роскошных магазинов, вызывающих у него удивление, рабочий читает написанные большими буквами слова: *это дело твоих рук. и ты его не получишь*: Sic vos non vobis!^[48]

Всякий хозяин мануфактуры, в которой работает 1000 человек, получающий с каждого из них по одному су прибыли в день, готовит бедствия для этой тысячи работников; всякий собственник, получающий прибыль, — участник заговора против народа. Народ, однако, не имеет даже работы, при помощи которой собственность заставляет его голодать; почему?

Потому что недостаточность заработной платы вынуждает рабочих набирать как можно больше работы и потому что, прежде чем погибнуть от истощения, рабочие губят друг друга конкуренцией. Никогда не следует упускать из виду эту истину.

Если заработной платы рабочего недостаточно, чтобы он мог купить свой продукт, то последний, очевидно, предназначен не для него. Для кого же он предназначен? Для богатого потребителя, т. е. только для известной части общества. Но если все общество работает, то оно и производит для всего общества; если, следовательно, только часть

общества потребляет, то рано или поздно часть его должна отдыхать. Отдыхать, однако, значит погибнуть как для работника, так и для собственника. Из этого заколдованного круга выхода нет.

Нет более печального и жалкого зрелища, нежели то, которое представляют собою работники, борющиеся против этой математической необходимости, против этого могущества цифр, потому что работа мешает им заметить их.

Если 100 000 типографских рабочих могут удовлетворить потребности в книгах 34 миллионов человек и если книги, благодаря

своей стоимости, доступны только третьей части потребителей, то, очевидно, 100 000 рабочих произведут втрое больше, чем смогут продать книгопродавцы. Для того чтобы производство книг никогда не превышало спрос потребителей, необходимо, чтобы рабочие два дня из трех не работали или чтобы они сменяли друг друга в работе еженедельно, ежемесячно или по четвертям года — словом, чтобы они две трети своей жизни не жили. Но, благодаря воздействию собственников, такой порядок в промышленности не существует: промышленность по самому существу своему стремится

произвести много в короткое время, ибо, чем больше количество продуктов, чем быстрее идет производство, тем дешевле обходится каждый отдельный продукт. При первых признаках истощения запасов мастерские наполняются, все принимаются за работу; торговля процветает, и хозяева, и рабочие – все довольны своей судьбою. Но чем оживленнее работа, тем ближе безработица; чем больше человек смеется, тем больше ему предстоит плакать. При господстве собственности цветы промышленности служат только для сплетения надгробных венков: рабочий, который трудится, сам себе

копает могилу,

Когда мастерская не работает, капитал начинает сам себя пожирать, поэтому хозяин—производитель, естественно, старается продолжать производство и уменьшить его издержки. Тогда начинается сокращение заработной платы, замена рабочих машинами, мужского труда женским и детским, обесценивание труда, понижение качества продукта. Производство еще существует, потому что уменьшение стоимости производства дает возможность расширить сферу сбыта, но оно может просуществовать недолго, ибо, благодаря зависимости стоимости

производства от быстроты и количества его, производство более чем когда-либо имеет тенденцию превзойти потребление. И вот когда останавливается производство, которое давало рабочим заработок, едва хватавший для жизни изо дня в день, тогда последствия принципа собственности принимают ужасную форму: никакие сбережения, никакое скопидомство не может здесь помочь. Сегодня закрывается мастерская, завтра рабочему предстоит пост под открытым небом, а послезавтра голодная смерть в госпитале или ужин в тюрьме.

Ужасное положение
усложняется новыми

обстоятельствами.

Вследствие застоя в торговле и крайнего падения цен, предприниматель не в состоянии платить проценты на капитал, вложенный в его предприятие; испуганные акционеры поспешно продают свои акции, производство останавливается. А потом публика удивляется, почему капиталы покидают промышленность и наводняют биржу; я слышал однажды, как г. Бланки горько жаловался на невежество и неразумие капиталистов. Причина мобилизации капиталов очень проста; но именно поэтому экономист не мог ее заметить или,

вернее, не должен был говорить о ней; причиною этого является исключительно одна только конкуренция.

Я называю конкуренцией не только соперничество между предприятиями одной и той же отрасли промышленности, но общие и одновременные усилия, которые делают все отрасли промышленности для того, чтобы превзойти друг друга. В этом отношении дело дошло до того, что цена товаров едва покрывает издержки производства и продажи; за вычетом заработной платы рабочих капиталистам не остается ничего, даже не остается процентов

на капитал.

Следовательно, первой причиной промышленного и коммерческого застоя являются проценты на капитал, проценты, взимание которых весь античный мир заклеил названием *ростовщичества*, когда они служат для оплаты денег, но которых никто еще не осмеливался осуждать, когда они носили название прибыли, арендной или наемной платы, как будто качество отданной внаем вещи может оправдать плату за наем, кражу!

Таков доход (*aubaine*), получаемый капиталистом, такова частота и интенсивность торговых

кризисов; раз первый известен, то всегда можно определить две остальные, и наоборот. Желаете вы знать, каков регулятор данного общества? Так установите массу активных, т. е. приносящих проценты, капиталов и законную норму этих процентов. Ход событий тогда представится вам в виде целого ряда кризисов, численность и интенсивность которых будут соответствовать активности капиталов.

В 1839 году число банкротств в одном Париже дошло до 1064; в первые месяцы 1840 года они случались также часто, и теперь, когда я пишу эти строки, кризис, по—

видимому, еще не кончился. Кроме того, говорят, что число фирм, прекращающих дела, гораздо больше числа фирм, объявивших свою несостоятельность; по размерам этих бедствий можно судить о силе промышленного урагана.

Разложение общества совершается то медленно и незаметно, то быстро и скачками, это зависит от различных способов действия собственности. В стране мелкой собственности и мелкого производства права и притязания отдельных лиц уравнивают друг друга, попытки захватов взаимно уничтожаются; здесь, в сущности, собственности нет, ибо право на

получение дохода (droit d'aubaine) развито слабо. Положение рабочих, в смысле обеспеченности существования, почти такое же, как и при полном равенстве; они лишены удобств полной и открытой ассоциации, но по крайней мере самое существование их не подвергается опасности. За исключением нескольких отдельных жертв права собственности, причину гибели которых никто не замечает, общество, по-видимому, пользуется покоем в объятиях этого подобия равенства. Но берегитесь, равновесие его покоится на острие шпаги; при малейшем толчке оно рухнет и погибает.

Обыкновенно вихрь, смерч собственности носит местный характер: с одной стороны, арендная плата устанавливается на определенном уровне; с другой стороны, благодаря конкуренции и перепроизводству, цена товаров не повышается; таким образом, положение крестьянина остается прежним и зависит только от времени года. Оказывается, что разрушительное действие собственности отражается главным образом на промышленности. Поэтому—то мы и говорим обыкновенно *коммерческие*, а не *земледельческие кризисы*; между тем как арендатор лишь постепенно

пожирается правом на получение доходов (droit d'aubaine), промышленный рабочий сразу погибает под его воздействием. Отсюда же безработица, гибель целых состояний, отсюда бедственное положение рабочего класса, часть которого периодически погибает на больших дорогах, в госпиталях, тюрьмах и на каторге.

Резюмируем сказанное:

Собственность продает рабочему продукт дороже, чем она его оплачивает; следовательно, она невозможна.

Приложение к 5-му предложению

I. Некоторые сторонники реформ и даже большинство публицистов, хотя и не принадлежащих ни к какой школе, но заботящихся об улучшении участи самого многочисленного и бедного класса населения, возлагают теперь большие надежды на лучшую организацию труда. Особенно ученики Фурье непрестанно призывают: *в фаланстер!* И в то же время яростно изобличают глупость и прямо смехотворность других сект. Нашлось с полдюжины несравненных гениев, открывших, что *пять плюс четыре равняется десяти и если отнять отсюда два, останется девять*, и оплакивающих

ослепление Франции, которая не хочет признать эту изумительную арифметику^[49].

В самом деле, с одной стороны, фурьеристы заявляют себя защитниками собственности, права на получение дохода (*droit d'aubaine*), которое они выразили в формуле: *каждому сообразно его капиталу, труду и таланту*, а с другой стороны, они хотят, чтобы рабочий мог пользоваться всеми благами общества, т. е., иными словами, полным продуктом своего труда. Выходит то же самое, как если б они сказали этому рабочему: трудись, ты будешь получать по 3 франка в день; ты будешь жить на 55 су, остальное

будешь отдавать собственнику, и потребление твое будет равняться 3 франкам.

Если такое рассуждение не соответствует сущности системы Шарля Фурье, то я готов кровью своею подписать все фаланстерские благоглупости.

Зачем преобразовывать промышленность и земледелие, зачем вообще трудиться, раз собственность будет сохранена, а труд никогда не будет в состоянии покрыть расходов? Без уничтожения собственности организация труда принесет только лишнее разочарование. Если бы производство учетверилось, что я,

впрочем, не считаю возможным, то это был бы только потерянный труд: если излишек продукта для потребления не нужен, то он не представляет собою ценности и собственник отказывается принять его; если же этот излишек и потребляется, то все неудобства собственности обнаруживаются вновь. Надо признаться, что здесь теория притяжения страстей оказывается несостоятельной и что, желая гармонизировать *страсть* к собственности, страсть, что бы там Фурье ни говорил, дурную, он сам сунул палку в колесо своей телеги.

Абсурдность всей экономии фаланстера так очевидна, что

многие, несмотря на все уважение, выказываемое Фурье по отношению к собственникам, подозревают в нем тайного противника собственности. Взгляд этот можно, конечно, подтвердить некоторыми, якобы справедливыми доводами, но я его не разделяю. Тогда оказалась бы у Фурье громадная доля шарлатанства и лишь весьма незначительная доля добросовестности. Я охотнее поверю доказанному, впрочем, невежеству Фурье, нежели его недобросовестности. Что же касается его учеников, то о них можно будет составить определенное мнение лишь тогда, когда они прямо и категорически выскажут свой

взгляд на собственность и объясняют значение своего пресловутого девиза: *каждому сообразно его капиталу, труду и таланту.*

II. Быть может, иной, наполовину обращенный собственник спросит, нельзя ли, уничтожив банки, ренту, аренду, наем, все виды ростовщичества и даже собственность, распределять продукты сообразно способностям? Такова была мысль Сен-Симона и Фурье, таково желание человеческой совести; ведь нельзя же заставить министра жить так, как живут крестьяне!

О Мидас, Мидас! Какие у тебя длинные уши! Неужели ты не в

состоянии понять, что преимущества в вознаграждении и право на получение дохода (*droit d'aubaine*) одно и то же! Ведь одною из величайших ошибок со стороны Сен-Симона, Фурье и их паствы было то, что один из них хотел соединить неравенство с коммунизмом, другой — неравенство с собственностью. Но ты, человек расчета и бережливости, знающий наизусть свои таблицы логарифмов, как мог ты впасть в такую грубую ошибку? Разве ты забыл, что с точки зрения политической экономии продукт каждого человека, каковы бы ни были его индивидуальные способности, всегда равноценен

труду одного человека, а труд одного человека — также потреблению одного человека. Ты мне напоминаешь великого творца конституций бедного Пиньейру Феррейра, Сийеса 19 столетия, который, разделяя всю нацию на двадцать классов или, если тебе угодно, степеней, ассигновал одним 100 000, другим 80 000, затем 25 000 и т.д. до 1000 франков содержания, причем 1000 должны были представлять собою минимум. Феррейра любил различия, он не мог себе представить государство без высших сановников, также как и армии без барабанщиков. Любя или воображая, что он любит свободу,

равенство и братство, Феррейра составлял смесь из благ и зол нашего старого общества и называл ее конституцией. О, достойный удивления Феррейра! Свобода до пассивного повиновения, братство вплоть до тожества языка, равенство вплоть до суда и гильотины – таков был его идеал республики. Он был непризнанным гением, которого наш век не был достоин и за которого потомство отомстит.

Послушай, собственник. Фактически неравенство способностей существует, но юридически оно не признается, не считается и не предполагается. Для 30 миллионов людей достаточно

одного Ньютона на каждые сто лет; психолог восхищается редкостью такого великого гения, законодатель же видит только редкость функций. Но редкость функций не создает никакой привилегии в пользу выполняющего ее; происходит это по нескольким, одинаково действительным причинам.

1. В намерения Создателя вовсе не входило сделать редкость гения поводом для того, чтобы общество преклонялось перед человеком, одаренным выдающимися способностями, Создатель видел в ней лишь средство для того, чтобы все функции выполнялись с наибольшею для всех выгодною.

2. Талант в большей степени является продуктом общества, нежели даром природы; это накопленный капитал, и тот, кто его получает, является только хранителем его. Без общества, без его помощи и даваемого им воспитания самая возвышенная натура, даже в области, в которой она могла бы достигнуть славы, отстает от людей со средними способностями. Чем обширнее знания смертного, чем богаче его воображение, чем плодотворнее его талант, тем дороже обошлось и его воспитание; чем многочисленнее и чем славнее были его предшественники, тем больше его долг. Земледелец производит с

младенческого возраста до самой могилы. Плоды наук и искусства появляются поздно и редко, часто дерево погибает прежде, нежели они созреют. Воспитывая талант, общество приносит жертву надежде.

3. Нет мерила для сравнения способностей: самое неравенство талантов, при одинаковых условиях развития, представляет собою лишь различие талантов.

4. Неравенство вознаграждений, так же как и собственность, экономически невозможно. Допустим, самый благоприятный случай: все работники произвели максимум продуктов. Для того чтобы распределение последних между

рабочими было справедливо, необходимо, чтобы доля каждого равнялась сумме всего производства, деленной на число рабочих. Раз это сделано, то может ли остаться что—нибудь для уплаты увеличенных вознаграждений? Безусловно нет.

Быть может, кто—нибудь найдет нужным установить налог со всех работников? Но в таком случае их потребление не будет равняться их производству, жалование не оплатит производительной услуги, работник не в состоянии будет выкупить свой продукт, и мы снова подвергнемся всем бедствиям, сопряженным с собственностью. Я уж не говорю о несправедливости, причиненной

ограбленному рабочему, о соперничестве, о разгоревшейся ненависти и раздраженном самолюбии; все эти соображения могут иметь значение, но они не приводят нас непосредственно к нашей цели.

С одной стороны, раз урок каждого работника непродолжителен и нетруден, раз средства к его выполнению равны у всех, то каким образом могут явиться хорошие и дурные производители? А с другой стороны, может ли человек, выполняющий какую-либо функцию, ссылаясь на превосходство своего гения, требовать соответственного вознаграждения, раз функции, либо в

силу реальной эквивалентности талантов и способностей, либо благодаря общественной кооперации, равны?

Впрочем, что я говорю? При равенстве вознаграждений последние всегда соответствуют способностям. Что такое вознаграждение с экономической точки зрения? Это то, что составляет средства производительного потребления работника. Следовательно, самый акт, посредством которого работник производит, есть потребление, равное требуемому производству. Когда астроном производит наблюдения, поэт — стихи, ученый —

опыты, все они потребляют инструменты, книги, путешествия и пр. Если же это потребление поддерживается обществом, то могут ли астроном, поэт и ученый требовать иной пропорциональности вознаграждения? Мы можем сделать отсюда вывод, что в равенстве, и только в равенстве положение Сен-Симона: *каждому по его способностям, каждой способности по делам ее*, может найти полное свое приложение.

III. Великой, ужасной и всегда зияющей язвой собственности является тот факт, что при существовании собственности народонаселение, как бы его ни

уменьшали, всегда и неизбежно бывает избыточным. Во все времена раздавались жалобы на перенаселение; во все времена наличность пауперизма стесняла собственность, которая и не подозревала даже, что является единственной его причиной. Поэтому чрезвычайно любопытно проследить, к каким разнообразным средствам прибегала собственность для того, чтобы избавиться от пауперизма. Рассматривая эти средства, не знаешь, чему больше удивляться, глупости ли, или жестокости их.

Выбрасывание детей в древности практиковалось

постоянно. Удобным средством являлись также массовое и частичное истребление рабов, гражданские войны и войны международные. В Риме, где собственность была могущественной и неумолимой, эти три средства употреблялись так долго и так успешно, что в конце концов империя превратилась в пустыню. Когда явились варвары, они никого не застали, земля оставалась необработанной; улицы итальянских городов заросли травой.

В Китае с незапамятных времен уничтожение бедных предоставлено голоду. Так как рис является почти единственным средством

пропитания низших слоев народа, то жители, при неурожае риса, умирают с голоду массами. И тогда мандарин-историограф пишет в летописях срединного царства, что в таком-то году царствования такого-то императора голод унес 20, 30, 40, 100 тысяч жителей. Мертвых хоронят, а затем снова принимаются за деторождение, пока новая голодовка не приведет опять к тому же результату. Такова, по-видимому, была искони политическая экономия Конфуция.

Нижеследующие факты я заимствую у одного современного экономиста.

Начиная с четырнадцатого и

пятнадцатого столетия Англия страдает от пауперизма; против нищих издаются чрезвычайно жестокие законы (между тем народонаселение в то время составляло меньше четверти современного народонаселения Англии).

Эдуард под страхом тюремного заключения запрещает нищенство... Ордонансы 1547 и 1656 годов представляют собою аналогичные распоряжения на случай рецидива. Елизавета повелела, чтобы каждый приход кормил своих бедных. Но что такое бедный? Карл II постановляет, что сорокадневное неоспоримое пребывание в общине достаточно для

того, чтобы данное лицо было признано членом ее. Но факт пребывания в общине оспаривается, и пришелец вынужден уйти. Это постановление изменяется сначала Яковом II, а потом Вильгельмом. Но пока тянутся все эти рассмотрения, доклады, изменения и пр., пауперизм растет, рабочий голодает и гибнет.

Налог в пользу бедных в 1774 году превысил 40 миллионов франков; 1783, 1784 и 1785 годы стоили в среднем каждый 53 миллиона; 1813-й – более 187,5 миллиона; 1816-й – 250 миллионов, а в 1817 году предполагается 317 миллионов.

В 1821 году число бедных,

приписанных к приходам, достигало 4 миллионов, т. е. составляло около четверти или трети всего населения.

Франция. В 1544 году Франциск I установил таксу вспомоществования для бедных, причем взнос ее был принудительный. В 1566 и 1586 годах этот закон был возобновлен и распространен на все королевство.

При Людовике XIV 40 000 бедных заражали столицу (относительно их было столько же, как и теперь). Были изданы строгие ордонансы против нищенства. В 1740 году парижский парламент возобновил принудительную раскладку в подведомственной ему

области.

Учредительное собрание, испуганное размерами бедствия и трудностью его устранения, установило status quo.

Конвент провозгласил помощь бедным *национальным* *долгом*. Изданный им закон не был осуществлен.

Наполеон также стремится помочь злу при помощи тюремного заключения. «Таким образом, — говорил он, — я избавлю богатых от назойливости нищих и от отвратительного зрелища язв нищеты». О великий человек!

Из этих фактов, число которых я легко мог бы увеличить, вытекает

следующее: во—первых, что пауперизм не зависит от количества народонаселения, во—вторых, что все средства устранить его остались безуспешными.

Католицизм основывал госпитали, монастыри, повелевал творить милостыню, т. е. поощрял нищенство; дальше этого он не сумел пойти.

Светская власть христианских государств то устанавливала в пользу бедных налог на богатых, то предписывала изгнание и заключение в тюрьму бедных, т. е., с одной стороны, нарушала право собственности, а с другой — предавала гражданской и

естественной смерти.

Современные экономисты, воображающие, что причиной пауперизма является всецело перенаселение, сосредоточили все свое внимание на сокращении последнего. Одни хотят, чтобы беднякам было запрещено вступать в брак; таким образом, те самые люди, которые восставали против безбрачия духовенства, теперь предполагают принудительное безбрачие, которое неизбежно должно повести к разврату.

Другие не одобряют этого чересчур насильственного средства; оно, говорят они, лишит бедняков *единственного доступного им в мире*

удовольствия. Они только рекомендуют бедняку *осторожность* — таков взгляд гг. Мальтуса, Сисмонди, Сэя, Дроза, Дюшателя и др. Но если они хотят, чтобы бедный был *осторожен*, так пусть богатый подаст ему пример; на каком основании второму будет разрешено вступать в брак в 18 лет, а первому только в 30?

Здесь кстати будет категорически высказаться по поводу матримониальной осторожности, которую так усердно проповедуют рабочим, ибо здесь можно опасаться самых неприятных двусмысленностей, и я боюсь, что экономисты не вполне столковались

друг с другом. «Непросвещенные священники негодуют, когда слышат разговор о том, что в брак следует внести осторожность; они боятся, что это будет противоречить божественному велению: *плодитесь и размножайтесь*. Чтобы быть последовательными, они должны бы предать анафеме всех безбрачных» (Ж. Дроз. *Economie politique*).

Г-н Дроз слишком порядочный человек и слишком несведущ в богословии, для того чтобы понять причину переполоха среди казуистов, и это целомудренное неведение — лучшее доказательство чистоты его сердца. Религия никогда не одобряла ранних браков, и вид осторожности,

против которого она восстает, выражен в следующем латинском вопросе Санчеса: *An licet ob metum liberorum semen extra vas ejicere?*

Дестют—де—Траси, по-видимому, не нравится ни тот ни другой вид осторожности. «Я, — говорит он, — признаюсь, что не разделяю ни стремления моралистов уменьшить и ограничить наши наслаждения, ни стремления политиков увеличить нашу плодovitость и ускорить наше размножение». Следовательно, по его мнению, надо любить и вступать в брак при всякой возможности. Однако последствия любви и брака поддерживают нищету; это не

беспокоит нашего философа. Верный догмату неизбежности зла, он от зла же и ждет разрешения всех проблем. Поэтому он добавляет: «Когда размножение происходит среди всех классов людей, излишек высших последовательно выбрасывается в низшие слои, а излишек низших классов неизбежно погибает». Эта философия имеет немного открытых сторонников, но зато она имеет одно неоспоримое преимущество — она подтверждается практикой. Эта именно философия проповедовалась когда-то Франции в палате депутатов, во время обсуждения избирательной реформы. *Бедные всегда будут существовать*^[50] —

таков политический афоризм, при помощи которого министр разбил аргументацию Араго. *Бедные всегда будут существовать!* Да, пока будет существовать собственность.

Фурьеристы, *открывшие* столько чудес, и в этом случае не изменили себе. Поэтому они изобрели четыре средства для произвольного сокращения прироста народонаселения:

1. *Силу женщин.* Опыт опровергает действительность этого средства. Хотя сильные женщины не всегда быстро зачинают, но зато они рожают наиболее жизнеспособных детей и таким образом сохраняют преимущество материнства.

2. *Всестороннее упражнение*, или полное развитие всех физических способностей. Если это развитие полно, то может ли оно повести к уменьшению воспроизводительной способности?

3. *Гастрософический режим* или, говоря общечеловеческим языком, философия чревоугодия. Фурьеристы утверждают что обильная растительная пища делает женщин бесплодными, подобно тому как роскошное питание вызывает обильное и роскошное цветение растений, делая их бесплодными. Но аналогия эта ложная: бесплодие цветов происходит оттого, что тычинки, или мужские органы,

превращаются в лепестки (в этом можно убедиться, если внимательно рассмотреть розу), и оттого, что оплодотворяющая пыль, благодаря избытку влаги, утрачивает свои плодотворящие свойства. Для того чтобы гастрософический режим достиг желанных результатов, надо, следовательно, не только откормить самок, но также сделать бессильными самцов.

4. *Фанерогамные обычаи*, или публичный конкубинат. Я не понимаю, почему фаланстерцы употребляют греческие слова для изложения понятий, которые отлично можно выразить и на французском языке. Это средство,

так же как и предыдущее, есть подражание опыту цивилизованных народов. Сам Фурье приводит в качестве доказательства пример публичных женщин. Но относительно приводимых им фактов ничего еще достоверно не известно, о чем свидетельствует формальное заявление Парана—Дюшатле в его книге о проституции.

Насколько мне удалось выяснить, все средства против пауперизма и плодовитости, выработанные обычаем народов, философией, политической экономией и новейшими реформаторами, сводятся к следующим: мастурбации,

онанизму^[51], педерастии, трибадии, полиандрии, проституции, кастрации, изгнанию плода, детоубийству^[52].

Так как неуспешность всех этих средств уже доказана, остается прибегнуть к проскрипции.

Но, к несчастью, проскрипция бедняков, уменьшение их абсолютного числа, поведет лишь к относительному увеличению его. Если собственник получает в виде дохода только двадцатую часть продукта (согласно закону доход равен двадцатой части капитала), то 20 работников производят только для 19 человек, ибо среди них есть один, называющийся собственником и

присваивающий себе две доли. Допустим, что 20-й рабочий, нищий, убит; тогда производство следующего года уменьшится на одну двадцатую; следовательно, уступить свою долю и погибнуть придется уже девятнадцатому. Дело вот в чем: так как собственнику должна быть уплачена не 20-я часть продукта 19, но 20-я часть продукта 20 (см. 3-е предложение), то каждый работник должен лишать себя $\frac{1}{20} + \frac{1}{400}$ своего продукта, иными словами, нужно убить одного из девятнадцати работников. Таким образом, при существовании собственности относительное количество бедняков, по мере убиения их, будет только

возрастать.

Мальтус, который так умело доказал, что население возрастает в геометрической прогрессии, между тем как производство увеличивается лишь в арифметической прогрессии, не заметил этой «*науперифицирующей*» способности собственности. Не сделай он этой ошибки, то он понял бы, что, прежде чем искать средств к уменьшению нашей плодовитости, необходимо уничтожить право на доход (*droit d'aubaine*), ибо там, где это право существует, всегда чувствуется излишек населения, как бы ни была велика и плодородна земля.

Быть может, меня спросят, какое

средство я предложу для уравнивания населения, так как рано или поздно вопрос этот придется разрешить. Да позволит мне читатель не называть здесь этого средства. По моему мнению, не стоит говорить о том, что нельзя сейчас же доказать, а для того чтобы доказать верность предполагаемого мною средства, понадобилась бы целая книга. Средство мое так просто и величественно, так обыкновенно и благородно, так верно и так мало понято, так свято и обыденно, что если бы я назвал его без пояснений и доказательств, то вызвал бы лишь насмешки и презрение.

Удовлетворимся

установлением равенства, тогда мы увидим, что средство мое вытекает из него, ибо одна истина влечет за собою другую, подобно тому как одна ошибка или одно преступление влечет за собою другие ошибки и преступления.

6—е предложение.

Собственность невозможна, ибо она порождает тиранию.

Что такое правительство? Власть? Правительство есть общественная экономия, высшее управление трудом и благами всей нации.

Но нация представляет собою как бы большое общество,

акционерами которого являются все граждане: каждый имеет право совещательного голоса в собрании и все они, если только акции равны, обладают избирательным правом. Однако при господстве собственности пай акционеров чрезвычайно неравны, таким образом, один обладает сотней избирательных голосов, а у другого нет ни одного. Если, напр., я получаю один миллион дохода, иными словами, если я обладаю состоянием в 30—40 миллионов, заключающимся в землях, и если это состояние составляет $\frac{1}{30\,000}$ всего национального капитала, то ясно, что управление моим именем

потребуется $\frac{1}{30}$ 000 расходов правительства и что при народонаселении в 34 миллиона я один имею столько же голосов, как 1,133 обыкновенных акционера.

Поэтому г. Араго безусловно прав, когда он требует избирательного права для всех членов национальной гвардии, ибо всякий гражданин является владельцем по крайней мере одной национальной акции, дающей ему право на один голос; но знаменитому оратору следовало бы в то же время требовать, чтобы каждый избиратель получил столько голосов, сколько он имеет акций, что практикуется в коммерческих обществах. В

противном случае нация получила бы право распоряжаться имуществом частных лиц помимо их ведома, а это противоречило бы праву собственности. В стране, где господствует собственность, равенство избирательных прав есть нарушение права собственности.

Если, однако, каждый гражданин обладает суверенитетом лишь сообразно с размерами принадлежащей ему собственности, то отсюда следует, что мелкие акционеры находятся во власти крупных. Последние, если им вздумается, могут превратить первых в своих рабов, могут женить их на ком и когда им будет угодно, могут

отнять у них жен, оскотить их сыновей, обесчестить дочерей, отдать стариков на съедение рыбам. Крупные акционеры даже будут вынуждены сделать это, если не захотят сами обложить себя налогом в пользу своих рабов. В таком положении находится в настоящее время Великобритания: Джон Буль мало интересуется свободой, равенством и человеческим достоинством, он предпочитает служить и нищенствовать. Но что думаешь об этом ты, Жак Боном?

Собственность несовместима с политическим и гражданским равенством, следовательно, она невозможна.

Историческая справка.

1. Когда генеральные штаты в 1789 году декретировали удвоение числа депутатов третьего сословия, они совершили величайшее насилие над собственностью. Дворянство и духовенство владели тремя четвертями французской территории, дворянство и духовенство должны были составлять три четверти национального представительства. Удвоение числа депутатов третьего сословия было, говорят, справедливо, потому что один только народ почти исключительно платил налоги. Этот довод был бы неопровержим, если бы речь шла только об установлении налогов; но ведь говорилось тогда о

реформе правительства и конституции, и поэтому удвоение числа депутатов третьего сословия было узурпацией и нарушением собственности.

2. Если бы представители нашей современной радикальной оппозиции достигли власти, то они провели бы реформу, благодаря которой каждый национальный гвардеец получил бы избирательное право, а всякий избиратель – право быть избранным, и это было бы нарушением права собственности.

Они устроили бы конверсию ренты – это тоже нарушение права собственности.

Они провели бы в интересах

общества законы, нормирующие вывоз скота и хлеба, — еще одно нарушение права собственности.

Они изменили бы распределение налогов, т. е. нарушили бы то же право.

Они ввели бы бесплатное обучение народа — а это заговор против собственности.

Они организовали бы труд, т. е. они обеспечили бы рабочему работу и допустили бы его к участию в прибылях, и это уничтожило бы собственность.

А между тем эти же самые радикалы — ярые защитники собственности; это доказывает, что они сами не понимают, чего хотят и

что делают.

3. Так как собственность является главной причиной существования привилегий и деспотизма, то формула республиканских стремлений должна быть изменена. Клятва вступающего в тайное общество должна теперь гласить не *клянусь ненавидеть королевскую власть*, но *клянусь ненавидеть собственность*.

7—е предложение.

Собственность невозможна, ибо, потребляя то, что она получает, она уничтожает его, сберегая его, она его утрачивает, а капитализируя его, она делает это во вред

производству.

I. Если мы, вместе с экономистами, будем рассматривать работника как живую машину, то выдаваемое ему жалованье будет представляться в виде необходимых расходов на содержание и ремонт этой машины. Владелец фабрики, уплачивающий своим рабочим и служащим 3, 5, 10 и 15 франков в день, а самому себе назначающий по 20 франков ежедневно за высший надзор, не считает свои расходы потерянными, ибо он знает, что они будут возвращены ему в виде продуктов. Итак, *труд и воспроизводительное потребление* одно и то же.

Что такое собственник? Это машина, которая не функционирует или же функционирует для собственного удовольствия и ничего не производит.

Что значит потреблять по-собственнически? Это значит потреблять и не трудиться, потреблять и не воспроизводить. Ибо, повторяю, собственник заставляет себе платить за то, что он потребляет как работник; он не дает своего труда в обмен за свою собственность, ибо таким образом он перестал бы быть собственником. Потребляя как работник, собственник зарабатывает или, по крайней мере, ничего не теряет;

потребляя как собственник, он беднеет. Следовательно, для того чтобы наслаждаться собственностью, надо уничтожать, а для того чтобы действительно быть собственником, надо перестать быть таковым.

Работник, потребляющий свою заработную плату, есть машина, которая починяется и воспроизводит.

Собственник, потребляющий свой доход, является бездонной пропастью, это орошаемый песок, камень, на котором сеют. Все это настолько истинно, что собственник, не умея или не желая производить и зная, что по мере того, как он потребляет свою собственность, последняя разрушается, решил

заставить производить вместо себя
кого—нибудь другого. Политическая
экономия, отличающаяся
неизменной справедливостью,
называет это *производить
посредством своего капитала,
производить посредством своего
орудия!..* Но следовало бы сказать,
что это значит *производить
посредством своего раба,
производить мошенническим и
тираническим образом.* Скажите,
собственник производит!.. С таким
же правом и вор может сказать: я
произвожу.

Потребление собственника, в
противоположность потреблению
полезному, получило название

роскоши. После всего изложенного выше нетрудно понять, что внутри нации может царить величайшая роскошь, но нация от этого не будет богатой; что, чем больше будет роскошь, тем беднее нация, и наоборот. Надо отдать справедливость экономистам: они внушили всем такую боязнь роскоши, что в настоящее время значительное число капиталистов, если не все почти, устыдившись своей праздности, работают, сберегают и накапливают капиталы. Это называется попасть из огня да в полымя.

Я еще раз повторяю: собственник, воображающий, что он заработал свои доходы трудом, и

получающий за свой труд вознаграждение, является просто должностным лицом, получающим жалованье вдвойне, — вот вся разница между праздным собственником и собственником, который работает. Своим трудом собственник создает только свое жалованье, но не доходы. А так как сверх того его положение дает ему возможность захватывать самые доходные должности, то можно сказать, что труд собственника скорее вреден, нежели полезен обществу. Что бы ни делал собственник, но, потребляя свои доходы, он наносит обществу действительную потерю, которую его оплаченные услуги не могут ни

оправдать, ни возместить и которая уничтожила бы собственность, если бы последняя не восстанавливалась непрерывно производством других людей.

II. Итак, собственник, потребляющий продукт, уничтожает его. Но еще хуже, когда он его сберегает. Вещи, сберегаемые собственником, переходят в иной мир; от них не остается ничего, даже *carut mortuum*, даже навоза. Если бы существовала возможность путешествовать на луну и если бы собственники вздумали увозить туда свои сбережения, то через некоторое время они перетащили бы всю нашу планету на ее спутник.

Собственник, делающий
сбережения, мешает другим
наслаждаться, хотя и сам тоже не
наслаждается; для него нет ни
владения, ни собственности.
Подобно скупцу, он только охраняет
свое сокровище, но не пользуется им.
Пусть он радуется свой взор, глядя на
золото, пусть он спит с ним, пусть
засыпает, обнимая его, все равно
золото не создаст нового золота. Нет
собственности, когда нет
пользования ею, нет пользования ею
без потребления, и нет потребления
без разрушения собственности:
такова неизбежная судьба ее,
предназначенная ей Богом. Да будет
проклята собственность!

III.

Собственник,

капитализирующий свой доход, вместо того чтобы потребить его, делает это во вред производству и таким образом лишает себя возможности пользоваться своим правом. Увеличивая сумму процентов, которые надо платить, он вынужден уменьшать заработную плату; но чем больше он уменьшает заработную плату, т. е. урезывает средства, предназначенные на ремонт и содержание машин, тем более он понижает количество труда, а вместе с тем и количество продуктов, иными словами, самый источник своих доходов. Это наглядно докажет следующий

пример.

Пусть имение, заключающее в себе пахотную землю, луга, виноградники, дом хозяина и фермера, вместе со всеми орудиями обработки земли стоит 100 000 франков, капитализированных из 3 %. Если бы собственник, вместо того чтобы потребить свой доход, истратил его не на расширение своего имения, но на украшение его, то мог ли бы он требовать от своего фермера 90 франков лишних на те 3000 франков, которые он капитализировал бы таким образом? Очевидно, нет, ибо при таких условиях арендатор, не имея возможности производить больше,

скоро был бы вынужден работать даром и даже, более того, приплачивать, чтобы не нарушить контракта.

В самом деле, доход может увеличиться только при увеличении производительного капитала; если б собственник вздумал огораживать свои земли мраморными стенами и обрабатывать их золотыми плугами, то это нисколько не увеличило бы доходности земель. Но так как невозможно непрерывно приобретать, присоединять имение к имению, *продолжать свои владения*, как выражались римляне, и так как в то же время у собственника всегда остается известная сумма,

подлежащая капитализации, то пользование правом собственности становится в конце концов, по необходимости, невозможным.

И вот, вопреки этой невозможности, собственность накапливает капиталы и, накапливая их, увеличивает сумму процентов. Я не стану останавливаться на множестве примеров, которые дает торговля, промышленность, банковское дело, а остановлюсь на более важном факте, представляющем интерес для всех граждан, а именно на бесконечном росте бюджета.

Налоги увеличиваются с каждым годом. Было бы трудно в точности определить, какая именно

часть налогового бремени возрастает; вряд ли найдется смельчак, готовый утверждать, что он понимает что-нибудь в бюджете. Мы ежедневно слышим о разногласиях среди самых опытных финансистов; какого мнения можно держаться о науке управления, если сами жрецы этой науки не могут сойтись во взглядах на значение цифр? Каковы бы ни были непосредственные причины роста государственного бюджета, во всяком случае налоги непрестанно увеличиваются. Все это видят, все об этом говорят, но, по-видимому, никто не понимает первоначальной причины этого явления^[53]. Я утверждаю, что явление это

неизбежно и необходимо.

Народ представляет собою как бы арендатора крупного собственника, именуемого *правительством*, которому он за пользование землею уплачивает арендную плату, известную под именем *налога*. Каждый раз, когда правительство начинает войну, теряет или выигрывает сражение, перевооружает армию, воздвигает памятник, проводит канал или железную дорогу, оно делает денежный заем, проценты на который уплачивают плательщики налогов; иными словами, правительство, не увеличивая своего производительного капитала,

увеличивает капитал оборотный, т. е. поступает точно так же, как капиталист, о котором я говорил выше.

Раз, однако, правительство заключило заем, раз процент установлен, то бюджет не может быть освобожден от него, ибо для этого нужно было бы, чтобы держатели ренты отказались от получения процентов, но это невозможно без отказа от собственности; или чтобы государство объявило себя банкротом, а это было бы мошенническим отрицанием политического принципа; или чтобы оно вернуло долг, что немыслимо без

заклучения новаго займа; или чтобы оно сократило свои расходы, но это невозможно, потому что и заем был заключен из-за недостаточности доходов; или чтобы деньги, истраченные правительством, были истрачены производительно, однако и это имело бы место лишь при увеличении производительного капитала, а это увеличение противоречило бы нашей гипотезе; или, наконец, чтобы плательщики налогов были обременены новым налогом для погашения займа, но и это невозможно, ибо если б этот налог был разложен поровну на всех граждан, то половина, а может быть и больше, не была бы в состоянии

уплатить его, если же его возложили бы только на богатых, то он был бы налогом принудительным,
нарушающим право собственности. Давно уже практика финансистов показала, что путь займов, несмотря на чрезвычайную опасность его, все-таки самый удобный, верный и дешевый. Поэтому правительства постоянно заключают займы, т. е. постоянно увеличивают бюджет.

Итак, бюджет не только не может быть никогда уменьшен, но, наоборот, неизбежно должен увеличиваться. Факт этот настолько простой и осязательный, что прямо удивительно, как экономисты, при всей своей учености, не заметили

его. Если же они его заметили, то почему они молчали о нем?

Историческая справка. В настоящее время все очень заняты финансовой операцией, от которой ожидают, что она значительно облегчит бюджет: речь идет о конверсии 5% ренты. Оставив в стороне вопрос о законности этой операции, мы рассмотрим ее только с точки зрения финансовой. Если теперь при конверсии процент понизится с 5 до 4, то впоследствии по тем же причинам и в силу той же необходимости придется понизить его с 4 до 3, с 3 до 2, затем с 2 до 1 и, наконец, совершенно уничтожить всякую ренту. Но это значило бы

фактически декретировать равенство условий и упразднение собственности. Мне кажется, что было бы более достойно разумной нации предупредить неизбежную революцию, нежели позволить необходимости натолкнуть себя на нее.

8—е предложение.

Собственность невозможна, ибо ее способность к накоплению безгранична, между тем как материал для этого накопления ограничен.

Если бы люди, объединенные принципом равенства, предоставили одному из своей среды

исключительное право собственности и если бы этот единственный собственник дал человечеству, на сложные проценты, 100 франков, подлежащих возвращению через 600 лет двадцать четвертому поколению потомков этого собственника, то через 600 лет эти 100 франков, при 5%, составили бы 107 854 010 777 600 франков, т. е. сумму в $2696 \frac{1}{3}$ раза большую, чем капитал Франции, который я оцениваю в 40 миллиардов. Весь земной шар, все движимое и недвижимое, вместе взятое, стоит в 20 раз меньше этой суммы.

Если бы какой-нибудь человек в царствование Людовика Святого

занял такую же сумму в 100 франков, если бы он и его наследники отказались уплатить эту сумму, если бы было признано то, что эти наследники все были недобросовестными владельцами и что действие давности всегда нарушалось в законный срок, то, согласно нашим законам, последний наследник мог бы быть осужден на возвращение этих 100 франков с процентами и с процентами на проценты, а это составило бы, как мы видели выше, около 108 000 миллиардов.

Мы ежедневно можем убедиться, что состояния возрастают несравненно быстрее. В нашем

примере доход равен одной двадцатой капитала, но случается нередко, что он составляет одну десятую, одну пятую, половину капитала и даже равен последнему.

Фурьеристы, непримиримые враги равенства, сторонников которого они называют акулами, берутся удовлетворить все требования капитала, труда и таланта, учетверив производство. Но если производство учетверится, удесятерится и даже увеличится в сто раз, то собственность, в силу своей тенденции к накоплению и в силу последствий этого накопления, быстро поглотит и продукты, и капиталы, и земли, и все вплоть до

рабочих включительно. Или, быть может, фаланстеру будет воспрещено накапливать и отдавать деньги под проценты? Что же в таком случае разумеется под словом собственность?

Я не буду продолжать эти вычисления, их можно варьировать до бесконечности, и с моей стороны было бы смешно останавливаться на них, я спрашиваю только, на каком основании судьи, рассматривающие иск о праве владения, присуждают к уплате процентов? Я расширяю свой вопрос и спрашиваю:

взвесил ли законодатель все могущие произойти последствия, когда он вводил в республике

принцип собственности? Знал ли он закон возможного? А если он его знал, то почему о нем нет речи в кодексе, почему собственнику дан такой простор для увеличения собственности и для охранения своих интересов, почему судье дано такое широкое право признавать и устанавливать границы собственности? Почему государству дана власть устанавливать все новые и новые налоги? Вне каких пределов народ может отвергнуть бюджет, арендатор отказаться от арендной платы, промышленник – от уплаты процентов? До каких пределов может доходить эксплуатация работника бездельником? Где

начинается право грабить и где оно кончается? Когда производитель может сказать собственнику: я тебе больше ничего не должен? Когда собственность бывает удовлетворена? Когда не дозволяется больше красть?

Если законодатель знал закон возможного, но не нашел нужным считаться с ним, то где же его справедливость? Если он его не знал, то где же его мудрость? Можем ли мы признать его авторитет, раз он либо несправедлив, либо непредусмотрителен?

Если наши хартии и своды законов имеют основою своею бессмысленную гипотезу, то чему же

обучают в наших школах
правоведения? Какое тогда значение
может иметь постановление
кассационной палаты? Что
обсуждают наши палаты депутатов?
Что такое *политика*? Кого мы
называем *государственным*
деятелем? Что значит слово
правоведение? И не следовало бы
говорить вместо него
правоневедение?

Если в основе всех наших
учреждений лежит математическая
ошибка, то не являются ли все наши
учреждения ложными? Если все
социальное здание наше целиком
построено на абсолютно
невозможной собственности, то не

является ли наше правительство химерой, а все современное общество утопией?

9-е предложение.

Собственность невозможна, потому что она бессильна против собственности.

I. Согласно третьему выводу из нашей аксиомы собственник получает проценты так же, как и иностранец; этот принцип политической экономии общепризнан. С первого взгляда он кажется чрезвычайно простым, но на самом деле нет ничего более нелепого, более противоречивого и более невозможного.

Промышленник, говорят, сам уплачивает себе за наем своего дома и за свои капиталы; *он уплачивает себе*, т. е. заставляет платить себе публику, покупающую его продукты, ибо допустим, что промышленник захочет получать такую же прибыль, какую он якобы получает со своей собственности и со своих товаров: может ли он заплатить себе 1 франк за то, что стоит ему 90 сантимов, и, кроме того, получить еще прибыль на рынке? Нет; при такой операции деньги купца переходили бы из правой его руки в левую без всякой прибыли для него.

И вот то, что верно относительно одного лица, ведущего

торг с самим собою, верно также относительно целого торгового общества. Составим цепь из 10, 15, 20 или скольких угодно производителей, но если производитель А получит прибыль с производителя В, то согласно экономическим принципам В должен взыскать эту прибыль с С, С с D и т. д. до Z.

Но кто же уплатит Z прибыль, полученную вначале А? *Потребитель*, отвечает Сэй. Жалкий лицемер! Кто же этот потребитель, как не А, В, С, D и т.д.? Кто уплатит Z? Если это сделает первый получивший прибыль А, то прибыли не получит уже никто, не будет уже,

следовательно, и собственности. Если же Z возьмет на себя уплату этой прибыли, то он тем самым перестает быть членом общества, так как последнее отказывает ему в праве собственности и в праве на доход, каковые права оно дает всем остальным своим членам.

Раз только нация, так же как и все человечество, представляет собою большое промышленное общество, которое не может развить какую—либо деятельность вне собственных пределов, то ясно, что никто не может разбогатеть без того, чтобы кто—нибудь другой не обеднел. Для того чтобы право собственности, право получать доход (*droit d'aubaine*)

могло осуществляться для А, необходимо, чтобы Z был лишен его; отсюда ясно, что равенство прав без равенства условий существовать не может.

Несправедливость политической экономики в этом отношении можно назвать прямо вопиющей. «Когда я, промышленный предприниматель, покупаю услуги рабочего, я не включаю его заработной платы в чистый продукт моего предприятия, наоборот, я исключаю ее из него; но рабочий считает ее своим чистым доходом» (Сэй. *Economie politique*).

Это значит, что все заработанное рабочим есть *чистый продукт*, но что *чистым продуктом*

предпринимателя является только та часть полученного им дохода, которая остается за вычетом его жалованья. Но почему же один предприниматель имеет право получать прибыль? Почему это право, в сущности тождественное с правом собственности, не дано рабочему? С точки зрения экономической науки каждый рабочий представляет собою капитал; но с точки зрения той же науки всякий капитал, кроме расходов на его содержание и изнашивание, должен давать процент; собственник и взимает этот процент как со своего капитала, так и с самого себя; почему же рабочему

не позволено также взимать процент со своего капитала, т. е. с самого себя?

Собственность есть, следовательно, неравенство прав, ибо не будь она неравенством прав, то она была бы равенством благ, т. е. исчезла бы совсем. Так как конституционная хартия гарантирует всем равенство прав, то, следовательно, при существовании этой хартии собственность невозможна.

II. Может ли собственник имения А в силу одного того, что он собственник этого имения, завладеть полем своего соседа В? Нет, отвечают собственники; да и что это

имеет общего с правом собственности? Это вы увидите из нижеследующих предложений.

Имеет ли право промышленник С, торговец шляпами, заставить своего соседа D, также торговца шляпами, закрыть свою лавку и прекратить торговлю? – Ни в каком случае!

Но С желает заработать на каждой шляпе 1 франк, между тем как D довольствуется 50 сантимами; очевидно, умеренность D препятствует осуществлению притязаний С; имеет ли последний право препятствовать сбыту товаров D? Конечно нет.

Раз D властен продавать свои

шляпы на 50 сантимов дешевле, чем их продает С, то и последний в свою очередь волен понизить цену своих шляп на 1 франк. Но D беден, а С богат; вследствие этого D через год или два разоряется непосильной ему конкуренцией, а С оказывается хозяином положения. Может ли собственник D предпринять что-либо против собственника С? Может ли он требовать от последнего возвращения своей торговли, своей собственности? Нет, ибо D имел право сделать то же самое, что сделал С, если бы D был богаче С.

На том же основании крупный собственник А может сказать мелкому собственнику В: продай мне

твое поле или ты не продашь своего хлеба. И при этом А не причинит В никакой несправедливости и последний не будет иметь права жаловаться на него. Таким образом, при желании А поглотит В просто потому, что он больше последнего. И не на основании права собственности А и С ограбят В и D, но на основании права сильного. При помощи права собственности два соседа землевладельца, А и В, так же как и торговцы С и D, не могли ничего сделать друг против друга; они не могли ни ограбить, ни уничтожить друг друга, ни обогатиться один в ущерб другого; ограбление было произведено на

основании права сильного.

Но именно на основании того же права сильного фабрикант может понизить заработную плату своих рабочих, богатый торговец и обладающий большими запасами собственник продавать свои продукты за такую цену, какую они захотят получить. Предприниматель говорит рабочему: «Вы вольны предложить свои услуги кому-нибудь другому, так же как я волен принять их; я предлагаю вам столько-то». Торговец говорит своему клиенту: «Вы можете брать или не брать; ваши деньги, мой товар, я требую столько-то». Кто же уступит в этом случае? Более слабый, конечно.

Таким образом, без насилия
собственность беспомощна перед
собственностью; без насилия
собственность не может
увеличиваться посредством дохода
(aubaïne), следовательно, без насилия
собственность невозможна.

Историческая справка. Вопрос о
сахарном производстве колонистов и
туземцев дает нам яркий пример
этой невозможности собственности.
Предоставьте их самим себе, и
туземец будет разорен колонистом.
Для того чтобы поддержать
свеклосахарное производство, надо
обложить налогом сахарный
тростник; для того чтобы оградить
собственность одного, надо

нарушить собственность другого. Самой замечательной особенностью всего этого дела и особенностью, на которую меньше всего обратили внимания, является тот факт, что так или иначе принцип собственности должен быть нарушен. Дайте каждой отрасли промышленности пропорциональное право, так чтобы они уравнивали друг друга на рынке, и вы создадите *maximum*, нанесете собственности двойной удар: с одной стороны, ваша такса нарушает свободу торговли, с другой стороны, она отрицает равенство собственников. Возместите потери на свекловице, и вы нарушите собственность плательщика налогов.

Эксплуатируйте за счет нации оба сорта сахара, подобно тому как теперь эксплуатируются различные сорта табака, и вы уничтожите известный вид собственности. Осуществление последнего предложения было бы проще и лучше всего; но для этого понадобилась бы совместная деятельность знающих и великодушных людей, а это в настоящее время вещь недостижимая.

Конкуренция или, как ее называют иначе, свобода торговли, одним словом, собственность в сфере обмена долго еще будет служить основой нашего торгового законодательства, которое с

экономической точки зрения охватывает собою все гражданские законы и все правительство. Что же такое конкуренция? Дуэль, происходящая на ограниченном пространстве, при которой правота борющихся устанавливается при помощи оружия.

Кто лжет, обвиняемый или свидетель? — спрашивали наши жестокие предки. — Пусть они борются друг с другом, — решал судья, еще более жестокий, — прав будет более сильный.

Кто из нас двух будет продавать соседям пряности? — Пусть они откроют лавочки, — восклицает экономист, — наиболее хитрый или

наиболее жуликоватый окажется более честным человеком и наилучшим торговцем!

В этом заключается весь дух Наполеонова Кодекса.

10—е предложение.

Собственность невозможна, ибо она является отрицанием равенства.

Развитие этого предложения послужит резюме всех предыдущих предложений.

1. Принципом политической экономии является положение, что *продукты покупаются только за продукты*. Собственность можно защищать лишь постольку, поскольку она производит полезности; раз она

не производит ничего, она осуждена на гибель.

2. Экономический закон гласит, что *труд должен уравниваться продуктом*; между тем не подлежит сомнению факт, что при существовании собственности производство стоит дороже, чем оно обходится.

3. Другой экономический закон гласит, что *при данном капитале производство измеряется уже не размерами капитала, но производительною силою*. Собственность, требующая, чтобы доход всегда соответствовал капиталу, не принимая во внимание труд, не понимает соответствия

между причиною и действием.

4 и 5. Подобно гусенице, прядущей свою нитку, работник производит всегда только для себя; собственность, требующая двойного продукта, но не могущая добиться его, грабит и убивает работника.

6. Природа дала каждому человеку только один разум, один дух, одну волю; собственность же, даруя одной личности множественность вотумов, предполагает у нее множественность душ.

7. Всякое потребление, не производящее полезности, есть уничтожение; собственность, все равно, потребляет ли она, или

сберегает, или, наконец, капитализирует, всегда является производящей *бесполезность*, причиной бесплодия и смерти.

8. Удовлетворение всякого естественного права представляет собою уравнение, иными словами, право на какую—либо вещь неизбежно осуществляется обладанием этой вещью. Таким образом, между правом на свободу и положением свободного человека существует равновесие — уравнение; между правом быть отцом и отцовством — уравнение; между правом на безопасность и общественной гарантией — тоже уравнение. Но между правом на

получение доходов (droit d'aubaine) и получением этих доходов равновесия не бывает никогда; ибо, по мере того как доход (aubaine) получается, он дает право на получение другого, другой на получение третьего и т. д. без конца. Не будучи никогда адекватной своему объекту, собственность есть право, противоречащее природе и разуму.

9. Наконец, собственность сама по себе не может существовать; для того чтобы обнаруживаться и действовать, она нуждается в посторонней причине, и таковою является *насилие* или *обман*. Иными словами, собственность вовсе не равняется собственности, она

является отрицанием, ложью, она ничто.

Глава V

Психологическое объяснение идеи справедливого и несправедливого и определение принципа власти и права

Собственность невозможна; равенство не существует. Первая нам ненавистна, и мы ее желаем, второе владеет всеми нашими помыслами, но мы не умеем его осуществить. Кто объяснит нам этот глубокий антагонизм между нашим сознанием и нашей волей? Кто выяснит

причины этого рокового заблуждения, сделавшегося священнейшим принципом справедливости и общества?

Я решил сделать это и надеюсь достигнуть успеха.

Но прежде чем объяснить, как человек совершил насилие над справедливостью, необходимо определить самое понятие последней.

Первая часть

1. О нравственном чувстве у человека и животных

Философы не раз поднимали вопрос о том, где начинается точная граница, отделяющая ум животного от ума человека; и по обыкновению они наговорили и наделали массу глупостей, прежде чем решились сделать то, что только и нужно было делать, — прибегнуть к наблюдениям. Скрамному ученому, который, быть может, никогда не воображал себя философом, предназначено было положить конец этим бесконечным препирательствам простым определением, но одним из тех определений, которые важнее целых систем. Фредерик Кювье установил различие между *инстинктом* и *умом*.

Но никто еще не поднимал

вопроса:

Имеет ли различие между нравственным чувством человека и животных только количественный или же качественный характер?

Если бы в прежнее время кто-нибудь вздумал утверждать первое, то его утверждение сочли бы безумием, святотатством, оскорблением нравственности и религии; светские и духовные суды единогласно осудили бы его. А каким высоким слогом бичевали бы этот безнравственный парадокс! «Совість, — раздались бы восклицания, — совесть, эта гордость человека, дана только ему одному; понятие справедливого и

несправедливого, добродетели и порока является его благороднейшей привилегией; одному лишь человеку, царю природы, венцу творения, дана возвышенная способность противостоять суетным склонностям, выбирать между добром и злом и все более уподобляться Богу, благодаря свободе и справедливости... Нет, священная печать добродетели запечатлена только в сердце человека». Это слова, полные чувства, но лишённые смысла.

Человек есть животное, имеющее дар речи и общественное — *zôon logikon kai politikon*^[54], говорит Аристотель. Это определение более

верное, чем все последующие, не исключая даже знаменитого определения г. де Бональда: *человек — это ум, которому служат органы*. Последнее имеет два недостатка: оно объясняет известное неизвестным, т. е. живое существо умом, и умалчивает о животном происхождении человека.

Итак, человек есть животное, живущее в обществе. Кто говорит «общество», тот понимает совокупность отношений — словом, систему. Всякая система может существовать лишь при известных условиях. Каковы же условия, каковы законы человеческого общества?

Что такое *право*, что такое

справедливость?

Было бы бесполезно повторять вместе с философами различных школ: это божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, руководитель, данный природою, свет, озаряющий всякого человека, когда он является на свет, закон, запечатленный в наших сердцах, это крик совести, внушение ума, вдохновение чувства, склонность чувствительности; это любовь к себе в других, разумно понятая выгода; или же: это понятие врожденное, это категорический императив практического разума, источником которого являются идеи чистого разума; это страстное влечение и т. д.

и т. д. Все это может быть настолько же верно, насколько и прекрасно, однако все это не имеет абсолютно никакого значения. Если б эту канитель тянуть на протяжении хотя бы и десяти страниц (ею наполнены тысячи томов), то разрешение нашего вопроса все-таки ни на шаг не подвинулось бы вперед.

Справедливость есть общее благо, говорит Аристотель^{[\[55\]](#)}. Это верно, но это тавтология. «Принцип, что общее благо должно быть целью законодателя, – говорит г. Ш. Конт в своем *Traité de législation*, – не может быть ничем опровергнут; но, провозгласив и доказав его, мы для прогресса законодательства сделали

столько же, сколько сделали бы для успеха медицины, установив, что лечение больных должно быть делом врачей».

Изберем иной путь. *Право* есть совокупность принципов, управляющих обществом; справедливость в человеке есть уважение к этим принципам и соблюдение их. Соблюдать справедливость — значит повиноваться общественному инстинкту; совершить акт справедливости — значит совершить акт социальный. Если мы будем наблюдать поведение людей по отношению друг к другу при различных обстоятельствах, то нам

нетрудно будет заметить, когда они совершают поступок общественный и когда антиобщественный. В результате мы, путем индукции, получим закон.

Начнем с самых простых и наиболее наглядных случаев.

Мать, защищающая сына с опасностью для собственной жизни и отказывающая себе во всем, чтобы питать сына, составляет с ним общество — она хорошая мать, и наоборот, мать, бросающая сына, не повинуется общественному инстинкту, одной из форм проявления которого является материнская любовь, — она дурная мать.

Когда я бросаюсь в воду, чтобы спасти утопающего, я его брат, его союзник; но когда я его толкаю в воду, я его враг, убийца.

Человек, дающий милостыню, поступает с бедняком как со своим союзником, товарищем; не как с товарищем при всех обстоятельствах, но лишь как с товарищем, с которым он делится данным количеством благ. Кто силою или хитростью присваивает себе то, чего он не произвел, тот сам в себе уничтожает принцип общности и является разбойником.

Самарянин, поднимающий лежащего на дороге путника, перевязывающий его раны,

подкрепляющий его и дающий ему деньги, становится его товарищем, ближним; священник, равнодушно проходящий мимо того же путника, остается ему чуждым, враждебным.

Во всех этих случаях человек следует внутреннему влечению к подобным себе, скрытой симпатии, заставляющей его любить, сочувствовать, сострадать. Для того чтобы противостоять этому влечению, нужно усилие воли, противящейся природе.

Но все это не устанавливает никакого резкого различия между человеком и животными. Пока слабость детенышей животных возбуждает к ним любовь их матерей,

последние с опасностью для собственной жизни защищают их от нападений, проявляя при этом мужество не менее героическое, чем мужество людей, умирающих за свою родину. Некоторые виды соединяются в общества для охоты, отыскивают, зовут — поэт сказал бы, приглашают — друг друга для раздела добычи. В случае опасности животные предупреждают, защищают друг друга. Слон умеет вытаскивать своих товарищей из ловчих ям; коровы окружают своих телят кольцом, становясь вокруг них головами наружу для отражения волков. Лошади и свиньи прибегают на крик боли своих товарищей. Я мог

бы долго описывать их браки, нежность самцов к самкам, верность в любви. Следует, впрочем, в интересах справедливости признаться, что эти трогательные проявления товарищества, братства и любви к ближним не мешают животным ссориться, драться и уничтожать друг друга из-за пищи и из ревности. Животные в самом деле чрезвычайно похожи на нас!

Общественный инстинкт свойствен человеку и животным в различной степени, но по существу он и у того, и у других одинаков. Человек больше нуждается в обществе, животное более приспособлено для одиночества. У

человека потребность в обществе более настоятельна и сложна, у животного эта потребность, по-видимому, менее глубока, сложна и настоятельна. Вообще у человека общество имеет целью сохранение рода и индивидуума, у животных же только сохранение рода.

До сих пор мы не открыли ничего такого, на что человек мог бы претендовать как на свойственное исключительно ему: общественный инстинкт, нравственное чувство существует и у животных. Совершая некоторые поступки, вызванные состраданием, справедливостью и преданностью, человек мнит себя подобным Богу, забывая, что он при

совершении этих поступков следует чисто животному влечению. Мы бываем добрыми, любящими, сострадательными, справедливыми, но в то же время жадными, злыми, сладострастными и мстительными — совсем как животные. Высшие наши добродетели при тщательном анализе оказываются слепыми проявлениями инстинкта. Как они достойны прославления и канонизации!

Существует, однако, все-таки известное различие между нами, двуногими, и остальными живыми существами. В чем оно заключается? Ученик философии поспешит ответить нам: это различие заключается в том, что мы сознаем

свою общительность, животные же ее не сознают; а также в том, что мы размышляем и рассуждаем о проявлениях нашего социального инстинкта, животные же на это не способны.

Я пойду дальше: благодаря способности мыслить и рассуждать, свойственной, по-видимому, нам одним, мы знаем, что и для других, и для нас самих вредно противиться общественному инстинкту, который руководит нами и который мы называем *справедливостью*; разум говорит нам, что человек эгоистичный, вор, убийца – словом, изменник обществу – грешит против природы и становится преступником

по отношению к другим и к самому себе, когда причиняет зло сознательно; и наконец, наш социальный инстинкт — с одной, а разум, с другой стороны, подсказывает, что существа, подобные нам, должны быть ответственными за свои поступки. Таков принцип раскаяния, мести и уголовного правосудия.

Но все это изобличает вовсе не различие между чувствами человека и животных, а только различие в способности разума. Обсуждая наши взаимоотношения с ближними, мы обсуждаем также самые обыденные наши поступки: еду, питье, выбор жены, подыскание

жилища; мы рассуждаем обо всем в мире; нет ничего, к чему бы мы ни приложили своей способности суждения. И вот, подобно тому как приобретаемое нами знакомство с явлениями внешнего мира не влияет на их причины и законы, так и способность суждения, просвещая наш инстинкт, выясняет нам нашу чувственную природу, но не изменяет ее характера, показывает нам нашу нравственную жизнь, но не воздействует на нее. Недовольство, которое мы чувствуем, когда совершили ошибку, негодование, вызываемое в нас несправедливостью, понятие о заслуженной каре и должном

удовлетворении являются
результатом рефлексии, рассуждения,
но вовсе не непосредственными
проявлениями инстинкта и
чувственных ощущений.
Способность суждения – я не скажу:
принадлежащая исключительно нам,
ибо животные также сознают свои
проступки и также волнуются, когда
кто-нибудь из подобных им
подвергается опасности, – но гораздо
более развитая у нас способность
суждения о наших общественных
обязанностях, сознание того, что
хорошо или дурно, не составляет
существенного различия между
нравственным миром человека и
нравственным миром животного.

2. О первой и второй степени общительности

Я настаиваю на констатированном мною выше факте, который является одним из важнейших для антропологии.

Чувство симпатии, влекущее нас к обществу, по природе своей слепо, беспорядочно, всегда может быть парализовано впечатлением минуты и не считается ни с давностью прав, ни со старшинством, ни с заслугами. Непородистая собака бежит вслед за каждым, кто ее позовет; грудной младенец считает каждого мужчину своим отцом, каждую женщину — своей кормилицей; каждое живое

существо, лишенное общества себе подобных, привязывается к товарищу, с которым разделяет свое одиночество. Эта основная черта инстинкта общительности делает невыносимой и даже ненавистной дружбу людей легкомысленных, способных увлекаться каждым новым лицом, готовых услужить всем и каждому и ради мимолетной связи забывающих самые старинные и наиболее достойные уважения привязанности. Подобные существа страдают не отсутствием сердца, но отсутствием способности суждения. На этой ступени общительность представляет собою нечто вроде магнетизма, который вызывает в нас

созерцание подобного нам существа; этот магнетизм никогда не исходит от того, кто его испытывает, он может быть взаимным, но сообщить его другому нельзя. Назовите этот магнетизм любовью, доброжелательством, жалостью, симпатией — все равно в нем не заключается ничего, заслуживающего уважения, ничего, возвышающего человека над животным.

Второй степенью общительности является справедливость, которую можно определить как *признание в другом личности, равной нашей*. Как чувство она одинаково свойственна и нам и животным, но только мы способны

сознать ее, составить себе точное понятие о *справедливом*, что, однако, как я уже говорил выше, не изменяет сущности нравственности. Мы скоро увидим, каким образом человек возвышается до третьей ступени общительности, уже недоступной для животных. Но я предварительно должен доказать путем умозрений, что *общество, справедливость, равенство* — выражения равнозначащие, которые всегда вполне законным образом могут быть превращены одно в другое.

Когда я, во время кораблекрушения, спасаясь в лодке с известным количеством съестных припасов, замечаю человека,

борющегося с волнами, обязан ли я помочь ему? Да, я обязан помочь ему под страхом совершения человекоубийства, измены обществу.

Но обязан ли я также разделить с ним свои припасы?

Для того чтобы разрешить этот вопрос, надо придать ему иную форму: если общность обязательна относительно лодки, то обязательна ли она также относительно припасов? Без всякого сомнения — да; долг товарища, члена общества, абсолютен. Завладению вещами со стороны человека предшествует его общественная природа, и первое подчиняется последней, владение становится исключительным лишь с

того момента, когда всем дано равное право оккупации. Долг наш в данном случае затемняется нашей способностью предвидения, которая, заставляя нас бояться возможной опасности, толкает нас на узурпацию, делает из нас воров и убийц. Животные не сознают ни своего инстинктивного долга, ни последствий, могущих проистечь для них от выполнения этого долга. Было бы странно, если бы способность суждения сделалась для человека, самого общительного животного, причиной неповиновения закону. Кто уверяет, что пользуется своею способностью суждения только для своей выгоды, тот лжет обществу.

Лучше было бы, чтобы Бог лишил нас
предусмотрительности, если
последняя служит орудием нашего
эгоизма!

Как, скажете вы, надо, чтобы я
разделил свой хлеб, хлеб
заработанный, составляющий мое
достояние, с чужим человеком,
которого не знаю, никогда больше не
увиджу и который, быть может,
отплатит мне неблагодарностью?
Если б, по крайней мере, мы
заработали этот хлеб вместе, если б
этот человек сделал что-нибудь для
получения хлеба, он мог бы
требовать своей доли, ссылаясь на
свое сотрудничество со мною; но
ведь у меня нет ничего

принадлежащего ему! Мы не работали вместе, не будем также вместе и есть.

Ошибочность этого рассуждения заключается в ложном предположении, что данный работник не является неизбежно союзником всякого другого работника.

Когда двое или больше частных людей основывают общество, когда принципы последнего установлены, написаны и скреплены подписями, вытекающие из этого факта следствия понятны без труда. Когда двое людей основывают общество, скажем, для рыбной ловли, то все согласны с тем, что тот из них, кто

не поймал ни одной рыбы, имеет право на улов другого. Когда два торговца основывают общество для торговли, то и прибыли и убытки они делят пополам до тех пор, пока существует общество. Если каждый производит не для себя, а для общества, то в момент распределения благ принимается в расчет не производитель, а член общества. Вот почему раб, которому плантатор дает только солому и рис, вот почему рабочий, которому капиталист дает слишком маленькое вознаграждение, вот почему они, производя вместе со своим хозяином, но не будучи его товарищами, не получают своей доли в дележе.

Лошадь, которая нас везет, бык, который тащит наш плуг, производят вместе с нами, но не являются нашими товарищами; мы берем их продукт, но не делимся им с ними. Положение животных и рабочих, которые нам служат, одинаково; когда мы делаем добро тем или другим, мы делаем это не по долгу справедливости, но из чувства доброжелательства^[56].

Но может ли быть, чтобы мы, люди, не были товарищами, членами одного общества? Вспомним, что говорилось в двух предыдущих главах; если бы даже мы не хотели быть членами общества, то нас принудили бы к этому самая сила

вещей, наши потребности, законы производства, математический принцип обмена. Исключение из этого правила есть только одно: таковым является собственник, который производит, благодаря своему праву на получение дохода (*droit d'aubaine*), но не является ничьим товарищем и, следовательно, ни с кем не обязан делиться, так же как и другие не обязаны делиться с ним. Все мы, кроме собственника, работаем один для другого; сами по себе, без помощи других мы ничего не можем сделать, мы постоянно обмениваемся между собой произведениями и услугами: что же все это, если это не акты

общительности?

Коммерческое, промышленное, сельскохозяйственное общества немыслимы без равенства; равенство является необходимым условием их существования, так что во всем, имеющем отношение к данному обществу, нарушение последнего равняется нарушению справедливости, равенства. Приложите этот принцип ко всему человеческому роду; после того, что вы прочли, читатель, вы, полагаю, можете обойтись при этом и без моей помощи.

Итак, человек, завладевающий участком земли и говорящий: это мое поле, не будет несправедлив до тех

пор, пока все люди будут иметь возможность также сделаться владельцами; он не будет несправедлив также и в том случае, если, желая переселиться на другое место, переменит один участок поля на другой. Но если он, поставив на свое место другого, говорит ему: работай для меня, пока я буду отдыхать, то он становится несправедливым, антиобщественным, *неравным*, становится собственником.

В свою очередь, лентяй, бездельник, не выполняющий никакой общественной функции, но пользующийся произведениями других в такой же, а часто даже в

большей степени, чем другие, должен преследоваться как вор, как паразит. Мы сами перед собою обязаны ничего ему не давать; но так как жить ему надо, то мы должны подвергнуть его надзору и принудить к работе.

Общительность представляет собою для мира живых существ как бы силу тяготения; справедливость — то же самое тяготение, сопровождаемое рефлексией и знаниями. Но под каким общим понятием, под какой категорией познания воспринимаем мы справедливость? Под категорией равных количеств. Отсюда древнее определение юриспруденции: *Justum*

aequale est, injustum inaequale^[57].

Что же значит: совершать справедливость? Это значит давать каждому равную часть благ под условием равной суммы труда, это значит действовать сообразно интересам общества. Как бы эгоизм наш ни роптал, нет возможности обойти очевидную необходимость.

Что такое право оккупации, завладения? Это естественный способ разделения земли путем расселения работников одного рядом с другим, по мере того как они появляются; это право, сталкиваясь с общим благом, уничтожается, ибо общее благо, будучи благом общественным, является также

благом каждого отдельного оккупанта.

Что такое право труда? Это право на участие в пользовании благами при условии выполнения известных обязанностей, это право социальное, право равенства.

Справедливость, продукт известной комбинации идеи и инстинкта, проявляется в человеке, как только он приобретает способность чувствовать и мыслить. Поэтому ее считают понятием врожденным, первоначальным; взгляд этот ложный и с логической и с хронологической точки зрения. Но справедливость, которая по своему составу является, так сказать,

гибридной, справедливость, возникшая из двух способностей, чувственной и интеллектуальной, кажется мне одним из наиболее сильных аргументов в пользу единства и простоты нашего я, ибо организм сам собою не может создавать такие смеси, подобно тому как он из двух чувств, слуха и зрения, не может создать чувства смешанного, полужрительного, полуслухового.

Справедливость, благодаря двойственности своей природы, окончательно подкрепляет приведенные нами во II, III и IV главах доказательства. Так как, с одной стороны, идея *справедливости*

идентична с идеей общества, а последнее неизбежно заключает в себе понятие равенства, то равенство должно было бы служить основой всех софизмов, изобретаемых в защиту собственности. Последнюю можно защищать только как явление справедливое и общественное, а так как собственность влечет за собою неравенство, то для того, чтобы доказать, что собственность не противоречит обществу, надо доказать, что несправедливое — справедливо, неравное — равно, а это противоречие. Но так как, с другой стороны, второй элемент справедливости, понятие равенства, дан нам в математическом

соотношении вещей, то
собственность или неравное
распределение благ между
трудящимися, нарушая необходимое
равновесие труда, производства и
потребления, должна оказаться
невозможной.

Итак, все люди — члены одного
общества, все обязаны быть
справедливыми по отношению друг к
другу, все равны; следует ли отсюда,
что предпочтение, вызванное
любовью или дружбой,
несправедливо?

Здесь необходимо дать
некоторые пояснения.

Выше я привел пример человека,
подвергающегося опасности,

которому я мог оказать помощь. Допустим теперь, что меня зовут на помощь одновременно два человека; можно ли мне, должен ли я сначала броситься на помощь тому, кто мне ближе по крови, по дружбе, по уважению и благодарности, которые я к нему чувствую, могу ли я это сделать, рискуя гибелью второго? Да. А почему? Потому что внутри общественного целого для каждого из нас существует столько же частичных обществ, сколько и индивидуумов, и потому что в силу самого принципа общительности мы должны исполнять возлагаемые на нас этими обществами обязанности сообразно с тем, насколько близок

нам круг, который каждое из них образует вокруг нас. Таким образом, мы должны предпочитать всем другим нашего отца, мать, детей, друзей, товарищей и т. д. В чем, однако, должно заключаться это предпочтение?

Судья должен решить дело между своим другом и своим врагом. Может ли он в этом случае предпочесть своего *более близкого товарища* более далекому и, вопреки истине и справедливости, решить дело в пользу своего друга? Нет, ибо, если б он поддержал несправедливость этого друга, он сделался бы соучастником его измены общественному договору,

составил бы с ним, так сказать, заговор против всей совокупности членов общества. Предпочтение уместно только в личных отношениях, определяемых любовью, уважением, доверием, близостью, которые мы не можем чувствовать ко всем сразу. Во время пожара отец должен сначала спасти своего ребенка, а потом уже думать о ребенке соседа. Но так как признание права со стороны судьи не личное и не факультативное признание, то он и не властен потворствовать одному в ущерб другому.

Эта теория частичных обществ, образующих вокруг каждого из нас,

так сказать, концентрические круги внутри всего общества, дает ключ к разрешению всех проблем, какие только могут породить различные виды общественных обязанностей, вступая друг с другом в противоречие, проблем, являвшихся основной идеей древних трагедий.

Справедливость животных носит, так сказать, отрицательный характер. Исключая случаи защиты детенышей, общих охот, нападений и защиты, а также изредка помощи отдельному индивидууму, она не деятельна, а пассивна. Больной, не способный двигаться, или неосторожный, свалившийся в пропасть, не получает ни лекарств,

ни пищи; если они не могут выздороветь или выбраться из пропасти сами, жизнь их в опасности; никто не будет ухаживать за больным, никто не будет посещать и кормить попавшего в плен. Беззаботность животных зависит в такой же мере от недостатка средств, как и от скудости ума. Впрочем, различные степени близости, существующие между людьми, наблюдаются и среди животных; у них существует дружба, добрые соседские и родственные отношения, симпатии. Память у них развита слабее, чем у нас, чувства бессознательны, ум почти отсутствует. Тожество, по существу,

однако, все—таки имеется налицо, и наше превосходство над ними в этом отношении происходит исключительно от нашей сознательности.

Благодаря обширности нашей памяти и глубине суждения, мы умеем умножать и комбинировать действия, внушаемые нам общественным инстинктом, учимся делать их более успешными и направлять их сообразно степени и совершенству прав. Животные, живущие обществами, следуют справедливости, но они ее не знают и не обсуждают; они повинуются своему инстинкту, не рассчитывая и не философствуя. Их я не умеет

соединять общественный инстинкт с понятием равенства, ибо последнее, как понятие отвлеченное, им недоступно. Мы же, наоборот, исходя из принципа, что общество обуславливает собою равенство распределения, и при помощи нашей способности суждения можем входить друг с другом в соглашения относительно урегулирования наших прав, в этом мы даже значительно преуспели. Но сознание наше здесь играет самую незначительную роль, это доказывается тем, что понятие *права*, едва намеченное у некоторых, наиболее близких к нам в смысле умственного развития животных, находится, по-видимому, в таком же

зародышевом состоянии у некоторых диких народов и достигает высшего развития лишь в отдельных личностях, Платонах и Франклинах. Стоит проследить развитие нравственного чувства у отдельных личностей и развитие законов у целых народов, чтобы убедиться, что понятие справедливости и совершенство законодательства повсюду прямо пропорциональны развитию разума. Таким образом, понятие справедливого, казавшееся философам простым, на самом деле сложно. Оно вытекает из социального инстинкта, с одной, и из понятия равных заслуг, с другой стороны, подобно тому как понятие

виновности порождено чувством нарушения справедливости и понятием о свободе воли.

Итак, инстинкт не изменяется от присоединяющихся к нему познаний и рассмотренные нами до сих пор акты общительности свойственны нам наравне с животными. Мы знаем, что такое справедливость или общительность, соединенная с пониманием равенства. Нет ничего, отличающего нас от животных.

3. О третьей степени общительности

Быть может, читатель не забыл того, что я говорил в III главе о

разделении труда и об особенностях дарований. Сумма талантов и способностей у людей равна, и характер их однороден. Все мы, без исключения, рождаемся поэтами, математиками, философами, артистами, ремесленниками, земледельцами; но мы рождаемся ими не в одинаковой степени, и между способностями различных людей, так же как и между способностями одного человека, могут существовать всевозможные различия. Эти различия в степени одних и тех же способностей, это преобладание одного какого-нибудь таланта, является, говорили мы, основой нашего общества. Природа

распределила ум и гениальность с такой бережливостью и с такой предусмотрительностью, что социальному организму нечего опасаться ни избытка, ни недостатка специальных талантов, и каждый работник, выполняя свои функции, всегда может достигнуть степени образования, необходимой для того, чтобы он мог воспользоваться трудами и открытиями остальных членов общества. Благодаря такой простой и мудрой предосторожности природы работник не остается одиноким при выполнении своей задачи; мысленно он находится в общении со всеми себе подобными еще прежде, чем соединится с ними

сердцем, так что у него любовь порождается разумом.

Иначе обстоит дело с обществами животных. У каждого вида способности, очень, впрочем, ограниченные и по количеству, и, даже когда они вытекают не из инстинкта, по качеству, равномерно распределены между индивидами. Каждый умеет делать то же, что делают другие, и так же хорошо, как они. Каждый умеет отыскивать пищу, избегать врагов, рыть нору, строить гнездо и т. д. Никто из животных, будучи на воле и здоровым, не ждет и не требует помощи от соседа, который, в свою очередь, тоже обходится без чужой помощи.

Общественные животные живут рядом друг с другом, не обмениваясь мыслями и чувствами. Все делают одно и то же, им нечему учиться, нечего запоминать. Они один другого видят, чувствуют, соприкасаются друг с другом, но не понимают один другого.

Люди постоянно обмениваются между собой мыслями и чувствами, произведениями и услугами. Все, что происходит в обществе, все, чему в нем можно научиться, необходимо человеку; но из всей громадной суммы продуктов и идей отдельному человеку дано сделать и достигнуть так мало, что его доля в сравнении с общей суммой подобна атому в сравнении с

солнцем. Человек является
человеком только благодаря
обществу, которое, в свою очередь,
существует лишь благодаря
равновесию и гармонии
составляющих его сил.

У животных общество имеет
форму *простую*, у людей же
сложную. Человека объединяет с
человеком тот же инстинкт, который
объединяет и животных; но характер
общества, объединяющего людей,
иной, чем характер обществ,
объединяющих животных; из этого
именно различия вытекает и все
различие в нравственности.

Я, быть может слишком даже
пространно, доказал, основываясь на

самом духе законов, считающих
собственность основой социального
строения, и на политической экономии,
что неравенство условий не
оправдывается ни первенством
оккупации, ни превосходством
таланта, заслуг, способностей и
усердия. Но хотя равенство условий
является неизбежным следствием
естественного права, свободы,
законов производства, пределов
физической природы и самого
принципа общества, это равенство
все-таки не останавливает развития
чувства общественности на границе
должного и *имеющегося*; дух любви
и благотворительности идет дальше,
и, когда в экономике установлено

равновесие, душа начинает наслаждаться собственной справедливостью и сердце расцветает в бесконечных привязанностях.

Тогда чувство общности, соответственно взаимоотношениям людей, принимает новый характер: сильный наслаждается своим великодушием, равные — откровенной и искренней дружбой, слабые же испытывают радостное чувство умиления и признательности.

Человек, особенно одаренный силой, талантами или мужеством, знает, что он всем обязан обществу, без которого он ничто; он знает, что,

обращаясь с ним как с последним из своих членов, общество воздает ему должное. Но человек не может в то же время не сознавать превосходства своих способностей, не может не сознавать свою силу и величие: этим сознательным прославлением в своем лице всего человечества, этим признанием, что сам он только орудие природы, которая одна достойна славы и благословений, этим одновременным исповеданием ума и сердца, истинным поклонением верховному существу человек отличается от животных и благодаря этому он возвышается до такой ступени общественной нравственности, какой животным не

дано достигнуть. Геркулес,
бескорыстно уничтожающий
чудовища и наказывающий
разбойников ради блага Греции,
Орфей, поучающий грубых и
свирепых пелазгов без мысли о
награде, – вот наиболее благородные
образы, созданные поэзией, высшее
выражение справедливости и
добродетели.

Наслаждение, которое дает
самопожертвование, не поддается
выражению.

Если б можно было сравнить
человеческое общество с хором
античных трагедий, то я сказал бы,
что ряд возвышенных умов и великих
душ представляет собою *строфу*, а

масса маленьких и скромных людей — *антистрофу*. Обремененные тяжким и обыденным трудом, всемогущие благодаря своей численности и благодаря гармоническому единству своих функций, последние выполняют то, что создают в своем воображении первые. Руководимые первыми, они им ничем не обязаны, но отдают им дань восхищения и приветствуют их похвалами и аплодисментами.

Признательность превращается подчас в благоговение и энтузиазм.

Но равенство дорого моему сердцу. Благотворительность вырождается в тиранию, восхищение — в раболепство: дочерью равенства

является дружба. О друзья мои, я хотел бы жить среди вас без соревнования и без славы; я хотел бы, чтобы нас объединяло равенство и чтобы судьба указала нам наши места! Я хотел бы умереть прежде, нежели познакомиться с тем из вас, кто будет наиболее достоин уважения!

Дружба дорога сердцу детей человеческих.

Великодушие, признательность (я понимаю здесь лишь признательность, порождаемую удивлением перед высшею силою) и дружба являются тремя различными оттенками одного чувства, которое я назвал бы *справедливостью* или

социальной соразмерностью [\[58\]](#)
(équité ou proportionnalité sociale).

Гуманность не изменяет справедливости, но последняя, основываясь всегда на первой, прибавляет к ней уважение и таким образом создает в человеке третью ступень общительности. Благодаря чувству равенства или гуманности для нас и обязанность и наслаждение помогать нуждающемуся в нашей помощи слабому существу и делать его равным нам; воздавать сильному должную дань признательности и уважения, не становясь его рабом; любить нашего ближнего, нашего друга, человека, равного нам, за все, что мы получаем от него, даже в

обмен за услуги с нашей стороны. Гуманность есть общительность, возведенная разумом и справедливостью до высоты идеала; чаще всего она проявляется в форме *вежливости, учтивости*, которыми у некоторых народов исчерпываются все общественные обязанности.

Это чувство не известно животным. Они любят, привязываются, предпочитают того или иного, но они не понимают уважения, не знают ни великодушия, ни восторга, ни обрядов.

Это чувство порождается не разумом, который рассчитывает, взвешивает и вычисляет, но не любит, который видит, но не чувствует.

Подобно тому как справедливость является смешанным продуктом общественного инстинкта и рефлексии, так и гуманность есть смешанный продукт справедливости и вкуса, т. е. нашей способности оценивать и идеализировать.

Этот продукт, третья и последняя ступень общительности в человеке, определяется нашей сложной формой ассоциации, при которой неравенство или, вернее, различие способностей и специальность функций, само по себе имеющее тенденцию изолировать трудящихся, потребовало бы увеличения интенсивности нашей

общительности.

Вот почему сила, угнетающая и в то же время покровительствующая, отвратительна, вот почему тупое невежество, которое одинаково смотрит и на чудеса искусства, и на продукты самой грубой промышленности, вызывает невыразимое презрение, а торжествующая посредственность, надменно говорящая: *«Я тебе заплатил, я ничем тебе не обязан»*, возбуждает величайшую ненависть.

Общительность,
справедливость, гуманность – таково в его тройной постепенности точное определение инстинктивной способности, заставляющей нас

искать общества нам подобных; способ внешнего проявления ее можно формулировать следующим образом: равенство в произведениях природы и труда.

Эти три степени общительности предполагают и поддерживают друг друга: гуманность без справедливости невозможна, общество без справедливости — немыслимо. В самом деле, если я, для того чтобы вознаграждать талант, беру произведения одного лица и передаю их другому, несправедливо обездоливая первого, то я не обнаруживаю должного таланту уважения; если я в обществе присваиваю себе большую часть, а

остальным членам общества предоставляю меньшую, то мы уже не составляем общества в истинном смысле слова. Справедливость есть общительность, обнаруживающаяся в допущении к участию в физических благах, единственных доступных взвешиванию и измерению; гуманность есть справедливость, сопровождающаяся уважением и удивлением — вещами, не поддающимися измерению.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

1. Хотя мы вольны оказывать одному человеку больше уважения, нежели другому, и уважение это не имеет пределов, все же мы не вольны

предоставить ему большую долю общественных благ, чем остальным, так как долг справедливости выше долга гуманности и первый всегда должен предшествовать второму. Древние преклонялись перед женщиной, которую тиран принудил выбирать между смертью мужа и смертью брата и которая пожертвовала первым, говоря, что она может найти мужа, но брата найти не может; я утверждаю, что эта женщина, повинувшись свойственному ей чувству гуманности, совершила поступок дурной и несправедливый, ибо брачный союз теснее союза братского и человеческая жизнь не

принадлежит нам.

Согласно этому принципу неравенство вознаграждения не может быть внесено в законодательство под предлогом неравенства способностей, ибо основанное на справедливости распределение благ относится к области хозяйства, а не к области чувств.

Наконец, что касается подарков, завещаний и наследств, то общество, оберегая и семейные привязанности, и свои собственные права, не должно допускать, чтобы любовь и предпочтение нарушали справедливость. Даже будучи убежденным, что сын, давно уже

принимавший участие в трудах отца, более, чем кто бы то ни было другой, способен продолжать эти труды; что гражданин, застигнутый смертью за неоконченным делом, инстинктивно и из любви к своему делу сумеет назначить наилучшего продолжателя этого дела, общество, предоставляя наследнику право выбирать между разного рода наследствами, не может терпеть никакой концентрации капитала или доходов в руках одного человека, никакой эксплуатации труда, никакого грабежа^[59].

2. Чувство гуманности, справедливости и общительности живое существо может испытывать только по отношению к индивидам

своего рода; по отношению к существам другого вида оно немыслимо; волк к козе, коза к человеку, человек к Богу и тем более Бог к человеку не может питать этого чувства. Приписывание высшему Существу атрибутов вроде любви, гуманности и справедливости есть чистейший антропоморфизм; эпитеты: справедливый, милостивый, милосердный и пр., которые мы прилагаем к Богу, должны бы быть вычеркнуты из наших молитв. Бога можно бы считать добрым, справедливым и гуманным лишь по отношению к другому Богу; но Бог один, и, следовательно, он не может

испытывать общественных чувств, какими являются гуманность, справедливость, доброта. Разве говорят о пастухе, что он справедлив по отношению к своим овцам и собакам? Нет; но если бы он захотел настричь с шестимесячного ягненка столько же шерсти, сколько с двухлетнего барана, и если б вздумал заставить щенка стеречь стадо, как стережет его старая собака, то о нем не сказали бы, что он несправедлив, а прямо назвали бы его безумным. Дело в том, что между человеком и животным не может быть общественной связи, хотя возможна привязанность. Человек любит животное как *вещь*, если угодно, как

вещь одушевленную, но не как личность. Исключив из понятия о Боге страсти, которые приписывало ему суеверие, философия будет вынуждена исключить также и добродетели, которыми его щедро наградило наше религиозное чувство [60].

Если бы Бог спустился на землю и стал жить среди нас, мы не могли бы любить его, если б он не сделался подобным нам, не могли бы дать ему что бы то ни было, если б он сам ничего не производил, не повиновались бы ему, пока бы он не доказал нам, что мы заблуждаемся, и не преклонялись бы перед ним, пока он не обнаружил бы нам своего

могущества. Все законы нашего бытия, законы чувств, разума, законы экономические заставляли бы нас относиться к нему, как и ко всем другим людям, т. е. разумно, справедливо и гуманно. Я делаю отсюда заключение, что если Бог пожелает когда-либо войти в непосредственные сношения с человеком, то ему придется самому превратиться в человека.

Итак, если короли являются подобиями Бога и исполнителями его желаний, то они могут рассчитывать на любовь, повиновение и прославление с нашей стороны лишь с тем условием, что они будут работать, как мы, будут вступать в

общение с нами, будут производить столько же, сколько и расходовать, и самолично совершать великие дела. Если же, как утверждают иные, короли являются общественными должностными лицами, то любовь к ним также будет определяться их личными качествами, обязанность повиноваться им — основательностью их распоряжений, а цивильный лист — суммою всех произведений общества, деленною на число членов последнего.

Таким образом, и юриспруденция, и политическая экономия, и психология — все одинаково приводят нас к закону равенства. Право и обязанность,

вознаграждение, заслуженное талантом и трудом, порывы любви и энтузиазма — все это регулируется сообразно неизменному мерилу, все зависит от числа и равновесия. Равенство условий — вот принцип всякого общества, всеобщая солидарность — санкция этого принципа.

Равенство условий никогда еще не было осуществлено благодаря нашим страстям и благодаря нашему невежеству; но наше противодействие этому принципу все более и более обнаруживает его необходимость; об этом свидетельствует вся история и весь ход событий. Общество идет от

уравнения к уравнению; с точки зрения наблюдателя—экономиста, революции в сфере власти представляют собою только либо приведение алгебраических величин, взаимно исключающихся, либо выведение неизвестной величины, вызванное неизбежным действием времени. Числа суть провидение истории. Конечно, в прогрессе человечества принимают участие и другие элементы; но из множества скрытых причин, волнующих народы, одною из самых могущественных, регулярных и наименее скрытых являются периодические возмущения пролетариата против собственности. Собственность, действующая

одновременно и устранением и вторжением, между тем как народонаселение возрастает, собственность была принципом, породившим и определившим все революции. Религиозные и завоевательные войны, за исключением тех случаев, когда они вели к уничтожению целых племен, были случайными и быстро восстанавливаемыми нарушениями чисто математического прогресса жизни народов. Таково могущество накопления собственности, таков закон упадка и смерти обществ.

Иллюстрацией могут служить в средние века Флоренция, республика купцов и посредников, постоянно

раздираемая междоусобиями партий, называвшихся гвельфами и гибеллинами, а на самом деле представлявших собою враждебные друг другу простой народ и аристократов—собственников, порабощенная банкирами и в конце концов погибшая под бременем долгов^[61]; в древности Рим, подтачиваемый с самого своего возникновения ростовщичеством, тем не менее процветавший, пока мир давал *работу* его ужасным пролетариям, и погибший от истощения, когда народ, вместе с прежней энергией, утратил последнюю искру нравственного чувства; Карфаген, город торговли и

денег, непрестанно раздираемый внутренними междоусобицами; Тир, Сидон, Иерусалим, Ниневия, Вавилон, разорвавшиеся один вслед за другим благодаря торговой конкуренции и, как мы говорим теперь, благодаря отсутствию сбыта. Разве все эти примеры не показывают с достаточной ясностью, какая судьба ожидает современные нации, если народ, если Франция не провозгласит своим могучим голосом уничтожения общественного строя, основанного на собственности?

На этом труд мой должен бы закончиться. Я доказал права бедняка, я доказал, что собственник

— узурпатор; я требую правосудия, приведение приговора в исполнение меня не касается. Если, для того чтобы выиграть несколько лет незаконного пользования, мне возразят, что мало доказать необходимость равенства, что надо еще его организовать, тщательно избегая при его организации раздоров, то я вправе буду ответить: заботы об угнетенных важнее затруднений власть имущих. Равенство условий есть основной закон, на котором покоится политическая экономия и юриспруденция. Право на труд и на равную долю в благах земных не должно склоняться перед

опасениями власти; не пролетарий должен примирять противоречия, заключающиеся в законах, и тем более сносить заблуждения правительств, наоборот, гражданские и правительственные власти должны быть преобразованы согласно принципу политического и имущественного равенства. Раскрытое зло должно быть осуждено и уничтожено; законодатель не может опираться на свое незнание будущего строя и поддерживать явную несправедливость. Восстановление в правах откладывать нельзя. Справедливость, правосудие; признание права; восстановление в

правах пролетария – таким образом
вы, судьи и консулы, имея в виду
полицию, создадите
республиканское правительство.

Впрочем, я не думаю, чтобы
кто-нибудь из моих читателей
упрекнул меня в том, что я умею
разрушать, а созидать не умею.
Доказав принцип равенства, я
положил первый камень социального
здания; более того, я указал путь,
которому надо следовать при
разрешении политических и
законодательных вопросов. Что
касается самой науки, то я говорю
открыто, что знаю только ее
принцип, и полагаю, что в настоящее
время никто не может похвастать

большим знанием ее. Многие люди восклицают: придите ко мне, я научу вас истине. Эти люди считают истиной свое внутреннее убеждение, свою восторженную уверенность; они обыкновенно заблуждаются относительно истины вообще. Наука об обществе, как и все вообще человеческие науки, останется на веки веков неоконченной; глубина и разнообразие обнимаемых ею вопросов неисчерпаемы. Мы едва познакомились с азбукою этой науки; доказательством этого служит тот факт, что мы еще не пережили периода созидания систем и по-прежнему вместо фактов признаем авторитет большинства борющихся

сторон. Одно грамматическое общество разрешало лингвистические вопросы большинством голосов; дебаты наших палат были бы еще смешнее, если бы они не приводили к таким ужасным последствиям. В наше время задачей истинного публициста является разоблачение изобретателей и шарлатанов и приучение публики к тому, чтобы она верила только доказательствам, но отнюдь не символам и программам. Прежде чем приступать к изложению какой-либо науки, необходимо определить ее предмет, найти ее принцип и метод; необходимо очистить ее от загромождающих ее предрассудков.

Такова задача девятнадцатого столетия.

Сам я, согласно своему обету, останусь верен делу разрушения и буду преследовать истину сквозь развалины и обломки. Я ненавижу полуоконченную работу, и мне без особенных предупреждений с моей стороны могут поверить, что если я дерзнул поднять руку на кивот завета, то я не удовлетворюсь тем, что сбросил с него покров. Нужно, чтобы тайны святилища неравенства были разоблачены, чтобы скрижали Ветхого завета были разбиты и все предметы поклонения брошены в навоз, свиньям. Нам была дана хартия, совокупность всех

политических знаний, символ двадцати законодательств; был написан кодекс, гордость завоевателя, полное выражение всей античной мудрости, но от этой хартии, от этого кодекса не останется ни единого параграфа. Отныне ученые могут составить себе свое собственное мнение и приготовиться к пересозданию всего старого.

Но так как раскрытое заблуждение предполагает по необходимости противоположную ему истину, то я не окончу этого сочинения, не разрешив первой проблемы политической науки, проблемы, которой в настоящее время заняты все умы.

Если собственность будет уничтожена, то какова будет форма общества? Будет ли это форма коммунистическая?

Вторая часть

1. Причины наших заблуждений; происхождение собственности

Прежде чем определить истинную форму человеческого общества, необходимо разрешить следующий вопрос:

Каким образом могла установиться собственность, раз она

не является естественным условием нашего существования? Почему общественный инстинкт, столь верный у животных, изменил людям? Почему люди, рожденные для общества, до сих пор еще не живут общественной жизнью?

Я сказал выше, что человек вступает с другими людьми в *сложные* соединения. Если даже это выражение неверно, то все-таки не подлежит сомнению факт, который я охарактеризовал этим выражением, т. е. сложность и зависимость друг от друга талантов и способностей. Но очевидно, что эти таланты и способности, в силу своего бесконечного разнообразия,

являются причиною бесконечного разнообразия воли, характера, склонностей и, если можно так выразиться, форм нашего я, которые неизбежно определяются ими. Таким образом, в области свободы, так же как и в области разума, существует столько же типов, сколько и индивидов, столько же своеобразных личностей, сколько и людей, вкусы, настроения и склонности которых, определяющиеся различными понятиями, по необходимости различны. Человек, по самой природе своей и по присущему ему инстинкту, предназначен для общества, а личность его, всегда непостоянная и своеобразная,

противится этому.

В обществах животных все индивидуумы делают одно и то же, ими руководит один и тот же дух, одна и та же воля. Общество животных есть собрание круглых, кубических, треугольных или многоугольных, но всегда совершенно одинаковых частиц; можно бы сказать, что всеми ими руководит *одно я*. Работы, которые животные выполняют либо сообща, либо в одиночку, точно воспроизводят их характер: подобно тому как пчелиный рой состоит из совершенно одинаковых и равных пчел, так и медовые соты состоят из совершенно равных и неизменных

ячеек.

Но ум человеческий, предназначенный одновременно и для социальной и для индивидуальной жизни, носит совершенно иной характер, и благодаря этому формы человеческой воли чрезвычайно разнообразны. У пчелы воля постоянна и единообразна, ибо руководящий ею инстинкт неизменен; этот инстинкт составляет жизнь, благополучие и все существование животного. У человека талант изменчив, разум неопределен и воля вследствие этого разнообразна и изменчива. Человек ищет общества, но избегает принуждения и однообразия; он

охотно подражает, но в то же время влюблен в свои идеи и создания.

Если бы человек, подобно пчеле, рождаясь, был уже одарен готовым талантом, совершенными специальными познаниями, прирожденными знаниями — словом, был бы готов к выполнению предстоящих ему функций, но лишен способности размышлять и рассуждать, общество организовалось бы само собою. Тогда один обрабатывал бы поле, другой строил бы дом, третий работал бы в кузнице, четвертый готовил бы одежду, пятый собирал бы продукты, шестой распределял бы их и т. д. Каждый, не доискиваясь, зачем он

работает, не заботясь о том, сколько он сделает, выполнял бы свой урок, приносил бы продукт, получал бы жалованье и отдыхал бы, не считая, не завидуя никому и не жалуясь на раскладчика, который никогда не совершал бы несправедливости. Короли тогда управляли, но не царствовали бы, ибо царствовать — значит, по выражению Бонапарта, быть *собственником* «жирного пастбища» (de l'engrais). Распоряжаться было бы не нужно, так как всякий сам делал бы свое дело, и поэтому короли были бы скорее центрами объединения, нежели авторитетами и советниками. Существовало бы общество,

сложившееся само собою, но не общество, явившееся результатом размышлений и принятое свободной волей.

Однако человек приобретает умелость только благодаря наблюдениям и опыту. Следовательно, он размышляет, ибо наблюдать, производить опыты — значит размышлять; он рассуждает, ибо не может не рассуждать; размышляя, он делает себе иллюзии; рассуждая, заблуждается, упорствует в своем заблуждении; настаивает на нем, уважает себя и презирует других. Тогда он уединяется, потому что не может подчиниться большинству, иначе как отказавшись

от своей воли и рассудка, т. е. от самого себя, а это невозможно. Это уединение, этот рациональный эгоизм, этот индивидуализм во взглядах существует до тех пор, пока наблюдение и опыт не укажут человеку истины.

Эти факты сделаются еще вразумительнее, если мы прибегнем к следующему сравнению.

Если бы вдруг к слепому, но гармоничному и сближающему инстинкту пчелиного роя присоединилась способность размышлять и рассуждать, пчелиное общество распалось бы. Прежде всего члены попытались бы сделать какие-нибудь технические

улучшения, стали бы, например, делать круглые или четырехугольные ячейки. Изобретения и новшества следовали бы одно за другим, пока долгая практика при помощи геометрии не показала бы, что шестиугольная форма самая удобная. Затем произошли бы восстания, трутням пришлось бы собирать запасы, маткам работать. Среди работниц возникла бы зависть, начались бы раздоры, каждая захотела бы работать для себя, и в конце концов пчелы, покинув улей, погибли бы. Зло, подобно змее, прячущейся под цветами, проникло бы в пчелиную республику благодаря разуму и способности рассуждать, т.

е. благодаря тому, что должно было бы возвысить ее.

Таким образом, нравственное зло, т. е. в данном случае беспорядок в обществе, естественно объясняется нашею способностью рассуждать. Пауперизм, преступления, восстания, войны порождены неравенством условий, сыном собственности, родившимся от эгоизма, произведенным на свет сознанием самого себя, которое вытекает непосредственно из господства разума. Человек начал не с преступления и не с жестокости, а с ребячества, невежества, неопытности. Одаренный могущественными инстинктами, но

также и способностью рассуждать, человек сначала мало размышляет и рассуждает плохо; затем, благодаря заблуждениям, понятия его становятся более ясными, разум более совершенным. Дикарь всем готов пожертвовать ради пустяка, а потом раскаивается и плачет. Исаа отдает свое право первородства за чечевичную похлебку, а потом хочет нарушить договор. Цивилизованный рабочий трудится, опираясь на отменимое право, и постоянно требует увеличения заработной платы, потому что ни он, ни его хозяин не понимают, что заработная плата будет недостаточна до тех пор, пока не будет равна для всех.

Навуфей умирает, защищая свое достояние. Катон кончает с собою, чтобы не быть рабом. Сократ защищает свободу мысли, не останавливаясь даже перед роковою чашею. Третье сословие в 1789 году добивается свободы, и скоро уж народ потребует равенства прав на средства производства и потребления.

Человек рождается существом общественным, т. е. он во всех своих отношениях стремится к равенству и справедливости; но он любит независимость и похвалы. Трудность одновременного удовлетворения этих различных потребностей служит первой причиной деспотизма воли и

вытекающего из него присвоения. С другой стороны, человек нуждается постоянно в обмене своих продуктов. Не имея возможности точно определять ценности, скрывающиеся под различными формами, человек довольствуется приблизительной оценкой их, зависящей от склонностей его и капризов, и предаётся недобросовестной торговле, результатом которой всегда является роскошь и нищета. Таким образом, величайшее зло для человечества порождается дурно направленным общественным инстинктом, справедливостью, которою оно так гордится и которую так плохо применяет в жизни.

Приложение справедливости в жизни есть наука, открытие и распространение которой, рано или поздно, положит конец социальному злу, научив нас понимать наши права и обязанности.

Такое прогрессивное и болезненное воспитание инстинкта, медленное и неощутительное изменение самопроизвольных восприятий и превращение их в обдуманное знание не замечается у животных. Инстинкт их остается неизменным и бессознательным.

Согласно Фредерику Кювье, проведшему резкую грань между умом и инстинктом животных, последний «есть особое

первобытное свойство, подобное чувствительности, раздражимости, уму. Волк и лисица, узнающие капканы, в которых побывали раньше, и избегающие их, собака и лошадь, понимающие даже наши слова и повинующиеся нам, обнаруживают ум. Но собака, прячущая остатки еды, пчела, строящая ячейку, птица, свивающая гнезда, — все они действуют по инстинкту. Инстинкт существует и у человека: только благодаря особому инстинкту дитя, появляясь на свет, сосет грудь матери. Но человек во всех почти своих действиях следует разуму; у него разум дополняет инстинкт, у животного же, наоборот,

ИНСТИНКТ дополняет разум»
(Флуранс. Résumé analytique des
observations de F. Cuvier).

«Для того чтобы составить себе
ясное понятие об инстинкте, надо
допустить, что в мозгу у животных
существуют врожденные и
постоянные образы и ощущения,
заставляющие их действовать так,
как обыкновенно заставляют
действовать постоянные и случайные
ощущения. Это нечто вроде сна или
видения, постоянно преследующего
животных; во всем, что касается их
инстинкта, их можно рассматривать
как ясновидящих» (Ф. Кювье.
Introduction au règne animal).

Чем же отличается человек от

животного, раз и ум и инстинкт, хотя в разной степени, свойственны обоим? По мнению Ф. Кювье, человек отличается от животного *способностью рассуждать или рассматривать умственно, путем углубления в свое я, свои собственные изменения.*

Положение это неясно и требует пояснений.

Если признавать за животными ум, то надо также признать за ними известную степень способности суждения, ибо ум не может существовать без последней, и сам Ф. Кювье доказывает это целым рядом примеров. Заметим, однако, что ученый—наблюдатель определяет

способность суждения, которою мы отличаемся от животных, как способность рассматривать наши собственные изменения. Я постараюсь уяснить эту мысль, дополнив чересчур лаконичное положение философа—натуралиста.

Приобретенный животными ум никогда не побуждает их видоизменять приемы, которые они выполняют инстинктивно; ум вообще дан им лишь для того, чтобы они могли справиться с неожиданными случайностями, нарушающими их обычные приемы. У человека, наоборот, инстинктивные действия непрестанно превращаются в обдуманые. Так, напр., человек,

общительный в силу инстинкта, становится с каждым днем общительнее благодаря способности суждения и способности выбирать. Человек создал язык инстинктивно [62] и инстинктивно же сделался поэтом; теперь же он из грамматики сделал науку, а из поэзии искусство. Он верит в Бога и будущую жизнь бессознательно и, смею сказать, инстинктивно. Своему понятию о Боге и будущей жизни человек придавал последовательно то чудовищную, то странную, изящную, утешительную или устрашающую форму. Все те различные виды культа, над которыми смеялось легкомысленное неверие XVIII

столетия, представляют собою ряд форм, выражавших собою религиозное чувство. Когда-нибудь человек уяснит себе, что такое Бог, к которому стремятся его помыслы, и чего можно ждать от будущей жизни, которой жаждет его душа.

Человек не придает никакого значения тому, что он делает инстинктивно, и даже презирует инстинктивные действия. Если же человек и восхищается ими, то только как творениями природы: отсюда забвение имен первых изобретателей; отсюда наше равнодушие к религии и презрение к ее обрядам. Человек ценит только создания разума. Самые

изумительные творения инстинкта в его глазах лишь счастливые *находки*; он называет *открытиями*, я чуть не сказал — творениями, создания разума. Инстинкт порождает страсти и энтузиазм; разум создает преступления и добродетель.

Для развития своего ума человек пользуется не только своими собственными наблюдениями, но также наблюдениями других; он записывает опыт, хранит предания; таким образом, ум развивается не только у личности, но и у рода. У животных знания не передаются; воспоминания каждого индивида погибают вместе с ним.

Поэтому недостаточно сказать,

что мы отличаемся от животных способностью суждения, если под этим не подразумевается *постоянная тенденция нашего инстинкта сделаться разумом*. Пока человек повинуется инстинкту, он не сознает того, что делает; он никогда не заблуждался бы, для него не существовало бы ошибок, зла и неурядиц, если бы он, подобно животным, руководствовался одним только инстинктом. Но Создатель одарил нас способностью суждения, для того чтобы наш инстинкт превратился в разум. Так как способность суждения и порождаемое ею знание имеют различные степени, то случается, что

вначале она не руководит инстинктом, а только мешает ему; что, следовательно, наша способность мыслить заставляет нас действовать вопреки нашей природе и нашим целям, что, заблуждаясь, мы делаем зло и страдаем от него. Это будет происходить до тех пор, пока инстинкт, ведущий нас к добру, и способность суждения, заставляющая нас делать ошибки, уступят место познанию добра и зла, познанию, которое даст нам возможность искать первое и избегать последнего.

Итак, зло, т. е. заблуждение и его последствия, — дитя двух враждующих способностей:

инстинкта и разума; вторым и неизбежным плодом их должно быть добро или истина. Я буду продолжать сравнение и скажу, что зло – продукт кровосмешения двух противоположных сил; добро же рано или поздно явится законным плодом их таинственного и священного союза.

Собственность, порожденная способностью суждения, укрепляется благодаря сравнениям. Но подобно тому как размышлениям и рассуждениям предшествует самопроизвольность, наблюдению – ощущение, опыту – инстинкт, так собственности предшествует общность (коммунизм). Общность,

или простая ассоциация, является неизбежной целью, первоначальным проявлением общительности, самопроизвольным движением, в котором эта общительность обнаруживается; это первый фазис человеческой цивилизации. При таком состоянии общества, получившего от юристов название *отрицательной общности*, человек сближается с человеком, делится с ним плодами земли, молоком и мясом животных. Мало-помалу эта общность, отрицательная потому, что человек ничего не производит, стремится сделаться положительной и соответствующей развитию труда и промышленности. Но тогда-то

именно автономия мысли и ужасная способность рассуждать о том, что хуже и что лучше, показывают человеку, что если равенство есть необходимое условие общества, то общность есть первый вид рабства.

Чтобы представить все это в виде гегельянской формулы, я скажу:

Общность, первая форма, первое проявление общительности, есть первый член социального развития, *тезис*;

собственность, противоречащая общности, есть второй член, *антитезис*; остается найти третий член, *синтез*, и мы найдем требуемое решение. И вот синтез неизбежно вытекает из поправки, внесенной в тезис

антитезисом. Нужно, следовательно, рассмотреть их характерные черты и исключить из них все враждебное общительности; соединив оставшееся, мы получим истинную форму человеческого общества.

2. Основные черты общности и собственности

I. Я не должен скрывать, что вне собственности или вне общности никто еще не представлял себе возможности общества: это печальное заблуждение дало жизнь собственности. Неудобства общности так очевидны, что критикам никогда не приходилось тратить особенно много красноречия для того, чтобы

внушить людям отвращение к ней. Неисправимая несправедливость общности, насилие, совершаемое ею над симпатиями и антипатиями, железное ярмо, налагаемое ею на волю, нравственные пытки, причиняемые ею совести, слабость, на которую она осуждает общество, и, наконец, блаженное и тупое однообразие, которым она оковывает свободную, деятельную, разумную и непокорную личность человека, — все это восстановило против нее здравый смысл и бесповоротно осудило ее.

Авторитеты и примеры, приводимые в ее пользу, обращаются против нее: коммунистическая

республика Платона предполагает рабство; коммунистическая республика Ликурга основывалась на труде илотов^[63]; последние производили все нужное их господам и таким образом давали им возможность посвящать себя всецело гимнастическим упражнениям и войне. Ж. - Ж. Руссо, смешивая равенство с общностью, сказал где-то, что он не понимает равенства условий без рабства. Коммунистические общины первобытных христиан не просуществовали даже до конца первого столетия и быстро выродились в монашеские общины. В общинах иезуитов^[64] в Парагвае

положение туземцев, по мнению путешественников, посетивших их, было не лучше положения рабов: факт тот, что добрые отцы вынуждены были окружать неопитов стенами и рвами для того, чтобы они не разбежались. Бабувистами руководила скорее преувеличенная ненависть к собственности, нежели ясное и определенное убеждение, и они потерпели поражение благодаря преувеличению своих принципов. Сенсимонисты, соединявшие общность с неравенством, промелькнули, подобно кучке ряженых. Опаснее всего для современного общества было бы, если бы оно еще раз потерпело

крушение на этой скале.

Странная	вещь!	
Систематический	коммунизм,	
обдуманное	отрицание	
собственности,	возник	под
непосредственным	влиянием	
собственнического предрассудка; и в		
основе	всех	коммунистических
теорий	неизменно	лежит
собственность.		

Члены общины не имеют, правда, никакой собственности, но зато сама община — собственница не только имуществ, но также людей и их воли. Именно благодаря этому принципу высшей собственности, во всякой общине труд, который должен бы являться для человека лишь

естественным условием
существования, становится
человеческим велением и в силу
этого ненавистным. Благодаря этому
принципу, строжайше
предписывается пассивное
повиновение, совершенно
несовместимое с мыслящей волей, и
неукоснительное подчинение
регламентам, которые по самой
природе своей не могут быть
совершенными; благодаря ему жизнь,
талант и все способности человека
являются собственностью
государства, которое, в интересах
общего блага, может распорядиться
ими по своему произволу; благодаря
ему строго воспрещаются всякие

частные общества, невзирая на симпатии и антипатии талантов и характеров, ибо терпеть частные общества значило бы допускать существование внутри коммуны маленьких коммун, а вместе с тем и собственности; благодаря этому принципу, сильный обязан выполнять урок слабого, хотя эта обязанность должна бы внушаться не принуждением, но состраданием и являться результатом не предписания, а совета; трудолюбивый выполняет урок лентяя, хотя это несправедливо, умный — урок идиота, хотя это нелепо. Благодаря этому принципу, наконец, человек должен отказаться

от своего я, от своей воли, от своего гения и привязанностей и смиренно подчиниться интересам величия и неприкосновенности общины.

Общность есть неравенство, но в совершенно ином смысле, чем собственность. Собственность ведет к эксплуатации слабого сильным, общность же — к эксплуатации сильного слабым. При существовании собственности неравенство условий является результатом насилия, какое бы имя оно ни носило: физического или духовного, силы событий, случайности, *счастья*, силы приобретенной собственности и т. п. При существовании общности

неравенство является результатом посредственности таланта и труда, возвеличиваемых, подобно насилию. Это оскорбительное уравнение возмущает совесть и вызывает ропот достойнейших; ибо если помощь слабому является обязанностью сильного, то последний желает выполнять эту обязанность из великодушия; сравнение со слабым невыносимо для него. Пусть они будут равны по условиям их труда и вознаграждения, но пусть никогда взаимное подозрение в невыполнении общего дела не возбуждает между ними ревности.

Общность есть угнетение и рабство. Человек охотно подчиняется

закону долга, охотно служит своему отечеству, охотно помогает друзьям, но он хочет работать над тем, что ему нравится, когда и сколько ему самому захочется. Он хочет располагать своим временем, повиноваться только необходимости, иметь право выбирать друзей, развлечения и порядок работы; он желает оказывать услуги, повинуюсь разуму, а не приказу, приносить себя в жертву из эгоизма, но не из рабской покорности. Общность по существу своему несовместима со свободным развитием наших способностей, с нашими наиболее благородными склонностями и наиболее дорогими чувствами. Что бы люди ни

придумывали для того, чтобы примирить общность с требованиями индивидуального разума и воли, все это изменило бы сущность ее и оставило бы неприкосновенным только название; однако если мы искренно желаем раскрытия истины, то мы не должны заниматься пустыми словопрениями.

Итак, общность нарушает автономность совести и равенство; первую она нарушает, стесняя самопроизвольность ума и сердца, свободу в поступках и в мыслях; второе — награждая одинаковым благосостоянием труд и праздность, талант и глупость, порок и добродетель. Впрочем, если

собственность невозможна благодаря соревнованию приобретателей, то общность скоро сделалась бы невозможной благодаря соревнованию бездельников.

II. Собственность, в свою очередь, нарушает равенство посредством установления привилегий и права на получение доходов (*droit d'aubaine*), а свободу выбора — посредством деспотизма. Первый результат существования собственности достаточно ясно изложен в трех предыдущих главах, и поэтому я ограничусь здесь окончательным установлением полного тождества собственности и кражи.

Вор по латыни называется fur и latro, первое слово взято с греческого: phor от phero, по латыни fero – уношу; второе от lathroô – я изображаю разбойника, корень этого слова letho, по латыни lateo – я прячусь. Греки говорят еще kleptes, от klepto – похищаю, корень этого слова тот же, что и у kalupto – покрываю, прячу. По этимологическому смыслу слова вор есть человек, который прячет, уносит, забирает тем или иным способом не принадлежащую ему вещь.

Евреи выражали это же понятие словом gannab – вор, от глагола ganab – откладывать в сторону, отнимать; lo

thi-gnob (8-я заповедь) – не укради, т. е. не удерживай, не откладывая ничего для себя. Кража – это поступок человека, который, вступая в общество с обещанием отдать все свое имущество, тайком сохраняет для себя часть последнего; это поступок пресловутого ученика Анания.

Этимология французского глагола красть, *voler*, еще более характерна. Красть, *voler* или *faire la vole*, от латинского *vola* – ладонь, – значит взять все взятки в карточной игре ломбере; таким образом, вор есть человек, забирающий даром все, совершающий дележ, подобно льву в басне. Весьма вероятно, что глагол

красть, voler, обязан своим происхождением жаргону воров, откуда он перешел в обиходную речь, а затем и в язык законов.

Кражи совершаются при помощи бесконечного множества средств, и законодатели весьма искусно различают и классифицируют эти средства, сообразно степени их жестокости или ловкости, для того чтобы воровство при помощи одних можно было возвеличить, а при помощи других — осудить.

Кражи совершаются: 1) при помощи убийства на большой дороге; 2) в одиночку или шайками; 3) посредством взлома; 4) путем

утайки; 5) путем злостного банкротства; 6) путем подлога общественных или частных документов; 7) путем подделки монет.

Сюда относятся все виды кражи, совершаемые только при помощи открытого насилия или обмана; занимающиеся этим ремеслом называются грабителями, разбойниками, пиратами, морскими и сухопутными хищниками. Древние герои хвастались этими почетными кличками и считали свою профессию настолько же благородной, насколько и прибыльной. Немврод, Тезей, Язон и его аргонавты, Иафет, Давид, Как,

Ромул, Хлодвиг — и все его меровингские потомки: Робер Гвискар, Танкред Готвильский — и большинство норманнских героев были воры и разбойники. Героические черты вора ярко выражены в следующем стихе Горация, воспевающего Ахилла:

cite

Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis^[65],

и в словах завещания Иакова (Книга Бытия, глава 48), которые евреи относили к Давиду, а христиане к Иисусу: Manus ejus contra omnes (рука его совершает кражу у всех). В наши дни вор, вооруженный герой древних, подвергается

жестоким преследованиям. Занятие воровским ремеслом, согласно постановлениям Кодекса, влечет за собою телесные и позорные наказания, начиная тюремным заключением и кончая эшафотом. Какое печальное изменение во взглядах!

Кражи совершаются: 8) путем обмана; 9) мошенничества; 10) злоупотребления доверием; 11) при помощи игр и лотерей.

Этот второй вид кражи поощрялся законами Ликурга, который видел в нем средство для развития остроумия и изобретательности молодежи; этот вид практиковался Улиссом,

Солоном, Синоном, древними и современными евреями, начиная Иаковом и кончая Дейцом; цыганами, арабами и всеми дикарями. При Людовике XIII и Людовике XIV плутовство в игре не считалось постыдным; оно составляло как бы часть правил игры, и многие честные люди без всяких колебаний старались исправлять промахи счастья ловким плутовством. Даже в наше время во всех странах света у крестьян, а также у мелких и крупных торговцев считается особенной заслугой *умение хорошо продать или купить*, т. е. обмануть кого-нибудь. Это до такой степени общепринято, что обманутое

лицо не претендует на обманщика. Известно, с каким трудом наше правительство решилось упразднить лотереи; оно чувствовало, что наносит удар собственности. Мошенник, жулик, шарлатан пользуются главным образом ловкостью своих рук и изобретательностью своего ума, убедительностью своего красноречия и силою воображения; иногда они эксплуатируют жадность своих клиентов. Поэтому—то уголовное законодательство, отдающее уму значительное преимущество перед физической силой, подвело упомянутые здесь четыре вида кражи под особую, вторую категорию,

наказуемую только
исправительными и непозорящими
мерами. Вот и говорите после этого,
что закон есть нечто
материалистическое и безбожное!

Кражи совершаются: 12) путем
ростовщичества.

Этот вид кражи, безусловно
отвергнутый со времен появления
Евангелия и строго наказуемый,
представляет собою переход от
кражи запрещенной к разрешенной
краже. Благодаря своему
двусмысленному характеру,
ростовщичество порождает целый
ряд противоречий в законодательстве
и в морали, и люди придворные,
финансисты и коммерсанты, очень

ловко умеют пользоваться этими противоречиями. Так, напр., ростовщик, дающий под залог деньги из 10, 12 и 15 %, будучи уличен в этом, платит громадный штраф, между тем как банкир, получающий такой же процент, правда не по займам, но за дисконт и размен, т. е. за продажу, находится под покровительством закона. Но различие между ростовщиком и банкиром чисто внешнее; подобно ростовщику, дающему деньги под залог движимостей и недвижимостей, банкир дает деньги под залог ценных бумаг; подобно ростовщику он взыскивает свой процент вперед; подобно ростовщику

он сохраняет право подать прошение на залогодателя, когда залог утрачивается, т. е. когда залог не выкупается; и благодаря этому именно обстоятельству банкир является не продавцом денег, а заимодавцем. Однако банкир дает займы на короткий срок, между тем как ростовщик может заключать годовые, двух-, трех-, девятилетние сделки. Но, конечно, различие в сроках займа, так же как и некоторые изменения в форме сделок, не изменяют их сущности. Что же касается капиталистов, помещающих свои капиталы в государственных фондах или коммерческих предприятиях и получающих при

этом 3, 4 и 5%, т. е. меньше, чем получают банкиры и ростовщики, то они представляют собою цвет общества, сливки порядочных людей. Вся их добродетель заключается в том, что они крадут умеренно [\[66\]](#).

Кражи совершаются: 13) посредством взимания ренты, арендной платы, платы за наем и путем сдачи в аренду.

Автор «Писем к провинциалу» очень забавлял добропорядочных христиан семнадцатого столетия иезуитом Эскобаром и договором Могатра. «Могатра, – говорил Эскобар, – есть договор, посредством которого за дорогую цену и в кредит покупаются материи, для того чтобы

тотчас же быть проданными тому же самому лицу за наличные деньги и по более дешевой цене^[67]". Эскобар приводит доводы, оправдывавшие такого рода ростовщичество. Паскаль и все янсенисты смеялись над ним. Но что сказал бы сатирик Паскаль, ученый Николь и непобедимый Арно, если бы отец Антоний Эскобар Вальядолидский привел им следующий аргумент: договор о найме есть договор, посредством которого за дорогую цену и в кредит покупается недвижимость, для того, чтобы, по истечении известного промежутка времени, быть проданными тому же лицу за более дешевую цену; для упрощения сделки

покупатель довольтвуетса, однако, уплатой разности между первою и второю продажами. Попробуйте отвергнуть тожество договора о найме Могатры, и я вас тотчас же разобью; если же вы признаете это тожество, то должны также признать верность моего учения, в противном случае вы одновременно отвергнете и ренту, и арендную плату.

На эту ужасную аргументацию иезуита сеньор Монтальт ударил бы в набат и стал бы кричать, что общество в опасности, что иезуиты подрывают самые его основы.

Кражи совершаются: 14) посредством торговых операций, когда прибыль торговца превышает

законное вознаграждение его услуг.

Определение торговли известно: *это искусство покупать за 3 франка то, что стоит 6, и продавать за 6 франков то, что стоит 3.* Вся разница между торговлей в этом смысле и ловкой кражей заключается в относительной величине обмениваемых ценностей, одним словом, в размерах барыша.

Кражи совершаются: 15) посредством взимания прибыли на продукт, принятия синекуры и крупного жалованья.

Фермер, продающий потребителю свой хлеб по определенной цене, а в момент отмеривания погружающий руку в

меру и утаивающий горсть зерна, крадет; профессор, которому государство платит за лекции и который их, при посредстве книгопродавца, продает публике, крадет; человек, пользующийся синекурой и получающий в обмен за свое тщеславие крупную сумму, крадет; всякое должностное лицо, всякий рабочий, производящий 1 единицу и заставляющий платить себе за 4, 100, 1000 единиц, ворует; издатель этой книги и я, автор ее, крадем, заставляя публику платить вдвое больше, чем книга нам стоит.

Резюмируем сказанное:

Справедливость, порожденная отрицательной общностью, которую

древние поэты называли *золотым веком*, первоначально была правом сильного. В обществе, ищущем организации, неравенство способностей вызывает возникновение понятия о заслугах; чувство справедливости внушает стремление сообразовывать не только знаки почтения, но также и материальные блага с личными заслугами. В то время важнейшей и почти единственной заслугой признается физическая сила, и поэтому наиболее сильный, *aristos*, являющийся в то же время и наиболее заслуженным, лучшим, *aristos*, получает лучшую часть. Когда ему в ней отказывают, он ею,

конечно, завладевает. Отсюда до присвоения права собственности на все вещи остается только один шаг.

Таково было право героев, сохранившееся, по крайней мере по традиции, у греков и у римлян до последних времен их республик. Платон, в «Горгии», выводит лицо по имени Калликл, которое чрезвычайно остроумно защищает право силы и которому Сократ, защитник равенства (tou isou), возражает совершенно серьезно^[68]. Рассказывают, что великий Помпей легко краснел и тем не менее у него однажды сорвались следующие слова: *«Как я уважаю законы, когда у меня в руках есть оружие!»* Эти

слова прекрасно характеризуют человека, в котором нравственное чувство борется с честолюбием и который старается оправдать свои насилия разбойническим и героическим девизом.

Право сильного породило эксплуатацию человека человеком, иначе именуемую рабством, ростовщичество или дань, возложенную победителем на побежденного врага и всю многочисленную семью налогов, податей, регалий, барщин, десятин, аренд и пр. и пр., составляющих собственность.

Преемником права силы явилось право хитрости, второе выражение

или проявление справедливости; право это презиравось героями, ибо хитростью они не отличались и слишком много теряли благодаря ей. Это все та же сила, только перенесенная из сферы физической в сферу интеллектуальную. Казалось, что искусство обмануть врага коварными предложениями также заслуживает вознаграждения, а между тем сильные постоянно восхваляли добросовестность. В те времена данное слово и обещание выполнялись со строгостью скорее буквальной, нежели логической: *Uti lingua nuncupasset, ita jus esto* (как язык сказал, так должно быть и право), гласит закон Двенадцати

таблиц. Хитрость или, вернее, вероломство являлось чуть ли не единственным принципом всей политики Древнего Рима. Из числа многих примеров, доказывающих справедливость этого утверждения, Вико цитирует следующий, приведенный также у Монтескье: римляне обещали карфагенянам пощадить их имущество и их *город*, причем они намеренно употребили выражение *civitas*, т.е. государство, общество. Карфагеняне, наоборот, заключая договор, подразумевали город материальный, *urbs*^[69]. Когда они начали восстанавливать свои стены, они подверглись со стороны римлян нападению за то, что якобы

нарушили договор. Римляне здесь следовали праву героическому и, обманув своих врагов при помощи двусмысленности, не считали затеянную ими войну несправедливою.

От права хитрости произошла торговая, промышленная и банковская прибыль, обман в торговле, притязания всего того, что носит красивые названия *таланта* и *гения* и что следовало бы рассматривать как высшую степень хитрости, плутовства, а также все виды социального неравенства.

При краже, запрещенной законом, употребляется одна только, и к тому же ничем не прикрытая,

сила и хитрость; при краже, санкционированной законами, сила и хитрость прикрываются какой-нибудь произведенной полезностью, которою они пользуются как средством для ограбления своей жертвы.

Употребление голого насилия и хитрости уже очень рано и единогласно было отвергнуто; но ни одна нация до сих пор еще не сумела освободиться от кражи, соединившейся с талантом, трудом и владением. Отсюда все неопределенности казуистики и бесчисленные противоречия юриспруденции.

Право силы и право хитрости,

воспетые рапсодами в «Илиаде» и «Одиссее», повлияли на все греческое законодательство и наполнили духом своим законы римские, откуда и перешли в наши нравы и наши кодексы. Христианство не вызвало в этом никаких изменений; но нельзя винить в этом Евангелие, ибо священники, так же плохо осведомленные, как и юристы, никогда не могли ни понять, ни истолковать его. Церковные соборы и первосвященники обнаружили такое же невежество в вопросах морали, как и народные собрания и преторы. Именно это глубокое невежество в области права, справедливости и общественной жизни губит церковь и

навсегда дискредитирует церковное просвещение. Неверность римской и всех вообще христианских церквей вопиет к небу; все они не поняли учения Иисуса Христа; все грешили против христианской морали и христианского учения; все повинны в поддержке ложных, нелепых, несправедливых и человеконенавистнических принципов. Пусть церковь, называвшая себя непогрешимой и нарушившая свое собственное нравственное учение, просит прощения у Бога и людей; пусть ее реформированные сестры смиряются... тогда народ, разочарованный, но верующий и

милосердный, согласится^[70].

Развитие права в его различных выражениях шло с такою же постепенностью и последовательностью, как развитие форм собственности; повсюду право гнало вперед себя кражу и ставило ей все более и более узкие пределы. До сих пор победы справедливого над несправедливым, равного над неравным совершались инстинктивно и в силу самого хода вещей; но конечным торжеством нашей общественности мы будем обязаны разуму, в противном же случае мы впадем в новый феодальный хаос. Слава торжества будет принадлежать нашему разуму, а

возвращение к прежним бедствиям докажет нашу недостойность.

Вторым результатом собственности является деспотизм. Но так как деспотизм в нашем представлении по необходимости соединен с понятием законной власти, то я, излагая естественные причины первого, должен выяснить также принцип второй.

Какую форму правительства мы предпочтем? — Как вы можете спрашивать об этом, — ответит несомненно один из моих более молодых читателей, — ведь вы республиканец. — Да, я республиканец, но это слово не дает точного понятия. *Respublica* — это

значит вещь общая; и вот всякий, желающий вещи общей, при каком бы то ни было правительстве, может назвать себя республиканцем. Короли тоже республиканцы. — Ну хорошо, значит, вы демократ? — Нет. — Как, неужто вы монархист? — Нет. — Конституционалист? — Боже сохрани! — Ну, значит, вы аристократ. — Вовсе нет! — Так вы желаете установления смешанного правительства? — Еще раз нет! — Да кто же вы, наконец? — Я анархист!

— Я понимаю вас, вы иронизируете по адресу правительства. — Вовсе нет: то, что я сказал, составляет мое серьезное и глубоко продуманное убеждение;

хотя я большой приверженец порядка, тем не менее я в полном смысле слова анархист. Послушайте, что я скажу.

У животных общественных «слабость молодых индивидов является причиной их повиновения старым, достигшим полного развития своих сил. Привычка, которая у них является особым видом сознания или совести, служит причиною того, что власть сохраняется за старшим, хотя он в свою очередь становится более слабым. Когда общество животных имеет вождя, то таковым действительно всегда почти является старейший из всего стада. Я говорю;

всегда почти, ибо установленный порядок может быть нарушен взрывом страстей. Тогда власть переходит к другому, и, будучи завоеванной насилием, она сохраняется опять—таки по привычке. Дикие лошади живут стадами; во главе их находится вождь, которому они следуют с доверием, который дает им сигнал к бегству и к сражению.

Воспитанный нами ягненок бежит за нами, но также и за стадом, среди которого он родился... В человеке он видит только *предводителя своего стада*... Для домашних животных человек только член их общества; все искусство его

сводится к тому, чтобы заставить животных признать в нем сочлена; затем он быстро становится их предводителем, потому что далеко превосходит их умом. Таким образом, человек не изменяет *естественного состояния* животных, как утверждал Бюффон, а, наоборот, пользуется этим естественным состоянием. Иными словами, человек нашел животных *общественных* и, становясь их товарищем, предводителем, превратил их в животных прирученных. Итак, *прирученность* животных представляет собою лишь частный случай, простое видоизменение, определенный

результат их общественности. Все прирученные животные по природе своей животные общественные...» (Флуранс. Résumé des observations de F. Cuvier).

Общественные животные повинуются своему предводителю *инстинктивно*; Ф. Кювье не сказал только, что роль предводителя требует исключительно *ума*. Предводитель не учит других соединяться в общества, подчиняться его руководству, размножаться, бежать или защищаться; в этом отношении его подчиненные знают столько же, сколько и он. Но предупреждать неожиданности должен, при помощи своей

опытности, предводитель; он в затруднительных случаях восполняет инстинкт своим умом; он обсуждает, решает и ведет; одним словом, его разумная предусмотрительность направляет рутину инстинкта к общему благу всех.

Человек, живущий сообразно своей природе в обществе, естественно, также повинуется вождю. Первоначально вождем является отец, патриарх, старейшина, т. е. человек осторожный, разумный, все действия которого определяются, следовательно, разумом, рассудком. У человеческого рода, так же как и у всех других видов общественных животных, есть инстинкты,

врожденные способности, общие идеи, категории разума и чувства: вожди, законодатели или короли никогда ничего не изобретали, не предполагали и не выдумывали; они вели общество, опираясь на приобретенный ими опыт, но всегда сообразуясь при этом с общепризнанными взглядами и верованиями.

Философы, вносящие свое мрачное, демагогическое настроение в область морали и истории и утверждающие, что человеческий род при своем возникновении не знал ни вождей, ни королей, обнаруживают свое незнание с природою человека. Королевская власть, и

притом же власть абсолютная, является в такой же, если не большей мере, чем демократия, одною из примитивных форм правительства. Благодаря тому что уже в самые отдаленные времена герои, разбойники и проходимцы завладевали подчас властью и делались королями, люди стали смешивать королевскую власть с деспотизмом. Но королевская власть возникла вместе с человеком, она сохранилась в эпоху отрицательного коммунизма; героизм же и порожденный им деспотизм возник только одновременно с первым определением понятия справедливости, т. е. одновременно с

господством силы. Когда
человечество, путем сравнения
заслуг, решило, что более сильный
есть также и лучший, старейшему
пришлось уступить место наиболее
сильному и королевская власть
сделалась деспотической.

Самопроизвольное,
инстинктивное и, так сказать,
физиологическое происхождение
королевской власти сообщило ей
первоначально сверхчеловеческий
характер; народы относили
происхождение ее к богам, от
которых якобы произошли первые
короли. Отсюда божественные
генеалогии королевских родов,
легенды о воплощении богов, о

мессианстве; отсюда же и доктрины о божественном праве, и доныне еще сохранившие таких странных поборников.

Первоначально королевская власть была выборной: в то время, когда человек производил мало и не обладал ничем, собственность была еще слишком слаба для того, чтобы могло возникнуть понятие о наследственности, и для того, чтобы королевская власть отца могла быть обеспечена сыну. Но когда люди научились обрабатывать землю и начали строить города, всякая функция, так же как и все другие вещи, сделалась объектом завладения. Тогда возникли

наследственная королевская власть и наследственное священство, а также право наследования, проникшее во все, даже самые будничные профессии. Это обстоятельство повлекло за собою появление кастовых различий, гордости рангом, отрицания разночинцев. Оно подтверждает то, что я сказал о принципе родовой наследственности, что это есть указанный самою природою способ замещать освободившиеся должности и завершать начатое дело.

Время от времени появлялись честолюбивые узурпаторы, «упразднители» королей, и это дало повод называть одних королей

законными, а других — *тиранами*. Мы, впрочем, не должны полагаться на одни названия: бывали короли отвратительные и тираны весьма даже сносные. Всякая королевская власть может быть хороша, пока она является единственной возможной формой правительства, но законной быть она не может. Ни наследственность, ни избрание, ни всеобщее голосование, ни превосходные качества суверена, ни санкция религии и времени не могут сделать королевскую власть властью законной. В какой бы форме она ни проявлялась, в монархической ли, олигархической или демократической, во всяком случае

королевская власть, власть человека над человеком, нелепа и незаконна.

Для того чтобы достигнуть наиболее быстрого и наиболее полного удовлетворения своих потребностей, человек стремится найти *правило*; первоначально это правило живое, видимое и осязаемое: таковым являются его отец, господин, король. Чем невежественнее человек, тем безусловнее его послушание, тем больше его доверие к предводителю. Но человек, которому внутренний закон повелевает сообразоваться с правилом, т. е. открыть последнее путем размышления и рассуждения, человек рассуждает о велениях своих

предводителей, а такое рассуждение является уже протестом против авторитета, зародышем неповиновения. Человек становится бунтовщиком с того самого момента, когда он начинает искать мотивы воли своего суверена. Когда человек повинуетя не потому, что король велит, а потому, что король мотивировал свое веление, тогда с уверенностью можно сказать, что человек не признает более никакого авторитета, что он создал себе своего собственного короля. Горе тому, кто осмелится руководить им и кто предложит ему в качестве санкции законов только признание большинства; горе тому, ибо рано

или поздно меньшинство делается большинством и тогда неосторожный деспот будет свергнут, а законы его будут упразднены.

По мере того как в обществе распространяется просвещение, авторитет королевской власти падает — это факт, подтвержденный историей. При возникновении народов людям трудно думать и рассуждать: не знакомые еще ни с какими методами и ни с какими принципами, не умеющие даже пользоваться своим разумом, люди не знают, верно ли они думают или ошибаются. Тогда авторитет королей чрезвычайно велик, ибо нет еще приобретенных знаний, могущих

отвергнуть его. Но мало-помалу опыт создает привычки, а из них слагаются обычаи. Затем обычаи эти получают формулировку, становятся правилами, принципами — словом, превращаются в законы, которым король, этот живой закон, вынужден подчиняться. Наступает время, когда законы и обычаи становятся настолько многочисленными, что воля короля оказывается связанной волею всех, когда, вступая на престол, король должен принести клятву, что он будет управлять сообразно с нравами и обычаями, когда он сам является только исполнительным органом общества, законы которого созданы не им.

До сих пор все происходило инстинктивно, так сказать, помимо ведома сторон; посмотрим, однако, к чему должно привести это движение в конечном счете.

Путем приобретения знаний и понятий человек доходит до понятия *науки*, т. е. системы знаний соответствующей действительности и выведенной из опыта и наблюдений. Человек стремится открыть науку или систему неорганических тел, систему тел органических, систему человеческого духа, систему мира; может ли он не стремиться к открытию системы общества? Достигнув этого предела, человек узнает, что политическая

истина или политическая наука совершенно независима от воли суверена, от мнения большинства и народных верований, что короли, министры, администрации и народы, как носители воли, для науки ничто и не заслуживают никакого внимания. В то же время он узнает, что раз человек рождается существом общественным, то власть отца над ним прекращается с того времени, когда ум его сформировался и образование будет закончено, и он делается союзником, товарищем своего отца. Он начинает понимать, что истинным его вождем и королем является доказанная истина, что политика есть наука, а не хитрость и

что функции законодателя в конечном счете сводятся к методическому исследованию истины.

И так во всяком данном обществе власть человека над человеком обратно пропорциональна интеллектуальному развитию, достигнутому обществом, и вероятная продолжительность этой власти может быть определена сообразно с более или менее общим стремлением к истинному правительству, т. е. правительству, опирающемуся на данные науки. И подобно тому как право силы и право хитрости уступают место все более и более расширяющемуся понятию

справедливости и осуждены раствориться в равенстве, так и суверенность воли уступает место суверенности разума и в конце концов растворится в научном социализме. Собственность и королевская власть разрушаются с самого начала мира; подобно тому как человек ищет справедливости в равенстве, так общество ищет порядка в анархии.

Анархия, отсутствие господина, суверена^{[\[71\]](#)} — такова форма правительства, к которой мы с каждым днем все более приближаемся и на которую мы, вследствие укоренившейся в нас привычки считать человека

правилом, а волю его законом, смотрим как на верх беспорядка и яркое выражение хаоса. Рассказывают, что некий парижанин 17-го столетия, услышав, что в Венеции совсем нет короля, не мог опомниться от изумления и помирал со смеху, когда ему рассказывали об этом смешном обстоятельстве. Такова сила предрассудка: все мы без исключения хотим иметь вождя или вождей. У меня под рукою имеется в настоящее время брошюра, автор которой, ярый коммунист, подобно Марату, мечтает о диктатуре. Самыми передовыми являются те из нас, которые желают возможно большего числа суверенов; самой их

пламенной мечтой является дарование правительственной власти национальной гвардии, и, вероятно, скоро кто-нибудь из пристрастия к гражданской милиции скажет: все короли. Но когда он это скажет, я возражу: никто не король; все мы волею—неволею члены общества. Все вопросы внутренней политики должны разрешаться согласно данным областной (departamentale) статистики, все вопросы внешней политики — на основании данных международной статистики. Наука о правительстве или о власти должна быть представлена одной из секций Академии наук, и постоянный ее секретарь неизбежно должен быть

первым министром. Так как всякий гражданин имеет право представлять в Академию наук записку, то всякий сделается законодателем; но в силу того, что мнение человека принимается в расчет лишь постольку, поскольку оно доказано, никто не может поставить свою волю на место разума, никто не может быть царем.

Все относящееся к области законодательства и политики является объектом науки, но не убеждений: *законодательная власть* принадлежит разуму, систематически изученному и обоснованному. *Верхом тирании* следует считать присвоенное какой

бы то ни было власти право veto и санкции. Справедливость и законность — две вещи, так же мало зависящие от нашего согласия или одобрения, как и математические истины. Для них достаточно быть познанными для того, чтобы сделаться обязательными, а для того, чтобы познать их, нужны только способность размышлять и изучать. Но что же такое народ, если он не суверен, если не ему принадлежит законодательная власть? Народ есть хранитель закона, народ — *исполнительная власть*. Каждый гражданин может утверждать: вот это верно, это справедливо; но убеждение его обязательно только

для него самого: для того чтобы провозглашаемая им истина сделалась законом, необходимо, чтобы она была признана. Что же это значит признать закон? Это значит проверить математическую или метафизическую операцию; это значит повторить опыт, произвести наблюдения над явлением, констатировать факт. Один только народ имеет право сказать: *будем распоряжаться и повелевать.*

Я согласен, что все это опрокидывает общепризнанные понятия и что выходит так, как будто я поставил себе задачей изменить всю современную политику. Но я прошу читателя не забывать, что,

начав с парадокса, я, рассуждая логично, должен был наталкиваться на парадоксы на каждом шагу и кончить также парадоксами. Я, впрочем, не понимаю, какой опасности подверглась бы свобода граждан, если бы в их руки вместо пера законодателя был бы передан скипетр исполнителя законов. Так как исполнительная власть, по существу, принадлежит воле, то, чем больше будет у нее носителей, тем будет лучше: в этом именно заключается истинная суверенность народа^[72].

Собственник, вор, герой, суверен (все эти названия синонимы) делают свою волю законом и не

терпят ни противоречия, ни контроля, т. е. имеют притязание быть одновременно и законодательной и исполнительной властью. Поэтому замена воли суверена истинным и научным законом совершается лишь путем жестокой борьбы, и эта замена является, наряду с собственностью, самым могущественным фактором в истории, самой плодотворной причиной политических движений. Примеры так многочисленны и так бросаются в глаза, что я не стану приводить их здесь.

Но собственность неизбежно порождает деспотизм, правительство произвола, господство похотливой

воли; для того чтобы убедиться, насколько это присуще собственности, стоит вспомнить, что она собою представляет и что совершается вокруг нас. Собственность есть право *употреблять* и *злоупотреблять*. Если правительство есть хозяйство, если единственным его объектом является производство и потребление, распределение труда и продуктов, то возможно ли правительство при наличности собственности? Если блага представляют собственность, то могут ли собственники не быть королями, королями деспотическими? А если каждый собственник является сувереном в

сфере своей собственности, непоколебимым властителем в области своего имущества, то может ли правительство собственников не представлять собою полнейшего хаоса?

3. Определение третьей формы общества. Выводы

Итак, на основе собственности невозможно никакое правительство, никакое общественное хозяйство, никакая администрация.

Общность (коммунизм) стремится к равенству и к закону; собственность, порожденная автономией разума и чувством личного достоинства, стремится

прежде всего к *независимости* и *пропорциональности*.

Но коммунизм, приняв однообразие за закон и уравнение за равенство, становится несправедливым и тираническим; собственность, благодаря своему деспотизму и своим вторжениям, скоро оказывается стеснительной и антиобщественной.

То, чего хотят коммунизм и собственность, хорошо, но то, к чему они оба ведут, дурно. Почему? Потому что и тот и другая исключительны и не признают, каждый со своей стороны, двух элементов общества. Коммунизм отрицает независимость и

пропорциональность, собственность же не удовлетворяет требованиям равенства и закона.

И вот если мы себе представим общество, покоящееся на этих четырех принципах: равенстве, законности, независимости и пропорциональности, то мы найдем:

1. Что *равенство*, заключающееся только в *равенстве условий*, т. е. *средстве*, но не в *равенстве благосостояния*, которое при равных средствах должно быть делом рук рабочего, нисколько не нарушает справедливости.

2. Что *закон*, выведенный из знакомства с фактами и, следовательно, опирающийся на

необходимость, никогда не вредит независимости.

3. Что обоюдная *независимость* индивидуумов, или автономия личного разума, вытекающая из различия талантов и способностей, без опасности может существовать в пределах законов.

4. Что *пропорциональность*, осуществляемая только в сфере ума и чувства, но не в сфере материальных благ, может быть соблюдаема без нарушения социального равенства и справедливости.

Эту третью форму общества, синтез общности и собственности, мы назовем *свободой*^[73].

Дать успешное определение

свободы мы могли бы, следовательно, только отделив коммунизм от собственности, в противном случае это было бы нелепым эклектизмом. Мы найдем путем аналитического метода, что в каждом из этих двух явлений есть истинного, соответствующего требованиям природы и законам общественности, мы исключим из них все враждебное последним и в результате получим выражение, адекватное естественной форме человеческого общества, иными словами — свободу.

Свобода есть равенство, ибо свобода возможна лишь при социальном строе, а социальный строй, общество невозможно без

равенства.

Свобода есть анархия, безвластие, ибо она не признает власти воли, но только власть закона, т. е. необходимости.

Свобода есть бесконечное разнообразие, ибо она, в пределах закона, уважает всякую волю.

Свобода есть пропорциональность, ибо она дает полный простор жажде славы и честолюбию, стремящемуся выделиться при помощи заслуг.

Мы теперь, по примеру г. Кузена, можем сказать:

«Наш принцип верен, он хорош, социален; не будем же бояться сделать из него все выводы».

Общительность человека, превращающаяся благодаря рассудку в *справедливость*, благодаря взаимодействию способностей — в *гуманность* (équité) и формулой которой является свобода, есть истинная основа нравственности, принцип и закон всех наших поступков. Она тот всемирный двигатель, которого ищет философия, подкрепляет религия, отрицает эгоизм и никогда не может заменить чистый разум. *Обязанность* и *право* порождаются *потребностью*, которая, если рассматривать ее по отношению к существам внешнего мира, является *правом*, а по отношению к нам самим —

обязанностью.

Есть и спать — это наша потребность, наше право — промышлять вещи, необходимые для сна и питания, наша обязанность — пользоваться ими, когда этого требует природа.

Трудиться для того, чтобы жить, есть потребность, право и обязанность.

Любить свою жену и детей есть потребность, быть их покровителем и поддержкой — обязанность, быть любимым своею семьей — право. Супружеская верность есть соблюдение справедливости, прелюбодеяние — нарушение законов общества.

Обмен наших продуктов на другие продукты – потребность, эквивалентность продуктов, поступающих в обмен, – право, а так как мы потребляем прежде, чем производим, то нашею обязанностью было бы, если б это зависело от нас, сделать так, чтобы наш последний продукт следовал за нашим последним потреблением. Самоубийство есть злостное банкротство.

Выполнение нашего труда сообразно с указаниями нашего разума есть потребность, сохранение свободы выбора – наше право, уважение к свободе выбора других – наша обязанность.

Быть оцененным своими
ближними — потребность,
заслуживать их похвал — обязанность,
но быть судимыми по нашим делам —
это наше право.

Свобода вовсе не противоречит
праву наследования и завещания;
свобода только наблюдает, чтобы это
право не нарушало равенства.
Выбирайте, говорит она, между
двумя наследствами, но не
накопляйте их. Все законодательство,
касающееся передачи,
заместительства, усыновления и,
если можно так выразиться,
совместительства, должно быть
переделано.

Свобода благоприятствует

соревнованию и не уничтожает его. При социальном равенстве соревнование должно считаться с равенством условий, награда его в нем самом, и никто не страдает от победы другого.

Свобода восхищается самопожертвованием и воздает ему похвалы, но она может обойтись без него. Для сохранения социального равновесия достаточно справедливости; самопожертвование есть нечто излишнее. Счастлив, однако, тот, кто может сказать: я жертвую собою^[74].

Свобода по существу своему стремится к организации. Для того чтобы обеспечить равенство между

людьми и равновесие между нациями, необходимо распределить земледелие и промышленность, центры просвещения, торговли и складочные места сообразно с географическими и климатическими условиями каждой страны, с видами продуктов, с характером и естественными способностями жителей и пр. и пр. И сделать это надо так справедливо, разумно и умело, чтобы никогда и нигде не могло быть ни излишка, ни недостатка населения, ни избытка, ни недостатка в производстве и потреблении. Здесь именно начинается наука о праве публичном и о праве гражданском, истинная

политическая экономия. Правоведам, освободившимся от ложного принципа собственности, надлежит написать новые законы и дать людям мир. Знания и гений у них есть, точка опоры им также дана^[75].

Я исполнил задачу, которую я себе поставил: собственность побеждена, она никогда не оправится от моих ударов. Всюду, куда бы ни проникла эта книга, проникнет также и зародыш смерти собственности; всюду, где она появится, привилегии и рабство, рано или поздно, погибнут, деспотизм воли уступит место царству разума. Никакие софизмы, никакие даже самые упорные

предубеждения не могут устоять перед простотою этой аргументации.

I. Индивидуальное *владение*^[76] является необходимым условием социальной жизни; собственность убивает жизнь — это доказано всем пятитысячелетним существованием собственности; владение соответствует праву, собственность враждебна ему. Уничтожьте собственность и сохраните владение; посредством одного только этого принципиального изменения вы коренным образом измените законы, правительство, хозяйство и все учреждения — вы уничтожите зло на земле.

II. Так как право завладения

принадлежит в равной мере всем, то размеры владения изменяются сообразно числу владельцев и собственность не может возникнуть.

III. Так как результат труда тоже для всех одинаков, то собственность погибает благодаря посторонней эксплуатации и благодаря плате за наем.

IV. В силу того что человеческий труд неизбежно является результатом коллективной силы, всякая собственность, и по той же причине, должна быть коллективной и нераздельной; иными словами, труд уничтожает собственность.

V. Благодаря тому что всякая производительная способность, так

же как и всякое орудие труда, представляет собою накопленный капитал, коллективную собственность, — неравенство вознаграждения и состояния, прикрывающееся неравенством способностей, есть несправедливость и кража.

VI. Необходимыми условиями торговли являются: свобода вступающих в сделку лиц и равноценность обмениваемых продуктов; но так как ценность вещи выражается в сумме времени и затрат, которых она стоила, и так как свобода ненарушима, то вознаграждение рабочих, так же как их права и обязанности, равно для

всех.

VII. Продукты могут быть куплены только за продукты; но так как условием всякого обмена является равноценность обмениваемых продуктов, то всякая прибыль невозможна и несправедлива. Попробуйте осуществить этот элементарнейший принцип хозяйства, и вы убедитесь, что пауперизм, роскошь, угнетение, порок, преступление и голод исчезнут.

VIII. Люди объединяются в общества под давлением физического и математического закона производства помимо их ведома и воли. Таким образом,

равенство условий соответствует справедливости, т. е. праву общественному и гражданскому. Уважение, дружба, признательность, восхищение являются единственными элементами права справедливого или пропорционального.

IX. Свободная ассоциация, свобода, довольствующаяся охраной равенства средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть единственная справедливая, истинная и возможная форма общества.

X. Политика есть наука о свободе: власть человека над человеком, какую бы форму она ни

принимала, есть угнетение. Высшая степень совершенства общества заключается в соединении порядка с анархией, т. е. в безвластии.

Наступает конец античной цивилизации; земля обновится под лучами нового солнца. Погибнет одно поколение, старые нарушители долга умрут в пустыне, святая земля не покроет их костей. Молодой человек, вас возмущает испорченность нашего века, вас пожирает жажда справедливости; если вы любите родину, если благо человечества вам дорого, то встаньте на защиту дела свободы. Отбросьте ваш старый эгоизм, погрузитесь в поток нарождающегося равенства. В

нем ваша душа приобретет
незнакомую ей доселе силу и мощь,
дух ваш найдет в нем источник
неукротимой энергии, и душа ваша,
быть может уже увядшая, возродится.
Пред вашим очищенным взором вся
жизнь предстанет в новом свете;
новые чувства породят в вас новые
идеи; религия, мораль, поэзия,
искусство, язык примут более
величественную и прекрасную
форму. С верою в свои убеждения, с
разумным энтузиазмом вы будете
приветствовать всемирное
возрождение.

А вы, печальные жертвы
ненавистного закона, вы,
ограбленные и оскорбленные миром

насмешливых людей, вы,
трудившиеся бесплодно и
отдыхавшие без надежды, утешьтесь,
слезы ваши иссякнут. Отцы сеяли в
горе, сыновья будут пожинать в
радости.

Бог свободы, бог равенства! Бог,
вложивший в мое сердце чувство
справедливости, прежде чем разум
мой постиг ее, услышь мою
пламенную мольбу! Ты внушил мне
все то, что я написал. Ты создал мою
мысль, направлял мои труды,
наполнил ум мой любопытством и
сердце любовью для того, чтобы я
возвестил Твою истину и господам и
слугам. Я употребил все данные
Тобою силы и способности на

проповедь; теперь Тебе осталось
довершить свое дело. Ты знаешь,
стремлюсь ли я к собственным
выгодам или к Твоему, о Бог свободы,
прославлению! Пусть память обо
мне исчезнет, но пусть человечество
будет свободно; пусть я в своей
безвестности увижу просвещенный
народ; пусть его просвещают
благородные наставники, пусть им
руководят самоотверженные сердца.
Сократи, если это возможно, время
наших испытаний; утопи гордость в
равенстве; уничтожь
идолопоклонство славе, благодаря
которому мы живем в унижении,
убеди этих бедных детей, что пред
лицом свободы нет ни героев, ни

великих людей. Внуши
могущественному, богатому, тому,
чье имя уста мои никогда не
произнесут в Твоем присутствии,
отвращение к грабежу; пусть он
первый требует возвращения взятого,
пусть готовность к раскаянию
является для него единственным
условием прощения. Тогда великие и
малые, ученые и невежды, богатые и
бедные сольются в один
ненарушимый братский союз и с
пением нового гимна воздвигнут
алтарь Тебе, Богу свободы и
равенства!

Бедность как экономический принцип

Глава I

Основные начала политической экономики, законы бедности и равновесия

Пусть не ослепляют нас тщеславие нашей роскошью и горячка наших наслаждений: пауперизм столько же свирепствует среди цивилизованных народов, сколько и между полчищами варваров, а может быть, и сильнее. Благосостояние в данном обществе не столько зависит от абсолютного количества накопленного богатства

(всегда меньшего, чем думают), сколько от отношения производства к потреблению, а в особенности — от распределения продуктов. Теперь, так как, по множеству причин, вычисление которых здесь бесполезно, ни у какого народа сила производства не может сравниться с силой потребления и так как распределение продуктов производится еще гораздо неправильнее их произведения и потребления, то следует из этого всего, что неблагосостояние повсеместно и постоянно; что общество, по-видимому богатое, на самом деле бедно, — словом, что все страдают от пауперизма:

собственник, живущий рентою, так же как и пролетарий, который перебивается только трудом своих рук.

Это положение может показаться парадоксальным, и потому прошу позволения еще некоторое время на нем остановиться.

Из всех потребностей нашей природы самая настоятельная — потребность в пище. Говорят, что есть некоторые виды бабочек непитающихся, но они напитались в состоянии личинки, да и их существование недолговечно. Стоит ли брать их символами жизни ангельской, свободной от ига

телесного? Пусть разрешат это, если угодно, любители аналогий.

Как бы то ни было, человек разделяет общую участь животных: он должен есть, т. е. потреблять, говоря экономически.

Вот наш первый закон в сфере экономической — грозный закон, как фурия преследующий нас, если мы не сумеем с умом выполнить его, точно так же, как если мы делаемся его рабами, жертвуя ему всеми нашими прочими обязанностями. Этой—то необходимостью кормиться мы ближе всего подходим к скоту; под ее влиянием мы делаемся хуже скота, когда погрязаем в разврате или, застигнутые голодом, не боимся

для его насыщения прибегнуть к обману, насилию, убийству.

Однако ж Творец, избравший для нас этот образ жизни, имел свои цели. Необходимость поддержания жизни побуждает нас к *промышленности* и *труду* – вот наш второй закон.

Но что же такое промышленность и труд? Деятельность, и физическая и умственная, существа, состоящие из тела и духа. Не только труд нужен для сохранения нашего тела, он еще необходим для развития нашего духа. Все, чем владеем мы, все, что знаем, происходит от труда; ему обязаны мы всякой наукой, всяким искусством,

равно как и всяким богатством. Философия есть только средство обобщать и возводить в отвлеченность результаты нашего опыта, т. е. труда.

Сколько, по-видимому, унижает нас закон потребления, столько облагораживает нас закон труда. Мы не живем исключительно жизнью духовною, потому что мы не исключительно существа духовные; но трудом мы более и более одухотворяем (спиритуализируем) наше существование.

Здесь возникает вопрос один из самых важных — вопрос, от разрешения которого зависит и наше теперешнее благосостояние, и, если

верить древним мифам, будущее.

Что нужно человеку для потребления? Следовательно, сколько он должен, сколько может производить? Сколько приходится ему трудиться?

Ответ на этот вопрос будет нашим третьим законом.

Сперва заметим, что у человека способность потребления безгранична, между тем как способность производства не безгранична. Это в природе вещей: потреблять, пожирать, разрушать — способность отрицательная, хаотическая, неопределенная; производить, создавать, организовывать, давать бытие или

форму — способность положительная, которой закон — число и мера, т. е. ограничение.

Осмотримся вокруг: все имеет свои пределы в созданной природе, я хочу сказать — в наделенной формами. Обитаемый нами земной шар имеет в окружности 9000 миль; вокруг оси он вращается в 24 часа, а вокруг Солнца — в 365 дней с четвертью. Вращаясь вокруг своей оси, он попеременно направляется обоими полюсами к центральному светилу. Его атмосфера не выше 20 миль; океан, покрывающий $\frac{4}{5}$ его поверхности, не достигает, средним числом, и 3000 метров глубины. Свет, теплота, воздух и дождь отпускаются

нам в достаточном количестве, без сомнения, но без излишка, даже скорее как будто с некоторою бережливостью. В экономии земного шара малейшее отклонение в ту или другую сторону причиняет беспорядок. Такой же закон управляет растениями и животными. Обыкновенная продолжительность человеческой жизни — не более 70 лет. Бык растет шесть лет, баран — два, устрица — три. Тополь 35 сантиметров в диаметре бывает только в 25 лет; дуб такой же толщины — во сто лет. Хлеб и бо'льшая часть возделываемых нами, идущих в пищу растений зреют в одно время года. Во всем умеренном

поясе, наилучшем на земном шаре, бывает ежегодно одна только жатва. А сколько пространств на безводной части нашей планеты, не допускающих обработки, необитаемых!

У человека же, пользующегося и распоряжающегося этими владениями, сила мускулов не достигает, в среднем, и десятой части одной паровой силы. Он не может без истощения себя дать в день более десяти часов полезного труда, а в год более 300 дней.

Он дня не может провести без пищи; он не мог бы ограничиться половиной своего обыкновенного продовольствия.

Вначале, когда род человеческий редко населял землю, природа без труда удовлетворяла его нужды. Это был золотой век, век изобилия и мира, оплакиваемый поэтами с тех пор, как, вследствие размножения человечества, стала все более чувствоваться необходимость труда и бедность произвела раздоры. Теперь населенность во всех климатах сильно превышает естественные произведения природы, и вполне справедливо можно сказать, что в веке цивилизации, которого достиг человек с незапамятных времен, он (т. е. человек) живет только тем, что' удастся ему вырвать у земли упорным трудом: «В поте лица снеси хлеб

твой». Вот это—то он называет производить, создавать богатство, так как потребляемые им предметы имеют для него ценность только по доставляемой ими пользе и по затраченному на них труду.

Так что в этом развитии условий благосостояния *изобилие* и *богатство* являются двумя противоположными полюсами, так как изобилие очень хорошо может существовать без богатства, а богатство — без изобилия и так как, следовательно, оба эти условия выражают именно противное тому, что' они, по—видимому, значат.

Стало быть, человек, в состоянии цивилизации, получает

трудом то, что требуется для поддержания его тела и развития души, — *ни более ни менее*. Это строгое взаимоограничение нашего производства и потребления есть то, что я называю *бедностью*, третий наш органический закон, данный природою и который не следует смешивать с пауперизмом, о котором скажем ниже.

Здесь, я не должен скрывать, восстает против меня общий предрассудок.

Природа, говорят, неисчерпаема; труд все более и более производителен. Мы далеко еще не можем получить от земли, нашей старой кормилицы, всего, что она

может дать. Настанет день, когда изобилие, ничего не теряя из своей цены, будет иметь возможность назваться богатством, следовательно, когда богатство будет изобильно. Тогда у нас будет разливанное море всякого добра и мы будем жить в мире и радости.

Значит, ваш закон о бедности ложен.

Человек любит обольщаться словами. В его философии всего труднее будет ему всегда понимать собственный язык. Природа неисчерпаема в том смысле, что мы в ней беспрерывно открываем новые полезности, но под условием также беспрерывного возрастания труда,

что не противоречит правилу. Народы самые промышленные, самые богатые те, которые всего больше работают. В то же время у них же, по причинам, изложенным ниже, нищета всего более свирепствует. Пример этих народов не только не опровергает закона, но именно подтверждает его. Прогресс же промышленности особенно явственен в предметах не первой необходимости, для которых нам менее нужно прямое содействие природы. Но стоит только хоть чуть-чуть дойти до излишка этой категории произведенного, против пропорции, определенной для них полученным количеством

продовольствий, тотчас они падают в цене, весь излишек считается за ничто. Здравый смысл, который сейчас, по-видимому, гнался за богатством, теперь противится тому, чтобы производство выходило за пределы бедности.

Из всего этого следует, что, в видах безграничной силы потребления и силы производства, волею—неволею ограниченной, с нас требуется самая строгая экономия. Умеренность, отсутствие роскоши, хлеб насущный, полученный насущным же трудом, нищета, быстро наказывающая неумеренность и леность, — вот первый наш нравственный закон.

Таким образом, Творец, подчиняя нас необходимости *есть*, чтобы жить, не только не позволяет нам чревоугодия, как предполагают гастрософы и эпикурейцы, но хотел довести нас шаг за шагом до жизни аскетической и духовной; Он учит нас умеренности и порядку и заставляет любить их. Наша участь — не наслаждение, что бы ни говорил Аристипп: мы не получили от природы, да и не можем сами всем доставить ни промышленностью, ни искусством, чем бы *наслаждаться*, в той всеобъемлемости значения, которую этому слову дает чувственная философия, полагающая в наслаждении наше высшее благо и

конечную цель. У нас нет другого призвания, кроме развития нашего ума и сердца, и, чтобы в этом помочь нам, а в случае необходимости принудить, Провидение предписало нам закон о бедности: «блаженны нищие духом»^[77]. И вот также почему, по мнению древних, *умеренность* есть первая из четырех основных добродетелей; почему, в веке Августа, поэты и философы нового духа времени, Гораций, Вергилий, Сенека, прославляли золотую середину и проповедовали пренебрежение роскоши; почему Христос речью, еще более трогательной, учит нас просить у Бога, вместо всяких богатств, *хлеб*

наш насущный^[78].

Все они поняли, что бедность есть принцип общественного порядка и наше единственное земное счастье.

Факт, часто приводимый, но которого настоящего смысла, по-видимому, не поняли, — это средний доход, на день и на человека, в стране, например, как Франция, находящейся в самых благоприятных условиях на земле. Лет тридцать тому назад этот доход был определен одними — в 56 сантимов, другими — в 69. Очень недавно один из членов законодательного собрания, О. Шевалье, в речи о бюджете определял весь доход народный в 13

миллиардов, то есть в 98 сантимов на день на человека. Но в этом вычислении указали на ошибки в расчете и крупные преувеличения; так что, по—видимому, эту цифру, 13 миллиардов, нужно уменьшить, по крайней мере на 1 500 000, что даст, на день на человека, 87 сантимов, а на семейство из 4 лиц — 3 франка 50 сантимов.

Допустим эту цифру. Семейство, состоящее из четырех лиц, может жить на 3 франка 50 сантимов ежедневного дохода. Но, очевидно, роскоши не будет; мать и дочери не будут носить шелковых платьев, отец не станет посещать трактиров; в случае недостатка работы, болезней,

несчастных случаев, в случае, если порок вкрадется в семейную жизнь, окажется недочет и вскоре нищета. Таков закон, закон строгий, которого избежать никто, за исключением редких случаев, не в силах иначе как на счет других, который сделал нас тем, что' мы теперь и что' сто'им. Бедность есть истинное Провидение человеческого рода.

Значит, доказано статистикой, что народ, подобный французскому, поставленный в самые лучшие обстоятельства, производит, средним числом, только то, что ему нужно. Можно сделать те же выводы и для всякой другой страны: везде дойдем до заключения, которым желательно

было бы, чтобы все прониклись, что условия существования человека на земле — это труд и бедность; его призвание — наука и справедливость; первая его добродетель — умеренность. Жить немногим, работая много и непрерывно учась, — вот истинное правило жизни.

Не станут ли повторять, что этот доход 87 сантимов в день на человека не последнее ведь слово промышленности и что производство может быть удвоено? Я возражу, что если производство удвоится, то и население в свою очередь не замедлит тоже удвоиться, что нисколько не изменит результата. Но рассмотрим дело ближе.

Производство обусловливается и оправдывается потребностью. Следовательно, есть естественное отношение между запросом на произведение и потребностью производителя. Чуть только уменьшится потребность — и труд уменьшится, и мы увидим, что уменьшится богатство: это неизбежно. В самом деле, предположим, что при уменьшении потребности производство останется то же; так как тогда произведение от меньшего спроса понизится в цене, то выйдет, как будто часть этих продуктов вовсе не была произведена.

Потребности бывают двоякого

рода: первой необходимости и роскоши. Хотя невозможно провести между этими двумя категориями потребностей никакого точного разграничения, хотя их границы не одинаковы для всех лиц, все же разница между ними существенна; она узнается при сличении крайностей. Нет никого, кто бы, размышляя над обычным ходом своей жизни, не мог сказать, которые из его потребностей составляют первую необходимость, а которые роскошь.

Теперь, рассматривая существование, привычки и склонности, воспитание огромного большинства работников, легко видеть, что у них труд бывает в

высшей степени напряжения, пока у него побудительной причиной служит необходимость; он быстро уменьшается и вскоре совершенно прекращается, как только, удовлетворив требованиям первой необходимости, должен производить только для роскоши. Вообще, человек любит трудиться только над тем, что ему настоятельно полезно. В этом отношении он может назваться представителем природы, которая ничего в излишке не производит. Лаццарони^[79], отказывающий во всякой услуге после обеда, представляет этому пример. Негр поступает так же. Получивши необходимое, человек стремится к

покою, к этому результату роскоши, первому и наиболее старательно отыскиваемому. Чтобы получить от него излишек труда, нужно бы удвоить, утроить его плату, платить ему за труд более, чем он стоит, что противно данным прибыльного производства, т. е. самим законам производства. И здесь тоже практика подтверждает теорию. Производство развивается только там, где, вследствие увеличения населения, есть настоящая потребность в продовольствии и, значит, постоянный запрос на труд.

Для увеличения богатства в данном обществе, при той же цифре населения, нужны три вещи: 1) дать

массам работников новые потребности, чего можно достигнуть только развитием вкуса и ума, иначе сказать — высшим образованием, которое заставляет нечувствительно выйти из положения пролетария; 2) более и более разумной организацией труда и промышленности сберечь их время и силы и 3) с той же целью прекратить паразитизм. Эти три условия развития богатства приводятся к следующей формуле: более и более равномерное распределение знания, услуг и произведений. Это — закон равновесия, наиважнейший, можно сказать, единственный закон политической экономии, потому что

все другие — только различные его выражения и даже самый закон бедности не более как его простое следствие.

Наука говорит, что в этом плане нет ничего неисполнимого; напротив, только совокупному действию, хоть еще очень слабому, этих трех причин: воспитания народа, совершенствования промышленности и искоренения паразитизма — мы обязаны небольшим прогрессом, совершившимся в течение тридцати веков в экономическом положении человечества.

Но кто же не видит, что, если образование толпа рабочих

поднимается на одну ступень в цивилизации в том, что я назову умственной жизнью, если ее чувствительность делается впечатлительнее, воображение утонченнее, нужды многочисленнее, нежнее и живее (так как потребление должно поставить себя в соотношение с этими новыми требованиями, следовательно, и труд настолько же увеличится), положение дел остается то же, т. е. человечество, развиваясь в уме, добродетели и благодати, как говорит Евангелие, но всегда приобретая только насущный хлеб тела и духа, остается материально всегда бедным?

Что происходит теперь во Франции — служит этому доказательством. Нет сомнения, что в эти сорок лет производство очень усилилось; может быть, оно относительно больше теперь, чем в 1820 году. А между тем несомненно для всех, кто жил во время реставрации, что все сословия находятся в гораздо большем материальном затруднении, чем при Людовике XVIII. Отчего же это? Это оттого, что, как я сейчас сказал, нравы в среднем и низшем сословии утончились и в то же время, по причинам, которые приведу ниже, вследствие бо'льшего и бо'льшего забвения и нарушения законов

равновесия, пренебрежения законов умеренности, бедность сделалась обременительнее и из благодетельной по природе своей сделалась мучительной.

Мы преувеличили излишек, теперь не имеем и необходимого. Если бы нужно было подкрепить этот факт некоторыми подробностями, я привел бы в параллель с 60 000 патентами на изобретения и усовершенствования, выданными со времени издания закона 1791 года, с размножением паровых машин, с постройкой железных дорог, с развитием финансовой спекуляции, удвоившийся государственный долг,

бюджет государственный, дошедший от одного миллиарда до двух, цену квартир и всех предметов потребления, от 50 процентов дошедшую до 100, стремление всего к несомненной сухотке и к вечному кризису.

Таким образом, по определению природы, всякий народ, варварский или цивилизованный, какие бы ни были его учреждения и его правительство, беден, и беден тем более, чем более удалился он от первобытного состояния, то есть *изобилия*, и подвинулся вперед посредством труда в *богатстве*.

По мере того как население Соединенных Штатов, в настоящее

время самое богатое землей,
размножается и овладевает землей,
при уменьшении естественных
произведений, закон труда делается
более настоящим и
(безошибочный признак бедности)
то, что давалось прежде даром или
почти даром, получает ценность все
более и более возвышенную,
вследствие чего исчезает
первобытная безвозмездность,
принцип *ценности* берет верх и уже
начинает образовываться
пролетариат...

Подобное явление происходит в
Испании. После нескольких веков
оцепенения Испания вдруг
пробуждается на зов труда и свободы.

Она принимается извлекать выгоды из своей земли; тотчас богатство бьет ключом отовсюду и для всех. Заработная плата возвышается очень просто, потому что платят земля и иностранцы. Но дайте населению встать в уровень с этим богатством — что может случиться меньше, чем в полвека, — Испания предстанет перед вами тем, чем она была от времени Изабеллы I до Изабеллы II, в равновесии, то есть бедной.

— Таким образом, — заметит мне сейчас какой-нибудь фанатический поклонник Маммона^[80], — всякие наши труды бесполезны. Эти национальные предприятия, эти исполинские работы, эти дивные

машины, эти плодотворные изобретения, эта слава промышленности — все это служит только к обнаружению нашего бессилия, и мы умно сделаем, если от них откажемся.

Орудия нищеты, чистый обман! К чему потеть и из кожи лезть, если мы нашим трудом можем достигнуть только необходимого? По—вашему, мудрость заключается в пошлости средств, в узкости замыслов, в мелочной жизни, в маленьком хозяйстве. Нечего сказать, благородно же ваше призвание: отнимать бодрость духа, опошливать умы, охлаждать увлечения, делать бесплодными гениев — вот ваша

нравственность, вот ваша цивилизация, ваш мир! А если таким—то образом вы предполагаете освободить нас от войны, мы лучше согласимся тысячу раз подвергнуться ее невзгодам. Заплатим, если нужно, еще миллиард на бюджет, только бы нам оставили очарование нашей промышленности, иллюзии наших предприятий.

Тому, кто бы мне высказал подобные вещи, я бы возразил: долой маску! Вас узнают по вашей риторике, шарлатан промышленности, биржевой пират, финансовая язва, низкий тунеядец. Да, убирайтесь, освободите труд от вашего гнусного присутствия!

Потому что вашему царствованию приходит конец, и если вы не умеете ударить палец о палец, вы рискуете умереть с голоду.

Простодушным же, которых всегда соблазняет красноречие протеста, я скажу: как же вы не понимаете, что, если было время, когда земледелец требовал от заступа все ему необходимое, позже, когда человечество размножилось, он должен был с тем же требованием обратиться уже к плугу и что, вследствие того же развития, он в наши дни поставлен в необходимость того же требовать от механики, кораблей и локомотивов? Рассчитали ли вы, сколько нужно богатства,

чтобы содержать на поверхности 28 000 квадратных миль 37 миллионов людей?

Работайте же, потому что, чуть только вы заленитесь, впадете в нищету и вместо мечтательной роскоши не получите даже крайне необходимого.

Работайте, увеличивайте, развивайте ваши средства; изобретайте машины, отыскивайте удобрения, акклиматизируйте животных, возделывайте новые питательные растения, вводите дренаж, разводите леса, обрабатывайте новы, поливайте, очищайте; разводите рыбу в ваших реках, ручьях, прудах и даже болотах; открывайте копи каменного

угля; очищайте золото, серебро, платину; плавьте железо, медь, сталь, свинец, олово, цинк; пеките, прядите, шейте, делайте мебель, посуду, в особенности бумагу, перестраивайте дома; открывайте новые рынки, производите обмены и революции в банках. Все это вам нипочем. Но производить – это еще не все: нужно, как я уже указывал вам, чтобы услуги были распределены между всеми, смотря по способностям каждого, и чтобы плата каждому работнику была пропорциональна его производству. Без этого равновесия вы останетесь в нищете и ваша промышленность станет бедствием.

Вот, когда вы все сделаете и энергией вашего производства, и правильностью вашего распределения, чтобы разбогатеть, вы, к удивлению, увидите, что в действительности трудом только едва можете поддержать жизнь и что вам нечем даже отпраздновать двухдневную масленицу.

Вы спрашиваете, не обуславливает ли этот промышленный прогресс, всегда подчиненный закону необходимости, рядом с заботой о доставлении продовольствия более многочисленному населению, улучшения в быте отдельных личностей? Без сомнения, есть

улучшение в индивидуальной жизни, но в чем оно состоит? Со стороны ума — в развитии знания, справедливости, идеала; со стороны плоти — в более изысканном потреблении, в соотношении с образованием, данным уму.

Лошадь ест свой овес, вол — свое сено, свинья — свои желуди, курица — свои зернышки. Они не меняют пищи, и это их нимало не беспокоит. Я видел, как деревенский работник питался ежедневно все одним черным хлебом, все тем же картофелем, тою же *полентою*^[81], не страдая, по-видимому, от этого: он худел только от излишка труда. Но цивилизованный работник, первый

получивший луч озаряющего слова, нуждается в разнообразии пищи. Он потребляет хлеб, рис, маис, овощи, говядину, рыбу, яйца, плоды, молоко; иногда вино, пиво, квас, мед, чай, кофе; солирует свои питательные вещества, приправляет их, разнообразно приготовляет. Вместо того чтобы просто одеваться в баранью шкуру или медвежью, высушенную на солнце, он употребляет одежду, вытканную из льна, пеньки или бумаги; употребляет белье и фланель, одевается летом так, а зимой иначе. Его тело, не менее крепкое, но образованное более чистой кровью, выражением высшего развития его

духа, требует забот, без которых обходится дикарь. Вот прогресс, но это не мешает человечеству оставаться бедным, потому что у него всегда есть только необходимое, и не иметь возможности дня прогулять без того, чтобы тотчас же не почувствовался голод.

Можете ли, стало быть, сделать так, чтобы человек дал средним числом более 10 или 12 часов работы в сутки? Можете ли сделать, чтобы 80 человек заменили 100 или чтобы семейство, получающее 3 франка 50 сантимов дохода, издерживало 5 франков? Вы точно так же не можете сделать, чтобы ваши магазины, складочные места, доки содержали

товаров больше, чем сколько у них спрашивают, больше, чем могут купить 9 миллионов семейств, пользующихся средним доходом от 11 до 12 миллиардов, произведением их рук. Дайте полдюжины рубашек, суконный кафтан, платье на перемену, пару башмаков всем нуждающимся — и увидите, много ли у вас останется. Тогда вы мне скажете, пользуетесь ли изобилием, плаваете ли в богатстве.

Это городское щегольство, эти колоссальные имущества, эти государственные великолепия, этот бюджет ренты, войска, публичных работ; эти доходы поземельные, этот «liste civile»^[82], этот шум и треск

банков, биржи, миллионов и миллиардов; эти упоительные наслаждения, рассказы о которых порою и до вас доходят, — все это вас ослепляет и, заставляя вас веровать в богатство, печалит вас вашей собственной бедностью. Но подумайте же, что это великолепие есть вычет из скудной средней величины 3 франков 50 сантимов дохода семейства из четырех лиц в день, что это — побор из произведения работника еще до определения заработной платы. Бюджет армий — побор с труда; бюджет ренты — побор с труда; бюджет собственности — побор с труда; бюджет банкира,

предпринимателя, негоцианта, чиновника — поборы с труда; следовательно, бюджет роскоши — побор с необходимого. Значит, не плачьтесь; принимайте, как подобает мужу, данное вам положение и скажите себе, что счастливейший человек тот, который умеет лучше всего быть бедным.

Древняя мудрость предвидела эти истины. Христианство определило первое положительным образом закон бедности, приводя его, однако же, как вообще свойственно всякому религиозному учению, в соотношение с духом своей теологии. Противодействуя языческим наслаждениям, оно не могло

взглянуть на бедность с настоящей точки зрения; оно представило ее страдающею в воздержании и постах; грязною в монахах, проклятую небом в покаяниях. За исключением этого, бедность, превознесенная Евангелием, есть величайшая истина, которую проповедовал людям Христос.

Бедность прилична; ее одежда не изодрана, как плащ циника; ее жилище чисто, здорово и покойно, уютно; она меняет белье по крайней мере раз в неделю; она ни бледна, ни проголодавшаяся. Подобно товарищам Даниила, она здорова, питаясь овощами; у нее есть насущный хлеб, она счастлива.

Бедность не есть *довольство*: это было бы уже для работника порчею. Не годится человеку наслаждаться *довольством*; напротив, нужно, чтобы он всегда чувствовал жало нужды. Довольство было бы более чем порчею: оно было бы рабством; а важно, чтобы человек мог, на всякий случай, стать выше нужды и даже, так сказать, обойтись без необходимого. Но, несмотря на это, бедность имеет—таки и свои задушевные радости, свои невинные праздники, свою семейную роскошь, роскошь трогательную, которую ярче обрисовывает *обыкновенная* умеренность и простота в хозяйстве.

Ясно, что и думать нечего

избегнуть этой бедности, закона нашей природы и нашего общества. Бедность есть добро, и мы должны рассматривать ее как принцип наших радостей. Рассудок повелевает нам соотносить с ней нашу жизнь простотою нравов, умеренностью в наслаждениях, прилежанием в труде, безусловным подчинением наших склонностей и желаний справедливости.

Как же случается, что эта же бедность, которой предмет — возбуждение в нас добродетели и упрочение всеобщего равновесия, восстанавливает нас друг против друга и возжигает войну между народами? Это мы постараемся раскрыть в

следующей главе.

Глава II

Иллюзия богатства.

Начало и всеобщность

Пауперизма

Назначение человека на земле — совершенство духовное и нравственное; это назначение требует от него умеренного образа жизни. Относительно силы потребления, бесконечности желаний, роскоши и великолепия идеала средства человечества очень ограничены; оно бедно и должно быть бедным, потому что без этого оно впадает, вследствие обмана чувств и соблазна ума, в животность,

развращается телесно и душевно и теряет, вследствие самого наслаждения, сокровища своей добродетели и своего гения. Вот закон, который предписывается нам нашим земным положением и который доказывается и политической экономией, и статистикой, и историей, и нравственностью. Народы, преследующие, как высшее благо, материальное богатство и доставляемые им наслаждения, находятся в состоянии упадка.

Прогресс, или совершенствование нашего рода, весь заключается в справедливости и философии. Увеличение

благосостояния занимает в нем место не столько как награда и средство к счастью, сколько как выражение приобретенной нами науки и символ нашей добродетели. Перед этой действительностью вещей навсегда распадается теория сенсуалистов, уличенная в противоречии с общественным назначением.

Если бы мы жили, как советует Евангелие, в духе радостной бедности, самый совершенный порядок царствовал бы на земле. Не было бы ни порока, ни преступления; трудом, разумом и добродетелью люди образовали бы общество мудрецов; они

наслаждались бы всем благоденствием, на какое только способна их природа. Но этого не может быть в настоящее время, этого не видно было ни в какие времена, и именно вследствие нарушения двух наших величайших законов — бедности и умеренности.

Вышедший из изобилия первых времен, принужденный работать, научившись определять ценность вещей потраченным на них трудом, человек поддался горячке богатств; это значило с первого же шагу сбиться с дороги.

Человек верует в то, что он называет *богатством*, так же как он верует в наслаждение и во все

иллюзии идеала. Именно вследствие того, что он обязан производить то, что потребляет, он смотрит на накопление богатств и на вытекающее из него наслаждение как на свою цель. Эту-то цель он преследует с жаром: пример некоторых обогатившихся уверяет его, что доступное некоторым доступно всем; если бы это было иначе, он бы счел это противоречием в природе, ложью Провидения. Сильный этим заключением своего ума, он воображает, что насколько угодно может увеличивать свое имущество и отыскать, посредством закона ценностей, первобытное изобилие. Он копит, собирает,

наживается; его душа насыщается, упивается в идее.

Настоящий век проникнут этим верованием безумнее всех тех, которые оно имеет притязание заменить. Изучение политической экономии, науки самой новой и еще очень мало понятой, доводит до него умы; школы социалистов друг перед другом щеголяли в этой оргии сенсуализма; правительства, сколько могут, благоприятствуют полету и служению материальным интересам; сама религия, столь суровая некогда в своем языке, как будто тоже их поддерживает. Создавать богатство, копить деньги, обогащаться, окружать себя роскошью сделалось

везде главным правилом
нравственности и правительства.
Дошли до заявления, что лучшее
средство сделать людей
добродетельными, прекратить
пороки и преступление —
распространить везде *комфорт*,
утроить или учетверить богатство;
тому, кто рассчитывает на бумаге, — и
миллионы нипочем!

Наконец, этой новой этикой
приучились разжигать сребролюбие
вопреки тому, что гласили древние
наравоучители, а именно что прежде
нужно сделать людей умеренными,
целомудренными, скромными,
научить их жить немногим и
довольствоваться своею долею и что

уже тогда все пойдет хорошо в обществе и государстве. Можно сказать, что в этом отношении общественное сознание было, так сказать, опрокинуто вверх дном: каждый теперь может видеть, какой получился результат от этого странного переворота.

Между тем очевидно всякому, кто когда-нибудь размышлял хоть немного над законами экономического порядка, что *богатство*, так же как и ценность, не столько означает действительность, сколько отношение: отношение производства к потреблению, предложения к спросу, труда к капиталу, продукта к

заработной плате, нужды к действию и пр. — отношение, имеющее родовым, типическим выражением средний день работника, рассматриваемый с двух сторон, *издержек* и *продукта*. Рабочий день — вот в двух словах торговая книга общественного имущества, изменяющаяся по временам, но в гораздо более узких пределах, чем обыкновенно думают, в *активе* открытиями и следствиями промышленности, торговли, добывания сырых материалов, земледелия, колонизации и победы; в *пассиве* же повальными болезнями, дурными жатвами, революциями и войнами.

Из этого понятия о рабочем дне следует, что общее производство, выражение вместе взятого, общего труда, ни в каком случае не может сколько—нибудь заметно превзойти общую необходимую потребность, то, что мы называли *хлебом насущным*. Мысль удвоить, утроить производство страны, как удваивают и утраивают заказ у фабриканта холста или сукна, не обращая внимания и не принимая в расчет пропорционального увеличения труда, капитала, населения и рынка, в особенности не принимая в расчет рука об руку идущего развития ума и нравов, что требует наиболее забот и всего дороже стоит, — эта мысль,

говоря, еще безрассуднее квадратуры круга: это — противоречие, бессмыслица. Но вот это именно массы отказываются понять, экономисты — разъяснить, и об этом правительства весьма благоразумно умалчивают. Производите, обдeldывайте дела, обогащайтесь — это ваше единственное прибежище теперь, когда вы не верите ни в Бога, ни в человечество!

Следствия этой иллюзии и неотразимо следующего за ней горького разочарования — раздражение желаний, пробуждение в бедном и богатом, в работнике и в тунеядце неумеренности и алчности. Потом, когда придет разочарование,

— возбуждение в нем негодования на свою злую долю, ненависти к обществу и, наконец, доведение его до преступления и войны. На что доводит беспорядок до высочайшей степени, это чрезмерное неравенство в распределении продуктов.

В предыдущей главе мы видели, что, по всей вероятности, весь доход Франции не превышает $87 \frac{1}{2}$ сантима в день на человека. *Восемьдесят семь с половиной сантимов* в день на человека — вот что нынче позволительно считать доходом, то есть средним продуктом, следовательно, и средним потреблением Франции, выражением ее точной потребности!

Если бы этот доход, как он ни кажется незначительным, был упрочен за каждым гражданином; другими словами, если бы каждое французское семейство, состоящее из отца, матери и двух детей, пользовалось доходом в 3 франка 50 сантимов; если бы, по крайней мере, *minimūm* не доходил для бедных семейств, всегда очень многочисленных, далее 1 франка 75 сантимов, половины 3 франков 50 сантимов, и *maximūm* не возвышался для богатых, всегда гораздо малочисленнейших, далее 15 или 20 франков, предполагая, что всякое семейство произвело то, что нужно для потребления, — нищеты нигде бы

не было; народ наслаждался бы неслыханным благосостоянием; его богатство, совершенно правильно разделенное, было бы несравненно, и правительство имело бы полное право хвалиться постоянно возрастающим благосостоянием страны.

Но разница между имуществами в действительности далеко не так мала: самые бедные семейства далеко не могут добиться дохода даже в 1 франк 75 сантимов, а самые богатые решительно не желают получать только вдесятеро столько. По новейшим вычислениям одного ученого и добросовестного экономиста, большая часть

бретонского населения не может издержать ежедневно и на человека более 25 сантимов; а это население, прибавляет он, не считается недостаточным. С другой стороны, известно, что многие состояния возвышаются не только до 10 или до 15 франков дохода на день и на семейство, но до 50, 100, 200, 500, 1000 франков; говорят и о таких, которые имеют дохода 10 000 франков в день. Интересный факт, что со времени необыкновенного толчка, данного предприятиям, некоторые предприниматели, вероятно считая *богатство* для нас всех уже упроченным и желая заранее заплатить себе за свою

инициативу, начали присуждать себе кто один миллион, кто два, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят и восемьдесят. Это значит, что, суля нам на будущее время золотые горы на веки вечные, они взимают с общества побор от ста до тысячи процентов. Что же касается до страны, безмолвно переносящей эти насилия, истощение финансов, застой в делах, постоянное возрастание долгов, — все это показывает ей ясно, чего она должна ждать от этих мечтаний о золотых горах.

Теперь откуда же это столь поразительное неравенство?

В нем можно бы обвинить

алчность, которая не останавливается ни пред каким мошенничеством; невежество в законах ценности, торговый произвол и прочее. Конечно, и эти причины не без влияния; но в них нет ничего органического, и они не могли бы долго противостоять общему порицанию, если бы все они не коренились в одном принципе, более глубоком, более почтенном виде, но приложение которого и производит все зло.

Этот принцип тот же, что побуждает нас искать богатства и роскоши и развивает в нас славолюбие; тот же, который порождает право нашей силы,

впоследствии право нашего ума, это — чувство нашего личного достоинства и значения, чувство в благородном своем применении производящее уважение к ближнему и к целому человечеству и порождающее справедливость.

Обратное следствие его то, что прежде все мы не только во всем предпочитаем себя другим, мы еще распространяем это произвольное предпочтение на тех, кто нам нравится и которых мы называем своими друзьями.

У самого справедливого человека есть расположение ценить ближнего и помогать ему не по его достоинствам, а по сочувствию,

которое внушает его личность. Это сочувствие порождает дружбу — святое чувство; оно снискивает нам покровительственное расположение — дело по своей природе столь же свободное, как и доверие, и в котором еще нет ничего несправедливого, но которое вскоре порождает послабления, лицепрятия, шарлатанство, общественные различия и касты. Прогресс труда и развитие общественных отношений одни могли нам указать, что во всем этом справедливо, а что — нет; один жизненный опыт мог нам показать, что если в наших отношениях к ближним может быть допущено

некоторое значение дружественного сочувствия, то всякое лицеприятие должно исчезнуть пред экономической справедливостью; и что если где—нибудь имеет значение равенство пред законом, так это — когда дело идет о вознаграждении за труд, о распределении услуг и продуктов.

Преувеличенно высокое мнение о нас самих, злоупотребление личных отношений — вот отчего мы нарушаем закон экономического распределения, и это—то нарушение, соединяясь в нас с стремлением к роскоши, порождает *пауперизм* — явление, еще плохо исследованное, но разрушительное влияние которого

на общества и государства признают все экономисты.

Постараемся отдать себе в нем отчет.

Бедность есть закон нашей природы, который, заставляя нас производить то, что мы должны потребить, однако ж, не дает нам за труд ничего более самого необходимого. В стране, подобной Франции, это необходимое выражается средним числом, по новейшим данным, 3 франками 50 сантимами на семейство на день, причем можно предположить *minimum* в 1 франк 75 сантимов, а *maximum* в 15 франков. Понятно, что по местностям и обстоятельствам

Эти величины могут изменяться.

Отсюда следующее положение, столько же верное, сколько и парадоксальное: нормальное состояние человека, в цивилизации, есть бедность. Сама по себе бедность — не несчастье: можно бы назвать ее, по примеру древних, безбедным существованием, если бы под безбедным существованием в обыкновенном языке не понимали состояние имущества хотя и не доходящее до богатства, но тем не менее позволяющее воздерживаться от производительного труда.

Пауперизм есть бедность ненормальная, действующая разрушительно. Какой бы ни был

частный случай, производящий его, он всегда состоит в недостатке равновесия между продуктом человека и его доходом, между его издержками и потребностями, между мечтами его стремлений и силою его способностей, стало быть, между положениями людей. Будь он ошибкой со стороны отдельных лиц или учреждений, порабощения или предрассудка, он всегда есть нарушение экономического закона, который, с одной стороны, обязует человека работать для поддержания жизни, с другой — соразмеряет производство с потребностями. Например, работник, не получающий в обмен на свой труд наименьшего

общего среднего дохода, положим 1 франк 75 сантимов в день для него и семейства, принадлежит к пауперам. Он не может, с помощью своей недостаточной платы, восстановить свои силы, поддержать свое хозяйство, воспитать своих детей, а еще меньше — развить свои умственные способности. Нечувствительно он впадает в сухотку, в деморализацию, в нищету.

И это нарушение экономического закона, повторяю, есть в то же время факт в основе своей психологический; он имеет источник, с одной стороны, в идеализме наших желаний, с другой — в преувеличенном чувстве нашего

собственного достоинства и в малой оценке нами достоинства других.

Этот—то дух роскоши и аристократизма, вечно живущий еще в нашем так называемом демократическом обществе, и делает обмен продуктов и услуг обманчивым, вводя в него лицепрятие; он, вопреки закону ценностей, даже вопреки праву силы, непрерывно своей всеобщностью замышляет увеличить богатства своих избранников бесчисленными частичками, похищенными от платы всем.

Факты, которыми в общей экономии проявляется это ложное распределение, разнообразны,

смотря по местностям и обстоятельствам; но всегда они выражаются недостаточностью задельной платы в сравнении с потребностями работника. Упомянем только о главнейших:

а) Развитие тунеядства, размножение должностей и промыслов роскоши. Это — состояние, к которому мы все стремимся всей силой нашей гордости и нашей чувственности. Каждый хочет жить на счет всех, занимать синекуру, не предаваться никакому производительному труду или получать за свои услуги вознаграждение, не соразмерное с общественной пользой, только такое,

какое может дать фантазия, преувеличенное мнение о таланте и прочее. Эти тунеядцы, работники роскоши, считаются сотнями тысяч.

б) Непроизводительные предприятия, несущественные, без отношения к сбережению. Чем являются граждане в частной жизни, необходимо, чтобы тем же было, в свою очередь, и государство: это доказывает пример Древней Греции, императорского Рима, Италии после Возрождения. В особенности следует здесь заметить, что расходы растут с уменьшением доходов, что возбуждает сетования моралистов на искусства, которые принимаются ими за причины роскоши, между тем

как в них нужно видеть только ее орудия.

с) Излишек правительственного элемента, в свою очередь происшедший от всех этих причин. Во Франции бюджет, определенный на 1862 год, достигает 1,929 миллиона. Это значит, что народ, не умея управлять собою, платит за то, чтоб им управляли, около шестой части своего дохода. Так как жилище так же дорого сто'ит, как и управление, остаются только две трети дохода на домашнюю утварь, одежду, отопление, воспитание и продовольствие.

d) Поглощение столицами и большими городами, которые, с

какой стороны их ни рассматривать, даже как центры производства, но в особенности производства роскоши, никогда не возвращают туземному труду всего, что у него похищают, и работают только для забавы праздных и обогащения некоторых мещан.

е) Преувеличение капитализма, который приводит все к финансовым вопросам и доходит до преобразования общественных работ в коммерческие товарищества на веру, как банки, железные дороги, каналы и проч. По этому случаю сделаю замечание. Почтенный член законодательного корпуса говорил недавно, что есть в наших кредитных

установлениях 500 миллионов свободных капиталов, ждущих только упрочения мира, чтобы начать обращение. Многие склонны заключить из этой неисчерпаемой массы монеты, что так же неисчерпаемы и средства страны. Но не обращают на то внимания, что путем налогов, банков, железных дорог, поземельной ренты и пр. монета совершает круговращение, только проходя через руки рабочих, но всегда возвращаясь к исходной своей точке, т. е. к сундукам капиталистов. Хотя бы Франция десять раз съела свои основные капиталы всевозможных сортов, все-таки то же явление повторится.

Относительно фабриканта и банкира деньги могут назваться капиталом, потому что они представляют известное количество сырых материалов; в обмене же, где деньги служат только орудием мены и разве только залогом, банковым билетом и не потребляются, они — капитал воображаемый, мнимый: только произведения труда — действительные капиталы.

f) Изменения ценности монеты, происходящие или от дороговизны, или от дешевизны металлов, или от вывоза денег, или от порчи монеты. От этого происходит огромный ажиотаж в убыток и производителям, и потребителям. Таким образом,

например, открытие калифорнийских рудников произвело замешательство на рынках и скрыло серебряную монету. Кроме этого ажиотажа, который закон имел право наказывать, понижение ценности золота, причиненное его изобилием, было бы столько же причиною обнищания, сколько, например, понижение цены сахара или хлопка вследствие удвоенного производства этих товаров.

g) Наконец, вздорожание квартир и почти всех предметов потребления. Оно показывает, что, вследствие развития туеядства и непроизводительных предприятий, увеличения числа

правительственных лиц, поглощения столицами и большими городами сил страны, финансовых операций, роскоши частных лиц и государства, полезному работнику остается только $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$ или половина того, что он потреблял прежде, другими словами, его задельная плата, хоть оставаясь тою же по номинальной сумме заработка, уменьшилась в сущности на 50, 60 или 80%.

Изложенные факты, действуя друг на друга, увеличиваются своим взаимодействием. Так, например, одна из побудительных причин огромных работ, предпринятых французским правительством, — помочь рабочему классу. Намерение

превосходное: к несчастью, результаты не могут ему соответствовать. В самом деле, из всего сказанного следует, что, желая победить пауперизм искусственными средствами, правительство только его увеличивает: из этого круга нет для него выхода. Капиталисты затем довершают действие. Когда страна не дает им более приложений для капиталов, они выселяются; они переносят в другую страну свою промышленность и свою нищету.

Стоит только раз пауперизму, вследствие нарушения равновесия в распределении, разразиться над рабочим классом — он не замедлит везде распространиться, восходя от

НИЗШИХ СОСЛОВИЙ К ВЫСШИМ, К ТЕМ
ДАЖЕ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В БОГАТСТВЕ.

У бедняков пауперизм характеризуется *медленным голодом*, о котором говорил Фурье, голодом во все мгновения, круглый год, всю жизнь — голодом, не убивающим в один день, но слагающимся из всех лишений и из всех сожалений, который беспрерывно разрушает тело, притупляет ум, развращает совесть, уродует поколения, порождает все болезни и все пороки, между прочим — пьянство и зависть, отвращение от труда и бережливости, подлость души, грубость совести и нравов, леность, нищенство, блуд и воровство.

У тунеядца – иное проявление: уже не голод, а, напротив, ненасытная прожорливость. Дознано на опыте, что, чем больше непроизводительный член общества потребляет, тем больше, вследствие возбуждения в нем аппетита и бездействия его членов и ума, он стремится потреблять. Басня об Эрисихтоне в «Метаморфозах»^[83] есть эмблема этой истины. Овидий, вместо мифологического Эрисихтона, мог представить благородных римлян своего времени, съедающих за одним пиром доход с целой провинции.

По мере того как богач поддается сжигающему его пламени

наслаждения, пауперизм его сильнее захватывает, что делает его разом расточительным, корыстолюбивым и скупым. А что верно для обжорства, верно для всех родов наслаждений; они делаются требовательнее по мере насыщения. Роскошь стола есть только частица непроизводительных издержек.

Вскоре, как только примешиваются прихоть и тщеславие, никакие сокровища не достанут; среди наслаждений чувствуется нищета. Такой потребитель должен наполнить пустеющие сундуки — тогда-то пауперизм совершенно им овладевает, влечет его к рискованным

предприятиям, шатким спекуляциям,
к игре, плутням и, наконец, мстит
самым постыдным разорением за
оскорбленную умеренность,
справедливость, природу.

Вот насчет крайностей
пауперизма. Но не следует
воображать, что между этими
крайностями, в том среднем
положении, где труд и потребление
правильнее уравниваются, что
там семьи находятся вне этого бича.
Тон дан богатым сословием, и все
силятся подражать ему. Предрассудок
богатства, иллюзия, им навеянная,
тревожит души. Тревожимый в своем
духе искусственными
потребностями, отец семейства

мечтает, как он говорит, об *улучшении своего положения*, что всего чаще обозначает — об увеличении своей роскоши и издержек. Возвышается цена на продукты и услуги, слабеет труд, сбережения производятся не так строго, издержки самых аккуратных неprimетно для них самих возрастают по примеру вельмож и государства и вследствие всего этого везде доходят до дефицита, что сейчас обнаруживается в запутанности в делах, в торговых и финансовых кризисах, банкротствах, в увеличении налогов и долгов.

Понимаете теперь, почему умеренность, простота жизни,

скромность во всем для нас не только добродетели, так сказать, сверхкомплектные, но самые положительно необходимые?

Таков ход пауперизма, общий всему человечеству и всем общественным слоям.

В некоторых странах, где бóльшая часть семейств живет земледелием, производя почти все сами для себя и имея только незначительные внешние сношения, — это зло сравнительно менее чувствительно. Тут страдают преимущественно от обеднения правительство без денег и кредита и высшие сословия, которым земля дает только незначительную ренту,

часто уплачиваемую натурой. Тут можно сказать относительно масс народа, что обеспеченность их жизни и всего необходимого для них находится в прямом отношении к их торговой и промышленной неразвитости.

Напротив, у народов, у которых труд разделен и правильно сочленяется, само земледелие подчинено промышленности, все имущества солидарны друг с другом, задельная плата зависит от тысячи причин, не подчиненных ее воле; малейшая случайность путает эти шаткие отношения и в одно мгновение может разрушить существование миллионов людей.

Страшно, когда подумаешь, от каких пустяков зависит ежедневная жизнь народов и какая бездна причин может ее разрушить! Тогда-то замечаешь, что, насколько это прекрасное общественное устройство обещало служить благосостоянию масс, настолько же, при первом потрясении, оно может повлечь за собою бедствия.

Но вот что следует заметить и что подтверждает всю эту теорию: в этой цепи недочетов, доводящих народы до враждебного столкновения, не пауперизм толпы является самым нестерпимым. Первое место тут занимает обеднение государей; за ним следует

обнищание вельмож и богачей. Здесь, как и во всем, массы народа стоят на последнем плане. Бедняк, в общем нищенстве, не имеет даже почетного места.

Богачи, большие потребители, походят — если мне позволят это сравнение — на огромных четвероногих, подверженных по своему росту и силе гораздо более, чем кролик, белка, мышь, голодной смерти. Главная причина прекращения подобных родов — та, что им нечем жить. Это зло случается с аристократическими сословиями, с богатыми и зажиточными родами. Всегда нуждающиеся, среди черни, еще

более высасывающей из них сок, чем им служащей, погрязшие в долгах, осажденные заимодавцами, обанкротившиеся, они, из всех жертв пауперизма если не самые занимательные, то, конечно, самые раздраженные...

Подведем итог этой главе.

Природа, во всем своем творении, приняла за правило: ничего лишнего. Экономия средств, говорил Фурье, один из ее главных законов. Поэтому—то, не довольствуясь приговором нас к труду, она нам дает только необходимое и бедность нам возводит в закон, опережая таким образом наставления Евангелия и все

уставы монашеские. И если мы противимся ее закону, если соблазн идеала влечет нас к роскоши и наслаждениям, если преувеличенное самоуважение побуждает за наши услуги требовать больше, чем сколько следует по экономическим соображениям, природа, быстрая в наказании нас, обрекает нас на нищенство.

Все, сколько нас живет, — отдельные личности и народы, семейства и сословия, ученые, артисты, промышленники, чиновники, получающие ренту и задельную плату, — мы все, значит, подчинены закону бедности. Этого требует наше совершенствование,

самый закон нашего труда. Не говоря о неравенстве труда и способностей, которое может произвести различие в доходе, различие, незаметное в общей сложности, мы вообще производим только то, что нам нужно для существования. Если некоторые из нас получают больше или меньше, чем следует по правилу, — наша общая вина: требуется реформа.

Пауперизм, рассмотренный в своих психологических основаниях, вытекает из тех же источников, что и война, т. е. из значения человеческой личности, не обращая внимания на внутреннюю стоимость услуг и продуктов. Это врожденное

боготворение богатства и славы, эта религия неравенства могли обольщать некоторое время: они должны исчезнуть пред тем выводом из прямого опыта, что человек, обреченный на ежедневный труд, на строгую умеренность, должен искать достоинства своего существа и славы своей жизни совершенно в ином, чем в удовлетворении роскошью и в тщеславии господства.

ПОРНОКРАТИЯ, или ЖЕНЩИНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Глава I

ПОРНОКРАТИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Г—жам J. d'Н... и J. L...

Милостивые государыни!

Я получил ваши три книги и прочел их не без усилий. Мне никогда не приходилось испытывать подобного разочарования; мне не случалось еще встречать более отвратительного дела, защищаемого столь плохим оружием! Я не ставлю в укор вам ваши оскорбления: я пойму их, если они высказаны в минуту законного негодования, я

вынесу их покорно, если на их стороне правда; но в ваших нападениях нет и тени правды; они поражают меня своим наглым бесстыдством.

Вы, сударыни, вероятно, не потребуете у меня ответа на эти потоки слов; вы хотели только излить вашу желчь; до остального вам не было никакого дела. Поступая подобным образом, вы сами произнесли приговор вашей доктрине; мне оставалось только потирать руки и оставить вас в покое среди вашего торжества. Мне ничего не оставалось желать при виде своего мнимого соперника, унизившегося до всего, на что только

способен легковерный женский мозг и оскорбленное тщеславие.

Я счел своей обязанностью, однако, не проходить молчанием ваших двух творений. Вы, вероятно, поймете, что я делаю это не без оснований. Дело идет только не о ваших декламациях и не о моем гневе.

Наше общественное разложение быстро подвигается вперед; чем более я изучаю его симптомы, тем более я убеждаюсь в том, что семейные нравы составляют основу и охрану общественной свободы, что принципы, которыми уничтожаются права народов, служат вам и вашим корифеям орудием разрушения

семьи; что всякая тирания сводится на проституцию и что принцип этой проституции составляет именно то, что вы, сударыни, вместе с Анфантенom и его аколитами, называете *освобождением женщины и свободной любовью*.

Моя ли вина, что вы фигурируете, в роли дам—патронесс, в первом ряду порнократии, уничтожившей во Франции всякую общественную стыдливость, порнократии, которая при помощи различного рода уловок и эквилибристики приобрела себе повсюду адвокатов, философов, поэтов и исповедников. Вы нападаете на все, любимое и

уважаемое мною, на единственное учреждение, к которому я питаю чувство уважения, так как, по—моему, оно служит воплощением справедливости. Примите же на себя все последствия вашей роли; вынесите без криков все квалификации, налагаемые на вас вашей теорией; что же касается меня, называйте меня Минотавром, Синей Бородой, чудовищем — я не буду жаловаться, если вы покажете мне мою ошибку.

Итак, сударыни, будем играть в открытую! Признайтесь, что не ущерб, наносимый моей теорией браку вашему полу, смущает вас в моем этюде: вы хорошо знаете, что

тут вам нечего опасаться. Со своей стороны я готов признаться, что, упоминая с иронией о некоторых слабостях женщины, я имел в виду не одну только прекраснейшую половину человеческого рода. Между мной и вами спор имеет чисто личный характер: в нем не заинтересованы ни супруга, ни дочь, ни глава семьи. В этом должна убедиться прежде всего каждая читающая меня честная женщина.

Поставленный мною вопрос о браке сводится к следующему:

1. Если женщина умственно, нравственно и физически равна мужчине, то она также должна быть равна ему в семье, в экономике, в

управлении, в суде и на войне, одним словом, во всех общественных и семейных делах.

2. Если же они взаимно дополняют друг друга, имея каждый какое—либо специальное преимущество: мужчина — силу, женщина — красоту, — тогда их взаимные права и обязанности должны распределяться иным образом, но только так, чтоб результатом подобного распределения было равенство благосостояния и чести между двумя полами.

Как в первой, так и во второй гипотезе признаются права и достоинство женщины; она может

считать себя независимой, она спасена! Третьей гипотезы существовать не может, но вы по справедливости должны были осыпать меня похвалами за то, что я до такой степени упростил весьма сложный и запутанный вопрос. Что бы ни случилось, законодатель, отец семейства, философ, экономист или моралист должен иметь в виду уравнение, так как я неоднократно говорил уже, что ни под каким видом нельзя допустить, чтоб женщина, существо разумное и нравственное, подруга человека, была бы третируема как существо низшее. Почему вы, вместо того чтобы оскорблять меня, не обратили

большого внимания на слова мои?

Я знаю, что, по господствующему в наше время предрассудку — предрассудку, который разделяется и вами, красота считается чем-то незначительным, принадлежащим к области чистого воображения, — чем-то несуществующим. Слова мои: мужчина сильнее, женщина красивее — кажутся вам глупой шуткой. По вашему мнению, я придаю мужчине значение положительного знака, а женщине — отрицательного. Что такое красота, спрашиваете вы презрительно, имеет ли она какую-либо цену в управлении, в хозяйстве или на рынке? Так рассуждает толпа,

ценящая только то, что меряется и вешается, так рассуждаете и вы, сударыни. Несмотря на ваше самомнение, вы еще не вполне независимы.

Нет! Красота не ничтожна! В этом отношении вы позволите мне заявить вам, что мужчины лучшие ценители красоты, чем женщины. Красота, не забываяте, что я смотрю на нее с точки зрения силы, физически, нравственно, и умственно красота не есть ничтожество! Она корроларий^[84] силы, она мощь, добродетель — нечто, трудно определяемое по существу, но действия которого весьма легко уловимы. Корроларий

силы, обладающий известным действием, не может быть ничем. Я пытался в специальном этюде объяснить роль и значение идеала в жизни человечества; я приписывал ему ту подготовляющую движение силу (*grâce prémoouvante*), которою некоторые ученые стараются объяснить успехи человечества; я говорил, что человек, лишенный этой способности идеализации, не заботился бы о сохранении своего достоинства, оставался бы глух к голосу своей совести; позже, сделав женщину живым воплощением этого идеала, я только выяснил мысль, затерянную до этих пор в туманных абстракциях философов. Другое

дело, если б это высказал почтенный отец Анфантен! Сколько аплодисментов, букетов, поцелуев получил бы он, если б сказал, что красота женщины элемент более действительный и творческий, чем сила мужчины, так как в большинстве случаев красота управляет силою.

Может быть, я ошибаюсь, сударыни! Может быть, я преувеличил значение идеала — роль, играемую женщиной и ее красотою в человеческом обществе; может быть, отдавая со многими себе подобными предпочтение красоте женщины, я просто высказал свой дурной вкус; может быть, даже, что

женщины, прельщающие нас, весьма некрасивы. Стоило ли сердиться на подобное заблуждение? Какой ущерб нанесло оно вам или вашему делу? Вы должны были по крайней мере оценить мои хорошие намерения, так как в конце концов я, олицетворяя в женщине вечную, небесную красоту, заставлял еще более ценить ее. Станные адвокаты, жалующиеся на то, что оппоненты их доставляют им самые решительные средства защиты, придают самое существенное значение их аргументам, находящие дурными наши старания сделать для них «la mariée est trop belle»^[85].

Допустив все это, я спросил

себя: что такое брак? Союз силы и красоты, союз, столь неразрушимый, как и союз материи и силы, разделение которых влечет за собою обоюдное уничтожение. Этим—то и отличается брак от гражданского общества, которое может быть разъединено и цель которого — выгода. Сила и красота соединяются на совершенно иных основаниях: они не платят друг другу, первая — услугами, вторая — милостями; результаты труда и дары идеала несоизмеримы. Брак, по своей идее, есть союз абсолютно самоотверженный. Удовольствие играет в нем второстепенную роль; всякий обмен богатств,

производимых мужчиною, на радости, доставляемые женщиною, всякий торг сладострастием есть уже прелюбодеяние, взаимная проституция. Понимаемый таким образом брак становится для супругов культом совести, для общества же — органом самой справедливости. Подобного рода святой союз супругов если и не сделает их безгрешными, то по крайней мере исключает с их стороны всякую виновность относительно других; тайное же или торжественное соединение мужчины с женщиной, имеющее в виду удовольствие (хотя оно и извинительно иногда), есть обычный

притон паразитов, воров, лжецов и убийц.

О сударыни! Я хорошо знаю, что мораль эта покажется вам слишком строгою; вы пренебрегаете силою, а еще более красотою; единственный социальный договор и единственную религию составляют для вас удовольствия и богатство. Признайтесь, однако, что моя теория преданности, при настоящих условиях нашего рода, более способна образовать прочные супружества и нравственное общество, чем ваши эпикурейские теории! Во всяком случае, вы не можете обвинить меня в унижении женщины, — существа, по моему

мнению, слабейшего; вы видели, как справедливо я отнесся к ней.

Что же касается семьи, жизненная экономия ее разделяется на две главные части: *производство и потребление*.

Первая — самая тяжелая: я сделал ее достоянием мужчины; вторая — легче и приятнее: я предоставил ее женщине. Мужчина пашет, сеет, жнет и мелет хлеб; женщина печет пироги; вся жизнь, насколько в нее входит труд, сводится к этому символу: каковы бы ни были в будущем организация, разделение и распределение труда, в конце концов все мужские и женские занятия находятся в соответственной

зависимости от плуга и кухни. Покажите мне несправедливость подобного распределения? Говорил ли я, когда накрыт стол и подано кушанье, что женщина должна сесть в угол? Что она должна ждать позволения своего повелителя? Что она должна есть черный хлеб, тогда как он будет есть белый? Напротив! Я научаю мужей отдавать лучшее, что есть в доме, женщине и детям, искать удовольствия в их наслаждении и радости. Я, конечно, упустил из виду многое; мне много заявляли о моей грубости и нелюбезности, но вы не можете приписать мои советы какому-либо эгоисту, эксплуататору или тирану.

Если вы работаете на благо женщин, то прошу вас считать меня в числе ваших партизанов.

Я сказал, как Огюст Конт, и даже лучше его, что женщина, воплощение идеала, обладает высшей натурой, чем мужчина, на стороне которого только преимущество силы; что последний производит только полезности, тогда как первая дает счастье, что женщина должна быть поэтому изъята от всяких производительных трудов, носящих жесткий и отвратительный характер. Я сделал моногамию основным законом соединения полов; я изгнал развод; я подчинил любовь совести и поставил, в действительно

достойных браках, последнюю выше первой; все это ради чьей пользы? Очевидно, на пользу женщины — стороны, царствующей посредством красоты, т. е. более подверженной падению.

Что же касается внешних сторон жизни, то я не хотел и не хочу сделать женщину участницею войны, потому что война столь же мало соответствует красоте, как и рабство. Я не хочу политики, потому что политика тоже война.

Я не хочу обязанностей судьи, полицейского или правителя, потому что это опять—таки война.

Я говорю, что царство женщины — семья; что сфера ее деятельности

у домашнего очага; таким образом, мужчина, в котором женщина должна любить не красоту, а силу, будет все более и более развивать свое достоинство, свою личность, свой характер, свой героизм и справедливость, и я нападаю на централизацию, функционализм, финансовый феодализм, постоянное военное положение именно ввиду того, чтоб сделать мужчину храбрее и справедливее, женщину же все более и более королевой. Ввиду этого я ратовал в 1848 году против восстановления империи, требовал экономических реформ, уничтожающих пауперизм и преступления, водворяющих мало—

помалу господство полной свободы и ведущих прямо к реставрации семьи и к славе женщины.

Я бичевал, насколько у меня хватало энергии, обольщение, прелюбодеяние, растление, содомизм, проституцию, одним словом, все преступления против брака и семьи или, вернее сказать, против женщины. Я видел в них признаки и орудия деспотизма; я не понимаю, почему мои слова показались вам подозрительными? Если я, согласно многим авторитетам, и прощал до известной степени конкубинат^[86], то это только в интересах самих женщин. Я не сомневаюсь, что другой мог сказать

больше и лучше меня; я говорил, как мог, и, поискав вокруг, даже углубившись в прошлое, вы не найдете ни одного писателя, который бы так близко принял к сердцу сторону женщин, как я. К чему же вы старались утопить меня в целом море оскорблений? К чему называли вы меня мужиком, ослом, подлецом? Вы, сударыни, дорожа единственно правами женщины, вы могли сказать мне только следующее: «Вы, Прудон, первый наш защитник, и мы благодарим вас за ваше расположение. Нельзя пренебрегать предлагаемыми вами условиями существования нашего пола, так как жизнь была бы тогда гораздо

снее. Но позвольте заметить вам, что вы еще школьник относительно всего касающегося женщины; вам известен только слабый отблеск всех ее прелестей и, как выразился один из ваших приятелей, *вы еще ничего не понимаете в любви*».

«Вы считаете нас слабыми телом, бедными умом, боязливými сердцем и только ради так называемой вами красоты нашей, которая внушает нам весьма мало уважения, считаете себя обязанным отдаться нашему счастью. Плачевное, хотя и великодушное заблуждение! Мы обладаем, знайте это, или же можем приобрести, не теряя наших прелестей, физическую силу в такой

же степени, как и мужчины. Что за дело, если мы даже и не приобретем ее? Если она не нужна нам? Бык сильнее человека, но это еще не дает ему права сравниться с ним! Что же касается душевных качеств, единственных, которыми следует дорожить, то мы без ложной скромности можем похвастаться обладанием, наравне с мужчиною, умом, осторожностью, справедливостью, достоинством и мужеством. Что же было бы, если б вы, несчастный резонер, столь мало проникнувший в тайны женской природы и так сильно желающий женщине добра, что было бы, если б вы удостоились полного откровения?

Позвольте же просветить вас, и будьте уверены в нашей благодарности. Ум ваш не усмотрел и сердце ваше не поняло еще колоссального наслаждения, которое может доставить смертному свободная женщина. В вас, конечно, существуют уже задатки ревностного поклонника женщин, рыцаря «царицы неба». Нужно только снять бельмо с глаз ваших, и вы сделаетесь самым жарким поборником величайшей и последней на земле революции освобождения женщины».

Вот единственное, что вы могли сказать мне, так как ни одна, ни другая не были названы в моей

книге; поэтому, говоря от лица всех ваших сестер, вы не имели права примешивать к вашей речи что-либо личное. Кто знает? Может быть, после этого, присоединив сюда еще обещанную награду, я не остановился бы на вышеприведенном балансе «doit» и «avoir»^[87] женщины; может быть, я стал бы утверждать, что женщина равна по силе мужчине и превосходит его красотой; что превосходство ее полное; что мы, сравнительно с нею, существа низшие, одним словом, что женщина, несмотря на свое довольно нескромное любопытство, погубившее человеческий род, дана человеку как искупительница и

ангел—хранитель.

Признайтесь, сударыни, вы весьма плохие адвокаты! Одним словом, можно выбить вас из позиции, и если судьи будут обладать одинаковой с вами диалектикой, то вы заставите перерезать себе горло всем вашим клиентам. Вы, считающие своим долгом защищать дело женщины, изменяете ему на каждой строке, скажу более, вы бесчестите его. Это происходит, по моему мнению, от давно замеченного мною различия в прерогативе между двумя полами — различия, которое вы отрицаете совершенно бездоказательно, с невероятным апломбом, и потому неудивительно,

что я пытаюсь остановить вас. В этом заключается вся суть вопроса.

Глава II

ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Нет могущества без красоты и наоборот, нет красоты без могущества, точно так же, как нет материи без формы или формы без материи; потому и говорят: мужественная красота и сильная женщина; потому-то, наконец, женщина участвует в производстве, мужчина в благосостоянии семьи.

Могущество и красота, будучи так же неразрывно связаны, как форма и материя, не составляют,

однако, одного и того же; их природа совершенно различна, а проявления еще более. Никаким усилием мысли нельзя свести их к одному выражению. Это производит, помимо органического различия полов, различие иного рода, сознаваемое всеми и которое разум признает основным.

Но, может быть, это различие обманчиво? Может быть, оно составляет только следствие воспитания и привычек? Может быть, со временем, с переменой условий существования женщины, можно будет надеяться, что эти различия исчезнут и разница будет только в устройстве половых

органов? Другими словами, должна ли система отношений между мужчиной и женщиной основываться на эквивалентности их атрибутов (что доказывалось мною), или же она должна быть основана на положительном равенстве и тождестве этих атрибутов. Весь вопрос заключается в этом.

Нужно заметить, что от закона отношений между полами будет зависеть семья, общественный порядок и благосостояние всего человечества.

Простейшие факты, говорил я, способны с первого взгляда подтвердить каждому добросовестному человеку

справедливость положений: мужчина сильнее и уродливее; женщина прекраснее, но слабее. Вы подняли на смех слова эти. Вы отрицаете факты, подозревая мое недобросовестное отношение к ним. Вы говорите, что факты, приводимые мною, не подтверждают моих положений, что они даже говорят в вашу пользу. Женщина, застигнутая в прелюбодеянии, постоянно отрицает свою преступность, и если поверить словам ее, то муж должен еще быть обязан ей за это. Мы решаемся еще раз повторить все высказанное нами в надежде сложить с себя все вышеприведенные обвинения.

Качества **физические.**

Возьмите наугад в различных слоях и классах нашего общества двух молодых людей — крестьянина и крестьянку, работника и работницу, «damoiseau» и «demoiselle», возьмите на других ступенях лестницы мужчину и женщину, старика и старуху, отрока и отроковицу или же маленького мальчика и маленькую девочку; заставьте их бороться. Подобного рода опыт может произвести каждый; я сам производил его сотни раз, когда еще был пастухом. Может случиться, что слабый мальчик будет поборот сильной девочкой; но в 99 случаях на сто победа останется за мужским полом. Вот что говорят факты.

Наоборот, в такой же пропорции женщина окажется всегда красивее мужчины.

Легко убедиться, что эти различия установлены самой природой. Нужно иметь только глаза. Сравните фарнезского Геркулеса, гладиатора, Тезея или Ахиллеса с Венерой Милосской, Венерой Медицейской или с Дианой—охотницей: организация первых служит выражением силы, вторых же — красоты. Призовите на арену всю молодежь, все население Спарты, вы увидите то же самое. Факт этот будет подтверждаться при каждом сравнении организации мужчины с организацией женщины.

Это различие обуславливается воспитанием, говорите вы. Мы сейчас увидим. До поры отрочества различие между мальчиком и девочкой весьма ничтожно; Фурье называл их в это время *нейтральным полом*. Воспитание их почти одинаково; разница состоит только в том, что на девочку, ввиду ее будущей жизни, смотрят несколько иначе. Точно так же, чем более сходство между отроками или маленькими детьми обоих полов в силе, тем менее они различествуют по красоте; отсюда произошла отчасти та греческая любовь, о которой, сударыни, мне кажется, совершенно излишне распространяться. Потом в

физиономии каждого начинается происходить особая перемена: формы одного становятся угловатее, у другой же они все более и более округляются: развитие бедер и груди, придавая окончательную прелесть телу женщины, отнимает у нее способность быстрого передвижения. Древние поэты сделали из Аталанты, Камиллы женщин, легких на бегу, — чистая выдумка! Быстрота женщины вещь невозможная; у нее, сравнительно с мужчиной, гораздо более частей тела, скорей препятствующих бегу, чем способствующих ему. Прочтите у Руссо описание состязания между Эмилем и Софьей, вы увидите

смешное положение женщины, желающей обогнать мужчину. Прочтите в поэме Квинта Смирнского описание сражения между Ахиллесом и Пентесилеей, царицей амазонок, и вы сами поймете громадную разницу, с точки зрения эпических чудес, между героем и героиней. Обладая, по словам поэтов, быстрым бегом, Аталанта, Камилла и Диана не могли быть хорошенькими женщинами. Центр тяжести их тела должен был находиться в груди; у них должны были быть худые ноги, плоские бедра и грудь.

Чего же больше? В Америке, где женщины не занимаются полевыми

работами, они, по рассказам путешественников, все здоровы и красивы. В Франш-Конте и Бургундии женщины работают как вьючные животные и зато в тридцать лет уже безобразные старухи. Мужчины же, на долю которых выпадает самая тяжелая работа, еще сохраняют бодрый и красивый вид до пятидесятилетнего возраста. Вам подтвердят это физиологи, живописцы и скульпторы.

Видели ли вы когда-нибудь полк, в день парада марширующий с маркитантками впереди, в полной форме? Нет вообще ничего красивее толпы людей в боевом порядке; одни маркитантки производят дурное

впечатление. Женщина, носящая панталоны, марширующая впереди солдат, сразу привлекает взгляд и благодаря своему костюму кажется весьма неграциозной. Плохо бегающая женщина также дурно ходит. Ей гораздо более приличествуют танцы — вальс, например, в котором она увлекаема танцором, или же медленный и торжественный шаг процессий. Я могу привести еще тысячи подобного рода фактов. Может быть, вы находите их вымышленными или не имеющими никакого значения? Впрочем, вы не отрицаете превосходство силы в мужчинах, хотя вам это кажется не совсем приятно.

Вы проходите ее молчанием, как будто она ничего не значит. Сила еще ничего не доказывает, говорите вы!.. Она доказывает нечто, сударыни! Различие природных особенностей обуславливает собою коренное различие в отправлениях, в общественном и семейном назначении мужчины и женщины. Один обладает большей подвижностью, энергией и способностью продолжительного действия, другая обладает большей склонностью к семейной жизни, дающей большую прелесть и окончательное развитие их более нежной природе.

Образ мыслей всего

человеческого рода вполне согласуется с этим законом природы; эпитет «virago»^[88], означающий двусмысленное существо с мужскими формами, с солдатским темпераментом, понимается всеми в худшем смысле: в них предполагают дурные наклонности. Прилагательные «coureuse»^[89] и «эмансипированная» принимаются еще хуже, в силу той же аналогии между физической и нравственной стороной. Все женщины согласны с этим, исключая маленькую группу, достойной представительницы которой еще не удалось найти Анфантену. С самого начала вещей природа и всеобщее сознание

осудили ваше учение. Разве это не факт?

Способности умственные. Я говорил, что мужчина обладает большей мускульной и нервной силой, чем женщина, и что в силу закона единства личности, закона гармонии и солидарности способностей он должен также обладать и большей умственной силой. Но, в силу тех же оснований, я должен был прибавить и прибавил, что ум женщины, точно так же как и тело ее, одарен специальными качествами, составляющими дополнение и противовес качествам мужчины. Это заключение об умственных качествах; по качествам

физическим весьма логично и справедливо оно не посягает на права женщины и не стремится ничуть подорвать их самостоятельное значение. Нужно было, однако, подкрепить все это фактами.

Я привел их весьма много, но вы сочли их все за личное оскорбление и объявили их несостоятельными. Все—таки нужно для того, чтоб читающая публика понимала нас, исходить из какого—либо принципа. Нужно знать, идет ли дело о вас или о вашем поле? Понятно о последнем, во имя которого вы протестуете и который, по словам вашим, угнетает и унижен моим полом. Оставимте же в стороне

все лично неприятное вам в этом исследовании: вы или будете спасены вместе со всеми женщинами, т. е. вы откажетесь от ваших правил, или же вас осудят одних. Будьте покойны, не произойдет ни замешательства, ни несправедливости.

Вы требуете фактов! Я сразу привел вам 60 000 привилегий на различного рода открытия и усовершенствования, сделанные во Франции мужчинами с 1791 года. Женщинами выдано только *полдюжины*, да и то на какие-то модные безделушки.

Вы требуете фактов! Я приведу вам еще в пример всеобщую

биографию; сочтите в ней все лица мужского и женского пола, отличившихся в области философии, права, науки, поэзии, искусства, одним словом, во всех областях умственного труда; я предоставил вам сделать тогда вывод! Кроме этих грубых фактов я приведу вам еще свидетельства, также не лишённые значения. Я цитировал вам мнения всех древних и современных мудрецов, поэтов, теологов, соборов, не принимая, понятно, во внимание всех оскорбительных слов, на которые так нескупы мужчины, когда дело идет о женщине. Все, что было говорено по этому поводу, весьма легко сводится к следующим словам

Ламенне.

«Я никогда не встречал женщины, которая могла бы в продолжение четверти часа следить за рассуждением. Все они обладают недостающими нам качествами, качествами, полными особенной прелести; что же касается ума, логики, способности связывать мысли, соединять принципы со следствиями и прозревать их взаимные отношения, женщина, даже самая умная, редко достигает высоты мужчины с средними умственными способностями. Это обуславливается, может быть, отчасти воспитанием. Но самая основа различия лежит в самой

природе женщины». Отсюда он заключает: «Женщина — легкая, блестящая, грациозная бабочка, которой неотесанные философы предлагают сделаться куколкой». Я ссылаясь на признания различных лиц, могущие также играть роль фактов. Я привел вам слова Жорж Санд, Д. Стерн, Неккер де Соссюр, Гизо — знаменитейших женщин нашего времени, наиболее благоприятствующих теории равенства. Все они, с более или менее скрытым, хотя и не совсем уместным неудовольствием, говорят то, что говорил Гегель и Ламенне. Устами этих женщин, лучших и преданнейших представительниц

своего пола, вся женская половина человеческого рода признала себя несостоятельною. К чему же после этого искать более *подавляющих фактов?*.

Не хотите ли экспериментов? Эксперимент, как говорит философия, есть искусство застигнуть врасплох саму природу. Я сравнивал литературные произведения мужчины с произведениями женщин; всякий, знакомый в настоящее время с способом фабрикации книг и романов, может предпринять подобного же рода сравнение. Всякий увидит, что у женщины—автора преобладает форма, а не

содержание. Мы нашли всех их более или менее одержимыми какой-то умственной нимфоманией, заставляющей их, при помощи целых потоков слов, стремиться к подражанию мужчинам и почти всегда приводящей их к одной «*idée fixe*»^[90] — любви, т. е. к тому, что вы называете эмансипацией.

Не хотите ли вы теперь вникнуть в дело поглубже и перейти от фактов к их причинам? Спросите френологию. Она укажет вам на различие в устройстве мозга мужчины и женщины. Подразделения мозга, соответствующие, насколько это подтвердилось тысячами наблюдений, известным деятельным

способностям ума, причинность, сравнение, обобщение, идеализация, усовершенствование или прогресс, точно так же, как и все политические и военные инстинкты — повелительность, твердость, самолюбие, более развиты у мужчины, чем у женщины. Взамен этого природа, как бы недовольная дарованным ею превосходством мужского пола и ради предупреждения всякого протеста со стороны женщины, одарила ее уважением, субординацией, привязчивостью, оседлостью, любовью к одобрению и похвалам — качествами, обнаруживающими вполне недоверие, которое должна

питать женщина к своим способностям. Кроме этого природа одарила еще женщину какой-то интуитивной и прозревающей способностью, заменяющей ей рассуждение и убеждение. В видах еще большей прочности семейного союза, общественного порядка и конечных судеб человеческого рода мозг женщины менее мозга мужчины; первый средним числом = 3 франкам 4 унциям, второй же = 3 франкам 8 унциям. При равенстве других условий, как говорит Бруссе, где больше количество, там больше и сила; мозг слона или кита, приводимый обыкновенно в пример возражения против френологии, еще

ничего не доказывает и не может быть сравниваем, как и мозг других животных, с мозгом человека, вполне отличного по строению и соответствующему более многочисленным и разнообразным способностям. Неужели вы без разбору станете отрицать все выводы френологии?

Все эти факты, за исключением разве принадлежащих к пятой категории, приведены мною вкратце, так как все они более или менее уже известны публике. На основании этого вы заключили, что я не привел ни одного факта в подтверждение своих мнений. Так всегда рассуждают женщины, одержимые

страстью, женщины, лишённые всякой веры и прямоты. Они не видят и не слышат; они, как знаменитая мифическая Сцилла, только лают. Уничтожьте статистику торговли, уничтожьте всеобщую биографию, уничтожьте свидетельства теологов, философов, поэтов, моралистов, уничтожьте признания ваших коноводов, уничтожьте практику, ставящую вас на свое место, уничтожьте френологию и тогда уже говорите, что я не привел ни одного факта.

Что же касается меня, неумолимо преследующего эту гниль сенсимонизма, находящего вполне правдивой сатиру на женщин Буало,

то я, на основании всех приведенных мною фактов, заключил, что умственная сила в мужчине должна соответствовать какой-либо иной способности в женщине — способности приложения, упрощения, вульгаризации, вполне заменяющей женщине глубину ума мужчины. Я рассуждал о пище духовной как о пище телесной. Производство одной точно так же необходимо, как и приготовление другой. Пример этому мы видим в мистрис Мери Соммервиль, которая в 1831 году, по поручению лорда Брума, перевела, для общества распространения полезных знаний, небесную механику Лапласа —

книгу, написанную для потомства, как сказал Джон Гершель. Мистрис Соммервиль могла, конечно, прослыть в своем роде за феномена; это не помешало ей, однако, быть прекрасной хозяйкой; она переводила Лапласа в свободные от дела минуты, которые другая употребила бы на вышивание; она хорошо понимала, что найдется много женщин, умеющих вышивать, но зато ни одна не будет способна заменить Ньютона или Лапласа.

Трудно побеждать, говаривал Наполеон, но еще труднее суметь воспользоваться своей победой. Победрами мужчины пользуется женщина, извлекающая выгоды из его

завоеваний. Ему — экономическое и умственное производство, ей — искусство наслаждения. Один мужчина не умеет пользоваться; все приобретенное им растрачивалось бы без женщины совершенно бесполезно. Почему же одно стоит ниже другого?

Пусть мужчина изощряет сколько угодно свое тело и ум, пусть делает открытие за открытием, производит творение за творением, чудо за чудом, ему все-таки, несмотря на все его развитие, никогда не удастся видоизменить свою природу и характер. Сила останется его главным атрибутом; он никогда не сделается хорошенькой

игрушкой по виду и сильфидой по уму. Чем более будет он давать работу своему телу и уму, тем менее вероятности превращения его в вышеупомянутые предметы.

Пусть женщина заимствуется сколько душе угодно идеями у мужчины, пусть она увеличивает свои познания и проникает в самую глубь его умозрений; она все-таки никогда не сделается «esprit fort»^[91], понимая это слово в его высшем и философском значении; чем более будет она учиться, тем более будет возрастать ее приятность. Природа, как я сказал уже, приковала ее, даже в отношении развития, к красоте; красота — ее назначение, ее

состояние.

Всякое уклонение от первоначального типа влечет за собою болезнь или уродство. «Mignon», подражающий женщине, столь же отвратителен, как и негр с лицом гориллы; женщина, носящая бакенбарды и усы, еще более отвратительна. Потому-то мнимая ученая, догматизирующая, проповедующая, пописывающая, как, например, вы, госпожа Женни д'Е, женщина, повторяющая ежеминутно: *я учу, я утверждаю, я излагаю, я допускаю, я предполагаю, я отрицаю, я пишу, я объявляю*; женщина, украшающая себя философской бородой, превращающая метафизику

в какой-то непонятный лепет, старающаяся опровергнуть непонятные для нее теории, которые вдобавок она бессовестно обкрадывает, такая женщина, как, например, вы, госпожа J. L., падает и становится уродливой. Есть уродство ума во сто раз хуже уродства тела — уродство, изображенное Мольером в его «femmes savantes»^[92] и осыпанное рукоплесканиями публики. Прочтите эту комедию, сударыни; только та женщина может считать себя сделавшею большие успехи в приобретении мудрости, которая хорошенько усвоила себе философию «femmes savantes».

Нравственные качества. Я

рассуждал о нравственных качествах точно так же, как и о умственных: обладая большей силой темперамента и ума, мужчина, по законам единства, гармонии и пропорции, должен обладать также и большею силою совести. По тем же основаниям повторяется и тут явление, замеченное уже нами в двух предшествующих случаях: если возможно установить различие между силой и красотой в нравственном отношении, как мы уже сделали это в отношении физическом и умственном, то женщина должна отличаться от мужчины чем-либо особенным, восстанавливающим между ними

равновесие в достоинстве. Таким образом, мужчина, являясь перед женщиной олицетворением права и идеи, удваивает через ее влияние свое стремление к истине и справедливости. Я уже говорил это; вы читали написанное мною; я вычислял все с крайней добросовестностью.

В чем же вы упрекаете меня? Я доказал, как умел, справедливость положения: мужчина, как выражение могущества, относится к женщине, как 27:8, женщина же, как олицетворение идеала, относится к мужчине, как 27:8. Вы, сударыни, утверждающие, предполагающие и обучающие столькому, допускаете ли

или отрицаете эквивалентность полов? Так как, говоря по правде, чем больше я читал вас, тем менее понимал.

В данном случае, как и прежде, весь вопрос сводится к тому, составляет ли красота нечто пустое, химерическое, лишенное всякого значения, или же, напротив, она есть нечто положительное, играющее известного рода роль, обладающее значительным влиянием и известною, достаточно большою, ценностью? Так как вы не верите в существование красоты, исповедуя, и не без основания вероятно, учение, совершенно противоположное мнениям всех великих философов,

великих поэтов, великих теологов; так как вы совершенные атеисты в деле идеала, то вы и говорите, что женщина погибла, если она противопоставляет силе мужа только свою красоту, красоту своего тела, своего ума, своей души, — в таком случае.

La femme est une
esclave et ne doit qu'obeir![\[93\]](#)

Ваше отрицание, если это можно назвать отрицанием, всех физиологических, психологических, экономических и социальных фактов, приведенных мною ради подтверждения моей теории брака,

ваше отрицание походит на игру в карты многих женщин, которые, видя, что они проигрывают, решаются смешать карты.

Всякая добродетель составляет иррадиацию справедливости.

Справедливость берет начало в чувстве собственного достоинства, которое тем больше, чем более сознает человек значение своего ума, своего таланта и своей силы. Потому-то лев — самое гордое и самое мужественное из всех животных; он горд потому, что силен, и потому, что одарен сознанием своей силы.

Принцип этот может быть приложен к человечеству, так как он

управляет всеми живыми существами.

В мужчине более развита личность: он обладает большею гордостью, большею храбростью и независимостью; чувство чести очень щекотливо в нем; честолюбие, дух господства, инстинкт повелительности сильнее — вы сами упрекаете нас в этом. В женщине, напротив, более развита робость, и, что весьма замечательно, эта робость очень идет к ней, и она не должна стыдиться ее: трусливость и робость в ее природе.

Она обладает, как говорят, даром слез, делающим ее трогательной, как лань; подобного рода способности вы

не найдете ни у льва, ни у быка, а подавно уж у мужчины. Женщина одарена большею кротостью, более расположена к повиновению и покорности; не любя слишком заметного господства, она царит, как фея, при одной только помощи своего хорошенького личика и маленького жезла. Вы не смеете порицать справедливости этого факта, так как вы сами негодуете по этому поводу на женщину, называя ее глупую и подлую.

Нравственная энергия мужчины установила обычай дуэли, неизвестной женскому полу; этот факт не лишен значения.

Вследствие того же принципа

произошли между народами войны, составляющие одно из проявлений справедливости, проявление ужасное, которое, по моему убеждению, должно мало—помалу приходить в упадок, но которое тем не менее присуще человечеству и сознанию его прав. Все это, однако, превышает природу женщины и совершенно непонятно ей.

Вы требуете для женщины наравне с мужчиной исполнения судебных обязанностей. Знайте, что суд есть отпрыск военного господства, что все законы выводятся из права силы. Требуйте поэтому для молодых девушек, точно так же, как и для молодых людей, привилегию

конскрипции^[94]. Если вы способны только хоть раз простоять на часах.

Женщина именно потому, что она обладает меньшею нравственной энергией, чем мужчина, приносит для осуществления его справедливости необходимый темперамент, без которого наше юридическое состояние ничем не отличалось бы от состояния войны; темперамент этот заключается в ее идеях милосердия, терпимости, прощения, примирения и кротости, составляющих необходимый элемент идеи справедливости. Мужчина стремится всегда дать преимущество чистому, строгому, неумолимому праву; женщина же хочет царствовать

милосердием и любовью. Такова также основная мысль христианства, в распространении которого женщины принимали весьма активное участие. Женщина своим влиянием учит мужчину отказываться от известной доли его прав и быть более счастливым, проявляя свое великодушие. Вы не можете отрицать этого факта, так как вы первые превозносите те дары любви, милосердия, самопожертвования, которые Бог вложил в сердце женщины. И вы не хотите видеть, что эти нравственные качества вашего пола, довершая его совершенство, свидетельствуют тем не менее о его меньшем достоинстве

с точки зрения чистой справедливости.

Я дерзнул высказать, вопреки мнению, принадлежащему всем поборницам свободной любви, что даже в отношении стыдливости женщина получила инициативу от мужчины. Это произвело большой шум среди всех *свободных женщин*, будто им есть какое-либо дело до стыдливости! Мысль, высказанная мною, была очень простая и не имела в себе ничего парадоксального.

Интеллигентное и свободное существо чувствует всегда неодолимое отвращение ко всему, что напоминает ему животность, ко

всему, что ставит его вровень с животными. В силу этого человек, лишь только проснется в нем сознание, начинает прикрывать свою наготу, изготавливает себе кушанье и избегает всего, что ему кажется неприличным. В древних узаконениях существует много первобытной простоты указаний, которые не излишне было бы припомнить многим цивилизованным народам. Чем дальше идет вперед общество, тем более оно отличается своим умением изготавлять себе пищу и одежду; тем изысканнее становится его чистота и вежливость; тем сдержаннее становятся его язык и телодвижения.

Все относящееся к любви можно подвести под эту же категорию.

Весьма естественно, что, при таких условиях, индивид будет лучше различать приличное от неприличного; он будет тем более чувствителен к грубости своего ближнего, грубости, служащей знаком неуважения к нему, чем более в нем развито чувство собственного достоинства. Факты, в данном случае, вполне подтверждают теорию.

В деле половых отношений существует закон природы, которому подлежит весь животный мир и заключающийся в том, что самка, побуждаемая половым инстинктом,

сама, хотя и не без различного рода ужимок, ищет самца. Женщина не составляет в этом случае исключения. Она по природе одарена большою склонностью к сладострастию, чем мужчина; во-первых, уже потому, что рассудок и свобода представляют в ней весьма ограниченное сопротивление в борьбе с ее животными склонностями, во-вторых же, потому, что любовь составляет главнейшее, если не единственное занятие женщины; идеал не всегда предполагает тело. Между прочим, я приводил в доказательство этому: во-первых, раннюю склонность к кокетству девочек в

противоположность антипатии, питаемой к ней мальчиками, и еще чрезвычайную застенчивость молодых людей; во—вторых, законную и незаконную проституцию, несравненно чаще встречающуюся в жизни женщин, нежели мужчин; в—третьих, весьма редкие случаи полиандрии^[95], доказывающие, что мужчина, в известные моменты цивилизации, если и присваивает себе несколько жен (весьма довольных этим), то зато со своей стороны редко соглашается сделаться, в компании других мужчин, собственностью одной женщины; в—четвертых, стремление женщин низвести брак на степень

конкубината, делая в нем, согласно вашим теориям, сударыни, господствующим элементом любовь, а не право.

Все это вполне согласуется с природой и назначением женщины, и все сказанное мною нисколько не унижает ее. На ее стороне красота и любовь: как же не обладать ей инициативой во всем, что касается любви? Чувство, заставляющее женщину смягчать строгую справедливость мужчины, украшать его жилище, поэтизировать его концепции, то же чувство учит ее рассеивать его мысли — отвлекать его от занятий и борьбы ради иного препровождения времени. Этого

требует их обоюдное счастье и общественный порядок. Счастливое состояние! Если только идолопоклонство любви не заставляет забывать их обязанностей относительно общества и собственного достоинства.

Заметьте разницу, существующую в данном случае между двумя полами: мужчине принадлежит инициатива в деле стыдливости, но женщина должна охранять это сокровище. У первого стыдливость исчезает в победе, у другой она возрастает за поражением. Освящение семейного очага есть дело женщины; святость семьи будет основой

республиканских добродетелей. Вот почему у древних народов мать ставилась выше и считалась прекраснее девы; *gratia super gratiam, mulier sancta et pudorata*^[96] — говорит священное писание. Последующее изменило этот взгляд: оно объявило замужнюю женщину нечистою и превознесло деву, что совершенно противоречит законам природы, наносит ущерб чести семьи и даже достоинству самого мужчины.

Почему же, сударыни, приходится мне посвящать вас во все эти подробности? Не потому ли, что бесстыдство мнимой ученой влечет за собой отсутствие стыдливости в женщине. Не потому ли вы оглашаете

воздух криками, что я, не зная и не называя вас, назвал нечистыми всех тех свободных женщин, за которых вы ратуете, и вы вполне доказываете всеми вашими словами, что если вы еще не утратили способности краснеть, то, во всяком случае, в вас не существует уже более правильного понятия о стыдливости. Вы говорите, что прелюбодеяние и проституция одинаково заслуживают осуждения как в мужчине, так и в женщине и что если грехи первого пользуются снисхождением, то и вторая должна также пользоваться подобного же рода преимуществами. Вы делаете из неравенства, установленное мнением всех народов, между

невоздержанностью мужчины и бесстыдством женщины, главную основу супружеской тирании. Неужели вы, безумные, не понимаете, что, требуя подобного рода прав для женщины, вы возводите ей пьедестал... в грязи! Кому же вы намереваетесь нравиться, после того как приобретете эти *права*? Мужчинам или обезьянам?

Я резюмирую все сказанное мною.

Мужчина одарен силой *действия*, женщина же — силой *очарования*. Из различия их природы вытекает различие в их качествах, отправлениях и назначении. Каковы

же должны быть взаимные отношения этих качеств и отправлений или, другими словами, каковы должны быть цель и закон брака? Это—то мы и рассмотрим теперь.

Глава III

ОТНОШЕНИЯ ДВУХ

ПОЛОВ.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

СОЗНАНИЯ.

ОСНОВЫ

ПОЛИТИЧЕСКОГО

СТРОЯ

Мне кажется до сих пор еще, что женщина не слишком дурно наделена природою. Если б ангелы, не имеющие, по мнению ученых теологов, пола, получили бы приказание спуститься на землю и

облечься в наше тело с правом выбрать себе образ мужчины или женщины, то я не сомневаюсь, сударыни, что небесные духи предпочли бы сделаться женщинами, а не мужчинами.

Заботиться об участи существа, ремесло которого заключается в том, чтоб всегда казаться прекрасной, грациозной, кроткой, скромной, любящей, обольстительной, преданной, способной на порывы героизма и принужденной соединяться, ради удобств жизни, с существом более сильным и не обладающим подобными качествами. Нечего говорить, что такой союз имеет характер насилия.

С точки зрения ума и сознания, точно так же, как и тела, мужчина и женщина составляют одно целое, существо в двух лицах, настоящий организм. Соединение этих двух лиц, называемое Платоном андрогином^[97], составляет действительное человеческое существо. Рассматривая отдельно каждое из них, мы найдем их неполными, незаконченными. Вы, сударыни, не станете отрицать справедливости этого, вы придаете сами слишком большое значение словам «андрогин, мужчина–женщина» и не можете поэтому требовать равенства полов. Существование андрогина было бы

немыслимо, если женщина была бы во всем равна мужчине, если бы каждый из них не обладал какими-либо особыми качествами, соединение которых и составляет настоящий организм.

При этом существовании вдвоем силы ума, сознания и тела приобретают большую напряженность именно потому, что они неравно распределены между обоими лицами; таково первое приложение, сделанное природой, великого принципа разделения труда. Опыт действительно показывает, что счастье сожительствующих приобретает гораздо большее развитие, когда их общее действие

распределено на 2 части: одну —
носящую материальный и
утилитарный характер, другую —
духовный и эстетический; когда
действие одного направлено наружу,
другого же внутрь. Если этим
уменьшается количество общего
производства, то зато улучшается
потребление; если этим
обуславливается медленность
философского мышления, то
результаты его приобретают большую
конкретность и доступность; если
этим замедляется прогресс права, то
оно делается человечнее, милостивее
и терпимее.

Всмотримся поглубже в систему,
названную мною органом

справедливости, созданным самой природой.

Каковы будут взаимные права и обязанности супругов?

Во всех своих сношениях с ближними человек требует услуги за услугу, продукта за продукт, совета за совет, права за право. Закон, управляющий этими отношениями, есть закон возмездия, ужасный закон конкуренции и борьбы, или, что все равно, равновесия сил.

Между мужчиной и женщиной, в силу их функционального различия, отношения эти принимают совершенно иной характер. Начиная с того, что мужчина не вправе требовать от женщины труда за труд,

добычи за добычу, продукта за продукт, не вправе требовать потому, что женщина слабее. При подобного рода условиях с женщиной непременно обращались бы, как с существом низшим; а знаете ли вы, что вытекает для человеческого существа из его правильно или неправильно объявленной низшей степени развития? Вы думаете — освобождение? Нет, рабство! Посмотрите на негра в плантациях, посмотрите на положение женщины у полумцивилизованных народов!

Что же может дать женщина мужчине взамен его труда, производимых им богатств, всех изобретенных им чудес? Свою

красоту, скажете вы, свои прелести, свою любовь, свой идеализм, все очарования своего тела, своей души и своего ума. Предположение торговца, думающего, что красота, ум и идеал могут служить таким же предметом торга, как рыба или говядина!

Ваш учитель Анфантен, так много говоривший о любви и ученики которого совершили со времени государственного переворота столько славных деяний, никогда не умел различить прекрасное от полезного. Он не говорил вам, что красота и польза — два совершенно различных понятия, откуда следует, что одна никак не может быть поставлена на место

другой; что красота не подлежит оценке как товар; что женщина, наконец, не может платить своими прелестями за услуги мужчины, так как прелести эти не подлежат ни измерению, ни вычислению, не могут быть предметом торга и не приносят барышей. Красота непродажна — она есть духовное благо, произведение которого ничего не стоит.

Все это было сказано мною, и никто не ставил так высоко женщину, как я. Труд мужчины, даже труд судьи, действующего во имя права, может быть оплачиваем; все богатства, даруемые нам природой, могут служить предметом обмена;

сокровища же, единственная хранительница которых женщина, одни только не имеют цены.

Разве существует плата за благодеяние, за милосердие, за милость: плата уничтожила бы значение этих добродетелей; министр, торгующий выгодами государства, есть концессионер, судья, торгующий законом, — преступник. Разве можно продавать стыдливость? Продажная

стыдливость называется, как вы сами знаете, проституцией!

Точно так же и красота, слово, означающее все преимущества женщины, не продается и не учитывается: она стоит вне торга.

Поэтому между брачующимися мужчиной и женщиной не существует, как вы говорите и воображаете, никакой ассоциации имуществ и общности барышей, как между негоциантами или собственниками. В браке все даруется безвозмездно, в нем существует абсолютное бескорыстие. Брачный контракт не имеет ничего общего с контрактом на куплю, обмен, продажу или наем: он имеет совершенно противоположный характер.

Мужчину, выражение силы, влечет к себе красота. Он хочет присвоить себе ее, хочет неразрывно соединиться с ней. Как же получить

ее? Какую предложить за нее цену? Никакой! Красота не оплачивается ничем из всего, чем обладает или что может произвести мужчина. Даже ласки любви не могут быть достойной платой за нее: любовники, видящие друг в друге предмет наслаждения, — эгоисты, их союз нельзя назвать браком, всеобщее сознание называет его любострастием, прелюбодеянием, проституцией. Порядочный мужчина, сердце которого жаждет обладания красотой, сейчас поймет, что он может приобрести ее только преданностью. Он, имеющий на своей стороне силу, падает к ногам женщины, предлагает ей свои услуги

и делается ее рабом. Он, зная ее слабою и упоенною любовью, делается почтителен и гонит от себя всякую мысль о сладострастии. Он готов жертвовать для нее всем — честолюбием, состоянием для того только, чтоб понравиться ей; он не пожертвует только своим сознанием, потому что в сознании его сила, а в союзе этой силы с красотою и состоит именно брак. Беззаветную преданность, преданность сильного и безупречного сознания — вот все, что может предложить муж жене своей и от чего она в свою очередь не должна отказываться.

То же замечается со стороны женщины. Насколько она

превосходит мужчину в красоте, настолько же она чувствует влечение к его силе. Вначале эта столь желанная сила внушает ей опасения: каждое слабое существо боится до некоторой степени существа сильнейшего. Предложить, для обуздания и приручения этой силы, свою красоту было бы, со стороны женщины, проституцией. Красота женщины так же бессильна в деле покорения силы мужчины, как и сила мужчины в деле покорения красоты женщины. Остается одно средство, уже упомянутое нами, — преданность.

Преданность за преданность — таковы должны быть результаты

взаимного притяжения силы и красоты; таков, в конце концов, должен быть супружеский союз — союз возвышенный, святой, по образцу которого будут позднее заключаться все рыцарские союзы (*pactes de chevalerie*). Видите ли, каким образом любовь и сладострастие сменились чувством более возвышенным, не исключаяющим любви, но господствующим и дополняющим ее? О подобного рода браке вы, сударыни, не имеете, кажется, ни малейшего понятия. Вне его, заметьте мои слова, для женщины существует только позор и проституция. Мужчина и женщина,

заключившие подобного рода брак, знают, что такое справедливость: никакая ложь не запятнает их общей совести. Их брак — лишняя колонна в вечном храме человечества, который Христос хотел воздвигнуть в душах наших и который вы и ваши сообщники стремятся разрушить.

Выведем же все последствия, вытекающие из подобного рода браков. Но сперва остановимся на принципе его.

Мужчина и женщина, которыми, казалось, исключительно управляла любовь, становятся под защиту иного закона — преданности и самоотвержения.

Преданности кому? в чем?

почему? Этот вопрос требует некоторого разъяснения. Мы сказали уже, что радости любви и обладание красотой не покупаются мужчиной ни за деньги, ни за какие другие ценности благодаря прогрессу цивилизации, каждая молодая девушка не нуждается уже, ради существования, в преданности мужчины; точно так же и молодой человек не нуждается, для ухода и стирки своего белья, в преданности женщины. Какого же рода эта преданность и в чем она проявляется?

Определение, данное нами выше, относительных качеств мужчины и женщины дает нам ответ

на эти вопросы.

Господствующие качества мужчины — сила умственная, нравственная и физическая; господствующее же качество женщины — красота с той же тройкой точки зрения. Соединяясь узами брака при условии взаимной преданности и самоотвержения, мужчина и женщина, каждый в свою очередь, отдаются первый — культу красоты, олицетворяемой его женой, вторая же — культу силы в лице ее мужа, оба — развитию силы и красоты в своих детях.

Кто отдается лицу или делу, тот обязуется служить им сообразно их требованиям или своим

способностям; кроме этого, всякое служение предполагает известного рода обязанность относительно самого себя — обязанность неусыпно наблюдать за собственным усовершенствованием. Мы сказали уже, что, сравнивая мужчину с женщиной, можно заметить преобладание силы в первом и красоты в последней; из этого следует, что, отдаваясь друг другу, они взаимно обязуются: мужчина — сообразоваться с качествами женщины, т. е. с ее красотой, кротостью, нежностью и грацией, и для этого делаться все более и более мужчиной; женщина же — сообразоваться с силою мужчины и

делаться все более и более женщиной. Чем более они, оказывая себе взаимно услуги, требуемые преданностью, будут приближаться к своему типу, тем неразрывнее, в силу этой возрастающей дифференциации, будет становиться их связь, тем менее тягостны будут для них их преданность и самоотвержение. Таков закон в своем точном и наиболее общем значении; круг действия его огромен.

Во-1-х. Супружеский союз будет при таких условиях обоюдно моногамическим и неразрывным. Основания этому весьма понятны. Преданности уже не существует там, где она раздроблена. Женщина,

преданная нескольким любовникам, на самом деле не предана ни одному из них; с мужчиной, преданным нескольким женщинам, происходит то же самое. Подобной полигамией не только уничтожается преданность, но и уменьшается достоинство мужчины и женщины. Мужчина себялюбив, своеволен, груб и исключителен; он делает из женщины своего поверенного, исповедника, хранителя своего состояния и своих потребностей, оракула своей совести. Делить свою любовь к жене значило бы для него жертвовать своей честью, даже самой любовью. Достоинство женщины заключается в ее

целомудрии: слава ее состоит в верности мужу; каким же образом, утрачивая первое, решится она потерять и второе? Супруги служат друг для друга представителями чего-то божественного; их союз есть их религия; всякая полигамия составляет для них политеизм — вещь невозможную, бессмысленную.

Во-2-х. Исключительность любви влечет за собою отделение семей, без которого ежеминутно нарушалось бы согласие между супругами и они подвергались бы посрамлениям и измене. Никто не станет отрицать, что при моногамии возможно сожитительство родителей и детей, так как цель брака — семья, и

дети являются ее продолжателями.

В-3-х. На долю мужчины, когда семья уже образовалась, выпадает труд, производство, внешние сношения; женщина должна, напротив, управлять домом. Подобное разделение труда обусловливается соответственными качествами супругов. Более сильному — действие, борьба, движение; тому же, кто блистает и любит, но блистает только для мужа и любит только его, тому хозяйственные хлопоты, мир и святость семейного очага. Оба ответственные, а следовательно, и свободны в своих действиях: однако муж имеет право контроля над своей женой, тогда как

женщина может только помогать, предостерегать и подавать советы ему. Основания этому понятны: благосостояние семьи почти вполне зависит от труда мужчины и благодаря превосходству его производительности и большей ответственности он, по праву более сильного и более полезного члена семьи, и делается главою ее. Право и обязанность женщины состоят в признании этого превосходства, в пользовании результатами его, в служении и преданности ему. Попробуйте уничтожить это превосходство, уничтожьте подчинение красоты силе, и вы разрушите брак, вы превратите его в

конкубинат.

В—4—х. Мы рассмотрим теперь влияние брака на развитие справедливости. Глава семьи, молодой супруг, чувствует в себе приращение самолюбия, честолубия, духа предприимчивости, силы характера и ума. Его энергия растет как от оказываемой ему помощи женою, так и от скромности, с которой она производится. Впоследствии любовный жар остывает, сластолубие слабеет от трудов, от присутствия детей, от боязни за будущее; за эфемерным владычеством любви наступает более спокойное и более серьезное

царство сознания, которое должно продлиться до конца жизни. Потому—то я и утверждал, что, в известном смысле, между порядочными людьми не может быть места разговору о любви и что, чем менее занимаемая ею роль в жизни человека, тем больше задатков на счастье. Мы сейчас же убедимся в этом.

В—5—х. Один человек собственными своими усилиями вряд ли сможет удовлетворять всем своим потребностям; тем более он не может удовлетворять потребностям жены и детей. Ему нужно соединить свой труд с трудом других людей. Отсюда происходит гражданское общество, зародыш которого

составляет семья. Это общество имеет свои законы и свое назначение, малоизвестное еще нашей философии; трудно, однако ж, сомневаться, чтоб в его цели не входило, во—первых, увеличение мужского достоинства и свободы, во—вторых, увеличение богатств и, как следствие всего этого, — общее благосостояние. Отношение семьи к государству, одним словом, *respublica* — вот задача для решения мужскому полу. Женщины принимают в нем весьма слабое участие, только лишь косвенным и тайным образом. Иначе и быть не может! Супруги, как первоначальный орган справедливости, составляют одно

тело, одну душу, одну волю, один ум и преданы друг другу на жизнь и на смерть; откуда же может произойти различие в их интересах или в их мнениях? С другой стороны, политические и гражданские принципы, связывающие семьи, имеют целью установить их солидарность, гарантировать им свободу, труд, торговлю, безопасность, образование, обмен — все, чего они требуют и что лежит в пределах способности человека. Какое же участие может принимать во всем этом женщина? Предположите, что она подает голос в каком-либо народном собрании против мнения своего мужа: не есть

ли уже это первая ступень к семейному раздору или даже разводу? Предполагая, что разум женщины может перевесить разум мужчины, мы идем против целей природы и унижаем достоинство мужчины! Допуская к исполнению общественных обязанностей женщину, предназначенную природой и супружескими законами к занятиям чисто семейным, мы пятнаем семейную честь, делаем из женщины лицо *общественное*, провозглашаем смешение полов, общность любви, уничтожение семьи, абсолютизм государства, гражданское рабство и шаткость собственности!

На этом основано подчинение жены мужу — подчинение, не имеющее в себе ничего произвольного; оно не составляет ни легальной фикции, ни присвоения силы, ни признания негодности слабейшего пола, ни исключения, вынужденного семейными обстоятельствами, ни нарушения прав женщины; оно просто вытекает из того неоспоримого факта, что способности мужчины обнимают большую часть общественных и семейных дел; оно не дает мужчине, в ущерб женщине, ни малейшего права на большее счастье или честь; напротив, на его долю выпадает самая тяжелая доля труда и, будучи

хранителем женской верности, он извлекает из нее все свои достоинства.

Каким бы образом ни видоизменяли это отношение полов, вы уничтожаете этим существо брака; из общества, управляемого справедливостью, вы делаете общество, управляемое любовью; вы впадаете в конкубинат; вы будете тогда иметь отцов и матерей, будете иметь любовников, но вы лишитесь семьи; без семьи же ваше общественное устройство не будет уже союзом людей, семейств или свободных городов, а превратится в теократический или порнократический коммунизм —

худший из тираний!

Предположим, для большей ясности, что природа захотела бы устроить общество иным образом. Что же бы она сделала? План, отвергнутый ею, указывает нам на это: она распределила бы поровну все способности между двумя полами, одарила бы их в равной степени силой, умом и красотою; она сделала бы женщину сильной, воинственной, производительной, умной, как мужчина, она сделала бы мужчину хорошеньким, миленьким, приятным и ангелоподобным, как женщина; все различие между ними заключилось бы в половых органах — различие, на которое никто не

жалуется и без которого, что бы ни говорили мистики, немыслима любовь.

Понятно, что при подобного рода условиях мужчина и женщина, обладая каждый всеми способностями, которые мы находим теперь в них обоих, сходные и равные во всем, находились бы в совершенно иных отношениях, вовсе не похожих на нынешние браки. Мужчина не отдавался бы служению красоте, которой обладал бы сам; женщина не отдавалась бы служению силе, которой также она обладала бы. Влияние, которое они оказывают друг на друга при настоящих условиях их организации, было бы

совершенно ничтожно; между ними не существовало бы ни обожания, ни культа, ни удивления, ни благоговейного восторга; они не обладали бы потребностью одобрения, откровенности, поддержки, точно так же, как и не нуждались бы в покровительстве и услугах. Отношения их приняли бы характер, совершенно сходный с современными отношениями между мужчинами, т. е. услуга требовалась бы за услугу, продукт за продукт, идея за идею. Любовь, конечно, уцелела бы благодаря нарочно оставленному нами половому различию; но она носила бы также совершенно иной характер: она не шла бы дальше

сладострастного возбуждения и не имела бы ничего общего с сознанием, которое она подавила бы; будучи лишена преданности и самоотвержения, она не стремилась бы к моногамии и неразрывности; она держалась бы в пределах свободы и конкубината, не пробуждая ревности, исключая всевозможные мысли о неверности, экзальтируясь, напротив, от многочисленных удач. Одним словом, существовала бы полная общность жен, детей и хозяйств.

Все наши эмансипаторы, веруя в равенство сил и способностей обоих полов, мечтают о подобного рода организации, исключающей

моногамию и семью. Мистики помещают ее на небо, так как, по их убеждению, там не существует даже полового различия; до сих пор еще многие весьма образованные люди думают, что подобного рода организация составляет единственное средство уничтожить антагонизм вместе с его следствиями — преступлением и нищетою. Но долго ли продлилось бы существование подобного рода общества? Я дерзаю утверждать, что оно было бы во сто раз хуже нашего, и объявляю его положительно невозможным!

Общество существует лишь благодаря подчинению

справедливости всех
индивидуальных и коллективных
человеческих сил и способностей; в
только что описанной мной системе
индивид, обладая всеми качествами,
которыми природа наделяет в
настоящее время оба пола, был бы
совершенно замкнут в собственной
личности; в нем преобладал бы
идеалистический элемент; рассудок
и сознание играли бы
второстепенную роль; любовь,
синоним сладострастия,
превратилась бы в простое
наслаждение. Тогда—то, с
неудержимою силою, пробудилось
бы противоречие между личностью и
обществом.....

Таким образом, подтверждается моя теория брака. Общество, т. е. союз известного рода сил, покоится на справедливости. Справедливость обуславливается дуализмом, без которого она сводится к простому, недействительному понятию. Этот дуализм — брак, образованный союзом двух дополняющих друг друга лиц и сущность которого заключается в преданности, а первая ступень — в любви.

Таким-то образом разрешается это кажущееся противоречие, говорящее мужчине: повелевай для того, чтобы лучше повиноваться; женщине: повинуйся для того, чтобы лучше управлять, — противоречие,

закрывающее в себе весь закон и всю тайну посвящения. Свет полон подобного рода противоречиями; он живет и прогрессирует ими. Если смысл знаменитого правила «le roi regne et ne gouverne pas»^[98] темен только для демагогов, стремящихся к безусловной власти, то смысл предложений «commander, pour mieux servir»^[99] и «obeir, pour mieux regner»^[100] тем более должен быть ясен для каждого человека, обладающего сознанием своих обязанностей и прав, для каждой женщины, уважающей мужа и собственное достоинство. До сих пор, сударыни, вы не могли упрекнуть меня в пристрастии; вы не

могли назвать мои наблюдения неточными, мои рассуждения неправильными. Я не унижаю вашего пола, так как, ввиду каждого превосходства мужчины, я привожу соответствующее ему превосходство женщины и в замене требуемой мною от женщины преданности я требую от мужчины еще большую. Что же может вас обидеть? Я предлагаю все, чего требуют права ваши: равенство состояния и достоинства; полнейшее развитие и торжество ваших самых драгоценных качеств, одинаковую степень влияния; менее инициативы в делах политики и экономии, но зато и меньше ответственности; в конце

концов, царствование, но царствование без трудов и без опасностей завладения. Чего же больше? К чему такой гнев?

Когда я, резюмируя в двух словах теорию брака и назначение женщины, высказал в виде заключения и против известных тенденций нашего общества энергические слова: куртизанка или экономка, вам оставалось только аплодировать. Когда я потом в припадке негодования прибавил: лучше затворничество, чем подобного рода эмансипация, вы должны были, если б вы хоть немного уважали ваш пол, поправить меня и ответить наподобие

Лукреции: *скорее смерть*. Когда же я, с целью отмстить за общественную стыдливость, попранную несколькими эмансипаторами, назвал их *нечистыми, помешавшимися от греха*, ваше дело было молчать и не давать повод обществу предполагать, что название это предназначалось вам.

Вы предпочли, поддерживаемые несколькими литературными кастратами, поднять брошенную перчатку; вы сочли себя оклеветанными: «Мы не можем назваться ни нечистыми, ни сумасшедшими; мы преследуем цель освобождения женщины, мы

вызываем всех, кто хочет, отвечать нам».

Без двусмысленностей, сударыни! Не прикидывайтесь оскорбленными! Я не имел чести знать вас, когда писал свою книгу, да не знаю вас и теперь. Я льщу себя надеждою, что ваша добродетель не перескочила еще через некий ров, откуда уже нет возврата, что касается вас, г. J. L., — я полагаюсь во всем на того, кто законами брака установлен вашим охранителем и ответчиком за ваши нравы; дай Бог, чтоб он так же хорошо уберег ваше перо! Вам, г. J. d'H., я верю на слово и не требую от вас никаких доказательств. Я скорее поверю заблуждению вашего ума,

чем испорченности вашего сердца. Да примут это к сведению все ваши сестры по оружию! Я сужу по намерениям, а не по действиям. После всего сказанного мною позвольте мне, сударыни, напомнить вам то, что вызвало у меня выражение «нечистых», — качество, вполне оправдываемое всеми знаменитыми женщинами нашего века и прошлого. Оно было вызвано тою мыслью, что всякая женщина, мечтающая об эмансипации, потеряла, *ipso facto*, здоровье души, проницательность ума и девственность сердца; что она находится на пути к падению, дальше я не пойду. И так как вы, сударыни,

любите откровенность, то ваши вызовы заставляют меня заявить вам, что оба ваши сочинения вполне подходят под вышеприведенное мною правило. Я докажу это вам сейчас.

Глава IV

ФИЗИОЛОГИЯ

ЭМАНСИПИРОВАННОЙ

ЖЕНЩИНЫ

Природа — олицетворение могущества и гармонии, но произведения ее, по справедливому замечанию Рафаэля, не всегда таковы, какими она их желает: они часто носят на себе следы слабости и уродства. Отчасти потому природа и создала человека: гордясь своим произведением, она сделала из него своего созерцателя и ценителя, достаточно умного для понимания ее законов и выработки себе идеала;

достаточно сильного для исправления ее недостатков и залечивания ее ран, но слишком слабого и телом и умом, для того чтоб видоизменить или уничтожить ее. Сам человек — последнее создание природы, обязанное завершить своей рукой ее порядок, сам человек, как мы его видели в настоящее время, далеко не соответствует своему типу. Поэтому—то дело усовершенствования и ограничивается его собственной личностью; прогресс справедливости в человечестве составляет принцип и цель всего сущего.

Трудность этого дела

заключается в том, что природа раздвоила человека на два элемента — силу и красоту. В общем, они распределены одинаково. Но человеческий род действует преимущественно не коллективно, а поодиночке. В нем существуют самцы и самки, породы и нации, племена и индивиды, семьи и расы.

Мужской пол обладает большей силой; женский проявляет большую красоту и идеальность; но в какой пропорции распределены эти качества? Определить это весьма трудно и, можно даже сказать, совсем невозможно.

У некоторых наций мужчины сильнее, чем у других, или же

женщины красивее; отсюда произошло выражение этнографов о преобладании у известных народов мужского или женского элемента. Клавель, в своем ученом сочинении о человеческих расах, доказал, что английский характер страдает избытком мужественности, тогда как французский — избытком женственности. Оба эти элемента, по словам Клавеля, наиболее уравновешены в германской расе. Подобного рода неравенства происходят от двух причин: влияния среды, действие которой играет первенствующую роль в творении и во всем животном мире, влияния учреждений, действующих как и

среда.

Из этого следует, что народ, начавший с мужественности, может сделаться женственным и тем положить начало своему падению, что случилось с греками после Пелопоннесской войны, с персами после царствования Кира, с римлянами после их огромных завоеваний и междоусобных войн.

Точно так же изнежившаяся раса может трудом, философией и учреждениями опять подняться и сделаться более мужественной; это случилось, например, с французами в славную эпоху, простирающуюся от смерти кардинала Флери (1743) до смерти Людовика XVIII (1824).

Нельзя сказать, чтоб движение это продлилось от 1854 года до 1860 года, но оно может снова начаться.

Это колебание между мужским и женским элементом или, другими словами, между силой и красотой, между правом и идеалом, между политикой и искусством указывает на границы могущества человека над самим собой, на сферу его действия, на пределы, в которых должен находиться его действительный темперамент.

Как мужчина не всегда обладает достаточной силой, точно так же и женщина не всегда бывает прекрасною; как в физическом, так и в нравственном отношении она

подвержена многочисленным уродствам. Часто она падает ниже самой себя, становясь, по выражению Жорж Санд, «lache, molle et bête»^[101], как будто вопреки самой природе, делающей ее не бессильной, но только сравнительно более слабой и прекрасной. Иногда же происходит явление совершенно обратное.

Случается, что мужчина, погружаясь в «delices de saroue»^[102], делается женственным, а женщина, напротив, эмансипируется, начинает носить мужское платье, подражать манере и языку мужчины, стремиться занять его должности.

Везде и во все времена

встречаются подобные
эксцентрические существа, смешные
женщинам и невыносимые
мужчинам; они бывают различных
родов. У одних этот мужской *шик*
обуславливается темпераментом и
большой физической силой: их
называют «virago». Они — самые
безвредные, не имеют прозелитов, и
часто бывает достаточно одних
насмешек других женщин для
приведения их в порядок. У других
же стремление к эмансипации
обуславливается известными
потребностями ума, родом занятий
или развратом. Бывают времена,
когда к этому примешивается дух
партий; упадок общественных нравов

усложняет его; трусость мужчины делается сообщником смелости женщины; тогда-то появляются теории освобождения и любовного смешения, последнее слово которых — ПОРНОКРАТИЯ. Наступает конец обществу.

Порнократия весьма легко уживается с деспотизмом и даже с милитаризмом (Римская империя, времен Гелиогабала, может служить тому примером). Она сопровождает теократию, что мы видим на примере гностиков I и II столетия нашей эры и стремлений мистиков XVII столетия. В наше время она заключила союз с банкократией. Мальтус и Анфантен служат

двойным выражением современного упадка. Но час их пробил; мир, равнодушно вззирающий на падение папской теократии, поворачивается спиною к мальтузианской порнокрапии.

Вы не можете пожаловаться, сударыни, на малое значение, придаваемое мною вашим теориям, как будто я не вник и не оценил их. Я знаю ваше направление и без затруднения признаюсь, что идеи ваши — идеи роскоши и разврата, бессмыслия и прелюбодеяния — уже тридцать пять лет служат главным тормозом республиканской партии и зачумляют собой нашу демократию. Я хочу, чтоб публика оценила вас,

intus et in cule.

Начнем с несомненных фактов.

Паран—Дюшатле, в своей книге о проституции, заметил, что публичные женщины преданы обжорству и пьянству, что они ненасытны, ленивы, сварливы и невыносимо болтливы. Все эти признаки указывают на падение женщины до степени простой самки. Какие же причины обуславливают это падение? Частое общение с мужчинами служит главной причиной утраты, вместе со скромностью, достоинством и прилежанием, и отличительной черты их пола, составляющей жизнь и душу всякой честной женщины, —

чувства стыдливости. Паран—Дюшатле мог прибавить, что лицо этих женщин извращается вместе с их нравами; они становятся уродливее, их голос, взгляд и походка начинают походить на мужские, и они сохраняют только отличительный признак своего пола, самый грубый и самый материальный, т. е. половые органы.

Что общего, спросите вы, между этими проститутками и нами? Я спрошу, во—первых, сударыни, что значит по—вашему слово *проститутки*? Заметьте, что эти женщины занимаются только свободной любовью; что если некоторые занимаются ею

вследствие обольщения, то
большинство действует по
призванию; что с точки зрения
любви демократии они
поступают сообразно принципам
филантропии и милосердия, как
понимали это и гностики, что,
сообразно вашим правилам,
эротическая распущенность не имеет
в себе ничего безнравственного, что
она столь же дозволительна, сколь и
естественна, что она составляет
величайшее благо и достоинство
человечества и что вследствие этого
хорошенькая женщина,
соглашающаяся ради счастья
мужчины, раненного любовью,
пожертвовать ему деньком, вполне

имеет право, как выразился бы Сэй, получить взамен какое-либо вознаграждение. Она имеет тем более права на это, ввиду того что всякая женщина унижается и незаметно подтачивается любовными отправлениями.

В данном случае не может быть даровой любви! Кроме любви самоотверженной, жертвующей собою во имя сознания в браке. Приходится выбирать между браком, соединяющим любовников навсегда, по закону преданности и самоотвержения и в сфере, превосходящей любовь, и между любовью оплачиваемой: между ними нет и не может быть середины.

Разве эмансипированные женщины, живущие в конкубинате, отдаются даром? Они получают по крайней мере *удовольствие*, доказательством чему служит то, что раз любовь не доставляет уже им наслаждения, то они отказываются от нее. Влюбленная, отдающаяся даром, составляет весьма редкое явление природы, существующее только в воображении поэтов; она проститутка уже потому, что отдается (вне брака); она хорошо знает это, так как, выходя впоследствии замуж, она выдает себя за вдову; к бесстыдству присоединяется в ней ложь и лицемерие.

Вот что делает из женщины частое общение с мужчиной или свободная любовь; она коверкает ее, уродует, делает из нее отвратительное по наружному виду подобие мужчины. Я утверждаю, что всякое излишнее соприкосновение с мужчинами, тогда даже, когда оно ограничивается одними салонными разговорами, академией или прилавком, вредно действует на женщину, развращает и лишает ее целомудрия. Скажу более, всякая женщина, часто вращающаяся в среде мужчин и занимающаяся не свойственными ее полу делами, утрачивает свою природную грацию, воспламеняет свое воображение и

дает греху доступ в свое сердце.

Невозможно исповедовать теорию деспотизма и быть на практике либералом; невозможно поддерживать в политической экономии учение об относительности ценностей, не впадая в одно и то же время в ажиотаж и ростовщичество; невозможно превозносить свободу обмена, не потворствуя контрабанде. Одинаково невозможно женщине жить среди мужчин, заниматься изучением чего-либо или делами, собственными им, исповедовать теорию свободной любви, не принимая в каком-либо отношении сходства с «virago»[\[103\]](#) и не чувствуя

в своем сердце зародыша распутства.

Мольер в своей комедии «Les femmes savantes»[\[104\]](#) прекрасно выразил этот принцип. Он представил в ней мать семейства — Филаминту, женщину честную, но *поющую громче петуха*, как говорит про нее служанка, и вследствие этого обладающую самым невыносимым характером, тиранящую мужа и дочь и в конце концов обманутую самым жалким образом. Рядом с Филаминтой стоит сестра ее Белиза — старая жеманница, прогоняющая от себя любовь, но уверенная, к своему великому удовольствию, что все мужчины без ума от нее. Найдись хоть один смельчак вкусить с ней

сладость любви, и она, понятно, согласилась бы. Затем следует старшая дочь Филаминты — Генриетта, которая была бы не прочь с утра до ночи играть в любовь, но не может решиться *лечь с действительно обнаженным мужчиной*. Этим она обязана спиритуализму Декарта, до которого Генриетте — эконолке, не изучавшей ни философии, ни греческого языка, нет никакого дела. Великий моралист и великий комик Мольер знал вас в совершенстве. Не мужчинами хотите быть вы, вы хотите только быть с ними и ищите их. Вот что доказал Мольер в своих комедиях «Les femmes savantes» и

«Precieuses»^[105].

Я говорил недавно о маркитантках. Я далек от какой-либо дурной мысли об этом интересном классе граждан и не желаю им ничего дурного. Все они замужем, и большинство их верны мужьям. Но они наполовину солдаты, живут в казармах, присутствуют на смотрах и красуются под номером в полковых списках. Я не могу судить о степени приносимой ими пользы, но желал бы из уважения к их полу удалить их из общества военных. «Маркитантка» Беранже всегда приводила меня в восторг и до сих пор еще кажется мне великолепной песнею. Признаюсь, однако, что она

обязана своим блеском не красотам непотребной женщины. То же можно сказать и о торговках, более ужасных даже, чем их мужья. До сих пор еще ни одно правительство не дерзнуло освободить парижские рынки от привилегий этих дам: они как бы носят в своих юбках целую революцию.

Я долго жил рядом с госпиталем, в котором читался курс акушерства: то была настоящая школа проституции и сводничества.

Есть, конечно, много честных женщин среди акушеров, я сам знавал много таковых, и вы, госпожа J. d'H., можете служить тому примером.

Но, видя ваши издевательства над родами, я не могу подавить в себе мысли, что вы больше ратуете за свою практику, чем за женскую эмансипацию. Да и как же иначе? Неужели вы думаете, что известные образы бесследно проходят в голове молодой женщины, что они не горячат ее кровь и не туманят голову! По меньшей мере, она, выйдя замуж, начнет, как говорят, носить штаны. Знаете ли вы хоть одного порядочного мужчину, хоть одну честную женщину, которые пожелали бы подобного рода будущность своей дочери?

Вы напрасно, сударыня, стараетесь сделать должность

акушеров признаком упадка
общественной нравственности;
рвение, проявляемое вами по этому
поводу в ваших книгах и брошюрах,
доказывает просто желание привлечь
на свою сторону стыдливость
женщины в родах. Это просто
известного рода уловка. Я мог бы
многое порассказать вам о
деревенских и городских
повивальных бабках, но умолчу,
боясь диффамации. С той минуты,
когда женщины цивилизованного
общества не могут рожать детей без
посторонней помощи, как делали это
прежде женщины Египта и Иудеи и
делают до сих пор еще все дикие
женщины, с той минуты, когда в силу

чрезмерного нервного возбуждения акт рождения делается процессом патологическим; с этой минуты гораздо предпочтительнее, в интересах общественной честности, призывать доктора, чем обучать этой скабрёзной науке молодых поселянок. Между доктором и рожаящей женщиной, окруженной мужем и родными, стыдливость неуместна точно так же, как и между раненым солдатом и сестрою милосердия. Не хотите ли вы также, под предлогом стыдливости, изгнать женщину из госпиталя? Нет, нет: место женщины, как и доктора, у постели больного; пред лицом опасности стыдливость должна

удаляться под покров милосердия. Тут должны играть роль самоотвержение и преданность: преданность мужчины к женщине и женщины к мужчине; тут должно быть полное господство закона брака, закона, которого не понимает ваша ложная стыдливость, так как вы принадлежите к разряду эмансипированных. Я со своей стороны в тысячу раз скорее предпочту, ради пользы общественной и семейной нравственности, доктора, чем присяжную акушерку.

Шум, поднятый вами из-за мужчин-акушеров, напоминает мне историю, которую я расскажу вам,

рискуя быть опять обвиненным госпожою J. L. в неприличии и недостатке деликатности. Я уверен в ее благодарности за этот анекдот.

Я знавал военного приемщика, жена которого в отсутствие его осматривала сдаваемых рекрутов. Она осматривала, ощупывала свой товар, заставляла его ходить. *Кашляните*, говорила она ему...

Впрочем, она была честной женщиной, которую никто не мог заподозрить в галантерейности. Она философски справляла свою должность. Рекруты, в ее глазах, не были людьми, а просто пушечным мясом.

Подобная женщина была бы

образцом в мире эмансипированных; но какой мужчина решился бы подойти к ней без отвращения?..

Я видал в деревне дочерей фермеров, обладателей заводских быков, которые в случае необходимости, когда отсутствовали отцы, без замешательства справляли работу. *Honny soit qui mal y pense* [\[106\]](#). Что делали руками эти деревенские девы, не подлежит описанию. Замечательно то, что они нисколько не стеснялись этим. Что же касается меня, бывшего тогда еще мальчуганом, то я никогда не способен был питать ни малейшего расположения к этим хватам.

Все это грубо и не обладает

особой важностью; я привожу эти факты, только чтоб доказать людям, смотрящим на все сквозь пальцы, различие качеств мужчины и женщины; показать, что семейный мир и главнейшая сторона общественной морали зависят от разграничения между ними, так как всякий раз, когда женщина выйдет из пределов, указанных ей природой, она унижает и развращает как себя, так и мужчину, и что первой ее обязанностью должно быть возможное уклонение от сходства с ним.

Я привел в пример дочь фермера, приемщицу, присяжную акушерку, маркитантку, торговку,

куртизанку и ученую; неужели же еще не все? Можно составить из них целый словарь. Обратим еще внимание на так называемых артистов и «esprits forts»[\[107\]](#).

Женщина, олицетворение идеала, одаренная от природы красотой, обладает известными эстетическими предрасположениями, которых я не вправе отрицать. Но и тут, как и везде, вопрос сводится к мере, которой вы, женщины, не знающие ни в чем меры, не придаете никакого значения, помимо того что женщины никогда не сравниваются с великими артистами точно так же, как и с великими ораторами и великими

поэтами, они должны еще обращать внимание на приличия, требуемые их полом и интересами семьи.

В древности роли женщин игрались мужчинами: древние считали невозможным изображение любви, не чувствуя ее, и не допускали даже на сцене подобного рода перехода от призрака к действительности; они смотрели на ремесло актрисы как на выставку женщины, наносящую ущерб общественной чести. У нас дело приняло иной оборот; театр, может быть, и выиграл, только в ущерб нравам. Каждый отец семейства, посещающий театр вместе с женой и дочерьми, повинен в проституции...

Я не пойду далее. Не подлежит сомнению, что большинство женщин, часто посещающих театры, исповедуют свободную любовь. Нужно выбирать между подчинением женщины, упроченным воздержностью ее поведения, или между унижением мужчины. Я хорошо знаю, что природа, часто производящая, по выражению Фурье, двусмысленных существ, как бы предназначила многих мужчин служить «chaperons»[\[108\]](#) своим женам.

В добрый час!
Эмансипированная женщина вполне заслуживает дурака—мужа. Мир и снисхождение этим храбрым

жертвам! Но не следует ни приводить их в пример другим, ни возводить их поведение в принципы гражданского и политического права. Я не требую закрытия театров; я говорю только о том, что нам остается еще многое сделать для их морализации. Нападки Руссо и Боссюэ остались во всей силе.

Перейдем к женщинам— писательницам. Я признал за женщиной воспитательную способность и не делаю этим никакой уступки моим противникам.

Женщина, по самому свойству своего ума, будучи поставлена между мужем и детьми, должна быть живым рефлексором, имеющим

целью давать образ, упрощать и делать более понятными идеи мужа для передачи их детям. Женщина, обладающая высшим развитием своих способностей, может распространить свое влияние на всю общину. Как красота некоторых женщин приносит пользу всем им, точно также и таланты немногих будут полезными не только всем женщинам, но даже и всем мужчинам. Я допускаю вследствие этого возможность участия женщины вместе с мужчиной в литературных трудах; с тем только условием, чтоб она, занимаясь этим и показываясь в обществе, все-таки оставалась бы женщиною и матерью семейства; вне

этого она утрачивает свое значение. Тут—то и заключается щекотливая сторона дела. Женщина, громко держащая речь в обществе, вряд ли согласится понизить голос в семье. Чем более ее талант, тем более, значит, она должна нуждаться в семейных добродетелях. Мы еще не дожили до этого. Публика сама производит беспорядки своими нескромными рукоплесканиями; она весьма мало ценит тех женщин, которые с действительным талантом соединяют скромное и сдержанное поведение. Нечто скандальное всегда увеличивает в ее глазах известность и славу какого—либо *синего чулка* и придает ему известного рода запах.

Мадемуазель Мелан, госпожа Амабль Татю начинают уже забываться, госпожа Неккер де Соссюр известна только воспитательницам. Репутация же других, более смелых увеличивается вместе с их любовными похождениями.

Пусть женщина пишет и печатает, если представится случай, различного рода сочинения; но пусть прежде всего будет гарантирована семейная честь.

«Женщина, — говорит закон, — не может без согласия мужа ни приобретать, ни продавать, ни завещать, ни дарить».

Удивительно, как законодатель упустил из виду случай,

заслуживающий большого внимания
и обладающий большим влиянием на
безопасность и честь мужа, —
случай, когда женщина публикует
свои сочинения и этим как бы
выставляет себя напоказ.
Французские мужья очень любят
выказывать подобным образом
способности своих жен. Я
присутствовал в 1847 году, за
несколько времени до февральской
революции, на политической и
социальной сходке, на которой мне
пришлось слышать ораторский дебют
весьма красивой женщины,
произносившей речь под
руководством своего мужа.
Импровизация никуда не годилась:

барыня была не в голосе. Я не могу выразить степени моего страдания при виде этой бедной женщины, показываемой глупым мужчиной. Был бы я ее любовником, то я надавал бы пощечин мужу и насильно увлек бы ее домой. Публике должно быть известно только имя пишущей женщины; женщине же оратору следовало бы не позволять отлучаться из дому.

Я присутствовал на сеансе пяти академий при получении госпожою Луизой Коле—Ревуаль награды за свое поэтическое описание версальского музея. С тех пор прошло уже двадцать лет, госпожа Луиза Коле должна быть теперь уже старухой, и

с тех пор она не произвела ничего замечательного. Вид молодой женщины, выставленной напоказ толпе и упоенной ее рукоплесканиями, произвел на меня крайне неприятное впечатление; она, очевидно, предпочитала эти шумные одобрения одобрению мужа и ласкам своих детей. Если б я был мужем этой лауреатки, то, принимая от нее венок, я обратился бы к ней с следующей речью: вы послали на конкурс ваши стихи, сударыня, вопреки всем моим желаниям; вы явились на сеансе академии помимо моей воли. Тщеславие душит вас и скоро сделается причиною нашего обоюдного несчастья.

Я не желаю испивать до дна горькую чашу. При первом вашем непослушании, куда бы вы ни скрылись, я заставлю вас замолчать и не позволю вам заставлять говорить о себе...» И я привел бы в исполнение сказанное мною. Глава семьи сам должен оберегать свое достоинство там, где эту обязанность не принимает на себя общество. В данном случае я, как римлянин, уверен в своем праве над жизнью и смертью жены.

Худший род составляет женщина «esprit fort», — женщина, пытающаяся философствовать, имеющая отвращение к браку, гордящаяся своим направлением и

своею партией.

Женщина артистка или писательница романов делается эмансипированной вследствие избытка воображения и чувств. Она бывает увлечена идеалом и сладострастием. В древности к этой категории принадлежала куртизанка; она была также в своем роде артистка. Индийская баядерка, египетская альмея, женщина чайных домов в Японии — тоже артистки. Достаточно бывает иногда доброго слова, сердечного расположения или куска хлеба для того, чтобы обратить их на путь истины. Так поступил Христос с Магдалиною. Они скорее увлечены, чем эмансипированы.

Потому-то мужчины и предпочитают их женщинам—стоикам, добродетель которых принимает вид власти.

Женщина «esprit fort», эта курица, поющая, как петух, как говорят крестьяне, неисправима. Сердце и ум ее вполне извращены. Обнаруживая в своей оценке госпож Ролан, Сталь, Неккер и Жорж Санд некоторые признаки этой болезни, я описал их следующим образом.

«Женщина, стремящаяся к эмансипации, выходящая из своего пола и желающая пользоваться всеми правами мужчины, такая женщина производит, вместо философского, поэтического или художественного творения, нечто такое, в чем видна

только одна господствующая и заменяющая ей и ум, и талант идея равенства ее во всех отношениях с мужчиной и несправедливость ее теперешнего положения».

«Равенство полов с его обычными следствиями — свободной любовью, уничтожением брака, возвышением женщины, ревностью тайной ненависти мужчины и безмерной любовью к роскоши — такова философия женщины, стремящейся к освобождению...»

В конце концов я прибавлял:

«Излишне повторять беспрестанно одно и то же. Мне надоело уже изображать женщину,

которую овладела мания равенства и
эмансипации и гонимую этой
манией как привидением;
завидующую нашему полу и
презирающую свой; мечтающую о
семейных и политических
привилегиях мужчины;
закрывающуюся в случае, если она
благочестива, в размышления о Боге
и в свой эгоизм; исчерпывающую,
если она светская женщина, все
причуды и положения любви;
становящуюся, если она
писательница, на ходули, делающую
свой голос грубым и пишущую
слогом, в котором не отражается ни
оригинальность мысли мужчины, ни
грация женщины; описывающую в

романе собственные свои слабости; неспособную, если она пишет философское сочинение, ни сделать правильный вывод, ни подвести факты под общее положение; раздражающую и разжигающую своими сплетнями ненависть различного рода партий в случае, если она занимается политикой».

Одним словом, женщина, одержимая этой манией, стремится стать и сердцем и умом вразрез со своим полом, который она презирает именно за то, что в нем есть лучшего. В то же время она завидует и клеветает на мужчин, желая сравняться или даже превзойти их в том, чего она не понимает. Все это

оканчивается для несчастной каким—
то идиосинкратическим
гермафродитизмом, лишаящим ее
чувства любви и грации,
свойственной ее полу, отвращающим
ее от брака и повергающим ее все в
большой и большой
эксцентрический эротизм.
Развращенность чувств служит в ней
причиною разложения рассудка; все
творения ее отличаются
неровностью, неистощимой
болтовнею, смесью женской
мелочности и подражания мужчине.
О рассудке в них не может быть и
помину: исковерканные слова и
исковерканные идеи; старание как
можно скорее овладеть мыслями и

выражениями соперника и сделать из них аргументы в собственную пользу; привычка отвечать на последнее слово фразы, вместо того чтобы отвечать на всю фразу; очевидная ложь, всюду наgraбленные формулы, прилагаемые и вкривь и вкось каламбуры, глупости, шаржи; одним словом, полнейшее смешение понятий, хаос! Вот чем отличается ум эмансипированной женщины. Подобного рода черты, наблюдаемые мною во многих из современных знаменитостей, замечал я у сотен женщин. Я, сударыни, позволю себе, оставив в стороне ваши личности, указать, на основании ваших сочинений, сходство вашего

интеллекта с только что описанным мною умом и способом изложения других женщин.

Я знаю, что ответите вы мне: вы скажете, что идеи, защищаемые вами, лично не принадлежат вам; что они родились раньше вас; что вы дали им только личный отпечаток и что, следовательно, мои выводы лишены основания. Вы, госпожа J. L., происходите по прямой линии от отца Анфантена, вы, госпожа J. d'Z., принадлежите к партии сенсимонистов, издававшей недавно обозрение якобы философское и религиозное. Все это мне хорошо известно, и я готов избавить вас от всякой ответственности.

Эмансипированная женщина, что бы ни говорили, неспособна произвести на свет, без участия мужчины, ни софизма, ни незаконного ребенка. Ваша теория страдает тем, что ее нельзя отрицать, не подтверждая в то же время ненормальное состояние вашего мозга.

Знаете ли вы, госпожа J. L., что составляет основу ваших *антипрудоновских идей* относительно *любви, женщины и брака*? Вы даже, вероятно, и не подозреваете того. Во-первых, брошюра ваша кажется делом нескольких рук. В ней попадаются места, похожие на катилинарии: в них так и блещет женский ум; другие же за сто верст отзываются профессорством. Вы с удивительной легкостью, способной испугать всех невежд, говорите о метафизике, синтезе, антиномиях; абсолюты,

идеалы, конкретное и абстрактное так и вьются около вашего пера, как амуры около пояса Венеры. В некоторых местах сквозит педантка, повторяющая слово в слово только вчера затверженный урок, заданный и объясненный ей учителем. Как ни тяжело, сударыня, говорить просвещенной женщине, одаренной природным умом, что она ничего не понимает, но я все-таки решаюсь на эту крайность. Ваша брошюра, точно так же, как оба тома госпожи J. d'Z., доказывают, как нельзя лучше, справедливость положения, составляющего сущность моего ответа, *что смешение понятий ведет к смешению полов и vice versa.* В

этом заключаются главные черты характера нашей эпохи, имеющей много общего, по мнению всех значительных писателей, с эпохой падения язычества и начала христианства.

Вы выбрали плохого руководителя: Анфантен, теории которого вполне оценила исправительная полиция, уже двадцать лет как покинут всеми умнейшими и достойнейшими последователями сенсимонизма; Анфантен принадлежит к числу людей с достаточной памятью, с легким воображением, которые, не производя идей, портят все, к чему ни прикоснутся. Он давно уже сошел

со сцены, и, мне кажется, наступила уже для него минута заявить о себе, не обращаясь к помощи «femmelettes»^[110], сказать самому: вот и я!

Я рассмотрю вашу книгу, сударыня, холодно, серьезно, преимущественно обращая, по вашему желанию, внимание на ее доктрину.

Я оставлю, по примеру теологов, в стороне все второстепенное и ограничусь рассмотрением *положений*, составляющих основу *идей*, без которых не существовало бы ни «idées enfantiniennes»^[111], ни свободных женщин. Немножко терпения: это продлится недолго.

I. Вы назвали мою книгу о справедливости новым путешествием на поиски за абсолютом. Было бы действительно весьма смешно с моей стороны искать абсолюта, так как, в настоящее время, я так же известен войной, которую я веду против него, как в былые времена войной, объявленной мною собственности. Вы обвиняете меня по поводу этого абсолюта, к которому я пристрастился в настоящее время, в том, что я заглушаю в народе понятие о справедливости. Обвинение тяжело: я навлек на себя подозрение, изобличая абсолютизм; никто не должен меня выслушивать; я не имею

права говорить о браке и женщине.

Заглянуть поглубже в вашу совесть — моей нечем упрекнуть меня, — я спросил себя, знаете ли вы, что делали, когда говорили о справедливости и абсолюте. Я нашел нечто весьма любопытное для вас и не лишенное важного значения для вашего первосвященника.

Я верю и признаю существование *абсолютного*, принимая его в значении *достоверного*, я верю в существование достоверных идей, идей, абсолютно достоверных, каковы, например, все математические идеи, закон постепенности, причинности, закон

равновесия и др. Я верю в существование абсолютного в смысле *всеобщего*, я признаю всеобщие идеи, категории, которым я предписываю и субъективную и объективную достоверность, и самой общей из этих категорий кажется мне СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Насколько мне известно, никто еще не употреблял слов «абсолютный, всеобщий, достоверный», придавая им значение синонимов; если и говорилось: это абсолютная истина, то слово «абсолютный» употреблялось в значении прилагательного, могущего быть поставленным перед многими другими словами и означающего

высшую степень могущества, идеальности или реальности.

Я отрицаю, вместе с другими логиками, абсолютное в значении *сущности* или *бытия*, соединяющего в себе в неограниченной степени все могущество, всю жизнь, всю красоту, всю истину, всю справедливость и т. д. Абсолютное принимается тогда в логическом, онтологическом, эстетическом и юридическом значении; все это весьма понятно.

Сообразно вышеприведенному объяснению ясно, что справедливость, составляющая, по моему мнению, основу философии, не представляет собою нечто абсолютное, несмотря на свою

абсолютную достоверность и действительность. Доказательством этому может служить то, что я могу вывести из понятия справедливости все человеческое законодательство и мораль, но не могу дать жизнь мухе; не могу открыть систему мира; не могу сделать статую вроде *гладиатора*; не могу выдумать алгебры. Я не могу даже, с одним понятием о праве, изобрести какое-либо политическое учреждение, так как, для приложения права, требуется много других отношений, невыводимых из него: отношений политических, экономических, географических, исторических и др., что не мешает, однако,

справедливости быть достоверной во все времена и во всех ее приложениях.

Вы, сударыня, и ваш патрон Анфантен понимаете справедливость, абсолютное, всеобщность и достоверность совершенно иначе.

По вашему мнению, не существует ничего достоверного, всеобщего или справедливого. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО И ИЗМЕНЧИВО — справедливость, красота и достоинство подобны морским волнам. Утверждать противное, т. е. допускать существование достоверных понятий, всеобщих идей, непреложных принципов

справедливости, — значит, по-
вашему, искать абсолютное и
развращать нравственность;
мудрость, по вашему мнению,
заключается в умении сообразоваться
во взгляде на вещи с
обстоятельствами и избирать
удобнейшую точку зрения. Пусть
будет сегодня республика, завтра —
монархия; прежде — брак и семья,
потом — свободная любовь; то
демократический социализм, то
индустриальный феодализм; в
средние века — христианство, при
Лютере — протестант, при Руссо —
деист, в XIX столетии —
мальтузианец и биржевой игрок.
Выскажите ясно, если вы только

понимаете так же ясно, все, что лежит у вас на сердце, пусть каждый судит. Вы называете *абсолютным* разум, истину, действительность, справедливость, всю нравственность, все законы природы и общества; ваше *относительное* заключается в пирронизме, в разрушении всего разумного, науки, нравственности и свободы. Для вас, как и для господина Анфантена с его учениками, общество не что иное, как произвол власти, ажиотаж в политической экономии, конкубинат в семье, проституция всеобщей совести, повсеместная эксплуатация легковерия, жадности и других дурных инстинктов человека. Ваша

брошюра, в 196 страниц, может служить признаком времени: она ясно указывает нам на то, что разврат проник в ум, сердце и чувства женщины; завтра он коснется и детей.

II. Последуем за вами, уразумев ваши слабые и сильные стороны. Вы, как и Анфантен, не чувствуете недостатка в известного рода логике: она, правда, стоит вам немногих головных усилий. Так как логика эта есть логика смешения понятий, логика хаоса и, как я сказал уже, разврата, с вами, сударыня, мы быстро приближаемся к порнокрапии.

Всякая истина, в своей

совокупности, предполагает известного рода гармонию, симметрию, связь между частями, одним словом, известного рода ОТНОШЕНИЕ. Лишь только нарушается эта гармония и связь, то отношения уже не существует; относительное утрачивает свое значение.

Вы утверждаете сообразно собственной логике: рабство лучше антропофагии, крепостное состояние лучше рабства, пролетариат лучше крепостного состояния. Из этого вы заключаете, что рабство, крепостное состояние и пролетариат относительно хороши и что, не имея возможности

достигнуть абсолютного, все существующее может считаться относительно дурным или хорошим.

Все это — логика близорукости, логика людей, рассуждающих только приблизительно, принимающих условные фразы за диалектические правила. Истина логическая, философская, строгая, точная, совершенно иного рода. Эта истина гласит, что справедливость, истинная сама по себе и во всех своих частях, прогрессивно развивается в человечестве. С развитием ее человечество удаляется от состояния животности и достигает общечеловечности и справедливости. Из подобного хода вещей следует, что

рабство — само по себе и относительно — нисколько не лучше антропофагии: оно — тоже состояние животности; крепостничество, пролетариат — тоже животность, фатализм, постепенно уничтожаемый свободой, справедливостью.

То же можно сказать и относительно развития политических и религиозных учреждений.

Таким образом, скептицизм ваш лишен всякого основания и покоится только на смешении ваших понятий и произвольности ваших определений: ваша философия, повторяю вам, — хаотизм, смешение

полов и, как я докажу впоследствии, проституция.

Вы говорите об относительной правде в противоположность абсолютной.

Но и тут вы заблуждаетесь и смешиваете все. Всякая истина справедлива с двойной точки зрения: рассматриваемая сама по себе и как составная часть всего порядка вещей; разумение последнего действительно сделало бы нам доступным известную сторону абсолютного.

Так, всякое положение Эвклида справедливо само по себе, не принимая во внимание всей геометрии; оно справедливо, как последовательное звено геометрии,

совокупность которой также справедлива. Теория прилива справедлива независимо от системы Коперника, теория кровообращения и питания справедлива независимо от всякой теории воспроизведения; что не мешает им, однако, быть справедливыми в их соотношении с воспроизведением, нервной системой и пр. Вот что значит абсолютное и относительное; вы совершенно неверно противопоставляете их друг другу; они сосуществуют, и, предполагая абсолютным всякую идею, всякое явление, каждое существо, составляющее нечто цельное, самостоятельное, вы все—таки

должны будете признать тождество абсолютного и относительного.

Таким образом, истина обладает двумя сторонами, из которых самая блестящая— сторона относительного, так как, зная какое-либо положение безотносительно, мы не имеем еще полной истины, а знаем только часть ее.

Отсюда следует, что относительные истины, не имеющие, по-вашему, никакого значения, наиболее важны; это уже доказывает ваше превратное понимание.

Причина вашего заблуждения заключается в том, что вы придаете значение относительного всем заблуждениям, аномалиям и

дисгармонии, что само по себе уже составляет бессмыслицу.

Вся ваша гордая и легкомысленная метафизика сводится не только к непониманию самих выражений, но даже и понятий и отношений. Вы не знаете, что такое абсолютное и относительное; для вас не существует ни достоверности, ни действительности, ни всеобщности, ни категорий; вы похожи на болвана, имеющего глаза, но ничего не видящего; имеющего уши, но ничего не слышащего; обладающего рассудком, но не получающего впечатлений. К этому—то сводится вся умственная сила Анфантена,

пленившая вас вместе со всеми теми, которые, благодаря известным предрасположениям, утратили нравственное чутье и здравый смысл. В данном случае Анфантен явился достойным представителем своей эпохи, апостолом религии плоти, разрушителем принципов, агентом разложения общественной совести, предвозвестником которого было царствование Луи Филиппа.

III. Теперь мы обладаем секретом вашей доктрины и можем разъяснить ее вам. Я не желаю читать вам курс логики: вы не поймете меня, да это будет и несвоевременно. Я обещал вам вскрыть вашу душу и сдержу свое

обещание.

Отрицая справедливость как нечто абсолютное, вы должны все-таки избрать исходную точку вашему скептицизму. Не стану упоминать о принципах, так как вы не признаете их; принципы привели бы вас к всеобщей идее, к достоверности, к тому, что вы называете абсолют. Вам необходимо все-таки избрать какой-либо, хотя бы даже условный, закон. Этот направляющий закон, этот свет носит название *идеала*. Но, желая оставаться последовательными или, иначе говоря, верными окружающему вас мраку, вы спешите прибавить, что *идеал этот не имеет в себе ничего*

абсолютного. На чем я останавливаю вас и утверждаю: во-1-х, что, упоминая об идеале, вы сами не знаете, о чем говорите; во-2-х, что если даже вы и знаете его, то вы тем не менее впадаете в весьма грустное заблуждение, избирая его руководителем вашего разума и властелином вашего сердца.

«Идеал, говорите вы (с. 13), не заключает в себе ничего абсолютного».

И затем вы объясняете, почему идеал избран вами **ad libitum**^[112], или в вас самих, или в окружающей вас природе, не приписывая ему ни одного из свойств, характеризующих абсолютное.

Все это означает только, сударыня, что для вас, стремящихся к достижению идеала, на самом деле его не существует, а существуют только предметы, привлекающие более или менее ваше желание и алчность. *Идеалом*, для каждого цельного человека, называется слово, выражающее соответствие какого-либо существа с его типом. Так называется еще известная способность нашего ума, посредством которой мы, ввиду действительности, всегда погрешающей, по выражению Рафаэля, восходим мыслью к совершенству, несомненно существующему, по нашему мнению,

или в природе, или в Божественном разуме. Идеал, взятый в таком смысле, хотя и не существует на самом деле, но вполне подлежит нашему разуму и может быть назван абсолютным, так как соединяет в себе истину, гармонию, достоверность, пропорцию, силу и красоту. Нам никогда не придется достигнуть его, но мы должны постоянно стремиться к нему, при условии соблюдения прав справедливости; мы разворачиваемся, отказываясь от него. Отречение от идеала составляет вернейший признак упадка нашего времени.

Вы же, напротив, вы отрицаете **a priori** идеал, так как вы отрицаете

абсолютное и так как, по вашему мнению, абсолютное составляет синоним истины, закона, достоверности. Для вас, повторяю, не существует идеала; все, что вы называете этим именем, совершенно произвольно. Может быть, ваш идеал — уродство. Он должен быть вычеркнут из вашего словаря, как не обладающий, наравне с абсолютным, относительным, достоверным и всеобщим, никаким значением.

Вы должны заменить его другим словом, называющимся по-латыни «libido»^[113] по-французски же «fantaisie»^[114].

Вы, таким образом, приобретаете многочисленную

родню, не делающую вам, впрочем, особенной чести. Фантастическая школа — это последнее слово романтизма — царствует в литературе, в поэзии, в живописи и в драматическом искусстве. То же происходит и в мире нравственности; и все сводится к одному — проституции. Прочтите фельетоны Т. Готье, всю массу романов, драм, стихов, иллюстрирующих нашу эпоху.

Прямым следствием подобной замены идеала фантазией является отсутствие во Франции теории искусства, т. е. самого искусства. Существуют творения разврата, и ничего более. Было время, когда искусство имело целью

воспроизвести идеал, насколько он доступен воображению, или же действительность как более или менее прямую противоположность этому идеалу; представителем первого направления был Рафаэль, второго — Фламандская школа. Оба направления столь же законны, как и *комедия* и *трагедия*. Изображение действительности заслуживает такого же уважения, как и изображение идеала. В настоящее время толпа художников и литераторов знают только фантазию и, благодаря ей, одинаково удаляются как от действительности, так и от идеала. В их творениях нет ни правды, ни возвышенности; они

просто модный товар, предметы порнокрапии.

Мы еще не кончили. Вы вполне заблуждаетесь относительно идеала; отрицая его абсолютный характер, вы делаете из него Божество, что весьма понятно в религии без принципов, без закона, без достоверности, без всеобщих идей, без понятий, без справедливости, без нравственности, в век господства фантазии, что опять—таки составляет противоречие и бессмыслицу.

Я объяснил, в своей теории прогресса, каким образом он имеет принципом справедливость; почему всякое политическое, экономическое, литературное и

философское развитие, лишенное этого необходимого элемента, становится разрушительным и развращающим; каким образом идеал влечет нас к справедливости; почему, наконец, этот самый идеал, делаясь правилом и целью жизни, вместо того чтобы служить орудием права, делается причиною немедленного упадка и смерти общества. Одним словом, я подчинил идеал справедливости, идея которого с точки зрения спекулятивного разума менее всеобща и ощущение которого с точки зрения практического разума носит менее общественный характер.

Вы же, напротив, вы подчиняете право идеалу, наподобие тех

идолопоклонствующим политеистов, история упадка которых была приведена мною: вы вполне сходитесь с современной литературной чернью, следующей, как известно, принципу искусства для искусства. Принцип же искусства для искусства влечет за собою следствия, также входящие, по всей вероятности, в ваш катехизис: власть для власти, война для войны, деньги для денег, любовь для любви, наслаждение для наслаждения. Я заявил вам, что все ваши мысли ведут к проституции, что ваша голова — не говорю — сердце, так как вы жена М. L., которого я считаю вашим искупителем, — наполнена

проституцией, потому что вы наслушались речей магнетизатора Анфантена.

Фантастическая школа, образчик бессмысленной метафизики которой дали вы нам, не что иное, как *наслаждение, порок, безнравственность, общественное разложение, ПОРНОКРАТИЯ*.

IV. Вы упрекаете меня в постоянном смешении конкретного с абстрактным. На что я имею честь, сударыня, отвечать вам советом — лучше удостовериться самой в вашем умении различать их. Ваше понятие об абстрактном — неточно, о конкретном — еще более.

Вы утверждаете, вместе с

номиналистами, что общество — пустое слово и что нет общественной единицы и помимо индивида, мужчины или женщины; что пара, образованная их соединением, не есть существо действительное; что нельзя приписывать этой паре какие-либо атрибуты, на основании которых можно было бы рассуждать за или против мужчины или женщины.

«Феноменально общественное существо (*l'être social*) — ничто. Оно не подлежит нашим чувствам; но с абстрактной точки зрения оно составляет результат качеств, присущих мужчине, и качеств, присущих женщине». Так говорит

учитель; то же повторяет за ним ученик.

Вы только что отрицали, под именем абсолютного, все общие идеи, всякую достоверность; вы не хотели понять относительное; вы разрушили идеал и поставили на его место фантазию; вы уничтожили справедливость; теперь же вы начинаете отрицать существование коллективностей, общих идей, общих законов, т. е. вы отрицаете природу и общество. Из хаотизма вы впадаете в нигилизм; от порнокрапии вы переходите к смерти. Это вполне логично, насколько слово это приложимо к мраку, смерти, ничтожеству.

Идея называется абстрактной, когда она выражает простое отношение, независимо от всякой реальности. Число 5, например, может назваться абстрактным; 7 — тоже; формула $5 \times 5 = 25$ абстрактна по той же самой причине, как и формула $7 \times 7 = 49$. Если мы обобщим эти формулы и удалим частные цифры 2, 5, 7, то получится формула еще абстрактнее: $A \times B = C$.

Мы видим теперь, что абстрактное имеет несколько степеней.

Родовые и видовые идеи составляют прямую противоположность абстрактным. Последние, как мы уже говорили, не

помогают понятию о материи; первые же необходимо предполагают ее. Когда я произношу число 5 или его производные 25, 150, 250, 2500, то всякому очевидно, что я не подразумеваю под ними ни людей, ни лошадей, ни др. Когда же говорю: улей, табун, лес, нация, то всякий поймет, что я говорю о пчелах, лошадях, деревьях, людях, в каком бы ни было количестве; слова: «улей, табун» и т. д. лишены были бы иначе всякого значения.

Абстрактная идея и идея коллективная, идея группы, рода или вида диаметрально противоположны, чего никак не могли взять в толк ни вы, сударыня, ни ваш учитель

Анфантен. Признай вы это различие, и хаотизм оказался бы для вас невозможным. Но это еще не все.

Собрания, группы, роды и виды не составляют простых фикций нашего ума; они такие же реальные существа, как и индивиды, монады или молекулы. И в самом деле, что такое дерево, человек, насекомое? Существа, составленные из частей, стоящих в известном отношении друг к другу и, вследствие этого, образующих единицы высшего порядка, называемые человеком, деревом, насекомым. Простые (несоставные) существа нам неизвестны, они составляют для нас отрицаемый вами абсолют. Точно

таким же образом нация, общество, улей, скала, минерал, газ, лес, все роды и виды животных и растений составляют единицы высшего порядка — существа положительные, образованные соединением единиц низшего порядка и обладающие известными, свойственными им качествами. Я много раз говорил об этом предмете и считаю излишним распространяться о нем.

Мы познаем, схватываем, видим, ощупываем, измеряем только собрания, группы, объемы, конгломераты; элементарная единица не поддается нашим чувствам. Реальное составляет произведение, серию, синтез;

абстрактное же — абсолют, атом. Каким же образом, сударыня, вы, отыскивая повсюду реальное, конкретное, идеал и избегая абсолютного, вы постоянно ошибаетесь — принимаете абсолютное за относительное, конкретное за абстрактное и **vice versa**?[\[115\]](#) Каким образом вы не видите, что соотношение частей составляет, для нашего разума, реальность всего существующего; что вследствие этого мужчина и женщина, взаимно дополняя друг друга, точно так же (как и части организма человека взаимно дополняют друг друга) составляют подобного рода союзом весьма

положительный, реальный,
конкретный, нисколько не
абстрактный организм высшего
порядка; то же можно сказать и
относительно семьи, общины и
целой нации.

Было время, когда человеческий
ум колебался между этими двумя
крайностями: памятником тому
осталась борьба номиналистов и
реалистов. Требуется большее
напряжение внимания для
уразумения отношений между
разделенными друг от друга частями,
чем для понимания отношения
между членами тела живого
человека; подобного рода слабость
аперцепции составляет

отличительный признак слабости человеческого ума, ума детей и женщин.

Я укажу вам теперь, куда ведет непонимание различия между абстрактными и общими идеями и отрицание реальности коллективных существ? Я ограничусь немногими словами.

По—моему, общество составляет такое же реальное существо, как и сам человек, образующий его. Это существо, состоящее из людей, но не совсем сходное с ними, обладает жизнью, силой, атрибутами, разумом, сознанием и страстями. Оно обладает также собственными законами и отношениями,

подлежащими нашему наблюдению, но которых нельзя вывести из органических и психологических свойств индивида. Его существованием обуславливается множество отношений, совокупность которых называется правом общественным, экономическим, государственным; точно так же, как из изучения способностей отдельного человека вытекает частная, индивидуальная мораль.

Вы, видящие в обществе абстракцию, не признающие в нем ни свойств, ни атрибутов, отрицающие существование всего, что составляет его жизнь и сущность, вы усматриваете в обществе

результат известного рода отношений между индивидами, отношений, весьма условных и переменчивых. Не существует ни общественной организации, ни международного права, ни экономической системы; все управляется фантазией, все предоставлено течению обстоятельств, все повинуется воле тех, которых избрал, для управления делами, случай, каприз толпы, развращение или сила. Я цитирую вам 173-ю страницу.

«Общество не есть власть «*sui generis*»[\[116\]](#), не есть внешняя сила; оно не обладает присущей ему сферой; оно составляет *среду*, в которой действуют индивиды,

наподобие небесных светил, совершающих путь среди эфира».

По мнению некоторых централизаторов, общество составляет все, индивид же не обладает никаким значением; первое всецело поглощает второго. Общество, по—вашему, ничего не значит; существует один только индивид, мужчина или женщина; общество — слово, служащее для обозначения взаимных отношений индивидов. Первое учение ведет к коммунизму или, что то же, к деспотизму; второе — к анархии и господству фантазии, но, так как она по природе неосуществима, то, волей—неволей, приходится этим

номиналистам прибегать к силе; таким—то образом, отправляясь из двух противоположных точек горизонта, вы приходите к тирании.

Повсюду хаос, повсюду разврат, управляемый наслаждениями и мечтаниями сластолюбия и, если потребуется, силой.

Что вы на это скажете, сударыня? Ваш учитель Анфантен вряд ли дерзнул бы высказаться теперь в пользу коммунизма, над которым все общество уже произнесло свой приговор. Но очевидно, что, отрицая реальность общественного организма, считая справедливость изменчивой и произвольной, подчиняя ее идеалу, т.

е. произволу в наслаждении, он поневоле впадал бы в коммунизм, в всеобщую порнократию.

Мы докажем это последней цитатой.

V. Книжка ваша заканчивается рядом вопросов и ответов, озаглавленных: **Resumé**

synthétique^[117]. Слово «synthétique» поставлено с намерением. Вы хотели противопоставить синтез Анфантена моим антиномиям, над которыми вы, там и сям, так остроумно подсмеиваетесь. Вы сами говорите это на странице 152: «Главнейшее заблуждение Прудона состоит в изучении им отношения между двумя терминами, помимо третьего,

определяющего их действительное значение».

Я слышу глас самого Анфантена! Бедная женщина! Хватило же у вас храбрости погрузиться в тринитарную бездну, пуститься в спор, в котором Анфантен превзошел своей комичностью самого достопочтенного отца триады — доброго и честного Пьера Леру. Я говорю *добрый и честный*, забывая о некоторых его выходках против меня; он кусался, но, не обладая зубами, не причинил этим мне никакой боли.

Не хотите ли, я докажу вам, сударыня, ради отмщения философии, против которой вы делаете столь ужасные вылазки, что

ваш первосвященник вовлек вас своим синтезом в бесстыдный обман; что его диалектика — карикатура на диалектику Гегеля; что между антиномиями не существует среднего термина; что противоположные термины взаимно уравниваются; что равновесие их происходит не от вмешательства третьего термина, а от их собственного взаимодействия; что никакая сила не способна определить ценность; что это определение совершенно условно и зависит от обменивающихся; что не существует в этом случае никакой природной единицы меры или ценности и что все называемое

таким именем — чистая выдумка; что ваша теория банка есть теория ажиотажа и т. д.? Это будет длинно, но понятно. Впрочем, я пушу в ход примеры и оставляю в стороне доказательства. Моя речь сделается таким образом интереснее и сильнее подействует на вас. Вы увидите, каким образом Анфантен, при помощи синтеза, триады тоже, дошел до ПОРНОКРАТИИ.

Однажды, в 1848 году, на собрании, которому я излагал принципы народного банка, Пьеру Леру вздумалось опровергнуть мою систему, доказывая ее полнейшее противоречие законам *триады*. Я заметил философу, что триада

вполне неприменима в политической
экономии, так как тут все вращается
на двух терминах: «doit» и
«avoir»^[118], *актив* и *пассив*, *покупка*
и *продажа*, *производство* и
потребление и т. д. «Ваша
политическая экономия, —
воскликнул Пьер Леру, — очевидный
вздор! Ваше счетоводство — тоже! Я
утверждаю во имя триады, что
ведение книг должно быть не
двойное, а тройное!» Я
предчувствовал наступление минуты,
когда Леру станет обвинять двойную
бухгалтерию в произведении нищеты
среди народа и в пролетариате.

Анфантеновский способ
понимания и приложения синтеза

совершенно сходен со способом Пьера Леру; я не пойму даже, каким образом могла произойти между нами ссора.

Мыслить — значит взвешивать, говорит Анфантен; нам говорили уже это в школе; взвешивание есть один из способов сравнения; если мышление не заключает в себе ничего, кроме сравнения, то мы вправе сказать, что *мыслить — значит сравнивать*: формула, таким образом, становится общее и удобопонятнее.

Сравнение предполагает два термина; *нельзя сравнивать ничто с ничем* — так гласит одна из аксиом логики. Анфантен не довольствуется

двумя терминами, ему непременно нужно *три*. Пусть берет хоть пять, даже сто, так как достоверность результата сравнения зависит от числа сравниваемых предметов. Но дело идет об элементарном, логическом приеме, приеме, который нужно привести к простейшему выражению. Спрашивается, требует ли сравнение трех или только двух терминов?

Анфантен берет примером весы. Он говорит устами госпожи J. L. на с. 153.

«Для сравнения между собою веса двух тел существуют чашки весов; но для определения различия их веса требуется известный

критерий, составляющий или часть самих весов, или же присоединяемый к ним в момент операции и норма которого определена заранее, на основании общих законов тяжести. В таком случае явление подчиняется собственному его закону, приводится к единству; сравниваются две вещи по их отношению к общему закону, и формулируется новый факт. Наш рассудок поступает точно таким же образом; только, будучи одарен жизнью, он в одно и то же время и агент, и орудие операции; он обладает, наподобие весов, двумя чашками и собственной мерой».

Вы, сударыня, ничего, вероятно,

не поняли в этой ерунде. Я также. Я знаю только, что третий термин — облака, затемнившие мозг Анфантена. Весы, как известно, составляют приложение закона тяжести, управляющего планетной системой. Земля и Луна взаимно притягиваются, уравниваются и образуют нечто вроде весов. Между ними не существует третьего термина, так как если б даже не существовало ни Солнца, ни прочих планет, то явления взаимного притяжения Земли и Луны остались бы те же. В весах, употребляемых вашим соседом—лавочником, дело происходит точно таким же образом: предметы, вес которых сравнивается,

уравновешивают друг друга, как Земля и Луна.

Анфантена и вас, сударыня, вероятно, ввело в заблуждение то, что лавочник не сравнивает вес своих товаров с весом первого попавшегося предмета; он употребляет для этого известные гири, отмеченные гербом государства. Таким образом, говорится, что петух равен по весу не кролику, не десятку яиц или сотне пшеничных зерен, а килограмму; единица этого веса совершенно условна и может быть вполне удобно заменена другой, что опять—таки доказывает, что взвешивание или сравнение обладает двойственным

характером, предполагает два термина, ни более ни менее. Куб дистиллированной воды при 0° принят единицей веса ради практического удобства и никак не ради каких-либо философских и экономических соображений; предполагать противное может только семилетний ребенок.

Анфантен рассуждает об обмене, о монете, о банке точно так же, как и о взвешивании. По его мнению, сравнение ценностей также предполагает три термина: во-первых, два сравниваемых между собою предмета, шляпку и пару сапог, например, и третий, служащий выражением их цены, — *деньги*. В

данном случае точно так же понятно, что деньги, как и килограмм, вещь совершенно условная, избранная ради быстроты и удобства обмена. Политическая экономия вполне подтверждает этот взгляд.

Двух этих примеров совершенно достаточно для характеристики странной логики г. Анфантена. Перейдем к приложениям его теории. Изобретенную им синтетическую философию можно было бы назвать промежуточной философией (philosophie intermediaire).

«При взвешивании, — говорит он, — требуются не только две чашки весов, нужен еще *вес* как выражение

единства тяжестей. Это единство, служащее для сравнения веса двух тел, определено государством. Государство, изобретя меры и вес, является обязательным посредником при всяком взвешивании: потому-то в некоторых местах взвешивание считалось общественной должностью, а весы — общественным орудием, за пользование которым платилась известная сумма денег. Следы этого сохранились еще до сих пор. Я признаю это несправедливостью и говорю, что не следует платить».

«При обмене, — говорит он тоже устами госпожи J. L. на с. 158, — требуются не только личности

покупателя и продавца, нужна еще третья сила, которая, определяя цену, привела бы к единству части и подвела бы частный случай обмена под какой—либо закон, установленный обществом. Третья сила служит олицетворением общественного вмешательства и имеет орудием своим деньги».

Отсюда вытекают для общества известного рода права над куплею и продажею, право брать пошлины с продаваемых и покупаемых товаров. Французские короли считали себя даже вправе, благодаря условности денег, придавать франковой монете пятидесятифранковую, стофранковую и еще большую цену

—они становились фальшивыми монетчиками.

Я говорю, напротив, что деньги — вещь совершенно условная, принятая только ради облегчения обмена; что на самом деле продукты обмениваются на продукты; что сами деньги, несмотря на свои привилегии, также продукты; что без них обходятся все первобытные общества, и что можно было обойтись без них и в настоящее время, и что, во всяком случае, право торговли не должно оплачиваться.

То же относительно банка. Анфантен, защищая синтез, сражается за свой алтарь, за свой очаг.

Существование третьего термина, необходимое при взвешивании и обмене, должно быть также необходимо и в кредитных операциях, которые составляют не что иное, как более сложное употребление денег и обмена. В них также требуется известного рода вмешательство Французского банка, например, обществ поземельного кредита или уполномоченных. За эти услуги должен взиматься известного рода процент, куртаж, дисконт, ажио или что другое; все эти слова означают одно — право вмешательства.

Я утверждал, что народный банк не нуждается ни в чьем

вмешательстве; что оно было бы совершенно бесполезно; что государство представляет собою в данном случае *взаимность* граждан, взаимность, обладающую двумя терминами: «doit» и «avoir» (заимодавец и кредитор); что таким именно образом учреждается *взаимный* кредит, примеры которого мы видим в Бельгии; что, вследствие этого, кредит, как и торговля, не будет со временем требовать никаких издержек, помимо тех, которые требуются на ведение самого дела.

Всем, я думаю, известны действия сенсимонистов за последние годы. Эти апостолы, намеревавшиеся уничтожить

пролетариат и излечить нищету, нашли удобным, после декабрьского переворота, предложить свои услуги правительству, произвели огромные передвижения кредита и нажили, не произведя ничего действительного, огромные барыши. Апостольская честь требовала, однако, чтобы они вначале обогатили массу и потом уже позаботились о самих себе, как генералы, обязанные во время отступления находиться в задних рядах армии, как капитан корабля, покидающий его последним во время крушения. В настоящее время Анфангены и все синтетисты нажили миллионы. Но разве Франция от этого обогатилась? Спросите у

рабочего, заработная плата которого нисколько не повысилась, несмотря на дорожание всех продуктов, спросите у мелкой буржуазии, потерявшей три четверти своих доходов. Даровой обмен услуг составляет единственное средство восстановить во Франции благосостояние, свободу и равенство; принцип этот диаметрально противоположен принципам, исповедуемым Анфантенем.

Приводя эти факты, я нисколько не заподозриваю бескорыстия г. Анфантена, я заявляю вам раз навсегда, сударыня, что я считаю людей гораздо лучшими, чем они на самом деле.

Анфантен сильно убежден в необходимости принципа власти. Он крепко верует в чрезвычайную власть государства и в общественную иерархию. Общественная власть, эта синтетическая сила, составляющая основу его метафизики, ставится им выше и прежде всего. Существование ее священо. Не теряя еще надежды сделаться первосвященником и обратить мир к своей доктрине, он убедился, что для основания нового священства прежде всего необходимы деньги; что с деньгами придет власть, и вследствие этого он и его сообщники поспешили нажиться. Способ наживы не казался им щекотливым, так как он был простым

приложением их метафизики; они оказались безупречными как в теории, так и на практике. Я слишком хорошо знаю отца Анфантена; между нами не может существовать ни клевета, ни зависть, ни оскорбление; нас разделяет только война на жизнь и на смерть.

Философия Анфантена состоит в так называемой реализации абстракций. Он большой сторонник правительственного вмешательства, вопреки революции 89-го года, совершившей радикальный переворот в древнем праве и заранее подорвавшей анфантеновский синтез.

По принципам 89-го года

человек — свой собственный
господин, свой собственный
руководитель, свой собственный
судья и исповедник; я, в своей теории
труда, обмена и кредита, объяснил,
каким образом он, в силу
взаимности, становится своим
собственным заимодавцем,
заказчиком, патроном, работником и
слугою.

Анфантен понимает дело иначе:
во всех этих случаях он признает
необходимым существование
третьей силы, разрушающей
свободу, равенство и автономию;
понятно, что им не забыто и право
платежа за подобное вмешательство.
Что такое, по его мнению, судья?

Поставленный свыше посредник, изрекающий права сторон, истолкователь их договора, получавший за это в былые времена подарки. Я же говорю, что судья имеет власть от призывающих его сторон, что всякий человек подсуден и что, в сущности, судья — простой свидетель, не более.

Англия, Америка, Бельгия, Швейцария — сторонники self-gouvernement^[119], весьма счастливо прилагаемое ими на практике. Закон, утверждают они, есть выражение общей воли; он нуждается только в предварительном обсуждении, после чего он и приводится в исполнение властью. Здесь нет надобности в

чьем-либо посредничестве.
Революция 89-го года говорила то же.....

Хорош после этого либерализм Анфантена и его школы! Тот же метод приводится им и в его рассуждениях о труде. Формула Сен-Симона: *каждому по делам, от каждого по способностям* — истолковывается им следующим образом. Кто, спрашивает он, будет судьей способности? Кто сумеет оценить дело? Индивид не способен на это: производитель всегда старается преувеличить достоинства своего труда; покупатель старается, наоборот, понизить ценность. Требуется, значит, третья сила —

истолковательница и орган общей воли, которая распределяла бы отправления и вознаграждения, которые оценивала бы способности и заслуги. Так происходило дело в Менильмонтане [\[120\]](#).

Перейдем теперь к самому букету.

Католицизм, признающий необходимость священства, делающий священника посредником между совестью человека и его свободой; судью — посредником между спорящими; банкира — посредником торговли; государя — посредником всех общественных и политических отношений, католицизм никогда не допускал

какого—либо посредничества в браке. Священник благословляет брачующихся, но предоставляет им право выбора. Муниципальный чиновник получает заявление супругов, вписывает их в книгу для обнародования их брака, но не смеет коснуться внутренней стороны его.

Воздержанность Анфантена не такова. Мужчина и женщина, говорит он, составляют первые два члена уравнения. Но где же третья сила, долженствующая соединить их? Эту силу составляет общество, государство — в лице правителя или священника. Оно не только подтверждает союз, но даже само заключает его; оно, сообразно теории

Анфантена, должно само судить о способности и готовности супругов и о степени их годности; одним словом, оно само должно раздавать жен мужчинам или мужей женщинам сообразно знанию их взаимной симпатии или антипатии; оно должно производить развод в случае исчезновения любви; оно должно заключать новые союзы; заключение и расторжение браков лежит на обязанности священника, определяющего даже их продолжительность. Это должно совершаться таким образом потому, что все относительно; потому, что идеалы изменчивы; потому, наконец, что любовь свободна!

Если посредник, как это было в банке, в торговле и проч., имеет право на вознаграждение, то я представляю каждому думать о последствиях подобных операций. Мы достигли только порнокрапии; каким же именем назвать это снабжение мужьями и женами? Хорош синтез! Ему можно подобрать подходящее имя только на языке проституции!

Довольно! я достаточно ясно показал вам, что ваша философия и философия Анфантена смесь бреда, хаотизма, умопомешательства, реализации абстракций и отрицания действительности, что вы не понимаете значения слов

абстрактный, конкретный,
абсолютный, относительный,
достоверный, истина, всеобщий,
закон, тезис, антитезис, синтезис,
идеал, справедливость, прогресс; что
ваша философия сводится к
смешению понятий, а смешение
понятий — к господству фантазии в
области права, науки, искусства и
нравов, к произволу в управлении, к
ажиотажу в делах, к уступкам в
справедливости; к проституции и
сводничеству в любви; одним словом,
к ПОРНОКРАТИИ.

К чему же после этого отвечать
вам на вашу критику моей теории
брака? Ваши опровержения носят
следы умственного расстройства;

разве я могу отвечать лицу, не понимающему ни себя, ни других и почти потерявшему сознание?

Вы отрицаете, что супружеский союз составляет юридический орган, первобытный элемент человеческого общества; вы не признаете справедливости; она, по вашему мнению, нечто условное и изменчивое, не живущее в сознании каждого человека и требующее санкции со стороны какой-либо третьей силы.

Вы отрицаете коллективную реальность супружеской пары потому, что рассудок ваш не способен уразуметь коллективного существования; вы превращаете эту

пару в какую-то любовную механику! Вы отвергаете неразрывность брака. Брак, как я понимаю его, выражает первобытную хартию совести и должен быть неразрывен, так как совесть непреложна. Обеты составляют символику брака, и человек, овладевая собою, не чувствует уже более надобности в символе. По-вашему, справедливость изменчива; она подчинена идеалу, который также изменчив; с другой стороны, брак, или просто соединение полов, есть орган любви и высочайшее олицетворение вечно изменчивого идеала. Каким же образом признаете вы его

неразрывность? Вы делаете по этому поводу весьма странное рассуждение: государство уничтожило постоянные обеты, а неразрывный брак есть постоянный обет, который может дать каждый по собственному желанию, но который не принимается государством. Вы не хотите понять, что вечные обеты в религии установлены ввиду брака, который также вечен.

Вы отрицаете семью. Супруги, по—вашему, не соединяются ввиду закона самоотвержения для осуществления и распространения права, они не составляют юридического учреждения, разрастающегося с рождением детей

и их супружествами. Это просто союз любви, над которым господствует третья сила, становящаяся между мужем и женою, союз, не обладающий никакими правами над детьми, которые еще более зависят от этой третьей силы.

Вы отвергаете право наследования, что весьма понятно, так как вы не признаете юридического значения ни брака, ни семьи, ни детей, ни родичей, так как собственность, труд, богатство подчинены третьей силе, стоящей выше человека, гражданина, работника, собственника. Я, старающийся все более и более

ослабить действие государства, я нахожу вполне логичным и справедливым переход состояния родителей к детям; лучше, по-моему, подчиниться ошибкам природы, чем произволу администрации. Вы же, придерживаясь правила *каждому по способностям*, повсюду вводите вмешательство власти.

Вы признаете эквивалентность мужчины и женщины в семье и на основании этого провозглашаете их равенство в обществе, требуете для женщины равенства прав и обязанностей. Это очевидное заблуждение; но это логично, последовательно и к тому же необходимо. Отрицая семью,

развенчивая мужчину, низводя
женщину на степень конкубинки,
уравнивая брак с любовью, не
придавая никакого значения
семейной жизни, вы поневоле
должны были требовать для
женщины общественных
должностей, так как иначе она имела
бы значение нуля. Таким образом, вы
принуждены были приписывать
женщине качества, совершенно
несвойственные ее полу: одарить ее
большими мускулами и
крепчайшими нервами; вы
превратили ее в мужчину, вы
изуродовали, исказили, одним
словом, *освободили* ее; повторяю —
это логично: нужно быть

бессмысленным до конца!

Допуская возможность этого, мы приходим положительно к беспорядку; нет более семьи, нет более справедливости, нет более добродетели, нет более любви. Справедливость перестает быть священной.

Почему, спрашиваете вы, мужчина и женщина не могут быть равнозначительными вне действия семьи; ведь допускаете же вы их относительное равенство в супружестве, если только справедлива ваша теория эквивалентности *силы* и *красоты*. На что я отвечаю, что сила и красота — вещи несоизмеримые; что результаты

одной могут быть оцениваемы и продаваемы, другой же — нет. Точно то же можно сказать и о приложении принципа эстетики, исключаящего из области торговли истину, красоту и справедливость и объявляющего их непродажными, в противоположность предметам промышленности, подпадающим обмену. Вы, с вашей тройственностью, убеждены в противном; вы говорите: *между силой и красотой существует известного рода соизмеримость*, т. е. одна может оплачиваться другою. Сила — деньги; красота — тело; третье между ними составляет дом терпимости. Вы не выйдете из этого

круга до тех пор, пока не откажетесь от вашей теории *любви для любви*, пока вы будете стремиться к идеалу ради самого идеала, пока вы будете признавать только истины и права относительные, пока высшим синтезом будет для вас власть.

Нет, говорите вы, я выйду из него, я сделаю женщину столь же производительною, как и мужчину. Тогда между ними может происходить обмен продукта на продукт, любви на любовь.

Лишь бы женщина действительно работала; а если она, как в Америке, откажется от работы?

Вы говорите о *равенстве*. Нужно рассеять эту двусмысленность.

Вы не желаете его; вы аристократка. Вам нужны приюты, детские дома (crèches) ради занятия ваших учительниц, президентов и др.

Правда, оба пола, по вашему мнению, сами по себе равны и эквивалентны; но из этого еще не следует равенства всех мужчин и женщин между собою; напротив. Сенсимонская иерархия покоится на несоответствии.

Этим можно вводить в заблуждения только дураков. Господин такой-то называет себя «egalitaire»[\[121\]](#) потому, что он стремится к равенству между всеми людьми; мы гораздо скорее можем назвать себя таким именем, так как

мы стремимся к равенству *мужчин* и *женщин*.

Мое мнение совершенно иное.

Все индивиды, люди одной породы, равны перед законом, и цель воспитания состоит в том, чтобы при помощи науки, промышленности, искусства и труда сделать их эквивалентными.

Мужчина и женщина равны как лица в семье; но, ввиду различия их способностей, мужчина превосходит женщину в труде и общественной жизни; достоинства женщины заключаются в браке и в исполнении налагаемых им обязанностей.

Вы говорите, что сила, ум и способности как в женщине, так и в

мужчине разнообразны до
бесконечности. Кто знает, может
быть, видоизменяя условия, можно
будет достигнуть положительного
равенства мужчины и женщины?
Может быть, женщина сделается
такою же сильною, проворною, как
мужчина? Может быть, мужчина
приобретет красоту, грацию и
нежность женщины? Так рассуждает
упрямое бессилие. Оно всегда
цепляется за *«может быть»*. Это,
может быть, происходит от
спутанности ваших понятий. Вы как
будто говорите: все относительно,
все изменчиво, все пляшет в голове
моей. Кто знает, может быть, то же
самое происходит и в природе?

Может быть, дуб способен превратиться в тростник, голубь в щегленка и обратно. Может быть, Земля, прокружившись сто тысяч лет вокруг Солнца, упадет на него.

Рассуждайте после этого с людьми, пускающими в ход различные «может быть». Устанавливайте законы ввиду конца мира сего!..

Отрицание законов и типов природы есть признак умственного расстройства. Мы находим его у госпожи Женни д'Е.

Что такое прогресс? Возражаете вы (с. 81). Самка гориллы или гиббона не слабее самца, который нисколько не уродливее ее. Адам и

Ева также мало различались друг от друга. И вы цитируете по этому поводу стихи Вольтера.

И это написали вы, сударыня! Вы оказали весьма мало уважения к вашим предкам; что не помешало вам, однако, укорять меня тем, что я сравнил женщину (эмансипированную, конечно) с мартышкой.

Вы, сударыня, смешиваете прогресс с лестницей пород. Все ныне существующие цивилизованные народы прошли много различных ступеней цивилизации: состояние одичалости, варварства, патриархальности и т. д., но каждый остался верен самому себе:

германец, грек, кельт никогда не были индейцами племени Ниама—Ниама; индус и ариец никогда не могли сравниться с эскимосами и патагонцами, точно так же, как и семит — с туземцами Новой Голландии. Готтентотская Венера никогда не производила *амуров*. Расы сильные и красивые вытеснят других; это необходимо; а вы, вы пользуетесь мнимой вероятностью, свидетельствующей только о затмении вашего рассудка.

Вы призываете свидетельницей историю и говорите: улучшение человеческого рода происходит пропорционально большей свободе и общественному влиянию женщины.

Что вы хотите сказать этим? Составляет ли свобода женщины, по вашему мнению, причину или следствие общего усовершенствования, или же она не более как частный характерный признак? Вы не привыкли различать, и слова ваши похожи на дым. История, сударыня, говорит нам следующее: в начале союзы мужчин с женщинами были временны и преходящи; это совершалось без всякой утонченности и преднамеренности, и люди не были от того развратнее. Потом образовались полигамия и конкубинат. Наконец, был установлен брак; **facta est sanctificatioeius**^[122].

Вначале — привилегия патрициата, он сделался потом достоянием и плебса; христианство сделало его таинством. Так относятся к нему и в настоящем.

Неужели вы находите, что прогресс на стороне свободной любви? Не раз ослабевали у различных народов семейные узы; они впадали в разврат и гибли вследствие этого. Что вы скажете об этом симптоме? Семейные же затруднения, приписываемые вами браку, составляют следствие нашего плохого экономического устройства, которое вы хотите обновить вашим синтезом.

Вы с громким смехом отрицаете

право силы.

Конечно, сударыня, человеческая личность одна обладает правами, так как она одна только свободна, нравственна и заслуживает уважения. Это не помешает нам, подразделяя права сообразно способностям, признать право рассудка и право труда; вы сами же признаете за женщиной право красоты. Почему же не существовать и праву силы? Не повторяйте же, как безрассудное дитя, из басни Лафонтена: **la raison du plus fort est toujours la meilleure**^[123]. Говоря это, вы думаете, что сказали все. Ошибаетесь! Я говорю, что правота не всегда на стороне сильного, но,

помните это, только *иногда*.

Я не обладаю над вами правом силы; иначе вы никогда не посмели бы коснуться пера. Я обладаю зато правом критики, которым безжалостно пользуюсь. Ваша брошюра — худо скрытое, но глубоко лицемерное нападение на брак и семью. Ради успешности его вы придрались к человеку, которого исправительная полиция объявила виновным (по основаниям, которых я не коснусь здесь) в оскорблении общественной нравственности и религии; вы заманили на свою сторону женщин, представив им отрывки из моего сочинения, и убедили их, что они позорят и

оскорбляют всех женщин, тогда как они относились только к вам. Вы окружили себя двусмысленностью, одели ваши мысли в стыдливую форму, вы говорили о браке и семье с уважением, как бы защищая их от нападения какой-то абсурдной теории. Вы превознесли совершенную любовь, столь сладостную сердцам всех женщин, вы хотели ослепить читателя то шуткой или сарказмом, то пускаясь в метафизику, могущую одурачить только невежд.....

ЗАМЕТКИ И МЫСЛИ [\[124\]](#)

«Мужчина — Адам; он — природа, тело, материя: женщина — Ева; она — жизнь, душа, таинственность; женщина — дополнение творения; сотворив подобное совершенство, Бог, как бы почувствовав усталость, почил от дел своих. Колыбелью женщины был рай, тогда как мужчина впервые узрел свет среди животных. Женщина превосходит мужчину умом столько же, сколько и красотой — этим отблеском Божества, этим лучом божественного света».

«В этой весьма странной книге,
— продолжает Альтмейер, —
встречается много справедливых
мыслей о положении женщин; все,
что существует в нашем обществе,
лишено известной мягкости
очертаний, известной гибкости и
прелести; а почему? Потому что все
носит на себе следы грубой руки
мужчины, не давшего места влиянию
женщины — олицетворению грации
и законченности. Кто строит, ваяет,
пишет, рисует? Мужчины и никогда
женщины. Искусство принадлежит
всецело мужскому полу; когда-либо
оно соединит в себе могущество
сильнейшего пола и стремления
слабейшего. Тогда настанут времена

полного, идеального выражения красоты».

Увы! мужчина сделал все потому, что женщина лишена гения и инициативы! Она не знает! Да и к чему. Само искусство, несмотря на то что им занимаются мужчины, по природе женственно. Разве оно недостаточно утонченно? Вмешательство женщин сделает его притворным и лживым!

Впрочем, Альтмейер вполне признает парадоксальность сочинений Агриппы, который в другой книге гораздо менее почтительно отзывается о прекрасном поле: *De incertitudine et vanitate scientiarum atque artium*

declamatio^[125].

Вообще, по мнению Агриппы, все науки, все искусства, все житейские профессии ведут только к одному результату — к несчастью.

Все истины, выработанные жизнью, говорит он, внушили мне только отвращение к ней; научная правда навела на меня тоску; правда дружбы дала мне призраки и лишила действительности; *правда любви дала мне возможность узнать женщин не для того, чтобы пользоваться счастьем с ними, а для того, чтобы я убедился в отдаленности любви от счастья.*

Мы не знаем женщин?

Что такое знать? Никто не знал

их лучше Фенелона, невинность которого не заподозрит ни один человек.

Для того чтоб знать, нужно наблюдать в частной жизни, при всевозможных проявлениях и условиях.

Нужно проследить в истории, начиная с природного состояния и кончая высшей ступенью цивилизации.

Нужно изучать физическую и нравственную сторону, измерять силы, оценивать произведения, сочинения, труд, слог.

Нужно принять к сведению мнения, высказанные прежними писателями, философами,

путешественниками, натуралистами, френологами, поэтами.

Для того чтоб знать, нужно выслушать множество признаний со стороны различного рода лиц — стариков, молодых людей, мужей, любовников, дочерей и жен.

Для того чтоб знать, нужно испытать самому все семейные чувства; испытать любовь в ее двояком проявлении: любви к жене и любви к детям; нужно быть братом, сыном, поверенным, другом, отцом и т. д.

Для того чтоб знать, нужно изучать гигиену и патологию любви, если не на опыте, то по крайней мере при помощи наблюдения.

Нужно ли доктору заболеть лихорадкой для того, чтобы иметь понятие о ней? нужно ли ему привить себе чуму для того, чтобы уметь лечить ее? Нужно ли быть укушенным змеей или задушенным львом для того, чтобы иметь понятие об этих животных? [Мы не знаем женщин?] Дерзость маленькой девочки, молодого фата или грубого развратника.

Допуская лишь опыт настоящего, нужно сказать, во-первых, что любовное чувство сохраняется до глубокой старости; что оно слабеет с годами, но не гаснет; что пятидесятилетний мужчина находится в таком же

положении, как и двадцатилетний, прибавив только его большую опытность и желание во что бы то ни стало покончить с этим; что вследствие всего этого лучший судья тот, кто больше видел.

Не все женщины хорошенькие. — Возражение *маленькой* девочки.

Мы говорим о женщине вообще, о женщине в совокупности ее физических, нравственных и умственных качеств.

Поэтому красота одних может служить другим, и так как она играет последнюю роль, так как никто не препятствует женщине приобретать познания, хорошие привычки, быть рассудительной, кроткой и умной, то

я прав, говоря, что все они обладают красотой.

На что же могут жаловаться женщины?

Есть, конечно, женщины, которым есть на что пожаловаться, но причины их неудовольствия зависят не от их пола, точно так же, как и торжество их соумышленников заслужено ими не по праву.

Честные женщины обладают слабостью, лишь только дело коснется их иола, делаться солидарными с дурными. Неужели им нужно сотни раз повторять одно и то же? Признано мною, как и многими другими, что женщина стоит в отношении физической силы,

гения, промышленности, философии, политики, искусства и дела несравненно ниже мужчины, но что она в свою очередь превосходит его своими семейными добродетелями, своей постоянной нравственностью, более трудной, может быть, чем даже героизм. Все эти качества обуславливаются ее естественной чувствительностью, страстностью ее пола, ее идеализмом и нежностью. К несчастью, нужно еще заметить, что ее специальные преимущества уравниваются степенью безнравственности, которой мы, мужчины, редко достигаем. Так что число хороших женщин, будучи

весьма ограниченным в сравнении с общей массой их, расплывается, и средний уровень нравственности женщин стоит ниже уровня общей массы мужчин.

Это не произвольная клевета — это логический вывод, основанный на фактах. Я тут ни при чем!

Вы, которую возмущают слова мои, можно ли назвать вас честной, доброй женщиной? Я делаю из вас святую, я преклоняюсь перед вами, я боготворю, я даже *люблю вас*! Будьте уверены, что последнее произнесенное мною слово служит в устах моих наибольшим выражением чувства уважения, так как если обращать внимание на средний

уровень, то я должен признаться, хотя вы и честная женщина, перед которой преклоняется мое сердце и разум, что я не люблю вашего пола и не придаю ему никакого значения.

Чего же вам более?

Женщина в первобытном состоянии может, наподобие женщин с островов Тихого океана, щекотать наше половое чувство, но она не вправе требовать от нас любви и уважения. Чем более приближается цивилизованная женщина к этому первобытному состоянию, тем менее имеет она права на наше расположение.

Старайтесь же быть тем, чего от вас желают: кроткой, сдержанной,

умеренной, бдительной, скромной,
— и мы не только не будем
оспаривать ваши недостатки, но
даже воздвигнем вам алтарь и
отдадимся вам душой и телом.

Да не устрашает вас длинное
перечисление требуемых от
женщины качеств; все они сводятся к
одному — будьте *хозяйками*, и
больше от вас ничего не потребуется.
Ни любовь, ни самолюбие не
пострадают от этого.

Я думаю, что мы возвышаем
женщину, называя ее товарищем
мужчины. Счастлива та, которая
действительно заслуживает
подобного названия; но мужчина, не
слишком превосходящий свою

подругу, не совсем достоин уважения. Женщина не служанка, не торговка и не любовница. Я охотно назову ее питомкой, жизнь которой есть постоянная эмансипация, продолжающаяся до самой смерти. Потому-то никакая женщина не должна почитаться *sui juris*, *sui compos*^[126]; она вечно должна находиться под опекой отца, брата, дяди, мужа, даже любовника — там, где конкубинат признан законом. За неимением опекуна или родственника закон должен назначить лицо, официально признанное блюсти семейные интересы: мэра, мирового судью, смотрителя мастерских и т. п.

Все это необходимо не по причине слабости женщины, а ввиду ее безопасности. Свобода женщины не будет стеснена подобным общественным покровительством; напротив, у нее тогда будет поверенный, советник и т. п.

Равенство полов. Этот софизм приобретает большое значение во времена общего расслабления, истощения, в особенности же во времена притеснения и эксплуатации; когда мужчины превращены в вьючных животных; когда несправедливость делает труд непроизводительным, жизнь трудной, брак опасным, семью невозможной.

Тогда брак опозорен выгодною;
закон наследия считается грабежом;
семья приносится в жертву
государству, в котором видят причину
всех невзгод.

Отрицается
справедливость; сознание ее слабеет
в умах; призывается на помощь сила.

Браку приписываются невзгоды
и бедствия, порожденные
общественным беспорядком;
начинают избегать его вместе с
преданностью и самоотвержением,
составляющими его основу.

Возвращаются к любви,
переменчивой и сладострастной.

Союзы становятся временными
и длятся недолго.

Любовь полигамическая и

полиандрическая.

Общность и смешение полов.

Унижение изнеживающегося
мужчины.

Унижение растлевающей себя
женщины.

Разложение общественного
организма, впадающего в тиранию и
содомизм.

Узнаете ли вы теперь себя?

Я подтвердил все эти выводы
фактами.

Я доказал справедливость
приводимого мною примером
древних и язычников, язычников и
христиан, теориями философов и
святых отцов.

Я говорил, что 72 года спустя

после первой нашей революции мы находимся в том же положении, как были в первом столетии нашей эры.

Я нашел в современных школах, у икарыйцев, сенсимонистов, фаланстериан — у всей этой литературной и артистической черни — тот же разврат, как и у гностиков.

Вникнув в дело до мельчайших подробностей, я доказал, приводя в пример знаменитостей, что женщина, удаляющаяся от своего пола, не только утрачивает свои природные прелести, но даже становится простой самкой, болтливой, бесстыдной, ленивой, грязной, лицемерной, агентом проституции и разврата,

общественной отравительницей,
саранчой, чумой для семьи и
общества.

Я говорил и повторяю это: я
обвинял и обвиняю в современном
развращении Франции и части
Европы распространение известного
рода идей среди женщин.

Уравнение полов влечет за собой
общее разложение.

Вне коренного различия свойств
мужчины и женщины не может
существовать ни брак, ни семья.

Без брака и семьи нет общества,
нет справедливости: господствует
эгоизм, междоусобная война, разбой.

Сердце мужчины должно быть
переполнено желаниями быть

властелином дома; иначе его не существует.

Меня обвиняют в незнании такого—то и такого—то факта! Какое же отношение имеет это к моему разуму? Вы как будто упрекаете меня в грамматических и синтаксических ошибках, которыми изобилует моя книга; какое отношение имеют они к моему слогу?

Говорят: чем большей свободой и уважением пользуются женщины, тем развитее должно быть общество.

Справедливо противное: чем умнее и способнее мужчины, тем больше оказывали они уважения к женщине и тем менее предоставляли они ей свободы...

Примеры: германская, греческая
и латинская расы.

Невозможно переменить пол.

Мужчина, подражающий
женщине, становится мерзким,
негодным и нечистым.

Женщина, подражающая
мужчине, становится уродливой,
сумасшедшей, мартышкой и т. д.

Вы считаете себя
целомудренной и в то же время
думаете, что прегрешения против
чистоты нравов в мужчине не более
предосудительны, как и в женщине.

Гг. Лемонье, Фовэти, Массоль,
Генен, Бротье, Ренувье, Антонио
Франчи и пр. составляют персонал
«Rev Philosophique» и друзья ваши. Я

предполагаю, что мнения их принадлежат и вам. Пусть же они говорят! Прочь лицемерие!

Нужно дать свободу мнениям. Мы живем во времена переворотов; кончайте скорее!

Если вы на три четверти сумасшедшие, то я обвиняю в этом их.

Вы — собрание сводень и развратниц. Таково мое последнее слово.

Сенсимонизм, или порнократия, делает отвратительным даже женщину.

Женское влияние было одной из причин гибели революции 48 года. Республика пала, лишь только Жорж

Санд, женщина и артистка, взялась за сочинение бюллетеней вместе с другим артистом — Жюлем Фавром.

Покажите мне мужчину среди временного правительства!

Ламартин — артист; Кремьё — артист; Марраст — артист; Луи Блан — артист... Женский элемент преобладал. Я знаю одного мужчину — Араго, но потому-то ему и досталось мореплавание.

Худший род свободных женщин составляют «esprits forts», пытающиеся философствовать, претендующие на ученость, гордящиеся своим направлением и партией, желающие общественного разложения.

Расстройство их рассудка влечет за собой потерю стыдливости и нравственного смысла.

Чувство и воображение составляют главную причину эмансипации всех драматических, лирических и хореографических артистов. Настоящая куртизанка, в античном смысле, была артисткой, даже жрицей: баядерки, альмеи — тоже артистки.

«**L'esprit fort femelle**»^[127] составляет нечто другое.

Это курица, поющая, как петух, которые вкривь и вкось подражают мужчине.

Нам надоело переходить от тирании к тирании! Дети

принадлежат обществу, они будут воспитываться общественными деятелями «**bonnins** " и «**bonnines** " гораздо лучше, чем родителями. Не правда ли, как это справедливо?

Глупые сны утописта–холостяка и эмансипированной холостячки!

Природа взяла на себя большую часть наших забот, а мы противоречим ее законам!

Как бы ни была хорошо образована женщина, ты скоро убедишься в ее невежестве и болтовня ее сделается для тебя невыносимее болтовни неуча.

Я видел женщину, говорящую речь. Муж ее сиял. Он как будто говорил публике: каков я! Я муж

импровизирующей женщины!

Против эмансипированных женщин.

Вы не нравитесь нам; мы находим вас уродливыми, глупыми и ядовитыми; что вы можете возразить на это? Кому вы стараетесь нравиться? Коту колдуньи, Бельфегору или вашим Кинг-Чарлзам?.. Продолжайте; когда стыдливость вернется к самцам, они потопят вас вместе с вашими любовниками в болоте.

Вы ответите, что и мы не нравимся вам? Прекрасно!

Начинайте войну! Вопрос решит сила.

Эти существа заявляют

странные требования.

Они желают быть любимыми нами, тогда как мы не находим их даже привлекательными.

Они желают прослыть за весталок, тогда как мы вполне уверены в противном.

Христианство причислило к лику святых трех женщин: Магдалину, Таису и Афру, — нужно заметить только, что это сделано было по их раскаянии. В настоящее время желают, чтоб мы поклонялись нераскаявшимся.

Нельзя не допустить, что умственная усталость действует на матку наподобие **agnus castus**^[128] и испанских мушек; этого достаточно

для того, чтобы муж, любовник, отец семейства предохранил от нее свою жену, невесту, дочь.

Я просил одного приятеля собрать мне материал для биографии наших женщин—авторов; я пришел в ужас, лишь только прочел первые страницы.

Женщина не может уже более делать детей, когда ее ум, сердце и воображение заняты политикой, обществом и литературой.

Они не довольствуются уже своей ролью и хотят быть судьями, докторами, аптекарями и префектами, может быть, даже жандармами и драгунами.

Женщины, у которых отняли

стирку белья, хлебопечение и уход за домашними животными, бросили также вязанье и шитье. Мать моя занималась всем этим. Она пекла хлеба, стирала белье, гладила, варила, доила корову, вязала за пятерых и чинила белье.

Роль женщины. — *Кормилица и родильница.*

Откуда происходит сходство между ребенком и матерью?

Объяснение дается пчелами: здесь влияет пища. Пчелы из одной и той же ячейки производят, по желанию, царицу, трутня или работницу.

Quid vero^[129], если первой пищей ребенка будет субстанция

самой женщины.

Я не нуждаюсь ни в френологии, ни в анатомии, ни в физиологии; исследование соответствия между известными частями организма и известными актами сознания или мышления составляет дело любопытных исследователей материи. Интересно, без сомнения, видеть, как краниоскопические и физиономические наблюдения подтверждают собою отвлеченные данные сознания и ума; но философ поступает совершенно иным образом. Он, как и человечество, пускает в ход интуитивный и априористический метод исследования, избыток сердца и

полноту идеи.

Весьма возможно, что вся разница между мужчиной и женщиной состоит в большой степени теплоты, производимой частицами организма мужчины.

Из природы мужчины и женщины вытекает брак; вне его — господство порнокрапии.

Основу моногамии составляют:

Во-1-х. Равенство числа мужчин и женщин; каждый мужчина, обладающий такими же правами, как и все другие, имеет также право на обладание одной женщиной.

Во-2-х. Основания «**de non voltige**»^[130]: достоинство мужчины и его индивидуальность.

В конце концов общество является для него и средством, и целью.

Брак — природное учреждение, характер которого как в физическом, так и в нравственном отношении обозначен различными наклонностями обоих полов и давно уже понят сознанием народов; в настоящее время смысл его омрачен различного рода предрассудками и страстями.

Дошли до того, что сделали его главной причиной общественных бедствий.

Нужно вернуть ему его настоящий смысл и восстановить его.

Иначе обществу угрожает смерть.

Брак, естественный орган справедливости, составляет основу общества; он дает свободу.

Порнократия, его антагонист, составляет последнее слово узурпации и тирании.

Мужчина до двадцатилетнего возраста, женщина же до двадцатилетнего не имеют права вступать в супружество. Это обуславливается несколькими причинами: требованиями гигиены; причинами нравственными; требованиями филогенетики; причинами экономическими; причинами хозяйственными и

воспитательными;

причинами, обуславливающими собою продолжительность и неразрывность супружеского союза.

Заблуждения относительно самого лица, семьи, качеств, нравственности, состояния здоровья, одним словом, всякий обман составляет причину недействительности брака. Три, по крайней мере, месяца сговора.

Отказ в совершении брака служит также причиной его недействительности и влечет за собой к тому же еще пеню.

Нужно было бы суметь сразу удовлетворять любопытству, желающему видеть предметы,

которые не должны быть видимыми; каковы, например, тайны зачатия, рождения и проч.

Все это отвратительно для всех, кроме разве философа—физиолога, видящего в этих процессах нечто иное.

Бедный юноша! Ты ничего не увидишь там. Твой разум ничего не почерпнет оттуда.

Достаточно прочесть в ботанике Жюсье о процессе *воспроизведения*; и ничего более.

Пожалуй, можно просмотреть в атласе акушерства все подробности рождения; подобного знания вполне достаточно.

Все остальное — дело

воображения, сластолюбия, тайного развращения, чтение одного и того же романа ради нового возбуждения.

Нужно отделаться от этого и стать на почву действительности.

Молодость должна быть заранее ознакомлена с любовью; что гораздо лучше ложной и преждевременной опытности, приобретаемой ею самой.

Не надо иллюзий касательно женщин!

Не надо также и отвращения или ненависти.

Наставления молодому человеку.
Ты должен быть властелином, даже в любви.

Захочешь ли ты, имея

любовницу, быть ее игрушкой, предметом ее прихотей, ее рабом? Это невозможно! Все это унижает тебя в собственных глазах, все это уменьшает твое сладострастие.

Имея дело с куртизанкой, ты обойдешься с ней вежливо и снисходительно; но потерпишь ли ты с ее стороны неуважение? Допустишь ли ты ее быть равной тебе? — Нет, ты унизишь этим свое достоинство и, вследствие этого, уменьшишь свое наслаждение. В браке господство принимает иной оттенок: ты боготворишь жену и остаешься ее властелином.

Тертуллиан, Exhort, ad cast., цитированный Вателем.

Videtur esse matrimonii et stupridifferentia, sed utrobique est communicatio. — Ergo, in quis, ut primas nuptias damnus?

Nec immerito, quoniam et ipsae ex eo quodest stuprum^[131].

Ватель, как добрый протестант, возмущается этим сравнением. Но протестантизм, восстановивший развод, доказал также, что брак для него средство *облегчить природу*.

Романы Руссо и его исповедь прекрасно объясняют нам взгляд протестантизма на брак; история Софьи — также.....

Бл. Иероним говорит: hanc tantum esse differentiam inter uxorem et

scortum, quod tolerabilius sit uni esse
prostitutam quam plurimis^[132].

Это ясно. Любовь грязнит и
растлевают тело. Потому-то
благословение при вступлении в брак
есть как бы предварительное
прощение греха.

.....
...Мы знаем, однако, как это
знали и древние, что «отцы семейств
— лучшие граждане и более преданы
общественному благу, чем
холостяки».

Ничто не помогает: все
стараются разъединить то, что хотела
соединить природа: католическая
церковь увеличивает число
монастырей; государство

увеличивает войска и оставляет на долю брака только калек и чахоточных; литература превозносит свободную любовь. Таким образом, общество, не будучи поддерживаемо семьей, а общественное право — правом семейным, поневоле вынуждены прибегать к силе.

Почему не существует брачного диплома? Каждое лицо мужского пола, *omnis masculus adaperiens vulvam*^[133], как говорит Библия, не обладающее известной способностью экономического производства и известной мускульной силой, не должно считаться годным к супружеству. Способность воспроизведения

составляет только одно условие, а их несколько.

Всякий коммунизм влечет за собой разрушение семьи.

Всякое посягательство на семью влечет за собой тиранию.

Всякая свободная любовь влечет за собой ослабление супружеских обязанностей и разложение общества.

Природа, желая устроить человеческое общество согласно принципам справедливости, равенства, гражданской свободы, ответственности общественных деятелей, контроля власти и свободного проявления мысли, должна была поступить согласно

тому, что говорил я. Женщина должна быть участницей права. В этом заключается ее равенство.

Если же она желала преобладания принципа власти, общности и абсолютизма, то она должна была установить полнейшее равенство и сходство полов, исключая только различия в половых органах.

Между любовью и справедливостью или, другими словами, между браком и обществом или государством существует тесная связь — солидарность, признанная во все времена и в силу которой всякое нарушение справедливости и общественной свободы влечет за

собою разрушение семьи и, вследствие этого, — любви; наоборот, всякое посягательство на любовь и брак разрушает общество и государство.

Здоровый человек сохраняет до конца дней своих способность воспроизведения и свой ум, хотя требования преклонного возраста и обязывают его все менее и менее пользоваться одной и умерять другой.

Женщина в известном возрасте утрачивает способность воспроизведения, хотя нередко сохраняет любовную ярость; вместе со способностью воспроизведения она теряет также и свою юношескую грацию; она становится тогда

метисом, ни мужчиной, ни женщиной, предметом изучения для психологии и нуждается тогда, более, чем молодая женщина, в обуздании.

Здесь всевластно воспитание.

Некоторые женщины скорее способны умереть, по примеру Лукреции, чем сделаться виновными; способны умертвить себя, провинившись. Они — редкое явление, но я знавал таковых. Это великая и редкая добродетель, влекущая за собой много других. Но здесь существует и обратная сторона медали. Большое целомудрие и непреклонная добродетель служат признаком самобытной личности в женщине.

Подобного рода личности не всегда поддаются мужчинам.

Для Лукреции нужен кроткий, терпеливый, умный муж; здесь непригодна страстная натура. Многие мужчины, поразмыслив, предпочтут меньшую долю героизма и побольше покорности. Легкая женщина часто бывает хорошим существом. Все любят Марию Магдалину; немногие заботятся о ее ужасной сестре Марфе.

Женщина, в силу своей природы и назначения, ищет блеск и роскошь; это для нее необходимо.

В хорошо устроенном обществе и семье она получает их, благодаря хозяйственным ресурсам, заработку

мужа; роскошь является следствием ее экономии и управления.

Когда же любовь и идеализм делаются высшим законом, когда труд и умеренность становятся излишними и тягостными, когда семья делается предметом насмешек, а брак — конкубинатом, тогда женщина — орудие сбережения и комфорта — делается агентом мотовства и разорения.

Она развращается тогда и испытывает на себе закон, управляющий всеми предметами роскоши. Конкубинка или куртизанка, она делается сокрушением мужчины.

Все столицы Европы — Париж,

Брюссель, Берлин, Вена и др. — одержимы страстью к роскоши. Труд мужей не покрывает уже издержек: призываются на помощь долги, мошенничества, злоупотребление доверием, банкротство и проституция.

Господствует самая суровая эксплуатация рабочего класса, который в свою очередь развращается и отказывается работать.

Производство понижается в ту минуту, когда оно должно было бы удвоиться, и роскошь делается всеобщей.

Возвышается цена на все, начиная с «liste civile»^[134], кончая

«prèt»^[135] служаки, от процентов за дисконт до ржаного хлеба.

Начинается господство всеобщей *изнеженности* или порнокрапии — явление, общее всем нациям.

Всеобщее стремление к обогащению посредством известного рода комбинаций присоединяется к поголовному сладострастию, усиленному элегантностью и искусством «bien vivre»^[136], без которых нет более любви: sine Vacho et Gerere friget Venus^[137].

Умеренность возбуждает собою большее отвращение, чем даже самый труд, что весьма понятно, так как расслабление мозга и тела

требует более питательной пищи.

В конце концов, Мишле, давая советы относительно брака и женщины, следует писателям вроде Руссо, Бомарше и др.

Она все-таки остается рабой любви, подчиняющейся только сознанию; вся книга его, от первой до последней страницы, доказывает это.

Он провозглашает на каждом шагу подчиненность женщины и между тем признает ее равною мужчине.

По примеру Руссо и др. он рисует зажиточную, если даже не богатую (не менее 10 000 франков дохода) семью и не говорит ничего о семье менее зажиточной, как,

например, семья рабочих.

Справедливость утратила его: он игнорирует ее сладость, благотворность, плодovitость, могучую гарантию, огромные и серьезные последствия.

Он забывает, в частности, что женщина, пользуясь любовью, делается все более и более вялой, хрупкой и изнеженной; тогда как она, возвышаясь мало—помалу к справедливости, во—первых, посредством хорошего воспитания, затем брака, становится мужественной и героичной, и все это с легкостью, без ложной гордости, усилий или затруднений.

Совесть! Совесть!

Совість, где ты? В сердце ли, в мозге, в желудке, в бедрах или других частях тела? Нет, не в вас!

Совість *обща* всем людям: она нераздельна.

Природа, прежде образования самого общества, специально позаботилась о ней; по моему мнению, она заключается в той двойственности (*dualité androgyne*), в которой взаимность (*reciprocité*) доведена до высшей степени взаимного уважения и самопожертвования.

Женщина слаба, но прекрасна; мужчина силен, но груб; женщина непроизводительна, но покорна; мужчина работник, но властелин.

Можно продолжить эту параллель.

Это более нежели союз — это ассоциация, самое любопытное сплетение, в котором удовлетворены и гордость и любовь.

Возражают: как представить себе орган, принадлежащий нескольким лицам? Теорией существа, коллективной единицы. Однако примера будет достаточно.

Пук виноградной лозы, например. Пук пуку рознь.

Пук есть вещь; виноградная лоза — другая.

Развяжите пук и разделите лозу — вы разрушили реальность, хотя и не уничтожили ее составных элементов.

То же можно сказать и о лозе: режьте, разделяйте, толките ее, вы все—таки не уничтожите ее составных частей.

Сожгите ее, соберите пепел, маслянистые вещества, газы и разложите их; вы опять—таки разрушили реальность, но ничего не уничтожили.

Опровергая это, вы уничтожаете справедливость, вы разлагаете общество.

Замужняя женщина не желает уже более иметь детей.

Незамужняя — не хочет более брака.

Мне пришлось услышать во время моих прогулок по

окрестностям Брюсселя следующие ужасные слова от женщины из народа, имеющей 7 человек детей. Муж ее, простой поденщик, получавший 1 франк 50 су в день, убил себя по нечаянности. После его смерти общество вспомоществования, благотворительные дамы — все приняли участие в его семье: поместили куда-то старшую дочь, двух других взяли на воспитание; вдове выдавалось еженедельное вспомоществование, вдобавок она сама зарабатывала кое-что.

Она чувствовала себя вполне счастливой, более счастливой, чем во времена замужества!

Бедняк, говаривала она о покойнике, нужно же было содержать его; каждое воскресенье нужно было стирать его рубашку и блузу, дать пять су на выпивку, изготовить на обед что—нибудь!

Что же оставалось нам?.. Конечно, *мужчина стоит дороже того, что он зарабатывает!*

Если ты, молодой человек, хочешь жениться, то знай, что первое условие твоего счастья заключается в господстве над женою.

Если ты, остановив свое внимание на какой—либо женщине и хорошенько разузнав ее качества, не признаешь себя, согласно совокупности твоих качеств, хоть

вдвое сильнее этой женщины, то не женись на ней.

Ты должен быть вчетверо сильнее ее, если ты, не имея состояния, получаешь за ней приданое.

Ты должен быть всемеро сильнее ее, если она «bel esprit»^[138] или обладает талантом; не женись иначе. Нет покоя человеку, непрестанно критикуемому; нет достоинства — в противоречии; ему угрожает беда самая постыдная и самая жалкая — украшение рогами.

Лучше посещать падших женщин, чем заключить неудачный брак.

Нужно, чтоб, насколько это

возможно, на твоей стороне была всегда правда.

И так как ошибки всегда возможны, чтоб тебе никогда не приходилось слышать ни упреков, ни напоминаний.

Если женщина явно оказывает тебе сопротивление, укроти ее во что бы то ни стало.

Не следует жениться на артистке по трем основаниям.

Во-1-х. Потому, что она принадлежит публике.

Во-2-х. Потому, что если она обладает талантом, то всегда будет приписывать себе превосходство.

В-3-х. Потому, что она будет сама зарабатывать себе хлеб и ничем

не будет обязана мужу.

Предоставим Тальма жениться на Жорж, Марс или Дюшенуа; они, как и он, принадлежат публике, да вдобавок еще сильнее.

Нужно, насколько возможно, возвысить в собственных глазах молодого человека; нужно внушить ему, что редко, весьма редко первая любовь заканчивается браком и что лучше было бы, если и он последовал общему примеру; что он не должен жениться ранее двадцативосьми—или даже тридцатидвухлетнего возраста; что он должен, вступая в брак, быть зрелым как физически, так и нравственно; что он должен откинуть всякий идеализм,

довольствоваться самим собой и поглотить личность жены своей.

Требуется внушить ему:

что преждевременная любовь влечет за собой невыгодное для него равенство;

что женщина любит и должна быть обуздываема;

что она стремится к сладострастию, распутству, неблагопристойности, неводержности и скорее подчинится сильному мужчине;

что ее можно обуздать только в молодых летах и влюбленную, когда она способна еще производить детей; впоследствии же, когда она начинает походить на мужчину, требуется

гораздо большее господство, которое приобретается лишь долгой привычкой; дело не обходится тогда без глухого ропота и протестов;

что дети, в данном случае, облегчают дело: мать охотно сливается с ними и молодеет заодно с дочерьми, что поддерживает отеческий авторитет и вне которого нет ни мира, ни порядка, ни приличия, ни чести, ни спасения; напротив, все влечет к двусмысленности и скандалу;

что отец семейства должен всецело принадлежать своим; что эгоизм должен быть изгнан из его сердца; что он хранитель, кормилец и ответственный учитель семьи и не

должен терпеть ни малейшего нарушения своих приказаний;

что женщина постоянно стремится унижить мужчину; она опутывает, обходит его, желает сделать из него товарища, себе равного;

это лежит в ее природе; она делает его таким образом невольным заговорщиком против семейной иерархии и самой себя;

что требуется иногда завести часы — заявить решение, свою волю и т. д. — и что муж должен знать, как взяться за это, по какому поводу и в каком тоне;

что нужно всегда держать приманку высоко и помнить

следующий афоризм: наиболее любимы женами те мужчины, которые умеют заставить не только уважать себя, но даже и бояться;

помнить, что женщина всегда старается сделать из мужа любовника, но что мужчина должен постоянно оберегаться и не допускать себя до подобного рода слабости.

Для мужчины весьма выгодно, если женщина выходит замуж, полюбив в первый раз; ввиду—то этого он и должен стараться брать ее по возможности *девою*. Рана закроется, если даже существовали воздыхания по другому, — женщина всегда привязывается к тому, кто

первый просветил ее.

Можно *даровать* многое, только не в виде уступки, а из снисхождения. Мужчина — властелин, он должен быть великодушным, но никак не торговцем.

Со стороны женщины должно существовать абсолютное доверие к мужу, который должен требовать его; муж не обязан доверять все жене своей. Каждый мужчина имеет тайны, которые он поверяет не жене, а другу.

Нужно быть снисходительным, помня, что женщина — существо слабое.

Не нужно прощать важные

ошибки: жена может почувствовать за это презрение к мужу.

Муж, обманутый женою, может держать ее при себе во избежание скандала; но он отделится от нее как сердцем, так и телом; поступая иначе, он унижается и гибнет.

Привлечение к себе неверного мужа составляет полнейшее торжество жены.

Примирение с неверной женой уничтожает мужа.

Нелишне даже употреблять, в случае надобности, *силу*: силу слов, воли, действия, даже жестов... Мужчина обладает силою для того, чтобы ею пользоваться; лишенный ее, он презираем женщиной, и одно

из средств понравиться и очаровать ее состоит в том, чтоб дать ей почувствовать свою силу.

Женщина спорит, сплетничает, выжидает время, счастлива, если удастся обмануть супружеский разум. Следует мало или совсем не отвечать ей, стараться быть правым и проявлять свою *волю*. *Воля* — господство, нечто, стоящее выше разума.

Помните, что женщина дана мужчине для счастья, для развития его достоинства и справедливости, для сердечных радостей, при условии только господства над нею, ее подчинения разуму мужчины, ее сожительства с ним как помощницы,

собеседницы и партнера.

Я ничего не стану говорить о любезности и ее формах. Там, где она существует, вся сущность ее заключается в умении танцевать, кланяться, ходить и т. п. Она — форма вежливости, и ничего более. В конце концов избранные женщины предпочитают всем грациям любезности простую и приветливую прямоту и вежливость.

В обращении с женщинами нелишне проявлять глубокое уважение и угодливость, но выражать их так, чтобы женщина заметила, что большая часть этого уважения относится к ее мужу.

Мужчины обязаны делать это по

отношению друг к другу; женщины охотно допускают это; самым большим оскорблением женщине должно считаться оказывание неуважения ее мужу.

Да помнит всякий молодой человек, что все мы сотворены для брака и любви.

Что добровольная воздержанность возможна и может быть даже похвальной, как и всякая жертва, в том только случае, когда этого требует долг или труд.

Что в противном случае крайне неприлично и недостойно сгорать неудовлетворяемыми желаниями.

О любовных сношениях:

Сношения с обыкновенными

продажными женщинами (Venus vulgaire) хотя и составляют простительный грех, но недостойны республиканца, друга народа. Они служат признаком нищеты и эксплуатации.

Куртизанка или лоретка — бездна разврата.

Конкубинат, или свободные отношения, заменяет брак лишь тогда, когда особа достойна уважения; вообще он может быть терпим лишь в исключительных случаях.

Положение мужчины усложняется, если он имеет в женщине не только жену, но и товарища.

Берегись *падших женицин* и *добрых девушек*. Про них нередко говорят, в виде смягчения вины, что они обладают *добрым сердцем*: они пожирают, лижут, услаждают нас; они прелестны в постели; они обязательны и сострадательны; они импонируют своим энтузиазмом и самопожертвованием, они милосердны и охотно заложат свои драгоценности и т. п.

Но во всем этом нет ни капли постоянства. Качества эти, которыми не дорожит порядочная женщина, хорошо исполняющая свои обязанности, подвержены весьма печальным колебаниям.

Подобного рода женщины не

годны в хозяйстве — оно скоро наскучивает им — и не одарены постоянным мужеством; опрятность их двусмысленна, они ненавидят стряпню, заставляют мужа обедать в ресторане и скоро устают от семейной дисциплины. Им беспрестанно нужно освежаться увеселениями, визитами, вечерами, прогулками и спектаклями. Конкубинат составляет их прямое назначение, кроме разве того случая, когда они пополняют свое ничтожество каким—либо выгодным ремеслом или занятием, что представляет собой также немало опасности, так как в таком случае требуется искать ей преемницу.

Сердце девственницы — сердце из мрамора.

Нет ничего наглее маленькой девочки, нет ничего подозрительнее и двуличнее взрослой девушки.

Молодые девушки, под видом брака, мечтают только об объятиях мужчины.

И чем скорее это совершится, тем лучше. Не нужно длить время между помолвкой и свадьбой: божественное время, по выражению Грюна.

Насытив своего муженька, она, беременная и расслабленная, утрачивает смысл своей жизни, если не возьмет любовника!

Гегель говорит, что достоинство

девушки состоит в том, чтоб быть выданной замуж отцом своим.

Фенелон в «Телемаке» говорит то же самое.

Взгляд этот изменился со времени Руссо и его Элоизы.

Откуда происходит величие и возвышенный характер брака?

Потому что он олицетворение преданности и самоотвержения.

Никто не вступает в брак ради занятия *любовью*.

Любовь для любви; любовь для наслаждения, всякая женщина, исповедующая подобного рода теорию, блудница.

Тебе, молодая девушка, я могу дать один только совет.

Во-первых, не выходи рано замуж; береги, если можешь, для себя твою молодость и девство до двадцатичетырехлетнего возраста. Если ты найдешь тогда человека старше тебя десятью годами, сильного, умного, работающего, мужественного и твердого, то скорей бери его, будь он даже некрасив, неречист и не артист. Ты будешь с ним уважаема всеми и испытываешь счастье, насколько способна испытывать его всякая здравомыслящая женщина. Помни, что самые любезные и самые страстные любезники всегда плохие мужья, существа смешные, которые скоро надоедят тебе и которых ты

рискуешь скоро превратить в дураков даже помимо твоего собственного желания.

Почти каждая женщина обманывает своего мужа не потому, что она его разлюбила, а просто потому, что нашла в нем глупость, слабость или какие-либо смешные стороны, потому, наконец, что, играя с ней в любовь, он утратил в ее глазах всякое право на уважение.

Мужчина, никогда не смеющийся и имеющий на своей стороне силу, никогда или редко будет обманут.

В жизни каждой женщины встречаются хорошие минуты; это опьяняет какого-либо несчастного,

который, не зная сам, что делает, связывает свою участь с ее участью.

Уничтожьте брачный *обет*, снизойдите до конкубината, и женщина погибла.

Преданность заключается в служении лицу или делу сообразно его требованиям, способностям и законам.

Женщина, предаваясь мужчине, обязуется следовать за ним и повиноваться ему во всем, ухаживать за ним, как горничная.

Мужчина, предаваясь женщине, обязуется покровительствовать ей, кормить и защищать ее как более сильный более слабую.

Преданность не произвольна;

она обуславливается известными причинами, данными а priori. Она исключает своеенравие, мнимые браки, в которых мужчина допускал бы равенство жены и делился бы с ней своими правами, обязанностями и должностями.

Но что делать, если женщина заявляет требования на равенство?

Избегай в таком случае супружества с ней. Предоставь этого дикого зверя самому себе и болвану, который пожелает ее, но если брак уже заключен, если существуют уже дети, если твое несчастье непоправимо, о, тогда не следует колебаться. Волей-неволей, силой или доводами ты должен переломить

ее.

Не говори: я оставляю ее. Это достойно слабой души. Нужно, чтоб она, с первого же дня, была уверена в том, что ты не оставишь, а переломишь ее.

В умном и твердом мужчине всегда найдется достаточно силы для усмирения подобной бунтовщицы. Ему может грозить одна опасность — заговор общества против супружеского права.

Снисходительность судей к женщинам безнравственным, их вмешательство в семейные дела влечет за собой узурпацию власти и полномочия.

Некоторые превращают свою

должность в средство для
удовлетворения своего сластолюбия.
Их нужно пришибить, как собак.

Тогда нужно действовать иначе.
Нужно смотреть на суд как на врага
семейного мира, как на поддержку
безнравственности и возмущения
женщины.

Общественные заговорщики —
подлецы, всегда готовые дать приют
развратницам. Свет полон ими.

Мужчина в семье — правитель,
женщина — жрица и идол.

Очевидное противоречие:
повиноваться для того, чтобы
властвовать.

Повелевающая женщина
унижает мужа и, рано или поздно,

украшает его рогами. Женщина, ищущая в браке только наслаждения, также не лучше: она — маленькая ленивица, обжора, болтунья, расточительница, которой скоро надоедает муж.

Значит, *куртизанка* или *экономка*; я имел право сказать это и не отказываюсь от слов моих. Лучше затворничество, чем эмансипация; Лукреция, Корнелия, Виргиния сказали бы: лучше смерть!

Муж может убить, по строгой справедливости, свою жену в следующих случаях: во-1-х, прелюбодеяния; во-2-х, бесстыдства; в-3-х, измены; в-4-х, пьянства; в-5-х, расточения и кражи; в-6-х,

упрямой, повелительной,
презирающей непокорности.

Муж имеет право суда над своею женой; жена же, по отношению к нему, совершенно бесправна. Подобного рода взаимность была бы вполне несогласима с супружеской субординацией; она заключала бы в себе противоречие. Обиженная и оскорбленная женщина может прибегать к семейному совету, а через посредство его — и к политической справедливости.

Семейный совет должен состоять из членов семьи — отца и матери, дядей и теток, братьев и сестер, двоюродных братьев и двоюродных сестер,

совершеннолетних детей и внучат и, за неимением их, из лиц, уполномоченных законом, — мэра и его помощника, мирового судьи и др.

Всякий имеет право прибегать к семейному совету. Он созывается председателем по первому желанию жалующейся стороны; председателем избирается лицо или наиболее близкое по родству, или же занимающее наиболее высокое место.

Женщина, испрашивающая себе развод вследствие *несходства характеров* или *насилий мужа*, срамит современное общество и служит признаком его упадка. Такая женщина должна быть признана

виновною, если только не существует ненависти со стороны ее мужа, если он не безнравствен, не имеет за собой особенных пороков и обладает половой способностью. Только семейный совет имеет право формулировать ее просьбу о разводе.

Муж может развестись с женой **ad libitum**[\[139\]](#).

Нельзя принудить того, кто обладает властью, насильно жить с женой. Семейному совету, а после него суду, если таковой будет иметь место, принадлежит только устройство денежных дел.

Мужчина, сравнительно с женщиной, обладает высшей степенью рассудка, воли и характера

и должен пользоваться ими. Рассудок и воля обязывают к действию. Получив превосходство силы, он должен пользоваться ее правами. Сила обладает правами и обязывает к действию.

Современное общество стоит ниже уровня брака; ему угрожает конкубинат. Ввиду этого каждый мужчина, берущий вместо жены любовницу, должен знать, как вести себя.

Свободные отношения имеют предмет одну любовь; отправимся же из этого принципа, не примешивая к нему ничего постороннего. Примешивая сюда дружбу, денежные интересы,

воспитание, детей, вы незаметно приходите к браку. Не торгуйтесь же: женитесь.

Поэтому любовникам не нужна общая женщина, ни общего хозяйства и им нужно избегать, насколько возможно, ночей, проводимых вместе. Частые посещения и сожителство охлаждают любовь; только супружеское достоинство выносит жизнь сообща. Пусть каждый живет у себя, занимается своими делами: любовь и сладострастие ничего не потеряют от этого, а нравы даже выиграют. Если же вас тянет друг к другу, не торгуйтесь: женитесь! Вы супруги, только без всяких официальных

обязательств: бесполезно
противиться обычаю, оскорблять
упорством известное учреждение.

Оба вы пострадаете за это:
факты подобного рода, учащаясь,
перестанут быть парадоксальными;
ваш конкубинат сделается браком,
лишенным только его законных
гарантий, что бессмысленно!

Мужчина никогда не должен ни
знакомить свою любовницу с
друзьями, ни привозить их к ней, ни
даже вывозить ее в свет. Почести и
преимущества супруги не сотворены
для нее, природа вещей препятствует
этому.

Существует два рода
разглашаемой любви: любовь

супружеская и любовь
проституционная. Они составляют
две крайности, две антитезы. При
конкубинате любовь должна
скрываться, ее законом и правилом
должна быть тайна.

Выказывающаяся конкубинка,
не будучи супругой, будет
проституткой. Не будучи охраняема
супружеской честью, она становится
наглой, бесстыдной куртизанкой.

Нужно уважать скрывающуюся
любовницу; нужно презирать и в
случае надобности даже оскорблять
ту, которая не хочет держать свою
любовь в тайне.

Любовник обязан любить,
покровительствовать и помогать

своей любовнице, и ничего более. Он не имеет власти над нею, так как он не брал на себя ответственности за ее поведение; он не может ждать от нее преданности и жертв и сам не обязан приносить их ей; он поступит глупо, если хоть в чем-либо скомпрометирует ради нее свое будущее, свое честолюбие, свое состояние и существование.

Рабство в конкубинате гораздо тяжелее рабства супружеского; оно обуславливается чувственностью, любовью и сладострастием, тогда как брак имеет целью освобождение от плотского ига ради подпадения игу разума, чести и права.

Свободная любовь — тиран;

этого тирана воспевали все поэты.

Мужчина, ты даешь свободу женщине в ущерб твоей собственной жены: женщина, ты отдашься любовнику в ущерб твоей чести и счастья.

Не поверяй ни своих тайн, ни своих дел любовнице: она злоупотребит твоим доверием.

Не требуй от нее услуг: она превратит их в орудие тирании.

Не поддавайся влиянию любовницы, не давай ей ни обязательств, ни обещаний. Держись в отдалении, поступай с ней, как будто вы должны были бы поссориться завтра.

Уважающий себя мужчина

может убить свою неверную жену. Я не смею предположить, что он имеет право дать щелчок своей любовнице. Она *свободна*; ты желал ее таковою, свобода составляет основу конкубината. Любовница твоя в этом отношении разделяет участь куртизанки — женщины, свободной по преимуществу: она не имеет права на удар кинжала.

Ревность — всегдашняя спутница свободной любви: она неизвестна супругам. В браке она печалит, оскорбляет; в конкубинате же она воспламеняет гнев соперничества, гложет, бесит, подвигает к убийству. В конкубинате неверностью задевается самолюбие,

тщеславие, гордость; в браке же попирается право. Неверность любовницы обусловлена самой свободной любовью, любовник не имеет права мстить заранее; тогда как убийство неверной жены есть акт супружеской справедливости.

Супружеская любовь исключительна, священна; потому—то нарушение ее составляет преступление, наказуемое смертью. Свободная же любовь не исключает многоженство, как доказывал это Фурье и примером чему могут служить жители Востока, живущие в полигамии, потому—то взаимная клятва верности любовников сама по себе ничтожна и единственным

дозволенным мщением за неверность любовницы может быть разлука и презрение.

Преданность выше любви; супружеский закон носит характер скорее юридический, чем эротический.

Цивилизация должна излечить нас от рабства пролетариата, полигамии, проституции точно так же, как и от смешения полов, делая воспитание мужчины все более и более мужественным, а воспитание женщины все более и более женственным.

Конкубинат не может быть признан в демократическом обществе легальной формой союза

мужчины с женщиной. Он принадлежит исключительно аристократическим нравам.

Однако интимные отношения, не сопровождаемые обманом, добросовестно поддерживаемые, дают женщинам и детям известного рода права и обязывают мужчину на помощь, благодарность и т. п.

Любовь: она погасла, нет более жару; остались ощущения, кровь.

О любви в браке. Все жаждут ее, все желают ее, и ни один поэт или моралист не усмотрел, что любовь — *вещь надежная* только между честными и рассудительными людьми.

Делают ее судьями маленьких

девочек и двадцатилетних мальчиков.

Точно в комедии. Там царствуют прихоть, инстинкт, сумасбродство.

Принципы счастливых союзов следующие:

Во-1-х. Хорошее воспитание и достаточный рассудок заглушают в людях дурные привычки, излишек темперамента, уклонение страстей и устанавливают среднее состояние, могущее приспособиться к всевозможным положениям.

Таким образом уничтожаются несоответствия нрава, неровности характера, указывающие на невыработку личности.

Во-2-х. Свободный и рассудительный человек, наученный

обширным опытом, должен подавлять в себе наклонность к сладострастию и неводержанности, охранять свое сердце, не доверять своему воображению, быть уверенным в том, что между честным мужчиной и честной женщиной любовь всегда прочна и достойна. Супруги сойдутся, разглядев друг друга только духовными очами, и мужчина будет счастлив, если найдет в женщине следующие качества:

здоровье, рассудительность, трудолюбие, целомудрие, опрятность, способность к хозяйству, любовь к уединению и истине.

Женщина же найдет счастье при

следующих качествах мужчины:

здоровье, сила,
рассудительность, труд,
порядочность, неимение за собой
особенных пороков, каковы,
например, пьянство, сластолюбие,
вспыльчивость... прилежание,
строгость, самостоятельность
действия и мысли, усидчивость и т.
д.

Такие супруги будут счастливы и
будут взаимно любить себя, будут
преданы друг другу, и любовь их
будет ясна и свежа, как июньское
утро.

Нельзя назвать опрятной и
хозяйкой ту женщину, которая
касается нечистот кончиками

пальцев, которая надевает, во время хозяйственных хлопот, кокетливый костюм или которая, боясь замараться, бегаёт в исшлепанных туфлях и каких-либо грязных лохмотьях. Женщиной подобного рода называется та, которая, надев короткое, чистое, простое, даже грубое платье, прочные башмаки, чистый передник, не боится погружать свои руки в нечистоты, ворочает навоз, пускает в дело метлу и лихо занимается стряпней.

Муж во что бы то ни стало должен внушить к себе уважение жены, не пренебрегая для этого никакими данными ему средствами: силой, предусмотрительностью,

трудом, торговлей. Ему нужно еще обладать и проявить свое мужество, решимость, справедливость и милосердие; он должен быть добр, предан друзьям и общественному делу. В двух последних случаях женщина настолько отстала от своего мужа, что даже способна вменять ему в вину эти качества.

Женщина сотворена для семьи и чувствует весьма мало влечения к общественным делам. То, что мужчина способен сделать ради друзей и общественного блага, то женщина сделает для *самой себя* и для *своих детей* — прекрасный пример эгоизма, которому, однако, мужчина не должен следовать.

Трудно убедить его в том, что он имеет право жертвовать ради других своими детьми, своей женой, своим благосостоянием, собой. В данном случае нужно помнить слова Спасителя: *«Да не ведает левая рука, что творит правая»*^[140]. Левая рука — женщина. Мужчина не должен ждать ее согласия на предполагаемые им добрые дела; он не должен даже верить их ей. Язык женщины всегда готов оклеветать мужскую добродетель, лишь только она переступит за порог своего дома.

Лучше иметь женщину-калеку дома, чем расторопную на гулянье.

Сладострастие должно быть рассудительно и не вполне

овладевать человеком; оно необходимо должно требовать сердца, откровенности, совести и воспитанного вкуса.

Не удовлетворяя этим требованиям, оно становится излишеством, испорченностью, развратом.

Ум, вкус, честность, свобода — вот четыре главнейших условия счастья, которыми должна обладать честная, скромная и трудолюбивая женщина.

Для того чтоб быть счастливым с женщиной, нужно: во—1—х, уважать ее; во—2—х, любить, только не страстно, а нежно; в—3—х, превосходить ее насколько возможно

состоянием, способностями, мужеством, силой, преданностью, одним словом, нужно, чтоб она во всем видела ваше превосходство и чувствовала бы себя обязанной вам.

Любовная страсть здесь ни при чем.

Кротость, самопожертвование — все.

Некий романист, не знаю, кто именно, написал книгу под заглавием *«Тридцатилетняя женщина»*^[141], другой же написал — *«Сорокалетнюю женщину»*. Труд их принес бы немалую пользу, если бы они не отнеслись серьезно к страстям и заблуждениям женщины, достигшей уже сорокалетнего

возраста.

В обыкновенных супружествах первые десять, пятнадцать, даже двадцать лет дело идет одинаково хорошо.

Потом, когда уже есть дети на возрасте, женщиной внезапно овладевает свойственная ее полу меланхолия, составляющая важнейший перелом в ее нравственной жизни. Она начинает размышлять о своей жизни, о семейных и общественных условиях женщины, и в конце концов она приходит к тому убеждению, что женщина — жертва, существо низшее, жизнь которой не имеет никакого значения как для нее самой,

так и для других. Ее гордость возмущается, она делается раздражительной, впадает в ипохондрию, в мизантропию; у нее появляются минуты беспричинной тоски, слезы, не вызванные горем. Она корчит равенство, подтрунивает над своим господином. Она начинает своевольничать в отсутствие мужа... Нужно подавить это, не терпеть ни малейшего возмущения.

Каково ее назначение на земле? Я думаю, что ее участь весьма счастлива и завидна; что природа и воспитание щедро одарили ее; что, не имея состояния, она внушила к себе любовь человека честного, умного, великодушного, сама

полюбила его и вышла за него замуж. Я предполагаю, что она насладились всеми прелестями любви, всеми выгодами состояния, всеми общественными отличиями, всем семейным уважением, всеми радостями материнства; пробил час, и она чувствует себя несчастной. Я родилась, говорит она, не для себя, а для другого, я не центр, а только радиус, моя жизнь — не жизнь, а только дополнение чужой жизни. Я была любима, считала себя счастливой и... ошиблась! Он взял меня для *себя*, а не для меня. Я игрушка, мебель; мною восторгались, меня окружали, хвалили, отличали; я имела успех; он

пользовался всем этим как собственник. Разве я не носила его имя? Женщина не имеет своего имени. Она существо без имени; она — не более как жена Пьера или Поля. Я отдалась ему невинной и ослепленной; он взял меня по своему желанию. Чему послужили мои лучшие годы? Его счастьем, которому все завидовали, и рождению ему детей. Женщина — машина для воспроизведения. Он приказывает, я повинуюсь; он идет, я следую за ним. Теперь все кончено, лучшие годы прошли: что я теперь? Прикована, изношена, одинока; скоро буду бабушкой, предметом всеобщего осмеяния. А он! Его авторитет,

могущество растут с каждым днем; чем обильнее его морщины, чем шатче походка, согбеннее тело и седее голова, тем сильнее, достойнее и могущественнее становится он.

Слава мужчины растет до самой его смерти; слава женщины начинает меркнуть с первого дня ее замужества. Я, однако, принадлежу к числу счастливых! Что же другие? Какой позор!.. Я отдала бы всю жизнь мою за один день свободы, независимости, жизни личной; так как, в конце концов, мы не можем назваться личностями. Личность женщины теряется в семье и нераздельна с ней.

Подобного рода умственная

немочь овладевает преимущественно женщинами зажиточных классов общества, женщинами, обладающими досугом и воспитанием, счастливицами, которым все завидуют.

Она редко, почти никогда не встречается среди женщин из народа, там, где деятельная жизнь и гнетущая нужда не дают времени для размышлений. Жизнь мужчины, в особенности же жизнь мужчины из народа, — битва; женщина его *гетера*, товарка, маркитантка. Им нет времени спорить о превосходстве или преимуществах. Нужно вести борьбу; роли распределяются сообразно наклонностям; никто не

имеет времени спрашивать себя, составляет ли он цель или же служит средством другому; играет ли он роль оси или радиуса, солнца или планеты.

Болезнь эта часто производит ужасные опустошения: одни становятся вполне непокорными; другие, не зная, что делать со своей свободой, бросаются в прелюбодеяние; некоторые, пылая ненавистью к своему полу, кидаются в гетерогеническую любовь. Многие семьи после пятнадцатилетнего тихого счастья превращаются, без всякой видимой причины, в настоящий ад.

Сорокалетняя женщина,

осажденная этим Асмодеем, начинает сожалеть о своем браке; она забывает мужа, детей, хозяйство; все внушает ей отвращение, становится для нее безразличным, невыносимым; она ищет самую себя и не находит.

Требуется благополучно пережить кризис; от тебя, мужчина, вполне зависит цело и невредимо пройти это ущелье, излечить эту болезнь. Лишь только ты по некоторым признакам нетерпения, мелким посягательствам на твою независимость, по горечи некоторых размышлений заметишь наступление зла, нужно тотчас же усвоить себе холодно рассчитанный, строгий

образ действия.

Увещания, проповеди совершенно излишни; болезнь эта не поддается ни рассудку, ни логике; все твои слова пропадут даром.

Ты не можешь отрицать справедливость причин, раздражающих твою жену, и прекрасно. Вместо того чтоб облегчать ее положение, ты должен сделать его, не говорю —более невыносимым, но более непреодолимым и неизбежным. Ты должен сделаться представителем рока. Ты не должен ни унижать ее, ни скрывать твоих преимуществ, ни рассеивать ее: она сочтет тебя за лицемера или за слабоумного; ты

сделаешься в ее глазах отвратительным. Оставь ее одну с ее горем, не говоря ни слова, не оказывай ей ни малейшей ласки. В эту минуту она не жена твоя, твоя любовь будет противоестественной, поставь себе за правило полнейшее воздержание. Ты погубишь иначе и себя и ее. Ты должен действовать иным средством.

Строго наблюдай за собой и, воздерживаясь от супружеского ложа, строго соблюдай верность. Не позволяй себе ни одного любезного слова или жеста ни направо, ни налево. Твоя жена больна, ты должен жить анахоретом, как бы ты жил, если б она была в родах. Это

увеличит твою власть: она скоро заметит твое поведение.

Удаляясь от любви и нежности, ты должен удвоить свое рвение к занятиям, как касающимся лично тебя, так и тем, которые относятся к хозяйству. Твоя жена страдает; разум ее поврежден, сердце смягчилось, обращай с ней, как с больной, не издавая не одного упрека, докажи ей, что ты смог бы справиться с хозяйством даже в ее отсутствие.

Пусть разговоры ваши касаются только будущего: воспитания детей, приданого дочерей, расходов, требуемых этим, затрачиваемых тобою, ради этого, усилий, принимаемых мер и проч. Жена

будет невольно убеждаться в твоём превосходстве, она увидит и твоё порабощение, она поймет подчинение и зависимость твоей жизни, поймет, что ты твердо и неуклонно, без жалоб и без корысти, шествуешь по пути жертв и долга, тогда как она слабеет и изнемогает. Рано или поздно она почувствует угрызения совести. Ее природа возьмет верх: поплакав и повздыхав, она утешится в своем одиночестве, захочет обновиться, нравиться и сделаться опять молодой, — она спасена тогда, и власть твоя упрочена!

Я рассуждаю об отношениях мужчины к женщине точно так же,

как и о праве собственности.

Человек может только в силу личной справедливости мотивировать и узаконять свою поземельную собственность, которая на самом деле не что иное, как узурпация. На основании того, что человеческое общество и свобода несовершенны вне собственности, я вывел заключение о необходимости справедливости.

Я утверждаю точно так же невозможность союза женщины и мужчины вне брака и подчинения женского пола мужскому; преимущество мужчины узаконяется справедливостью, которая и делается ее необходимой принадлежностью.

Эта справедливость к женщине
облегчается ему любовью.

Будьте справедливы и всецело
владейте, по праву господства, всей
землею! Справедливость делает всех
вас властелинами; природа
составляет ваши владения.

Будьте справедливы и обладайте,
по праву превосходства, вашими
женами; справедливость,
составляющая вашу принадлежность,
выше любви, выпавшей на долю
женщины; без справедливости вы не
сумеете ни достойно любить, ни
быть любимыми.

Всякая противоположная
доктрина есть проституция,
отрицание права; она должна быть

преследуема и наказуема. Не пугайтесь непрестанных притязаний жен ваших! Природа вложила в них постоянное стремление к господству, и, по моему мнению, они вполне обладают правом постоянно испытывать нашу власть и справедливость, для того чтобы удостоверяться в заслуженности их любви.

Не нужно обманываться: женщины, несмотря на свою ветреность, любят в нас именно справедливость, силу и труд. Что же касается ума, то женщины всегда думают обладать им в равной с нами степени.

Я принадлежу к числу мужчин,

которые вполне довольны знаниями женщины, умеющей чинить наши рубашки и готовить нам бифштекс; не знаю, какая женщина может счесть себя оскорбленной этим.

Я положительно отрицаю женскую гениальность.

Я говорю, что человеческий род за целых шесть тысяч лет не обязан женщинам ни одной мыслью; я не принимаю в расчет ни Цереру, ни Палладу, ни Прозерпину, ни Изиду; но...

Я заметил, что из двенадцати женщин артисток или литераторов, певиц, ученых или философов десять по крайней мере принадлежат к числу женщин легкого поведения.

Что скажут на это госпожи L. и d'H.?

Я знавал, напротив, множество женщин с прекрасным сердцем, великой душой и умом, которые, не жалуясь и не уставая, в продолжение целых пятидесяти лет опраивляли мужу постель, стирали его носки и готовили ему кушанье. Все они были честны, осторожны, мужественны и опрятны.

Нам скажут, что женщины имеют такое же право на *развлечения*, как и мужчины.

Я с этим не согласен.

Но если б это было и так, то, во всяком случае, ни один мужчина не пожелает себе *развлекающейся* женщины. Чья же будет вина, если

эти женщины, прозабавившись до сорокалетнего возраста, умрут от бедности и тоски в пятьдесят; ведь никто не может заставить нас жениться на них.

Разве мы не можем распоряжаться собой?

Мы можем брать или не брать.

Современная порнократия. Говорят о новом феодализме, — феодализме индустриальном. Весьма печальный **pendant** к нему представляет ПОРНОКРАТИЯ.

В современном обществе ДЕНЬГИ играют первую роль, ПОРНОКРАТИЯ же — вторую.

Давно уже слышится фраза: *все делается посредством женщин*. За

последние тридцать лет эта фраза сделалась теорией, вошла в книги, приобрела себе партию.

Порнократия и мальтузианизм легко уживаются вместе. Они переплетаются, соединяются между собой, относятся друг к другу как причина к следствию.

Один проповедует уничтожение детей, другая научает, каким образом можно не иметь их.

Первый требует полиандрии для женщин.

Вторая — полигамии для мужчин.

Оба вместе — смешения полов.

Такова тайна мальтузианства.

Жизнь есть пир, говорит

Мальтус; *браво*, отвечает
порнократия; мы стремимся к
удовольствию, наслаждению и
счастью.

Мало работать, много
потреблять и заниматься любовью.

Вне свободы и права нет
спасения!

При свободе и праве нет более
изнеженности!

Производитель получает все
гарантии, тщетно требуемые им от
централизации, предоставляющей
его собственным силам. Наступает
конец царству женщин. Французская
нация, сохраняя свои качества,
приобретает еще качества других
народов.

Корень проституции лежит в *чувственности* и *идеализме*: она может назваться подчинением их цели низшей, наслаждению и сластолюбивым утехам.

Всякое учение, которое, вместо того чтобы умерять воображение и чувства, подчинять страсть справедливости, стремится удовлетворять и льстить им, влечет за собою блуд и порнократию.

Такова, например, любовная философия Ж. Ж. Руссо, точно так же, как и натурализм Бернардена де Сен-Пьера. Оба эти писателя весьма строгие моралисты в лучших местах своих сочинений; их намерения всегда чисты; но в них просвечивают

иногда двусмысленные тенденции, которыми они обязаны уступкам, делаемым ими любви, тенденции, которые отразились также на их жизни...

К этой категории принадлежат все древние и современные *идолопоклонники*, артисты и *dilettanti*[\[142\]](#). Преобладание эстетического принципа над принципом юридическим и нравственным составляет настоящую основу порнокрапии. Этим—то путем все люди доходят до проституции совести, к пренебрежению правом, к эпикурейской философии; ими овладевает вначале артистическое наслаждение, поклонение

прекрасному, а затем эпикуреизм и сенсуализм.

Все артисты и литераторы, за весьма немногими исключениями, все — люди не особенно нравственные, чувствуют мало уважения к праву и ведут далеко не образцовую жизнь.

Альбрехт Дюрер, Рембрандт и др. вели иного рода жизнь...

Причина зла заключается в учениях сенсуалистических реформаторов — Гельвеция, Сен-Ламбера и др., а в наше время сенсимонистов, фаланстериан, коммунистов, последователей учения Анфантена.

Последний поставил себе

задачей реабилитацию плоти; он не мог иначе понять духа революции, уничтожающей его учение. Он обоготворяет богатство, роскошь, любовь и сладострастие.

Фурье строит свою систему на развитии страстей, на их свободе и природном равновесии. Самопожертвование излишне; жертва не может существовать.

Оба забывают, что способность потребления и наслаждения превосходит способность производства; что человеческий труд только с неимоверными усилиями может доставить каждому очень ограниченное благосостояние; что сладострастие гораздо сильнее

влечет нас, чем труд, и что если последний не поддерживается высшей, строгой, повелительной силой совести, то наступает царство анархии и беспорядка.

Идеал указывает людям на нечто высшее, совершенное...

Показывая золото, драгоценные сосуды, различного рода драгоценности, мы не научаем еще умению налаживать богатство!

Заставляя маршировать солдат, угрожая Европе 600 000 штыков, мы еще не обладаем влиянием и силой!

Обманивая, пускаясь на различного рода хитрости, мы еще не вполне постигаем искусство политики.

Давая нюхать запах различного рода яств, мы еще не научаем готовить кушанье!

Разве достаточно быть больным или здоровым, для того чтобы знать медицину?

Разве любовь и брак заключаются в созерцании обнаженных красот?

Разве справедливость заключается в конституции, кодексах и процедуре?

.....

.....

Да, тысячу раз да, все безнравственно, все заслуживает упрека пред лицом справедливости.

Собственность есть кража.

Община есть разложение!

Конкуренция есть разбой!

Торговля есть спекуляция!

Власть есть насилие!

Всеобщая подача голосов есть
анархия!

Любовь есть прелюбодеяние!

Труд есть рабство!

Но это не мешает им, однако,
быть необходимыми частями
общественного устройства.

Других не существует.

Они составляют силы духовного
мира и мира экономического.

Что же освещает и упрочивает
их?

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Самолюбие и принцип

справедливости:

Чем более я сознаю свою красоту, тем более я уважаю себя.

Чем сильнее я люблю, тем сильнее мое желание нравиться и тем более я уважаю себя; но чем более я уважаю себя, тем справедливее.

Все чувствуют себя сильными, повторяя старое, как мир, избитое правило, что любовь управляет людьми, что она торжествует над героем, точно так же, как и над рабом, над мудрым, точно так же, как и над невеждой, что ее могущество непреодолимо, неизбежно.

Существует еще много роковых и непреодолимых влияний! Что же

доказывается этим?

Вы неизбежно должны есть и пить; это еще не доказывает вашу обязанность получать наш обед со стола или кухни соседа. Вам нужно работать, честно зарабатывать ваш обед, и делать это каждый день!..

Да, любовь всесильна! Но не похищайте чужого добра; покоритесь условиям нормальной любви — браку, с вытекающими из него последствиями.

Конкубинат составляет, по законам природы, смертельный грех. Законодатель должен изгнать его... Цивилизация идет по этому направлению.

Смешение понятий и анархия

идей ведет нас к разложению и проституции.

Проституция же и умственное разложение влечет за собой хаос: одна обуславливается другим.

Безнравственный человек не обладает ни нравственными, ни религиозными, ни философскими принципами; он поступает вопреки своей совести. Проницательность ума несовместима с потемками нравственного сознания.

Беспорядок влечет за собой беспорядок; порядок же обуславливается порядком.

Оба непрестанно ведут войну между собой.

Просветите умы, и вы исправите

нравы; очистите совести, вложите в сердца веру в справедливость, и они переделают учение, свою философию, свою науку.

Потому—то женщина, рассудок, привычки и стремления которой противоречат ее способностям, ее добродетелям, скоро утрачивает нравственный и здравый смысл. Она становится *животным*.

Французский народ есть народ—женщина.

Он обладает прекрасными высшими способностями; он любезен в обществе, одарен скорым соображением, симпатичностью, податливостью, общежитием, щедростью, восприимчивостью к

прекрасному и геройством.

Он производит великих гениев, великих писателей, великих мыслителей, великих артистов, великих изобретателей, великих ученых.

Он будет идти вперед, пока стоит мир, и никогда не решится отстать от других народов. Он старается делать все лучше других, и горе странам, тормозящим его стремление.

Несмотря на все это, всеми признано, что француз, всегда готовый воспламениться и взбунтоваться, не обладает, как и женщина, возвышенным чувством свободы, гражданской и

политической. Он, как женщина, не понимает свободы и мало заботится о ней.

Он, как женщина, легко делается жертвой лести.

Он должен быть сдерживаем смесью ласки и приказа, как дети и женщины. Он лишен достоинства свободного человека и нравственного смысла, высшие дары эти слабы в нем, как и в женщине.

Он тщеславен, как женщина, легковверен и шарлатан, как они. Так как правительство служит всегда выражением общества, то часто случается, что управление Францией находится в руках посредственности, умов, не имеющих в себе ничего

мужественного и носящих
фальшивые бороды.

Революция 89-го года произвела
несколько настоящих мужчин;
демократия отвергла их и забросала
их грязью. Мирабо, Дантон.

Но она поклонялась Робеспьеру.

Франция не сумела оценить ни
Ришелье, ни Кольбера, ни Тюрго; она
всегда предпочитала им Фуке, Лувуа
и Неккера.

Это заметно даже в клубах при
раздорах партий.

Журнал, имеющий много
подписчиков, всегда будет ниже
посредственности.

Французская революция не есть
дело нации.

Нация отвергла Тюрго; она игнорировала Мирабо; она не поняла Монтескье, она не знает, что такое конституционная система; она не доверяет людям с принципами, но зато она всегда проявляет нежность к людям чувства.

Нация, это теперь уже всеми признано, стояла ниже уровня революции.

Бонапарт, утверждая конституцию VIII года, сказал, что народ еще не созрел для свободы; он не созрел ни в 1814, ни в 1830, ни в 1848, ни даже в 1860 году; он никогда не созреет.

Франция сделается свободной, только не благодаря своей зрелости.

Она сделается ею тогда, когда будет свободна вся Европа, когда совершатся экономические реформы и когда отставать ей будет уже невозможно. Она останется тогда свободной потому, что никто не станет препятствовать ей в этом; сама же по себе, силой своего суждения, энергией своего характера, гордостью души, чувством права и законности, она никогда не достигнет свободы. Она не способна на это, ей препятствует ее демократия.

Рак, гложущий Францию, составляет культ любви и сладострастия.

Республиканская партия

благоприятствует этой
отвратительной наклонности.

Воскресные журналы в пять
сантимов. Народ, пресыщаемый
романами; вместо просвещения —
удовлетворение сластолюбия.

Погибшая нация, не имеющая ни
призвания, ни значения, — новый
Вавилон, господство которого она
встречает музыкой своих 130 полков,
всюду употребляющая силу, силу не
полезную, не добродетельную, не
промышленную, а силу грубую,
военную, бесплодную.

Доклад господина Делангля об
уголовной статистике Франции в
1850—1860 годах и статья в 60-м
номере **Revue britannique belge**

служат лучшим доказательством страшного понижения общественной нравственности за последние десять лет во Франции.

Уменьшение преступлений против общественного порядка, разбоя, убийства — всего, что предполагает известного рода энергию, но зато увеличение преступлений, носящих подлый, трусливый и гадкий характер.

Преступления против нравственности, совершенные преимущественно над детьми обоих полов.

Детоубийства.

Всеобщий блуд, прелюбодеяния (не преследуемые законом); бродячая

жизнь.

Преступление против чести, утонченное мошенничество, обман, ажиотаж, игра, взяточничество, продажность, измена, неблагодарность, лицепрятие, злостное банкротство, отвращение к труду и проч.

Даже преступление приходит в упадок! Нация, напоминающая нам Италию в XVI столетии!

Как поклонению истинного Бога противилось язычество и иудейство, точно так же растление препятствует культу справедливости и уважения к человечеству.

Проституция! Она — достоинство, приносимое в жертву

алчности, гордости, наслаждению — всему, что есть дурного в человеке. *Мы сами*, а не другие растлеваем себя.

Продажность женщины — самая обыкновенная форма проституции. Видоизменением ее является продажность ума и таланта; продажность политическая. Всякая проституция берет начало в любовном блуде.

Романисты, драматурги, поэты, прославляя любовь и сладострастие, побуждают к проституции.

Всякая сенсуалистическая и чувственная философия есть проституция:

проституция политическая;

проституция семейная;
проституция любовная;
проституция тщеславия.

Все сводится к наслаждению,
самая изысканная, самая дорогая,
самая всеобщая, самая основная
форма которого есть сладострастие.

Прежде совершалось не менее
грехов. Но разница существует
огромная. Прежде уступали
давлению страсти и верили в
целомудрие и стыдливость; теперь
же стыдливости не существует.

Сущность любви составляет
отрицание любви посредством
любви.

Любовь со времен Руссо взяла
верх над стыдливостью; мы видим,

что произошло из этого.

Я был смешон, говоря столько хорошего о женщинах.

Современная порнократия и изнеженность. Зараза распространяется повсюду — в Бельгии, Германии — точно так же, как и во Франции.

Франция опьянела при Людовике XIV от военной славы и внешнего блеска.

Двадцать лет после его смерти она утратила уже воспоминание о своих поражениях и потерях.

Она сделалась вольнодумной при Вольтере, Монтескье и Дидро...

Она сделалась сентиментальной при Руссо; сладострастие боролось в

ней с любовью к роскоши.

Она снова опьянела от милитаризма, сына казармы, при Наполеоне I.

Потом ею овладела лихорадка *дилетантизма, индустриализма, банкократии, якобинства.*

Мужская сторона ее способностей слабела с увеличением ее распутства.

В настоящее время она — проститутка.

14 июня 1862. Присутствовал в Брюсселе, в «spectacle du Parc»^[143], представление даваемо было Ровелели, прежним артистом Пале-Рояля, товарищем Тузе и Грасо.

«Une fièvre brulante; — Chez

une petite ydame; — La ferme de Prime Bosc»[\[144\]](#).

Все эти три пьесы могут служить хорошим примером возбужденности чувств, сладострастия и неприличия, овладевшего современными авторами. Публика мало понимает их, несмотря на свое распутство.

Первая пьеса, какого-то Мелесвиля, похожа на **satyriasis**[\[145\]](#). Она описывает влюбленного или, скорее, жаждущего женщин молодого человека, удерживаемого застенчивостью, равной его половому бешенству. Он постоянно рассуждает, постоянно погружен в сладострастные мечты; он приходит

в отчаяние от своей трусости, экзальтируется, хочет посягнуть на самоубийство, то ненавидит женщин, то боготворит их и, наконец, превращается в животное, впадает в ликантропию [\[146\]](#) и лает (от любви), как собака!...

Все это пересыпано сальными остротами, двусмысленными, неприличными сценами...

А ведь во Франции есть цензура!

Автор выводит на сцену трех девушек, переодетых мальчиками и приглашающих к себе своего соседа; эти же самые девушки, одетые уже женщинами и которых влюбленный все еще принимает за мальчиков,

хвастаются тем, что могут без всякого волнения целовать его!

«**Chez une petite dame** ". Нравы полусвета; наименее безнравственно. «**Dans la ferme**»: попытка оболъщения принцем Галльским, переодетым мясником, молодой фермерши. Это еще ничего. Но молодая **miss** находится в услужении у фермера, любящего ее, как сестру, и желающего, ради облегчения ее, жениться на ком—либо. Смесь *братства и любви!*

Одного взгляда на современный театр достаточно, чтоб убедиться в развращенности авторов и испорченности вкуса публики.

Нет слов для выражения всего

неприличия изображаемых нравов.

Проституция. По мнению Б., она стремится сделаться всеобщей. Нельзя доверять ни одной женщине, ни одной девушке. Те, которые обладают достаточным состоянием, которых нужда не заставляет продаваться, бросаются в разврат от нечего делать, из любопытства, вследствие чувственности и сладострастия.

Мне приходилось слышать рассказы про ночные прогулки молодых девушек в Спа. Дома запирают только на задвижку. Отцы и матери спят, утомившись рулеткой, а дочери выходят на цыпочках из дому и берут себе минутного

любовника, прогуливающего их, при лунном свете, в горах; нелишне будет здесь припомнить стих Ювенала:

...Nil in montibus actum?[\[147\]](#)

В. рассказывал мне, что ему предлагали список девушек от четырнадцати—до восемнадцатилетнего возраста. Угодно брюнетку или блондинку, большую или маленькую, толстую или худую?.. Можно выбирать. Все богатые холостяки или вдовцы преследуются своднями.

Существует ли тут действительное наслаждение, спрашиваю я.

Нет! Тут дело в глупости, настоящей потребности,

отсутствии наслаждения, нежности, искусства. Чувствуется потребность в сыром мясе, каннибальское тщеславие, желание «de croquer un tendron». Работница не может существовать одним трудом — это всеми признано; она призывает на помощь проституцию. Женщина терпит лишения, муж падает духом, начинаются долги, обманы ради поддержания мнимой роскоши. Призывается опять проституция.

Встречаются молодые девушки, которые, ради поддержки своих родителей или воспитания маленьких братьев и сестер, решаются, удрученные неизлечимою нищетою и в надежде облегчения, на

продажу самих себя. Это крайнее решение редко угадывается кем-либо, так как они держат его в тайне. Зато они делаются впоследствии ожесточенными врагами мужчин. Когда первый стыд побежден, они становятся самыми искусными и самыми неумолимыми эксплуататорами.

Впрочем, проституция составляет главный источник вражды между женщиной и мужчиной; она уничтожает любовь, развращает чувства и делается принципом противоестественных наслаждений.

По словам Б., слышавшего это от полицейского агента, в Брюсселе существует от 1800 до 2000 лиц

подобного рода поведения.

Случается, что несколько мужчин составляют между собой складчину и содержат на эти деньги любовницу — факт, доказывающий крайнюю степень развращения. Общность подобного рода в высшей степени подла. Одиночные посещения публичной женщины во сто раз лучше.

Конкубинат, или свободная любовь, который можно было бы назвать *свободным браком*, делается все реже и реже. Молодежь, утрачивая стыд, недолго останавливается на нем. Предпочитаются союзы гораздо более стоящие и возбуждающие.

Европа переполнена лоретками.

Знаменитости этого рода, десятки которых пришлось мне видеть в нынешнем году (1859) в Спа, не отличаются, как можно было предполагать, ни молодостью, ни красотой, все они — двадцатипяти— или тридцатилетние женщины, отцветшие, поблеклые и утратившие уже свежесть молодости, утонченные и опытные в разврате, прославившиеся своими скандальными похождениями, разорившие много мужчин и ведущие большую игру... Угасшая любовь и притупившиеся чувства всегда сменяются тщеславием и любопытством. Это понятно.

Большинство мужчин, не имея возможности отличиться в чем-либо или приобрести себе состояние трудами, честностью и другими качествами, без которых немислима жизнь, заявляют себя, как школьники, шумом, криками, игрой, развратом, лошадьми, костюмами и проч....

Это наводит меня на иного рода мысли.

Каждый мужчина может отличиться чем-нибудь, может удовлетворить свое самолюбие и приобрести уважение, если только он пожелает этого. Труд, прилежание, постоянство, ученье, строгая честность, верность в

дружбе доступны каждому, при всевозможного рода житейских условиях, даже и в наш век всеобщего разложения. Но, скажут мне, в обществе, состоящем из честных людей, отличиться гораздо труднее. На то я отвечу: сделаемся честными, и нам не нужно будет отличия, мы будем пользоваться тогда всеобщим счастьем, взаимным уважением, преданностью и братством. Мы будем вполне обновлены.

Журналы стали предлагать свои услуги разного рода двусмысленными объявлениями в энигматической форме. Мне указали на **Office de publicité u etoile belge**^[148].

В Америке нет обладателя мало—

мальски хорошеньких негритянок, который не был бы сводней. Негритянка, зарабатывая полевыми работами 2 доллара в неделю, приносит пятьдесят, если торгует собой.

Все пороки цивилизации находят полнейшее удовлетворение в Нью-Йорке.

Во всей Европе существуют кафе-шантаны, игорные дома, снабженные женщинами.

Всякая роскошь вырождается в сластолюбие; всякое богатство вовлекает в излишество.

Чтение любовного романа и следующее за ним посещение дома терпимости приносит гораздо более

вреда, чем целая неделя усидчивого труда.

Отсутствие стыдливости и религии крайне развращает семьи. Спросите женщин. Вы услышите нескончаемые анекдоты, полные бессмыслицы и бесстыдства. Посмотрите на семью рабочего, и вы увидите, что такое сами мужчины.

Строгость полиции, критики, артистов, литераторов, отцов семейств положит предел безнравственности.

Все развратилось, кончая даже древними пуританами якобинства. Поблекшая молодость; ничто не говорит у ней о совести; отступники веры отцов.

Нужно организовать пропаганду против безнравственности молодых людей и своеволия женщин. Первое условие власти заключается в умении управлять своими чувствами и желаниями.

Лучше обладать деревянной ногой на дому, чем кринолином в опере.

Наше время производит только похабные фотографии, портреты лореток **inter duas**^[149].

Нужно уничтожить дурные натуры и возобновить породу исключением из нее негодных индивидов, по примеру англичан, улучшающих посредством питания породы быков, овец и свиней.

Благовоспитанной девушкой называют женщину, получившую весьма скверное воспитание или же совершенно бесполезную.

Нужно изучать расы, обладающие наилучшими хозяйками. Фламандку, швейцарку, русскую. Любопытны в этом случае результаты скрещиванья.

Нужно безжалостно выживать женщин ленивых и порочных, сотворенных для роскоши, туалета и любви.

Право силы — Вы говорите о ней, как слепой о красках, по привычке, в силу известных предрассудков, по примеру детей, женщин и всех людей, не умеющих

мыслить. Право это древнее и на практике важнее других. Все пароды принуждены исповедовать его и заставлять уважать его под страхом собственной гибели.....

.....
Только семья способна дать жизнь нашему уму и сердцу, внушить нам любовь, преданность и благоговение, дать нам благочестивое спокойствие и глубокое нравственное чувство.

Я хотел бы водворить среди людей новый *патриархат* или *патрициат*.

В них мужчина обретает власть и уважение к самому себе —

женщина становится скромною и достойною уважения; в подобного рода союзе есть нечто таинственное, божественное, не противоречащее разуму, но превосходящее его.

В конце концов справедливость, как бы мы и ни объясняли ее, остается тайною, как сама *жизнь*; супружеская любовь, любовь, облагороженная правом, лишенная чувствительности и идеала, — тоже тайна; женщина таинственна как воспроизведение или красота.

Построим на этом основании непреклонную справедливость, строгую мораль, неприкосновенность свободы воли, стремление к истине, знанию,

равенству и стыдливости; отнесемся осторожнее к семье: у нас будет религия.

Мы потеряли привычку углубляться в самих себя, — мы не умеем жить сами с собою, быть счастливыми, благодаря своей совести. Мы бежим от самих себя; мы непрестанно ищем сообщества других: наша жизнь — толкотня. У нас нет семейной религии. Отец и мать скоро надоедают друг другу; они скучают вместе, как люди, не обладающие ни совестью, ни нравственностью, в прежнее время они проводили час в церкви — и целый день проходил мирно и спокойно. Теперь же им нужны балы,

вечера, театры, опьянение. Они обретают мир только в труде, в усталости.

Думают помочь горю, развенчивая мужчину и эмансипируя женщину, делая из супругов товарищей, членов общины, акционеров *воспроизводительного* предприятия.

Мужчина пал; женщина сделалась надменна. Что за жизнь?

Уничтожая личную свободу, вы уничтожаете общество.

Уничтожая брак, отцовскую власть, семью, вы уничтожаете общество, государство, народ. Вы устанавливаете искусственный порядок, санкционируемый силою.

Подрывая уничтожением свободы и уродованием семьи основы общества, вы ослабляете все общественные связи.

В настоящее время мы почти уверены в прогрессе. Мы стремимся к высшему порядку вещей, к вечному миру, к солидарному труду, к более справедливо распределенному благосостоянию, к всеобщей добродетели. Неужели мы думаем достичь всего этого уничтожением уважения к браку?

Или хотят уничтожить человека?

Бывают времена, когда упадок нравственного чувства переходит от лиц к целым массам: мы свидетели подобного рода явления начиная с

1848 года. Велико было разложение во времена Директории, но оно скорее было личное, чем общее. Внезапно произошел взрыв: масса развратилась и начала воздействовать на остальных. Где остановится это разложение? Не знаем.

Народ в упадке похож на тело, пораженное раком: болезнь начинается в пальце, хирург отрезает ногу. Шесть месяцев спустя болезнь появляется в колене, нужно резать дальше; наконец она доходит до живота — все кончено!

Существует принцип жизни растительной.

Существует принцип жизни животной.

Существует принцип жизни общественной.

Принцип этот проявляется в религии, в справедливости, в политике, в поэзии, в литературе, в труде и в нравах.

Порноκρατία во Франции.
Уничтожение общинной свободы и провинциальной жизни — уничтожение брака и семьи.

Нет более индивидуальностей: этого равно достигают преобразованием брака в конкубинат, свободой любви и всевластием государства. Собственность сильно поражена: проекты закона о наследии; нет более *отцов*.

Отвращение к семье в женщине;

отвращение к труду в мужчине;
развитие *функциономании*.

Отель—гарни^[150], рабочие
предместья — таково отныне
жилище; мужчине нужна должность,
рамка.

Наполеоны хвалились
уничтожением общественных прав и
свободы и истощением вследствие
этого страны; порнократия довершит
начатое дело истощением и
оскоплением мужей, заменив брак
конкубинатом.

Наполеон III, глава государства,
свободы, собственности, должностей
и пр.; Анфантен, со своей
конкубинкой, глава семей,
исповедник мужей и пр.. император,

первосвященник.

Не надо теорий, идей, доктрин, систем! Прочь разум, да здравствует неожиданное! да здравствует произвол? Мнение испытывается; его пробуждают, направляют; и потом vox populi, vox Dei^[151].

С одной, как и с другой, стороны организуется война против семьи и индивидуальности.

Никто не хочет более ни брака, ни права.

Существует стремление к всеобщей проституции. Это очевидно.

Признания и теории женщин-авторов вполне подтверждают это.

ЛЮБОВЬ РАДИ ЛЮБВИ —

таков их девиз....

Подобного рода любовь исключает брак, заботу о детях, она хочет разнообразия, т. е. ПРОСТИТУЦИИ. Вот до чего мы дошли.

Идеи вяжутся между собою.

Кто хочет уничтожения брака, эмансипации женщины, тот хочет также уничтожить право и свободу; тот стремится к мужеложству.

Личность ничтожна в конкубинате, поставленном на равную ногу. В торговом предприятии более сильный компаньон всегда увлекает другого: равенство их неудобно, тогда, чаще всего, происходит разлучение.

Или же власть разделяется, и каждый устраивает себе маленькое государство.

Настоящий *муж* PATER FAMILIAS^[152] — человек наиболее сильный.

Государство, состоящее из подобного рода глав семьи, не допустит у себя тирании.

Сегодня, *oguid*? Отцы подали пример трусости сыновьям своим, которые презирают их.

Если твоя личность будет раздроблена, то лучше не жить.

Тот, кто не хочет слышать, хуже глухого.

Я говорил: куртизанка или экономка, между ними нет середины;

и еще: лучше сделать из женщины затворницу, чем эмансипировать ее.

Я говорил здесь, очевидно, о женщине *распутной*. Я говорил, как Бланка Кастильская: пусть лучше сын мой умрет, нежели провинится.

ПУСТЬ ДОЧЬ МОЯ УМРЕТ, НО НЕ БУДЕТ ОБЕСЧЕЩЕНА.

В самой прелестной и в самой добродетельной женщине есть частица вероломства, т. е. зверства. Она — прирученное животное, возвращающееся по временам к дикому состоянию.

Нельзя сказать того же о мужчине.

Мужчина со всей своею волею, мужеством, умом, погружаясь

ежедневно в любовную бездну, никогда не смог бы покорить и овладеть женщиною; ему помогают болезни и недуги, которые осаждают эту львицу: беременность и роды, кормление грудью, все вытекающие отсюда немочи, разлучающие на время мужчину от женщины и позволяющие первому передохнуть; страдающая и униженная женщина принуждена тогда покориться — таков источник семейного мира.

Я беру женщину, какова она *от природы*, не в усовершенствованном ее виде. Воспитание рассеивает пороки и усмиряет ее бешенство; при продолжительном приручении совершенно видоизменяет ее. Но. для

того чтобы управлять ею, нужно знать, каковы ее природные свойства.

Женщина с годами делается все хуже и хуже.

Мужчина, в своих отношениях к женщине, должен ежеминутно давать ей чувствовать, что он не только ее любовник, но также и отец, начальник и властелин, в особенности же властелин!

Мишле не сумел вывести все последствия обыкновенно болезненного состояния женщин: это состояние имеет своей целью покой мужчины и подчинение женщины. Дикари понимали это: из дикого зверя они превратили женщину в вьючное животное; у варваров

работает женщина. Женщина пашет, а мужчина отдыхает, скрестив на груди руки. Позднее он также будет работать для нее, но тогда труд все более будет превышать силы женщины и давать ей чувствовать ее подчинение мужу.

Он будет зарабатывать ежедневно по четыре франка, она — один по той причине, что мужчина сделает в четыре раза лучше и скорее.

Помни, молодой человек, что поцелуи, получаемые тобою, сосчитаны; что они — оковы, налагаемые на тебя, и что три дня воздержания способны незаметно для тебя превратить женщину из

кроткой и влюбленной в тирана.

Капризы женщины всегда пропорциональны испытываемому ею наслаждению. Любовь с ее играми далеко не смягчает ее, напротив. Потому-то муж и жена скорее всего готовы поссориться именно в ту минуту, когда они предаются ласкам; подождите до той минуты, когда муж и жена удовлетворятся. Тогда-то между ними возникнет раздор, обнаруживая весь эгоизм, всю грубость и резкость нрава, всю черствость сердца, все зверство женщины.

Женщина раздражает, вызывает мужчину; она отвращает и злит его: еще, еще и еще!

Руссо ошибался, когда советовал замужней женщине быть осторожной и скромной с мужем. Женщина никогда не скажет: довольно! Мужчина сам должен быть настороже. Конечно, стыдливая, скромная, отказывающаяся из нежности, предвидения, уважения к мужу и самой себе женщина может назваться идеальной; но, к несчастью, таковой не существует, существует наоборот.

Мужчина должен быть воздержанным и строгим; иначе женщина, разгадав его слабость, осмеёт и пожрет его.

Женщина — хорошенькое животное. Она любит поцелуи, как

козы любят соль.

Почему же не сказать правду о том, что мы думаем о женщине и ее влиянии? Неужели мы постоянно будем жить воображением? Да и позволительно ли писателю, моралисту давать ложное свидетельство о женщине, вводить молодого человека в заблуждение и тем готовить ему в жизни много разочарования, а в браке много неприятностей? Разве ложь может возвеличить женщину? Разве женщина, ввиду своих немощей, не должна держаться в повиновении? К тому же ей нечего опасаться быть покинутою и нелюбимою, она скорее должна избегать излишней и глупой

любви.

Пусть она сознает, даже во время самых страстных ласк мужа или любовника, что она имеет дело не с простаком или глупцом. Сознание силы любимого мужчины всегда доставляет тайную радость женщине, противное было бы ей неприятно.

Женщина любит грубость и даже насилие. Романисты и романистки лицемерят, описывая, в свадебный вечер, грубость мужчины и невинность отданной ему молодой девы. В девяноста случаях на сто оказывается простаком муж.

Нет ничего сильнее эгоизма женщины: медовый, тонкий, острый,

как вымоченное в масле жало;
артистический эгоизм.

Они знают и скрывают это; но
ищи, и ты найдешь его.

Все сказанное мною
принадлежит к области
естественных наук.

Мне случалось встречать в
течение моей жизни добрых существ.

Любовь к ним, если они
молоды, соединялась с уважением, и
я постоянно чувствовал к ним
сильную привязанность.

Воспитание, религия,
продолжительная культура
совершенно переродили их точно так
же, как и долгий уход перерождает
животное. Подобные переделанные

создания способны внушить к себе некоторое доверие; нелишне, однако, быть настороже — дремать одним глазом. Предоставленные сами себе, они скоро возвращаются к первобытному дикому состоянию, как те животные, о которых я только что упоминал.

Часть женской добродетели обуславливается зверством. Женщина — самка, ищущая самца, но боящаяся его силы и выпускающая когти прежде, нежели отдаться ему.

Все это бывает незаметно во времена строгой нравственности и семейных добродетелей. Женщина является тогда хранительницей добродетели. Подобная критика

произвела бы скандал. Поэтому—то понятно негодование, возбужденное некоторыми сатирами, отцов церкви и моралистов. Во времена же всеобщего разложения, когда женщины, следуя примеру мужчин, обращаются к первобытной животности, каждый может удостовериться в справедливости подобного изображения.

Отцы церкви, гремя против женщин, имели перед глазами точно такие же примеры, как и мы в настоящее время. Возьмите женщину сераля или же свободную — это будет все равно.

Я сказал слишком много хорошего о женщине, я сожалею об

этом, но не отказываюсь от своих слов: я изображал идеальную женщину; женщина всегда идеальна, если только она недурна. Я изображал также женщину нормальную.

Мы же находимся ниже нормы.

Нужно постараться осудить все, сказанное мною о *красоте* женщин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К. МАРКС

О ПРУДОНЕ

(письмо И. Б. Швейцеру)

[153]

Лондон, 24 января 1865 г.

Милостивый государь!

Я получил вчера письмо, в котором Вы требуете от меня подробной оценки *Прудона*. Недостаток времени не позволяет мне удовлетворить Ваше желание. К тому же здесь у меня нет под рукой *ни одного* из его произведений. Однако в доказательство своей готовности пойти Вам навстречу, я

наскоро сделал краткий набросок, Вы его можете потом пополнить, сделать к нему добавления, сократить его, словом, делать с ним, что Вам заблагорассудится^[154].

Первых опытов Прудона я уже не помню. Его ученическая работа о *«Всемирном языке»*^[155] показывает, с какою бесцеремонностью брался он за проблемы, для решения которых ему не доставало даже самых элементарных знаний.

Его первое произведение *«Что такое собственность?»*^[156] является безусловно самым лучшим его произведением. Оно составило эпоху если не новизной своего содержания, то хотя бы новой и дерзкой манерой

говорить старое. В произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов «propriété»^[157], разумеется, не только была подвергнута разносторонней критике, но и утопически «упразднена». Этой книгой Прудон стал приблизительно в такое же отношение к Сен-Симону и Фурье, в каком стоял Фейербах к Гегелю. По сравнению с Гегелем Фейербах крайне беден. Однако *после* Гегеля он сделал эпоху, так как выдвинул *на первый план* некоторые неприятные христианскому сознанию и важные для успехов критики пункты, которые Гегель оставил в мистической clair—obscur^[158].

Если можно так выразиться, в этом произведении Прудона преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль этого произведения я считаю главным его достоинством. Видно, что даже там, где Прудон только воспроизводит старое, для него это самостоятельное открытие; то, что он говорит, для него самого было ново и расценивается им как новое. Вызывающая дерзость, с которой он посягает на «святая святых» политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающее тут и

там глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга *«Что такое собственность?»* электризовала читателей и при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление. В строго научной истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания. Но подобного рода сенсационные произведения играют свою роль в науке, так же как и в изящной литературе. Возьмите, например, книгу Мальтуса *«О народонаселении»*^[159]. В первом издании это было не что иное, как

«*sensational pamphlet*»^[160] и вдобавок — *плагиат* с начала до конца. И все-таки какое сильное впечатление произвел этот *насквиль на человеческий род!*

Будь книга Прудона у меня под рукой, легко было бы показать на нескольких примерах его *первоначальную манеру* писать. В тех параграфах, которые он сам считал наиболее важными, он подражает в трактовке *антиномий Канта*, — это единственный немецкий философ, с которым он был тогда знаком по переводам, — и создается определенное впечатление, что для него, как и для Канта, разрешение антиномий является чем-то таким,

что лежит «по ту сторону» человеческого рассудка, то есть что для его собственного рассудка остается неясным.

Несмотря на всю кажущуюся архиреволюционность, уже в «Что такое собственность?» наталкиваешься на противоречие: с одной стороны, Прудон критикует общество с точки зрения и сквозь призму взглядов французского парцелльного крестьянина (позже — *petit bourgeois*^[161]), а с другой стороны, прилагает к нему масштаб, заимствованный им у социалистов.

Уже само заглавие указывало на недостатки книги. Вопрос был до такой степени неправильно

поставлен, что на него невозможно было дать правильный ответ. *Античные «отношения собственности»* были уничтожены *феодалными, а феодалные «буржуазными»*. Сама история подвергла таким образом критике *отношения собственности* прошлого. То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая, *современная буржуазная собственность*. На вопрос: что она такое? — можно было ответить только критическим анализом *«политической экономики»*, охватывающей совокупность этих *отношений собственности* не в их юридическом выражении как *волевых*

отношений, а в их реальной форме, то есть как *производственных отношений*. Но так как Прудон спутал всю совокупность этих экономических отношений с общим юридическим понятием «*собственность*», «*la propriété*», то он и не мог выйти за пределы того ответа, который дал *Бриссо* еще до 1789 г. в тех же словах и в подобном же сочинении^[162]: «*La propriété c'est le vol*»^[163].

В лучшем случае из этого вытекает только то, что буржуазно-юридические понятия о «*краже*» применимы также к «*честному*» доходу самого буржуа. С другой стороны, ввиду того что «*кража*»,

как насильственное нарушение собственности, сама *предполагает собственность*, Прудон запутался во всевозможных, для него самого неясных, умствованиях относительно *истинной буржуазной собственности*.

Во время моего пребывания в Париже в 1844 г. у меня завязались личные отношения с Прудоном. Я потому упоминаю здесь об этом, что и на мне до известной степени лежит доля вины в его «*sophistication*», как называют англичане фальсификацию товара. Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь напролет, я заразил его, к большому вреду для

него, гегельянством, которого он, однако, при незнании немецкого языка не мог как следует изучить. То, что я начал, продолжал после моей высылки из Парижа г-н *Карл Грюн*. В качестве преподавателя немецкой философии он имел передо мною еще то преимущество, что сам ничего в ней не понимал.

Незадолго до появления своего второго крупного произведения — «*Философия нищеты* и т. д.»^[164], — Прудон сам известил меня о нем в очень подробном письме, в котором, между прочим, имеются следующие слова: «*J'attends votre fêrûle critique*»^[165]. Действительно, эта критика вскоре обрушилась на него

(в моей книге *«Нищета философии и т. д.»*, Париж, 1847) в такой форме, что навсегда положила конец нашей дружбе.

Из того, что здесь сказано, Вы видите, что в книге Прудона *«Философия нищеты, или Система экономических противоречий»* в сущности впервые он давал ответ на вопрос: *«Что такое собственность?»* В самом деле, только после появления своей первой книги Прудон начал свои экономические занятия; он открыл, что на поставленный им вопрос можно ответить не *бранью*, а лишь *анализом* современной *«политической экономии»*. В то же

время он сделал попытку диалектически изложить систему экономических категорий. Вместо неразрешимых «*антиномий*» Канта теперь в качестве средства развития должно было выступить *гегелевское «противоречие»*.

Критику его двухтомного пухлого произведения Вы найдете в моем ответном сочинении. Я показал там, между прочим, как мало проник Прудон в тайну научной диалектики и до какой степени, с другой стороны, он разделяет иллюзии спекулятивной философии, когда, вместо того чтобы видеть в *экономических категориях теоретические выражения*

исторических, соответствующих определенной ступени развития материального производства, производственных отношений, он нелепо превращает их в искони существующие, вечные идеи, и как таким окольным путем он снова приходит к точке зрения буржуазной экономии[\[166\]](#).

Далее я еще показываю, сколь недостаточным, порой просто ученическим, является его знакомство с «политической экономией», критику которой он предпринял, и как вместе с утопистами он гоняется за так называемой «наукой», с помощью которой можно было бы а priori[\[167\]](#)

изобрести формулу для «решения социального вопроса», вместо того чтобы источником науки делать критическое познание исторического движения, движения, которое само создает *материальные условия освобождения*. Особенно же там показано, насколько неясными, неверными и половинчатыми остаются понятия Прудона об основе всего — *меновый стоимости*; вот почему он видит в утопическом истолковании теории стоимости *Рикардо* основу новой науки. Свое суждение о его общей точке зрения я резюмирую в следующих словах:

«Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и

свою дурную сторону — это единственный пункт, в котором г-н Прудон не изменяет самому себе. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — изобличается социалистами. У экономистов он заимствует убеждение в необходимости вечных экономических отношений: у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету (вместо того чтобы видеть в ней революционную, разрушительную сторону, которая ниспровергнет старое общество^[168]). Он соглашается и с теми и с другими, пытаясь сослаться при этом на авторитет науки. Наука же сводится в

его представлении к тощим размерам некоторой научной формулы; он находится в вечной погоне за формулами. Вот почему г-н Прудон воображает, что он дал критику как политической экономии, так и коммунизма; на самом деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов — потому, что он как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали; ниже социалистов — потому, что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться — хотя бы только умозрительно — выше буржуазного

кругозора...

Он хочет парить над буржуа и пролетариями, как муж науки, но оказывается лишь *мелким буржуа*, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом»[\[169\]](#).

Как ни сурово звучит этот приговор, я и теперь подписываюсь под каждым его словом. При этом, однако, не следует забывать, что в то время, когда я объявил книгу Прудона кодексом социализма *petit bourgeois* и теоретически это доказал, экономисты, а вместе с ними и социалисты все еще предавали Прудона анафеме как завзятого

ультрареволюционера. Вот почему я и позднее никогда не присоединял своего голоса к тем, кто кричал о его «измене» революции. Не его вина, если, с самого начала ложно понятый как другими, так и самим собой, он не оправдал необоснованных надежд.

В противоположность к «*Что такое собственность?*» в «*Философии нищеты*» все недостатки прудоновской манеры изложения очень невыгодно бросаются в глаза. Стиль сплошь и рядом атроулё[170]. как говорят французы. Высокопарная спекулятивная тарабарщина, выдаваемая за немецкую философскую манеру, выступает

повсюду, где ему изменяет галльская
острота ума. Так и режет ухо
самохвальство, базарно–крикливый,
рекламный тон, в особенности
чванство мнимой «наукой»,
бесплодная болтовня о ней.
Искренняя теплота, которой
проникнута его первая работа, здесь,
в определенных местах,
систематически подменяется
лихорадочно возбужденной
декламацией. К тому же это
беспомощное и отвратительное
старание самоучки щегольнуть своей
ученостью, самоучки, у которого
естественная гордость
оригинальностью и
самостоятельностью своего

мышления уже сломлена и который, вследствие этого, как parvenu^[171] в науке, воображает, что должен чваниться тем, что ему не присуще и чего у него совсем нет. И вдобавок эта психология мелкого буржуа, который до непристойности грубо, неостроумно, неглубоко и прямо—таки неправильно обрушивается на такого человека, как *Кабе*, заслуживающего уважения за его практическую роль в движении французского пролетариата^[172]; зато он весьма учтив, например, по отношению к *Дюнуайе* (как—никак «государственный советник»), хотя все значение этого *Дюнуайе* заключается в комичной

серьезности, с какой он на протяжении трех толстых и невыносимо скучных томов [\[173\]](#) проповедует ригоризм, так охарактеризованный Гельвецием: «*On veut que les malheureux soient parfaits*». (От несчастных требуют совершенства.)

Февральская революция произошла для Прудона действительно совсем некстати, ведь он всего лишь за несколько недель до нее неопровержимо доказал, что «эра революций» навсегда миновала. Его выступление в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает

всяческой похвалы^[174]. После июньского восстания это было актом высокого мужества. Кроме того, его выступление имело тот положительный результат, что г-н *Тьер* в произнесенной против предложений Прудона речи^[175], которая потом была издана в виде отдельной брошюры, доказал всей Европе, какой жалкий детский катехизис служил пьедесталом этому духовному столпу французской буржуазии. В сравнении с г-ном *Тьером* *Прудон* и в самом деле вырастал до размеров допотопного колосса.

Изобретение «*crédit gratuit*»^[176] и основанного на нем «народного

банка» («banque du peuple») принадлежит к последним экономическим «подвигам» Прудона. В моей книге «К критике политической экономии», вып. 1, Берлин, 1859 (с. 59—64) доказывалось, что теоретическая основа его взглядов имеет своим источником незнание основных элементов буржуазной «политической экономии», а именно — отношения *товаров* к *деньгам*, тогда как практическая надстройка была простым воспроизведением гораздо более старых и значительно лучше разработанных проектов. Что кредит — подобно тому как он, например, в Англии в начале XVIII

века, а затем снова в начале XIX века способствовал переходу имущества из рук одного класса в руки другого, — при определенных экономических и политических условиях может содействовать ускорению освобождения рабочего класса, это не подлежит ни малейшему сомнению и разумеется само собой. Но считать *капитал, приносящий проценты, главной формой капитала*, пытаться сделать особое применение кредита, мнимую отмену процента, основой общественного преобразования — это насквозь *мещанская* фантазия. И действительно, мы видим, что эта фантазия подробно развивалась уже

экономическими идеологами английской мелкой буржуазии XVII века. Полемика Прудона с Бастиа (1850 г.) о капитале, приносящем проценты^[177], стоит значительно ниже «Философии нищеты». Он доходит до того, что даже Бастиа удаётся его побить, и он комично неистовствует всякий раз, когда его противник наносит ему удар.

Несколько лет тому назад Прудон написал на конкурс, объявленный, кажется, лозаннскими властями, сочинение о «Налогах»^[178]. Здесь исчезают и последние следы гениальности, и остается только *petit bourgeois tout pur*^[179].

Что касается политических и философских сочинений Прудона, то во всех них обнаруживается тот же самый противоречивый, двойственный характер, что и в экономических работах. К тому же они имеют чисто местное значение — только для Франции. Однако его нападки на религию, церковь и т. д. были большой заслугой в условиях Франции в то время, когда французские социалисты считали уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерьянством XVIII века и немецким безбожием XIX века. Если Петр Великий варварством победил русское

варварство, то Прудон сделал все от него зависящее, чтобы фразой победить французское фразерство.

Его книгу о «*Государственном перевороте*»^[180] надо рассматривать не просто как плохое произведение, а как прямую подлость, которая, однако, вполне соответствует его мелкобуржуазной точке зрения; здесь он заигрывает с Луи Бонапартом и действительно старается сделать его приемлемым для французских рабочих; таково же его последнее произведение против *Польши*^[181], в котором он в угоду царю обнаруживает цинизм кретина.

Прудона часто сравнивали с *Руссо*. Нет ничего ошибочнее такого

сравнения. Он скорее похож на *Ник. Ленге*, книга которого «*Теория гражданских законов*»^[182], впрочем, очень талантливое произведение.

Прудон по натуре был склонен к диалектике. Но так как он никогда не понимал подлинно научной диалектики, то он не пошел дальше софистики. В действительности это было связано с его мелкобуржуазной точкой зрения. Мелкий буржуа, так же как и историк *Раумер*, составлен из «с одной стороны» и «с другой стороны». Таков он в своих экономических интересах, а *потому* и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он

в своей морали, таков он in everything^[183]. Он — воплощенное противоречие. А если при этом, подобно Прудону, он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращать их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные, подчас блестящие парадоксы. Шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их *тщеславие*; подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о

сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо от всякого, хотя бы только кажущегося, компромисса с существующей властью.

Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что Луи Бонапарт был его Наполеоном, а Прудон — его Руссо—Вольтером.

А теперь я всецело возлагаю на Вас ответственность за то, что Вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи.

Уважающий Вас

Карл Маркс

М. И. ТУГАН– БАРАНОВСКИЙ ПРУДОН

Бывают исторические фразы, как и исторические события. Одна из таких фраз принадлежит Прудону. Его сочинения теперь почти забыты; но кто не знает, что Прудон решился дерзновенно провозгласить — «la propriété c'est le vol»^[184]. Эти несколько слов больше содействовали знаменитости автора, чем десятки написанных им толстых томов.

Но если вообще трудно охарактеризовать парой слов

содержание богатой и разнообразной жизни человека, то это в особенности верно по отношению к Прудону. Его всем известная фраза не только не дает нам ключа к пониманию мировоззрения автора, но способна внушить совершенно превратное представление о взглядах этого замечательного человека. Прудон вовсе не был крайним революционером; он не проповедовал грабежа и расхищения имущества богатых, как можно было бы подумать по его дерзкому сопоставлению собственности с кражей. Как общественный деятель, Прудон всего менее мог быть обвинен в беспощадном

радикализме; его упрекали, и с полным основанием, в обратном — в угодливости правительству, в склонности к компромиссу, в оппортунизме. Правда, его фраза прозвучала в свое время как звон набата. От нее пахнет кровью и дымом пожаров, она способна нарушить сон мирного буржуа и внушить его испуганному воображению картины гражданской войны и всеобщего разрушения. Но самое лучшее средство покончить с этими страхами — это познакомиться с сочинениями самого автора знаменитой фразы.

Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) был сыном мелкого городского

ремесленника. Он сам называл себя
мужиком, и, когда в 1848 г. ему
случилось возражать в
Национальном собрании одному
легитимисту, хваставшему
знаменитостью рода, он с гордостью
заявил: «У меня 14 предков мужиков
— назовите мне хоть одно семейство,
имеющее больше благородных
предков!» Жизнь Прудона была
далеко не из легких. Судьба его не
баловала. Главным бичом его жизни
была постоянная нужда. В
молодости он перепробовал
несколько профессий — был
наборщиком, затем содержал
небольшую типографию,
разорившись, поступил секретарем к

одному богатому барину. Затем для него стал главным источником заработка литературный труд, который, однако, не мог обеспечить ему достаточного дохода, благодаря тому что Прудон был во вражде со всеми партиями и не имел опоры в прессе. Поэтому он очень тяготился литературным заработком и неоднократно пытался получить место в каком-нибудь торговом предприятии; так, несколько лет он управлял делами одной торговой фирмы. Ему приходилось много претерпеть от гонений правительства, хотя он был совершенно чужд принципиальной оппозиции власти. Наоборот, он

постоянно носился с мыслью привлечь правительство на свою сторону и с его помощью осуществить свои проекты. Незадолго до февральской революции он выразил уверенность, что эра революций миновала навсегда и что трону Луи Филиппа не угрожает никакая опасность. Февральская революция, в которой Прудон не принимал никакого участия, сделала нашего автора депутатом Национального собрания. Но благодаря своей обычной тактике — наносить удары с одинаковым ожесточением направо и налево — радикализму и консерватизму — Прудон не преуспел на политической

трибуне. Только один раз ему пришлось выступить в собрании со своим собственным проектом коренной реформы налогов. Он произнес горячую речь, и в результате голосования на стороне проекта оказалось... два голоса, включая и голос самого Прудона.

Политическая деятельность Прудона закончилась присуждением его к трехлетнему тюремному заключению за нападки на президента республики — Луи Наполеона. С наполеоновским правительством наш автор никак не мог поладить. Он считал себя непримиримым врагом империи столь же мало, как и монархии Луи

Филиппа. Но империя считала его своим врагом и не останавливалась перед суровыми карами, чтобы зажать рот беспокойному публицисту. Через несколько лет после своего освобождения он опять навлекает на себя неудовольствие бонапартовской полиции и только бегством в Бельгию спасается от угрожавшего ему нового тюремного заключения.

В то же время республиканская партия обвиняла Прудона в заискивании перед империей. Действительно, в одной брошюре, вышедшей вскоре после переворота 2 декабря, Прудон обнаружил довольно благосклонное отношение к

виновнику этого позорного акта и признал возможным при известных условиях оправдать переворот. Авансы по адресу империи встречаются и в некоторых последующих сочинениях преследуемого автора. Непримиримые враги бонапартовского режима ставили также с полным основанием в вину Прудону, что он воспользовался амнистией Наполеона и вернулся во Францию после того, как раньше публично заявлял о своем решении ни в каком случае не принимать амнистии из рук правительства, присудившего его к тюрьме.

Все это, несомненно,

доказывает отсутствие политической стойкости у Прудона. Но помимо недостатка гражданского мужества поведение его объясняется и другими соображениями, не бросающими столь неблагоприятного света на личность автора знаменитого мемуара о собственности. Прудон не был вполне чужд утопического мировоззрения, типическими выразителями которого могут считаться Оуэн, Сен-Симон и Фурье. Это мировоззрение, отрицавшее значение политической борьбы, дало возможность Оуэну, чистота побуждений которого стоит выше всяких подозрений, обращаться с адресами к реакционным

правительствам Священного союза, а благородному и рыцарственному Сен-Симону посвящать свои сочинения Людовику XVIII. Точно так же и Прудон был равнодушен к политике и, несмотря на свой собственный достаточно, казалось бы, убедительный опыт, не покидал несбыточной надежды заставить правительство служить своим идеям.

В общей же сложности Прудон отнюдь не был героической натурой. Его социальные идеалы также не отличались высотой; на них ярко отразилось миросозерцание того класса, откуда вышел Прудон, — мелкой буржуазии. В этом отношении весьма характерно

отношение Прудона к женщине и семье. Великие утописты стремились к такой же коренной реформе семьи, как и современного общественного строя. Они требовали не только освобождения труда, но и освобождения женщины. Напротив, мнения Прудона о так называемом женском вопросе несколько не возвышались над уровнем обычных буржуазных взглядов на брак и семью. Он сам был женат на простой работнице и нашел в ней свой идеал хорошей хозяйки и любящей матери своих дочерей, об образовании которых он совершенно не заботился. Женщина была в его глазах низшим существом; к образованным

женщинам он относился с нескрываемым отвращением и заявлял, что предпочитает им куртизанок. Семья представлялась ему прочным и неразрывным хозяйственным союзом, в котором должен неограниченно царить мужчина; на долю женщины выпадает высшая духовная деятельность, между тем как женщина должна быть только хозяйкой и матерью. Так называемая эмансипация женщины повела бы, по мнению Прудона, лишь к разврату, ибо только суровый долг и узы брака могут ввести в границы и сдержать стихийную чувственность, заложенную в женщину.

Перейдем к рассмотрению сочинений Прудона. Из них самым блестящим является его юношеская работа о собственности — «Qu'est ce que la propriété? Le mémoire»^[185] (1840), написанная на тему, данную академией, подобно знаменитой книге Руссо^[186] о влиянии цивилизации на нравы людей.

Прудон рассматривает в этой работе одну за другой так называемые теории собственности — юридические обоснования этого социального института. Среди юристов наиболее популярна теория первого завладения. Сущность этой теории сводится к следующему. Чтобы работать и добывать пищу,

человек должен обладать орудиями труда, а также участками земли, подвергаемыми обработке. Вначале земля не принадлежала никому. Поэтому всякий мог захватить себе столько земли, сколько ему нужно было для обработки, и мало-помалу земля перешла в частную собственность без нарушения чьих-либо прав и интересов. Но когда земля была таким образом поделена, положение вещей резко изменилось. Завладевать было нечем, потому что никто не имеет права пользоваться той вещью, которая уже принадлежит другому. Общество распалось на имущих собственников и пролетариев.

Но завладение, говорит Прудон, может давать человеку право лишь на то, что ему действительно необходимо для существования и к чему он лично приложил труд. Как же оправдать с этой точки зрения захват одним лицом огромных земельных пространств, требующих для своей обработки сотен и тысяч рук? Теория завладения, юридически обосновывая мелкую собственность, тем самым отрицает правомерность крупной собственности.

Экономисты со времен Локка приводят обыкновенно в защиту частной собственности доводы другого рода. Они придерживаются так называемой рабочей теории. Из

этой теории исходят, например, в своей защите собственности Тьер и Бастиа. Право собственности, говорят они, основывается на праве рабочего бесконтрольно распоряжаться продуктами своего труда. Бастиа прямо так и определяет сущность права собственности: «Собственность есть право рабочего на ценность, созданную его трудом». Но если так, то вся земельная собственность должна быть признана незаконной и несправедливой. Нам говорят, что человек приобретает право собственности на землю, потому что он ее обрабатывает, прилагает к ней свой труд. Но разве продуктом его

труда является земля, а не хлеб, сено, вино и пр.? Почему же право собственности простирается не только на продукты, но и на средства производства? Почему в прежнее время приложение труда к земле могло давать земледельцу право собственности на землю, а в настоящее время оно не приводит уже к этому праву? Почему в настоящее время арендатор не признается собственником земли, которую он десятки лет обрабатывал и улучшал?

Так же несостоятельна так называемая «легальная» теория права собственности — обоснование этого права волей законодателя.

Требуется указать высший нравственный или юридический принцип, на котором покоится институт собственности. Ссылка на закон есть признание, что такого высшего принципа не существует и что право собственности основывается просто на силе. Попытка иначе обосновать с точки зрения легальной теории право собственности возвращает нас к теории завладения, или рабочей теории.

Итак, существующие теории собственности бессильны оправдать это право. В действительности оно есть не что иное, как право получения дохода, не основанного на

труде, иначе говоря, право получения без всякого возмещения продуктов, произведенных другими лицами. Собственник, в силу своего права, жнет, где не сеял, потребляет то, чего не произвел, и пользуется наслаждениями, когда другие умирают с голоду. Доход, вытекающий из права собственности, принимает различные формы в зависимости от своего источника. Доход этот называется арендной платой, когда его источником является земельная собственность, наемной платой, когда он вытекает из собственности на здания, процентом, если он извлекается из денежного капитала,

наконец, прибылью, если получение его основывается на пользовании торговым или промышленным капиталом. Но во всех этих случаях сущность дела остается одна и та же — извлекаемый доход не основывается на труде.

Откуда же получается названный доход? Очевидно, какова бы ни была форма этого дохода, источник его может быть лишь один: рабочие создают больше ценностей, чем получают их в виде заработной платы, излишек поступает в пользу собственника и составляет его доход — арендную или наемную плату, прибыль или процент. Следовательно, «la propriété c'est le

vol».

Нужно, однако, иметь в виду, что несправедливость и угнетение заключаются не в том, что человек завладевает орудиями труда или земельным участком, а в том, что один человек лишает того и другого других людей. Поскольку владение одного человека не нарушает прав другого, постольку собственность является вполне правомерной формой пользования орудиями и предметами хозяйства. Но существующая историческая собственность неизменно основывалась на насилии и эксплуатации. Частная собственность была глубочайшей

причиной общественного неравенства, а следовательно, и всех революций, посредством которых люди стремились восстановить равенство.

Но если собственность разрушает равенство, ведет к порабощению слабого сильным, то коммунизм привел бы к другому неравенству, еще более губительному. В таком обществе, о котором мечтают социалисты, слабые угнетали бы сильных, ленивые и неспособные жили бы на счет трудящихся и способных. Коммунизм есть система рабства, так как общность владения требует принудительной организации труда, лишает членов

общества свободы действий и превращает их всех в рабов государства.

Таково содержание знаменитой книги Прудона. В ней впервые с полной ясностью и резкостью высказана мысль, что центральным правовым институтом современного общества, институтом, на котором все основывается, из которого все исходит, и хорошее и дурное, составляющее цивилизацию, которой мы так гордимся, является институт частной собственности и что критика современного социального строя должна быть прежде всего направлена на этот основной социальный институт, одинаково

присущий всем цивилизованным народам.

Право собственности до такой степени привычно человеку нашего времени, что оно кажется не исторически развившейся, а потому и подлежащей дальнейшему развитию юридической нормой, а как бы первоначальным и неотъемлемым условием самого общественного существования человека. Этот институт, вкоренившийся глубочайшим образом в современную жизнь, подчинил своему влиянию все нравственное миросозерцание цивилизованного человека. На этой почве возникло условное чувство

чести, более гнушающееся нарушения права собственности, чем нарушения самых естественных прав человеческой личности.

И вот является писатель, осмелившийся посягнуть на это святая святых современного общества, порвать со всеми установившимися представлениями о дурном и хорошем, честном и бесчестном! Если собственность есть кража, если почтенный бережливый рантье ничем не отличается от рыцаря большой дороги, то, значит, все рушится, все теряет смысл и значение, наступает хаос, в котором бедный буржуа чувствует себя совершенно не в силах

разобраться. Немудрено, что дерзновенные слова Прудона прогремели по всему свету. Сам автор был так горд ими, что, не обинуясь, объявил их самым великим событием своего времени.

Однако слова эти были не так уж новы. Знаменитая фраза о собственности была впервые сказана еще в XVIII веке вождем жирондистов Бриссо. Но у Прудона она была выражением целого общественного мировоззрения, венцом социальной системы, чего отнюдь нельзя сказать о Бриссо. Слова Прудона заключали в себе определенную теорию происхождения нетрудового дохода.

Согласно этой теории, нетрудовой доход основывается на эксплуатации рабочего, присвоении собственником доли трудовой ценности, создаваемой рабочим. Учение это естественно вытекает из трудовой теории ценности, понимаемой абсолютно и механически, т. е. не как определенное методологическое допущение, а как выражение реального свойства труда быть единственной субстанцией ценности; теория неоплаченного труда была развита уже школой Оуэна, а свое завершение она получила у Родбертуса и Маркса. Что касается Прудона, то он, несомненно, исходил из нее, хотя в

его мемуарах о собственности, как и в последующих сочинениях, теория эксплуатации труда не сделала ни шага вперед сравнительно с более ранними сочинениями английских социалистов. Вообще, знаменитая книга Прудона о собственности более замечательна по блеску изложения, сильному, полному воодушевления и страсти языку, ярким, остроумным, парадоксальным оборотам мысли, чем по новизне и глубине содержания. В теоретическом отношении наиболее ценным в разбираемой работе можно признать самую постановку вопроса, темы исследования.

Но, правильно поставив задачу,

Прудон мало сделал для ее разрешения. Его критика института частной собственности в общем слаба. Действительно, в чем заключается эта критика? Главным образом в разборе господствующих юридических теорий обоснования права собственности. Но если бы даже Прудону удалось совершенно разбить эти теории, отсюда вытекало бы не то, что институт собственности заслуживает отвержения, а лишь то, что собственность защищается учеными плохо. Вместо исследования социальных результатов права собственности, значения этого права для интересов различных классов

населения и всего общества в целом наш автор дает нам юридический анализ рассматриваемого права, и анализ к тому же весьма неудачный... Прудон, конечно, не доказал невозможности юридического обоснования права собственности. Его критические удары направляются главным образом против двух теорий собственности — теории завладения и рабочей теории. Но самой сильной в научном отношении теории собственности так — называемой легальной теории — Прудон почти не затрагивает своей критикой. Согласно этой теории, право собственности имеет за себя

верховную юридическую санкцию не
какого—либо отвлеченного
этического начала, а общественной
пользы. Общество нуждается в
институте частной собственности не
в силу его справедливости, а в силу
его социальной плодородности.
Чтобы разбить этот аргумент в
пользу собственности, следовало бы
доказать, что общество, в целом или
в лице большинства, не пострадает
или даже выиграет от уничтожения
частной собственности. Ничего
подобного Прудон не исполнил, да и
не мог исполнить, так как — и это
самое главное — он отнюдь не
принципиальный враг частной
собственности, как это можно было

бы подумать, судя по резкости его критики.

Мы видели, что, отвергая частную собственность в современной ее форме, Прудон не менее решительно высказывается против социализма. Никакого положительного решения автор не дает, и читатель остается в недоумении, что же, собственно, защищает критик. Рассеять этого недоумения не сумел бы и сам Прудон, так как он, как можно с уверенностью утверждать, и сам определенно не знал, каким образом можно предотвратить эксплуатацию одних членов общества другими, возникающую при господстве

собственности, и в то же время избежать указываемых им бедствий коммунизма. Правда, его умственному взору представлялась некоторая туманная утопия коренной реформы права собственности при сохранении личного владения, но утопия эта облеклась в разное время в разные формы. Прудон до конца жизни не терял надежды придумать такое социальное устройство, которое одинаково обеспечивало бы личную свободу каждого и благосостояние всех. Свобода и равенство были основными политическими догматами Прудона. Он не соглашался пожертвовать ни одним из них. Во имя равенства он

отвергал частную собственность в существующей форме; во имя свободы он отвергал социализм. Нужно было, следовательно, найти такое общественное устройство, в котором и свобода и равенство были бы обеспечены в равной мере.

Задача была не из легких, и немудрено, что Прудон постоянно колебался между различными решениями ее. Интересно, что под конец жизни он нашел наконец свой идеал не в чем ином, как... в русской общине. В своем посмертном сочинении «Théorie de la propriété»^[187] Прудон говорит, что истинное решение проблемы собственности дано славянской

расой, создавшей общинную собственность, при которой земля принадлежит всей общине, а право пользования отдельными земельными участками — каждому члену общины.

«Требование владения такого рода, — заявляет наш автор, — я закончил свой первый мемуар о собственности, не дав этому требованию вполне ясной формулировки. Распространить славянскую форму владения было бы большим шагом вперед в цивилизации. Эта форма более пригодна для применения в жизни, чем абсолютное «dominium» римлян, которое воскресло в нашем праве

собственности. Никакой разумный экономист не может желать большего. При господстве славянского права владения рабочий получает должное вознаграждение и плоды его трудов вполне обеспечены. Этот принцип славянской цивилизации есть самый славный факт в истории этой расы».

Самым ценным в научном отношении трудом Прудона мы считаем его «*Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère*»[\[188\]](#) (1846). Эта работа произвела огромное впечатление на современников; в Германии быстро появились три перевода ее, и даже ученые

буржуазного лагеря, как, например, один из основателей исторической школы, знаменитый Бруно Гилдебранд, признали Прудона выдающимся экономическим мыслителем эпохи.

В «Экономических противоречиях» Прудон дает критическое исследование основных категорий современного экономического строя. Под влиянием Гегеля он видит задачу науки об обществе в исследовании *процесса общественного развития*. «Социальная наука, — говорит он, — есть систематическое и рациональное познание не того, чем общество *было*, и не того, чем оно

будет, но того, что оно *есть* во всей своей жизни, т. е. в совокупности своих последовательных проявлений».

Социальная наука одинаково чужда как консерватизму, так и утопии. Она исследует самый процесс общественного движения и свои практические требования выводит из открываемых ею законов этого движения.

«Краеугольным камнем экономического здания является ценность». Со времени А. Смита экономисты различают два рода ценности — потребительную и меновую. В каком же отношении друг к другу находятся эти два вида

ценности? Увеличение предложения товаров увеличивает общую сумму их полезности, их потребительной ценности, но понижает их рыночную цену. Уменьшение предложения повышает цену, хотя полезность становится меньше. Следовательно, между меновой и потребительной ценностью существует внутреннее противоречие.

Противоречие это разрешается конституированием ценности — приведением ее в соответствие с трудом, затраченным на производство каждой вещи.

Но задача конституирования ценности еще далеко не разрешена обществом. От этого зависят все

отрицательные явления
современного хозяйственного строя
расстройства товарного обращения,
потрясения кредита, промышленные,
денежные и торговые кризисы,
неравенство вознаграждения
рабочих, эксплуатация одних членов
общества другими, бедность
большинства населения. Если бы
товары обменивались в соответствии
с трудом, то всякий получал бы
вознаграждения пропорционально
своим заслугам; теперь же мы видим,
что представители физического
труда вознаграждаются ничтожно,
между тем как те профессии,
которые составляют достояние
привилегированных, достаточных

классов общества, оплачиваются во много раз выше. Если бы обмен совершался на основании трудовой равноценности, то рабочий, отдавая свой труд капиталисту, получал бы от него всю созданную трудом ценность и эксплуатация труда капиталом должна была бы прекратиться. Существование в современном обществе непроизводительных классов, потребляющих, но не производящих, есть результат того, что конституирование ценности еще далеко не достигнуто.

Но, с другой стороны, весь прогресс общества заключается в борьбе за эту великую цель. «Политическая экономия есть не что

иное, как история этой борьбы. Поскольку политическая экономия освящает и желает упрочить аномалию ценности и притязания эгоизма, она есть поистине теория несчастья и организации бедности; но поскольку она указывает средства, открытые цивилизацией, к уничтожению пауперизма (хотя эти средства монополия непрерывно стремится обратить в свою пользу), она предвещает организацию богатства».

Учение о ценности является основанием всей системы «Экономических противоречий» Прудона. Последовательно, одна за другой, рассматривает Прудон

экономические категории, и так как в корне их лежит противоречивая категория ценности, то все они оказываются содержащими в себе внутренние противоречия. Подобно тому как человеческий ум изобретает одну гипотезу за другой для разрешения трудной задачи, так и мировая мысль, говорит наш автор, последовательно создает новые социальные категории, все более полно разрешающие противоречия социального строя.

Социальная эволюция начинается с разделения труда. Разделение труда дает возможность человечеству осуществить идею равенства, так как только при

дифференциации профессий каждый может заниматься тем, к чему он наиболее способен или к чему он чувствует наибольшее влечение. Социализация труда увеличивает в огромных размерах его производительность и открывает человечеству широкую дорогу к накоплению богатства и знания. Но, с другой стороны, разделение труда порабощает рабочего, делает его слепым орудием в руках хозяина, увеличивает нищету и невежество низших классов народа и ведет к сосредоточению всех благ цивилизации у небольшой кучки избранных. Новое противоречие, разрешаемое новой экономической

категорией — машинами.

Изобретением машин промышленный гений человека протестует против раздробления и специализации труда. Действительно, что такое машина? Это — соединение в одном целом тех инструментов, которыми раньше работало несколько рабочих. В этом смысле введение машин по своим результатам прямо противоположно действию разделения труда. Машина должна уменьшить человеческий труд, понизить цены продуктов и сделать их доступными всем классам населения. «Машина есть символ человеческой свободы, знак господства человека над природой,

атрибут нашего могущества, выражение нашего права, эмблема нашей личности».

«Но тем самым, что машины уменьшают труд рабочего, они урезают и сокращают возможность труда, благодаря чему спрос на труд все более и более падает и не достигает предложения». Вытеснение рабочего машиной есть хроническое бедствие, непрерывное и неизбежное, «нечто вроде холеры, которая появляется то под видом Гутенберга, то Аркрайта; здесь она называется Жаккардом, там Джемсом Уаттом, в другом месте маркизом Жоффруа».

«Машины, так же как и

разделение труда, суть при господствующей системе социальной экономии одновременно источник богатства и постоянная и фатальная причина нищеты». Нередко машины вводятся со специальной целью борьбы с рабочими; так, станок Шарпа и Робертса был введен в Манчестере для того, чтобы победить стачку рабочих, не соглашавшихся на понижение заработной платы. Но, вытесняя рабочих машинами, фабриканты сами себе роют яму, ибо рабочие суть потребители машинных изделий и сокращение числа рабочих равносильно сокращению рынка для сбыта изделий.

Машинная работа оказывает губительное действие на организм рабочего и вызывает в фабричных странах прямо вырождение населения. В Англии наблюдается одновременно с развитием фабричного производства такое увеличение пауперизма, что рост налогов в пользу бедных идет быстрее роста населения.

Пролетариат есть прямое порождение машин. «Крупная мастерская есть первая простейшая и самая могущественная машина». Увеличивая применение машин, мы не делаем труд рабочего легче, напротив, фабричная работа и тяжелее и неприятнее прежнего

ручного труда. Вместе с тем машина унижает рабочего, превращая его из искусного ремесленника в простого чернорабочего. «Каков бы ни был прогресс механического знания, сколько бы ни изобретали машин, еще во сто раз более удивительных, чем прядильная машина «Дженни», паровой ткацкий станок и цилиндровый печатный станок, какие бы новые силы, еще в сотни раз могущественнее пара, ни открывали, — все же эти изобретения не только не дадут свободы человечеству, не увеличат его досуга и не улучшат потребления, но, напротив, умножат труд, усугубят рабство, удорожат жизнь и еще более

углубят пропасть, разделяющую господствующий и наслаждающийся класс от класса подчиненного и страдающего».

Свободная конкуренция представляет собой следующую категорию экономического строя. Всем известны выгоды свободной конкуренции, столь восхваляемые экономистами. Но экономисты упускают из виду основную истину, что «конкуренция убивает конкуренцию». Геометрия не знает истины более несомненной. Правда, социалисты говорят нам, что во всем нужно различать правильное пользование от злоупотребления. Есть конкуренция благородная,

заслуживающая высокой похвалы, — это соревнование. Но есть конкуренция гибельная, безнравственная и разрушительная — это своекорыстие. Точно так же экономисты требуют, чтобы мы сохранили хорошую сторону конкуренции и устранили дурную. Экономисты не отрицают, что конкуренция приводит к своей противоположности — монополии: но они видят в этом лишь злоупотребление. Однако, говорит Прудон, монополия не есть злоупотребление конкуренцией, а естественный и неустрашимый принцип последней. «Монополия есть фатальное завершение

конкуренции, непрерывно порождающей монополию как свое отрицание; в этом заключается и оправдание монополии. Так как конкуренция присуща обществу, как движение присуще живым существам, то и монополия, следующая за конкуренцией, составляющая ее цель и предел, без которых конкуренция была бы неприемлема, должна быть признаваема столь же законной». В ожесточенной экономической борьбе побеждает сильнейший, становящийся монополистом. Чем сильнее конкуренция, тем неизбежнее монополия. И мы видим, что монополия захватывает все

новые и новые области хозяйства. И в земледелии, и в промышленности, и в торговле монополия становится господствующей. Благодаря этому растут производительные силы общества; коллективные рабочие, объединенные монополистом, производят больше разьединенных рабочих. Но монополия в то же время есть могущественнейшая причина общественного упадка. Latifundiae perdidere Italian!^[189] Монополия стремится не к созданию наибольшей суммы общественного благосостояния, а к доставлению наибольшего дохода монополисту. Ради увеличения своего дохода монополисты готовы сократить

сумму производимых продуктов — иначе говоря, пожертвовать общим благосостоянием ради своего собственного. Монополия в корне противоположна равенству.

Подобным образом Прудон последовательно разбирает экономические категории — налоги, торговлю, кредит и, наконец, собственность и коммунизм. Во всем он находит внутренние противоречия, разрешение которых возможно будет лишь тогда, когда будет разрешено лежащее в основе современной хозяйственной системы противоречие ценности, когда закон трудовой ценности получит свое полное осуществление. В

закключение Прудон критикует
учение Мальтуса и
противопоставляет его формуле —
что население растет в
геометрической, а средства
существования в арифметической
прогрессии — свою собственную,
гласящую, что средства
существования растут как квадраты
числа рабочих. Нечего и говорить,
что обе формулы — и Мальтуса и
Прудона — одинаково произвольны.

Таково содержание
«Экономических противоречий»,
далеко оставляющих за собой по
глубине и зрелости мысли первое
экономическое сочинение Прудона.
Хотя автор совершенно произвольно

распределяет свои экономические категории, которые не только не соответствуют последовательности исторического развития, но и не подчинены никакому логическому правилу и столь же успешно могли бы быть размещены в обратном или в каком-либо ином порядке, все же «Экономические противоречия» содержат в себе такую глубокую критику капиталистического строя, что большинству последующих критиков капитализма оставалось только развивать или видоизменять мысли Прудона. Не подлежит сомнению, что, несмотря на крайне пристрастную критику Прудона Марксом, «Капитал» Маркса

создался под непосредственным влиянием «Экономических противоречий». И это неудивительно, так как Прудон был первым замечательным экономистом, применившим гегелевский диалектический метод к исследованию системы экономических категорий во всей их совокупности. Тому же методу следовал и Маркс.

Задача «Экономических противоречий» была чисто критическая. Правда, Прудон уже и в этом сочинении довольно ясно дал понять, в чем он видит решение социального вопроса. Конституирование ценностей всех

товаров — вот в чем заключалось
искомое решение. Но как этого
достигнуть? На это Прудон отвечает
в другой книге, «Résumé de la question
sociale»[\[190\]](#) (1849). Он поднимает
свой старый вопрос — что такое
собственность — и решает его в том
смысле, что собственность при
современных условиях хозяйства есть
не что иное, как своего рода
привилегия на получение сбора,
пошлины с продуктов, поступающих
в оборот, с циркуляции товаров.

Реформируя механизм товарного
обращения, мы вместе с тем
реформируем и право собственности
со всеми его губительными
последствиями.

Но какая сила руководит в настоящее время обращением товаров и деспотически управляет их движением? Эта сила — деньги. Следовательно, и решение социального вопроса должно заключаться в реформе денежного обращения. Денежный капитал должен утратить свою деспотическую власть.

Для достижения этой цели Прудон предлагает устройство менового банка, во многом напоминающего рабочую биржу Оуэна, с тем различием, что Оуэн стремился только к устранению денег в роли менового посредника, между тем как Прудон вместе с тем

хотел достигнуть своим меновым банком и другой цели — дарового, беспроцентного кредита.

Мы не будем повторять сказанного выше (по поводу рабочей биржи Оуэна) о невозможности обеспечить сбыт всех товаров путем замены денег какими-либо условными знаками, путем организации безденежного обмена. Не организация сбыта, а организация общественного производства, замена анархического единоличного хозяйства планомерным общественным хозяйством — вот что требуется для того, чтобы продукты всегда находили сбыт. Меновой банк Прудона был несомненно утопией,

хотя отнюдь не социалистической. Прудон надеялся сохранить в неприкосновенности индивидуальную свободу производителя и в то же время избавить рабочего от власти предпринимателя путем беспроцентного кредита. Но где найти капиталы для неограниченного кредита? Прудон повторяет здесь ошибку многих буржуазных экономистов, приписывавших кредиту чудесную способность создавать богатство из ничего. Классическим и неподражаемым примером и вместе родоначальником этих утопистов кредита был кредитный Калиостро

XVIII века — шотландец Джон Лоу, заразивший своим безумием чуть не всю французскую нацию, закруживший ее в вихре неистовой биржевой игры, ослепивший ее миражом фантастических сказочных богатств, лопнувших, как мыльный пузырь. Весьма характерно, что Прудон относился с большой симпатией к Лоу и даже заявил в «Экономических противоречиях», что истинные идеи Лоу еще никем не поняты надлежащим образом и что, будучи правильно поняты, они могут произвести настоящий переворот в народном хозяйстве.

Такой переворот должен был осуществить меновой или, как

впоследствии его назвал Прудон, народный банк. Со своим обычным избытком темперамента наш автор в следующих выражениях возвестил о своем новом предприятии. «Я начинаю дело, равного которому не было и не будет в мире. Я хочу изменить основание общества, повернуть ось цивилизации, сделать так, чтобы мир, который по воле Божества движется с запада на восток, начал двигаться по воле человека с востока на запад». И все эти чудеса должен был произвести скромный «народный банк» с капиталом в 50 000 франков!

К счастью для Прудона, судьба избавила его от разочарования и

некоторого конфуза, который не мог не сопровождать неизбежного жалкого крушения предприятия, начатого с такими необычайными обещаниями. В дело вмешалось попечительное правительство Луи Бонапарта, позаботившееся о том, чтобы «ось цивилизации» не пострадала: как раз в самое горячее время, накануне открытия операций банка, Прудон был арестован и посажен в тюрьму. За отсутствием главного руководителя «народный банк», акции которого парижский рабочий класс раскупал очень охотно, должен был немедленно закрыться.

В заключение отметим, что

Прудон считается создателем теории анархизма, превосходящей по своей утопичности все социалистические теории, к которым наш автор относился с таким осуждением.

Из книги Ш. О. Сент–Бёва П. Ж. ПРУДОН, ЕГО ЖИЗНЬ И ПЕРЕПИСКА [\[191\]](#)

Мнение Прудона о женщинах. —
Чистота его нравов в молодости. —
Его склонность к семье и семейной
жизни.

Чем был Прудон по отношению
к женщинам? Как относилась его
искренняя натура к наиболее живому
и сладостному чувству — чувству,
непрестанно разукрашиваемому и
видоизменяемому воображением,
которое составляло утеху и отраву

всей жизни Руссо. Здесь, как и в другом, мы обратимся к наиболее достоверным свидетелям его жизни. Он всегда остерегался чувственных порывов, но был способен на привязанность, но только на привязанность мужественную, честную. Молодость его была чиста. Он умел следить за собою даже во времена своего учения: ночью, когда им овладевали известного рода мысли, он взбирался на чердак и проводил долгие часы, созерцая сквозь слуховое окно луну, звезды, строгий вид искрящегося неба, и ложился только совершенно успокоенный и умиротворенный.

Первая любовь его относится ко

времени его молодости. В письме его из Безансона к Аккерману 20 августа 1838 года мы читаем следующее:

«Письмо Ваше носит следы грусти и меланхолии; я вижу, что Вы несчастливы. Нужно, любезный друг, никогда не рассчитывать на счастье; оно редко встречается на той дороге, по которой мы с Вами идем: жертвы, страдания, непреодолимые отвращения, уединение, отчаяние, — **haec est pars calicü nostri**^[192] — Я отправил недавно письмо к своей прежней возлюбленной, которая живет теперь в Кане, обратите внимание, так писал я ей, на то, что происходит вокруг вас; у Вас нет недостатка ни в кротости, ни в

скромности, ни в трудолюбии, ни в честности. Почему же Вы живете постоянно в нужде, тогда как множество куртизанок утопают в безумной роскоши? Я объясню Вам эту тайну. Бог желал, когда зло и разврат достигнут крайней степени развития среди человеческого общества, чтоб следствия подобного состояния отозвались вполне на лучших людях, которые первые должны оказать сопротивление и стараться избежать угрожающей им беды. Во Франции существует сто тысяч молодых людей, которые, как и я, поклялись выполнить это святое назначение, и, рано или поздно, они сумеют победить или умереть.

Упорный физический и умственный труд должен падать на долю мужчины, Вы же, бедная девушка, молитесь Богу, чтоб он даровал нам ум и твердость, чтоб он благословил наши усилия, увенчал успехом нашу борьбу. Какое чувство, думаете Вы, питает девушка к возлюбленному, говорящему с ней в подобных выражениях? Я плачу Вам за Вашу откровенность...»

Из вышеприведенного отрывка достаточно видно, какие мужественные, даже совершенно чуждые любви чувства примешивались к самым страстным выражениям этого молодого Спартака, так как Прудона можно не

без основания назвать Спартаком интеллигенции.

Он обладал и умел находить в случае надобности, в этом случае, известного рода нравственную деликатность, свойственную только избранным личностям. В другой раз, когда один из наиболее дорогих ему друзей испытал неудачу и был накануне горького разочарования, Прудон писал ему в виде утешения следующее (1 января 1841 года):

«Я сожалею, что любовь твоя не увенчалась успехом, во—первых, потому, что я всегда искренно желал тебе довольства и счастья, во—вторых же, потому, что ученому гораздо нужнее жена, чем тупоумному,

грубому сердцем, расточительному буржуа. Тем не менее я мирюсь с твоей неудачей в силу известного рода размышлений, которые, вероятно, не придут тебе в голову, именно, что первая привязанность, оставляющая в чистой душе весьма глубокие следы, делает часто вторую привязанность более глубокой и более способной дать счастье. Вообще, любезный друг, молодые любовники не умеют наслаждаться счастьем своей любви и довольствоваться самими собой; они любят друг друга довольно неразумно; душа их переполнена скорее огнем и живостью, чем искренней теплотой; они часто не

знают и не умеют взаимно ценить друг друга; одним словом, любовь их лишена знания и умения. Я не хочу проповедовать тебе здесь утонченное сладострастие; я говорю просто о науке любить и быть любимым. Все, что ты говоришь мне о молодой особе, ясно указывает на ее неопытность, точно так же, как и то, что я сам знаю про тебя, дает мне право предполагать в тебе достаточно неискусного руководителя. Мужайся, друг! Нет ничего прелестнее первых порывов девушки, но они весьма легко могут согласоваться с рассудком и волею. Ты вознаградишь себя за утраченное, если только не откажешься глупо от

того, чего ты вполне заслуживаешь. Ты спросишь меня, откуда я, не имеющий жены, набрался такой мудрости? Я испытал в ранней молодости честную привязанность и вдобавок уже состарился. Через некоторое время ты будешь знать в этом отношении столько же, сколько и я».

Вышеприведенные строки достаточно ясно показывают самобытный характер молодости Прудона. Он всегда умел сохранить свою нравственную неприкосновенность и полную силу рассудка. Всем известно, что сластолюбие — один из главных элементов разложения веры и что

оно всегда влечет за собой известную дозу скептицизма. Смутная тоска, испускаемая, как запах мертвых, наслаждениями, — эта расслабляющая и наводящая уныние усталость — не только поражает чувства, но даже влияет и на последовательность мыслей. Она, в конце концов, подтачивает, затемняет в нас принцип достоверности. Прудон был чужд подобного рода слабостей; говоря языком Шамфора и Ривароля — двух наименее сходных с ним людей, — он не открывал фонтанели своим убеждениям. Изнеживаться и рассеиваться значило для него все равно что развратиться. Он постоянно работал,

был занят, подавлен своим трудом.

Мужественно нес свое бремя и бремя своих обделенных судьбою братьев, не имел ни минуты отдыха, размышлял непрестанно и без известного рода самообольщений и был последовательным до конца, т. е. питал отвращение к изнеженности. Он с состраданием смотрел на людей слабых, легко поддающихся романическим влияниям; он презирал уклонения, которых не отличал от порока.

Далилы не были страшны этому Самсону. Его грубая, откровенная натура, неотесанная по внешности, но деликатная на самом деле, была сотворена для радостей и

обязанностей семейного очага, для брака и родительской любви.

Он писал своему другу Бергману, недавно женившемуся и делившемуся с ним своими семейными радостями, следующее (23 января 1842 г.):

«Я прочел письмо твое с большим удовольствием и искренно радуюсь твоему семейному счастью. Мне давно уже было известно, что ум, стоящий выше обыкновенного уровня, всегда препровождается большою чувствительностью; человек спокойный и сдержанный нередко кажется таковым потому, что не всегда высказывается. Будь счастлив, насколько может быть

счастлив честный и ученый человек, умеи поддерживать и увеличивать свое счастье, доля участия каждого человека в делах мира сего настолько ничтожна в сравнении с его личными делами, что было бы безумием, говорю не ради проповедования эгоизма, жертвовать верным и доступным благосостоянием в угоду тщетных умозрений науки или самоотвержению. *Радуйся*, сказал Соломон, *с супругой твоей юности*; поклоняйся Богу и возвеличивай свою душу созерцанием его творений. Наука будет существовать даже и тогда, когда никто не станет жертвовать для нее жизнью; страдание если и ведет нас к вечному

блаженству, то зато нередко совершается в ущерб истине. Ничего излишнего, ничего преждевременного; пусть все заботятся о своем счастье и работают на пользу науки — таковы правила мудрости».

Очевидно, что не недостаток понимания заставляет иногда Прудона уклоняться от этих правил; у него был свой гений, свой демон.

Любовь сама по себе, рассматриваемая как любовь—страсть вне всякого отношения к семье и детям, весьма мало ценилась Прудоном; он смотрел на нее как на временное зло, как на мимолетное ощущение, недостойное внимания

мыслящего человека.
Тридцатидвухлетнему другу своему
Аккерману, влюбленному и
намеревающемуся жениться, он
писал следующее:

«Вы достигли поры, когда
любовь наиболее колет (poinct) нас;
впоследствии она уменьшается. Все
это ничего не значит: главное
заключается в способности видеть,
знать, формулировать все прекрасное
и истинное».

Таково было последнее слово
его строгой натуры, не чувствовавшей
ни малейшей потребности в
развлечении или забавах.

Физически даже, если можно
так выразиться, Прудон обладал

особым пониманием значения чувств и действия, оказываемого на них трудолюбивым, честным образом жизни. В письме к экономисту Жозефу Гарнье — приверженцу теории Мальтуса и теории, проповедующей в браке известного рода воздержанность и умеренность, он писал от 23 февраля 1844 года: «...все написанное по этому поводу внушает мне глубокое отвращение, невыразимую жалость. Я, как и вы, принадлежу к мальтузианской школе, т. е. признаю, в вопросе о народонаселении, огромное значение *воздержанности*. Кроме этого я должен признаться, что в будущем я надеюсь на совершенно иные нравы

— на спиритуализм в любви, сходный с мечтами Платона. Я считаю современное сластолюбие совершенно противоестественным; все эти нежности, иногда даже честные и деликатные, эти страстные выражения, когда дело идет о женщинах, которыми переполнены все современные сочинения, кажутся мне скорее следствием беспорядочного эротического возбуждения, чем симптомом законных стремлений. Я пришел к совершенно иным заключениям, если только мои пятнадцатилетние наблюдения оказались правильными и если, как и всякий мужчина, я могу считать себя

за полного выразителя нашего пола. Мы сделались настолько грубы — сделали любовь настолько материальною, что краткое изложение моих мнений по этому предмету показалось бы смешным и неуместным. Здесь требуется специальная книга, книга неопровержимая, могущая служить и протестом, и вместе с тем вечным укором нашего сознания против уклонений нашего сердца». В строгости подобного мнения существует много правды, в особенности же если оно касается целой отрасли литературы. Но можно также сказать, что в нем существует и много произвольного. Сейчас

видно, что любовь и все, что касается Вены, не составляет слабости Прудона. Воздержание, о котором он говорит и которого придерживается, может осуществляться только по отношению к второстепенным страстям; дело становится затруднительнее, лишь только коснется, по выражению Поупа, *господствующей* страсти. Пусть попробует сам Прудон воздерживаться и умерять одерживающую его интеллектуальную страсть, составляющую основу его нравственной природы, двойную струну, непрестанно звучащую в нем, логику и склонность к борьбе

(combattività).

С. — Р. ТАЙЛЛАНДЬЕ ПРУДОН И КАРЛ ГРЮН

Карл Грюн — немец, приехавший во Францию ради изучения состояния умов, различных философских и социалистических систем, часто виделся с Прудоном в течение зимы 1844—1845 года; по возвращении на родину он обнародовал в том же 1845 году рассказ о своем путешествии... Позднее г-н Сен-Рене Тайлландье сделал этот рассказ предметом весьма интересной статьи в «Revue des deux mondes», опираясь преимущественно на влияние,

оказанное на развитие идей Прудона германским другом. Действительно, влияние Гегеля и его метода весьма резко ощущается в ближайшей книге Прудона — *«Системе экономических противоречий...»*; но, для того чтобы по справедливости оценить это влияние, мы должны принять во внимание самого достоверного свидетеля — самого Прудона. Касаясь вышеупомянутого сочинения, он писал Бергману в январе 1845 года:

«Мое предприятие подвигается медленнее, чем я ожидал. Я задумал серию из шести или семи мемуаров, которые должны следовать один за другим: первое — обнимает собою

400 страниц. Это — не более как общая критика политической экономии с точки зрения социальных антиномий. В конце концов я надеюсь познакомить французскую публику с тем, что такое диалектика.

Нельзя не пожалеть, что каждый немецкий писатель всегда придерживается известной методической формы изложения и всегда указывает на употребляемые им логические приемы, тогда как французы вечно толкуют вкривь и вкось, не понимая друг друга. Я первый вздумал предвозвестить во Франции необходимость подобного рода дисциплины для разума под именем сериальной теории или

диалектики, особое построение которой дал уже нам Гегель.

Благодаря новым познаниям, которые приобретены мною за эту зиму, я был понят большим числом немцев, пришедших в восторг от того, чего я самостоятельно достиг и что, по их мнению, могло существовать на их родине. Я не могу еще судить о родстве, существующем между моей метафизикой и логикой Гегеля, *так как я никогда не читал* его; но я уверен, что в моем ближайшем сочинении я пользовался его логическим методом; этот—то метод и составляет частность или, если хочешь, простейший случай моего».

Карл Грюн сам признавал самобытность и оригинальность Прудона, в доказательство чего остается только приводить его собственные слова, его рассказ о посещении Прудона и беседе с ним; пользуясь изящным переводом г-на Сен-Рене Тайлландье, все-таки придется дополнять его в некоторых местах замечаниями молодого ученого [\[193\]](#). К. Грюн, посетив всех сектаторов—утопистов — представителей школ фурьеристов и коммунистов, заканчивает свой обход Прудоном; мы находим в нем провожатого энтузиаста, но этот энтузиаст умеет быть весьма тонким наблюдателем и, как мы увидим

ниже, весьма хорошим ценителем.

Париж, 4 января 1845 года

«При входе с набережной Малакэ на улицу Сены видна налево другая улица, образующая угол с предыдущей. Однажды вечером, около 5 часов, находясь именно в этом месте, я спросил улицу Мазарин. Ступайте налево, отвечали мне. Там—то отделялись две дороги Геркулеса: направо широкая дорога, ведущая к мирным фурьеристам; а налево?.. налево шла улица Мазарин, на которой в доме под № 36 жил Прудон».

Я представлял его себе человеком, достигнувшим уже 40—летнего возраста, с жесткими

чертами лица и с отпечатком недоверия на нем, с черными волосами, с обремененным глубокими думами челом, но также и с тою незаменимой доброжелательностью, которою отличалась физиономия Жан Жака Руссо или Людвига Берне. Нужно, говорил я сам себе, заручиться этой доброжелательностью для того, чтобы не быть смешанным с большинством английских путешественников и вульгарных немецких туристов, нужно проникнуть за крайние укрепления, за которыми скрывается этот негодующий ум. Я не мог представить себе иначе автора

мемуара «Что такое собственность», автора письма к Консидерану, письма, за которое он должен был предстать перед думскими присяжными, — прежнего типографского наборщика, давно уже погрузившегося в бесконечные научные изыскания, пролетария, стремящегося разрешить все проблемы социальной науки ввиду облегчения рабочего класса и который, будучи вознагражден за это процессом пред уголовным судом, в продолжение долгих лет испытывал еще более ужасное наказание — презрение общества; этого уединенного, смелого, неумолимого мыслителя я не мог себе представить

иначе, как человеком озлобленным!

Войдя в комнату Прудона, я очутился лицом к лицу с человеком довольно высокого роста, имевшим на вид не более 30 лет, одетым в шерстяную фуфайку и в деревянных башмаках. Комната его походила на комнату студента; небольшое количество книг на полке, несколько номеров «*Насионаля*» и политико-экономического обозрения на столе — таково было ее убранство. Не прошло и пяти минут, как мы уже вступили в самую дружескую беседу. Завязавшийся между нами разговор заставил меня позабыть о той недоверчивости, которую я ожидал встретить в Прудоне по примеру Жан

Жака Руссо и Людвига Берне. Открытое лицо, великолепно очерченный лоб, прекрасные карие глаза, несколько массивный подбородок, весьма хорошо гармонирующий с сильной природою гористой Юры, энергический, законченный, несколько простонародный выговор, сжатость и точность выражения, изобилующего словами математической точности, уверенность и веселость — таков портрет прекраснейшего и могущего бороться со всем миром человека.

Таковым был Прудон в молодости. Вышеприведенное описание верно, хотя и разукрашено. Следующие за этим строки

немецкого автора носят более глубокий характер:

«Во время моей первой любви я, насколько мне помнится, был скорее влюблен в *веснушки* моей возлюбленной, чем в нее самую; обладай другая какая-нибудь девушка подобными же веснушками, я, однако, не был способен полюбить ее за них. В психологии существует весьма известное общее правило, что любовник оказывает наибольшее предпочтение тем качествам своей возлюбленной, которые прямо противоречат всем законам красоты... (Я сокращаю: известны на эту тему прекрасные стихи Лукреция, Горация и Мольера в его

«Мизантропе».)

Глаза Прудона немного косы; именно это обстоятельство с первого же раза пробудило во мне живой интерес к его физиономии. Его прекрасные зрачки, принимавшие иногда несколько расходящееся направление, напоминали мне веснушки моей возлюбленной в Вецларе [\[194\]](#). Во время нашего разговора о Гегеле, Фейербахе, Адаме Смите, Сэе, Бланки, Воровском, Фурье, Консидеране, Листе, Цольфереине, Гейне и Марксе взгляд мой невольно переходил от его косых глаз к скульптурному изгибу его лба, и, повторяю, первые, лишенные этого недостатка, не казались бы мне сколь

прекрасными»).

Я предупреждал уже вас, что мы встретимся с энтузиастом; нужно примириться с этим.

Но, заплатив дань отечеству Вертера, мы переходим к серьезной оценке доктрины:

«Мне незачем было ожидать большого счастья. После долгих и утомительных трудов, после непрестанной критики всевозможных социалистических теорий я встретился в Париже — в этом Париже, где сталкиваются тысячи покрытых бесчисленными ранами систем, имеющих претензию на долговечность, где тысячи отживших идей бродят как тени

мертвецов, — я встретил человека, который мужественно, свободно, безо всяких ограничений во всем согласился со мною. Мы согласились с ним по всем пунктам — в критике социализма и в оценке французской философии. Это подкрепило мою душу.

Прудон — единственный француз, вполне лишенный предрассудков. Он занимался немецкой наукой для того, чтобы иметь возможность следить за всеми умственными движениями, происходящими по ту сторону Рейна. Он обладает глубокими познаниями в философии и всегда способен уразуметь глубокий смысл,

скрывающийся за нашими многословными фразами... он сумел усвоить себе всю сущность нашей науки и заряжал нашими идеями свои пушки в войне против собственности. Он понял Канта и хорошо видел яйцо, которое Гегель, наподобие Второго Колумба, сумел заставить держаться прямо, — отрицание отрицания.

Великий и возвышенный труд Гегеля, состоящий в разложении одного другим, в недрах абсолютного, свободы и необходимости и еще в разумении задачи человечества, установив, что *моя природа* должна быть *моим делом*, — эта колоссальная истина,

которая играла роль Ватерлоо для многих французских умов, была вполне понята Прудоном.

Он не знал только о раздроблении немецкой философии и о исчезновении всякой философской систематизации. Я имел невыразимое счастье быть в *этом отношении* **privat docent** — ом человека, который, после Лессинга и Канта, не имел себе равных по проницательности своего ума. Я надеялся таким образом подготовить полнейшее примирение и слияние социальной критики по обеим сторонам Рейна».

Несмотря на некоторую темноту, представляемую этой чисто

германской похвалой Прудону, нетрудно заметить, что Карл Грюн считает себя просветителем Прудона только в одном отношении. Он познакомил его с учениями последователей и отрицателей Гегеля — не более. Он проводит даже между Фейербахом и Прудоном весьма строгую параллель, о которой мы считаем излишним упоминать здесь. Ему казалось, что Прудон — тот же Фейербах и что он совершенно самостоятельно доказал положение о зависимости прогресса человеческого ума от большей или меньшей степени антропоморфизма. Все эти аналогии, будучи проводимы немцем, хотя и разъясняют дело его

соотечественникам, но, нужно признаться, только затемняют его для нас.

Я не могу пройти молчанием другую весьма любопытную страницу, на которой Карл Грюн с большою наблюдательностью и увлечением приводит еще аргументы в пользу Прудона; она помечена Парижем и написана 20 декабря 1844 года.

«...Неужели, пишет он, мне придется находить недостаточным и поверхностным французский ум каждый раз, когда я прихожу в соприкосновение с ним, и чувствовать неотразимое влечение к нему тогда, когда я поворачиваюсь к

нему спиною для того, чтобы отдалиться от него? Этот вопрос может решить только дьявол, если только это ему окажется по силам! Французы весьма любезны в общении, в своем обращении и чувствах, но ум их весьма ограничен, лишь только требуется проникнуть в самую суть вещей. Начните излагать им самые замечательные, самые глубокие соображения, и, когда вы кончите, они ответят вам: *понимаю, понимаю*, что попросту означает: я угадываю то, что желали сказать и что вы так плохо выразили, — *вы хотели сказать...* и красноречиво пускаются за этим в смехотворное толкование ваших идей,

заставляющее вас подсказывать чуть не до потолка; кончив речь, они спрашивают вас с величайшим самодовольством: *не так ли?* Вы отвечаете: почти, тогда как в глубине души вы желали бы ответить: нет, тысячу раз нет, вы меня не поняли!

Существуют, однако, блистательные исключения этому, исключения, оказывающие огромное влияние на Францию и обновляющие ее в то самое время, когда старые элементы Франции гниют и исчезают наподобие сухих листьев. Я провел сегодня восхитительный час с Прудоном. Мы обменялись с ним ста миллионами идей. Я говорил ему о немецкой философии и о ее

разложении, произведенном Фейербахом. Он почувствовал к нему глубокое уважение.

Я изложил ему, насколько того позволяла разговорная форма, тот порядок идей, который привел Фейербаха к отрицанию абсолюта, — превращению абстракций абсолютного разума в антропологию. Прудон выслушал меня со вниманием, которое способно было повергнуть меня в смущение, если бы я не находился под защитой наступающих сумерек. Когда я окончил свою речь словами: значит, антропология может называться метафизикой в действии, Прудон встал и воскликнул: а я докажу, что

эта метафизика не что иное, как политическая экономия! Он намекал этими словами на сочинение, которое он хочет издать будущим летом и о котором он уже говорил мне. Мы принялись потом за критику, перебрали фурьеристов и коммунистов, радикалов и экономистов, Кузена и Шеллинга. Я испытывал удовольствие, какого мне еще никогда не приходилось испытывать в Париже. Прудон — мыслитель, логик, человек, умеющий оценить по достоинству немецкую науку, не превознося ее, как это делают многие парижские сумасброды, и не обкрадывая ее, по примеру официального философа

июльской монархии. Прудон совсем не знает немецкого языка; он был в продолжение целых двенадцати лет наборщиком, и всем, что он знает, он обязан самому себе; ему не было времени выучиться по-немецки, иначе он усвоил бы его себе, как и прочее. Его умение пользоваться переводами и выдержками весьма хорошо отразилось в следующих словах, сказанных им мне по поводу Фейербаха: «Он довершил дело Штрауса!» Действительно, Штраус открыл теорию мифа, но ничего не сказал о его происхождении и необходимости.

Мы коснемся теперь вопроса, единственного, может быть,

относительно которого никогда не могли сойтись Прудон и его немецкий обожатель, — вопроса о женщине и о ее значении в обществе. В этом отношении Прудон оказался человеком старого закала, старым римлянином, врагом современного новаторства. Будучи отъявленным сторонником абсолютного равенства, он не допускал, однако, возможности равенства мужчины и женщины. «Неужели вы думаете, — говорит он где-то, — что женщина, любовница, жена может быть *другом*? Что честность, совершеннейшая искренность, чистота нравов, любовь к труду и славе, самые великодушные чувства могут затмить в ее глазах

самые мелкие недостатки, которых мы, мужчины, даже и не замечаем?»

На этом—то разногласии и заканчивается, довольно остроумно, книга Грюна; мы приведем еще последнее письмо, написанное немецким путешественником к жене своей.

Париж, 20 января 1845 года

«Сегодня, в 12 часов, я завтракал с Прудоном и между нами произошел весьма оживленный спор по поводу женщин. Я взял исходной точкой этого спора следующую фразу из его книги о собственности: «Я не только не сочувствую тому, что называют в наше время эмансипацией женщины, но гораздо более склоняюсь в

сторону ее затворничества». Я не мог с ним согласиться в этом отношении. Он хочет сделать из своей будущей жены «экономку». Я не мог убедить его; он отвечал на все мои доводы «я не понимаю вас». Я говорил, однако, с достаточною ясностью. Поэтому не советую тебе пренебрегать своей кухней, слышишь ли! Если меня когда-нибудь посетит Прудон, то ты должна будешь прежде всего угостить его хорошим обедом собственной стряпни, а потом уже оспаривать его теорию затворничества. Твою победу тогда можно будет сравнить с победой при Росбахе. Но главное — не забывай твоей кухни».

Без дружбы чем была бы жизнь человека?

Наука иссушает и заставляет увядать, власть опьяняет и делает гордым; благочестие, лишенное милосердия, есть только лицемерие. Богач внушает мне отвращение своим себялюбием; я жалею влюбленного за его беспечность; мне противен сластолюбец — в силу его распущенности. Но пусть божественная дружба начнет согревать наши души, и все тотчас же примет иной, более блестящий вид. Дружба придает величие всему — удовольствию и любви, власти и богатству, науке и религии; она всему сумеет придать прелесть, красоту и

величие.

Дружба иногда заставляет прощать богатству и делает достойным зависти несчастье.

Я смело могу похвастаться тем, что всегда имел друзей. Сердце мое всегда, во все времена моей жизни, было переполнено нежною привязанностью.

Но разве я счастлив?

Нет, но Бог свидетель, что я не обвиняю в этом дружбу!

Да и кто ведает счастье в век, подобный нашему?

В святилище науки, у подножия алтарей, в объятиях сладострастия и даже дружбы меня преследует и беспокоит сознание бедствий

человечества. Великодушные юноши, священный круг друзей — велико и славно наше призвание: мы предназначены для искоренения порока и тирании. Неужели мы изменим нашему назначению?

Что касается меня — я поднял руку к небу и дал клятву:

я живу ради осуществления
этого священного дела
и ради дружбы.

17 августа 1839 года

П. Ж. Прудон

КОММЕНТАРИИ

ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННОСТЬ? или ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИНЦИПЕ ПРАВА И ВЛАСТИ

Печатается по тексту издания: П. Ж. Прудон. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти. Перевод Е. и И. Леонтьевых. Издание Е. и И. Леонтьевых. Спб., 1907.

Знаменитый афоризм Прудона: «Собственность есть кража» не является абсолютно новым и оригинальным. Например, в средние

века мысль Прудона была высказана Гейстербахом в его гомилиях: «Всякий богатый есть вор или наследник вора»^[195]. О собственности как о краже говорил деятель французской буржуазной революции Жан Пьер Бриссо в работе, опубликованной в 1782 году.

Правда, справедливости ради следует отметить, что сам Прудон сопровождал свой афоризм рядом оговорок, лишив его тем самым той остроты, которой он обладает при внеконтекстуальном прочтении. Оказывается, что, по Прудону, лишь крупная собственность есть кража, собственность же в умеренном — «разумном» — размере не только

полезна и оправданна, но и необходима. Истребление крупной частной собственности предпринимается Прудоном с целью установления всеобщей справедливости, которая, в свою очередь, достижима только на основе всеобщего равенства. Не «свобода, равенство, братство», как гласит знаменитый лозунг Французской революции, а именно «равенство, братство, свобода». Свобода, понимаемая Прудоном как отсутствие государственности, или анархия, возникает в результате ликвидации имущественного неравенства (источника и причины всех остальных видов неравенства).

Достигнуть этот идеал можно лишь путем разрушения государства и превращения его в экономическую структуру, обеспечивающую всем членам общества равное право на труд и равную долю общественного продукта. По мнению Прудона, современное государство сознательно поддерживает, оберегает и культивирует неравенство, то есть, проще говоря, защищает «воров или наследников воров» от тех, кого они обворовали. Долой такое государство! А поскольку всякое государство именно таково, то долой и государство вообще!..

За сто с лишним лет, прошедших со дня смерти Прудона, наука, в том

числе и социально-экономическая наука, продвинулась далеко вперед, поэтому в поисках «рецептов» и аналогий целесообразнее обращаться к трудам других, более современных нам мыслителей. Для нас актуальность Прудона заключается в ином. В свое время он оказал достаточно сильное влияние на целый ряд крупных русских мыслителей, начиная с Герцена и кончая Кропоткиным. Анархические идеи, в том числе и Прудона, были популярны в России в первые десятилетия XX в. Глубокие корни в России пустила и идея прогресса, сторонником которой был среди прочих и Прудон. Многие

педагогические идеи Прудона усвоил Л. Н. Толстой и пытался претворить их в жизнь на практике в своей яснополянской школе. Поэтому знакомство с сочинениями Прудона необходимо и тем, кто занимается историей русской мысли.

В советское время Прудона практически не издавали. Лишь в 1919 г., видимо стараниями русских анархистов, была второй и последний раз издана его книга «Что такое собственность?». Поэтому все, что знает современный русский читатель о Прудоне, ограничено исключительно «Нищетой философии» К. Маркса.

Пытаясь осмыслить свое

далекое и недавнее прошлое, мы
вынуждены обращаться к
сочинениям мыслителей того
времени. Прудон был наследником
идей Великой французской
революции во всем их величии и со
всеми их заблуждениями. Идеи
Прудона, конечно, во многом
устарели, но не устарели и не могут
устареть идеалы, его вдохновлявшие.
Конечно, сегодня мы иначе, чем
Прудон, понимаем свободу,
равенство, братство, справедливость,
мир, любовь, но других
положительных социальных идеалов
у человечества все равно нет.
Стремясь к их воплощению,
человечество совершало массу

ошибок, а иногда и преступлений. Чтобы избежать первых и не соблазниться вторыми, нужно знать их историю. Пожалуй, именно в этом кроется актуальность для нас Прудона.

БЕДНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Печатается по тексту издания:
Прудон. Бедность как
экономический принцип. Издание
«Посредника», № 703. М., 1908.
Переводчик не указан.

ПОРНОКРАТИЯ, или ЖЕНЩИНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Печатается по тексту издания:
Порнократья, или Женщины в
настоящее время. Посмертное
сочинение Прудона. Издание Н. А.
Путяты. М., 1876.

Для настоящего издания текст
перевода приведен в соответствие с
современными нормами русского
языка. В предисловии к первому
изданию книги Прудона на русском
языке об истории создания этого
произведения сказано следующее:
тысяча восемьсот пятьдесят восьмой
год был знаменательным годом в
жизни Прудона. Знаменитый

публицист достиг, если можно так выразиться, своего апогея изданием книги «о справедливости». В ней мысль его обняла все главные проявления политической, умственной и нравственной жизни человека. Автор высказал в ней глубокую эрудицию, беспощадную логику и обычную увлекательность слога.

Успех книги был значителен. Более всего подействовала она на императорское правительство, которое распорядилось по—своему.

Прудон был вызван в суд и приговорен к трехлетнему тюремному заключению и к 4000—франковому штрафу. Вместе с ним

были осуждены также его издатели Гарнье, типографы Курдые и Кри.

Прудон, не раз уже подвергавшийся подобного рода наказаниям, предпочел в данном случае изгнание и убежал в Бельгию.

Книга о справедливости включает в себе, между прочим, обширный социологический этюд о женщине. В нем определялись роль женщины в современном обществе, ее значение в истории развития человечества и принадлежащие ей права, основанные на ее организации в потребностях. Мужчина, говорит Прудон, относится к женщине, как 3:2. Неравенство, существующее между ними, неизбежно.

Весьма понятно, что формула знаменитого публициста сильно не понравилась целой половине читающей публики. Появилось множество опровержений. Со всех сторон посыпались журнальные статьи, брошюры, даже целые книги, авторы которых сочли себя оскорбленными за попранные права их пола. Все они отсылались к Прудону; он прочитывал их и складывал в специально приготовленное для этого место.

Первое место среди женщин-полемисток заняли M-me J. d'H., J. L. [\[196\]](#), последняя, одаренная чрезвычайно возвышенным умом и оригинальной манерой выражения

своих мыслей, предприняла против Прудона целый поход, план и выполнение которого были чрезвычайно удачны. Первая же отличилась только своей плодovitостью.

Прудон, жизнь которого была непрерывным рядом битв, хотел опять взяться за оружие. Он собирал материалы и готовил свои боевые доспехи. Имея обыкновение одновременно писать несколько сочинений, он посвящал большую часть своею времени самому актуальному; свободные же минуты посвящались им обдумыванию своих будущих трудов. Мысль его находилась в постоянном брожении;

но так как память одного человека не в состоянии удержать столько положений и аргументов, то Прудон записывал обдуманное на клочках бумаги и прятал их в свой портфель.

Когда наступало время приводить их в порядок, Прудон перечитывал и соединял разбросанные мысли и факты с быстротой, о которой имели понятие только близко знакомые ему люди.

Под конец своей жизни ему вздумалось напечатать ответ на нападки, сделанные против его доктрины M-me J. d'H., J. L. Сочинение должно было носить заглавие порнокрапии.

Храбро взялся он за дело. Мысль

все еще деятельно работала в нем, но тело уже начало уступать приступам болезни, унесшей его со временем в могилу.

Прудон успел написать только треть книги; остальные две трети существуют в набросках, имеющих вид афоризмов, не лишенных, впрочем, глубокого интереса. Способ изложения их напоминает собою мысли или же эпиграмматическую поэзию Гете. Может быть, при внимательном изучении можно было бы найти даже много точек соприкосновения между теориями философа—публициста и религиозными и социальными идеями веймарского поэта...

В числе прочих у Гете есть афоризм с весьма странным заглавием — «Катехизис». Мы приведем подстрочный перевод его.

Учитель. Подумай, дитя мое: откуда все эти богатства? Ведь ты не мог приобрести их сам.

Дитя. Я все получил от папá!

Учитель. Откуда он получил их?

Дитя. От дедушки.

Учитель. А дедушка от кого получил их?

Дитя. Он взял их!

Можно предположить, что если б эта эпиграмма попала на глаза Прудону, то он непременно взял бы ее эпиграфом к первым своим

этюдам о собственности.

В первом издании книги «Порнократия, или Женщины в настоящее время» в качестве приложения помещен отрывок из книги Ш. О. Сент-Бёва «П. Ж. Прудон, его жизнь и переписка» и реферат статьи французского журналиста С. — Р. Тайлландье «Прудон и Карл Грюн». Эти материалы помещены и в настоящем издании.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К. Маркс О ПРУДОНЕ

(письмо И. Б. Швейцеру)

Печатается по: *Маркс К.,
Энгельс. Ф.* Соч. М., 1960. Т. 16. С. 24
—31, 647—650.

м. и. туган барановский

ПРУДОН

Печатается по: Очерки из
новейшей истории политической
экономии и социализма. Харьков,
1919. С. 190—217.

Из книги Ш. О. Сент-Бёва

П. Ж. ПРУДОН, ЕГО ЖИЗНЬ И
ПЕРЕПИСКА

Печатается по тексту издания:
Порнократия, или Женщины в
настоящее время. *Посмертное
сочинение Прудона.* Издание Н. А.
Путятны. М., 1876.

С. — р. тайлландье

ПРУДОН И КАРЛ ГРЮН

Печатается по тексту издания:

Порнократия, или Женщины в настоящее время. *Посмертное сочинение Прудона*. Издание Н. А. Путятны. М., 1876.

notes

Примечания

Recherches sur les catégories
grammaticales (Исследование
грамматических категорий (фр.).) П.
Ж. Прудона: мемуар, удостоенный
похвального отзыва Академии 4 мая
1839 г. Не напечатан.

De l'utilité de la célébration du dimanche (Значение празднования воскресенья (фр.).) etc. П. Ж. Прудон, Безансон, 1839, изд. 2-е, Париж, 1841.

Charron, de la Sagesse, гл. 18.

Франш–Конте (букв.: «свободное графство») – историческая область на востоке Франции, входившая с XIV в. в состав Бургундии; с конца XVII в. – в составе Франции. Столица Франш–Конте – г. Безансон, родина Прудона, В. Гюго, Ш. Фурье.

Имеется в виду книга Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762), в которой доказывается, что современные системы воспитания основаны на насилии над личностью ребенка.

Господин Вивьен, министр юстиции, прежде чем начать преследование против *le Mémoire sur la propriété* (Мемуар о собственности (фр.)), пожелал узнать о нем мнение Бланки, и только благодаря отзывам этого почтенного члена академии он пощадил сочинение, против которого уже поднималась буря в юридическом мире. Господин Вивьен не первый из власть имущих после первого моего сочинения оказал мне помощь и протекцию. Но такое великодушие в политических сферах настолько редкое явление,

что его следует отметить с величайшею признательностью и без всяких оговорок. Я с своей стороны всегда думал, что дурные учреждения создают дурных чиновников, подобно тому как трусость и лицемерие некоторых коллегий зависят исключительно от управляющего ими духа. Почему, например, несмотря на добродетели и таланты, сияющие в их среде, академии в общем являются центрами интеллектуального гнета, глупости и низких интриг? Следовало бы какой-нибудь академии объявить конкурс по этому вопросу; наверно, нашлись бы желающие участвовать в нем.

По отношению к гостю право заявлять притязания имеет вечную силу (лат.). О толковании этого закона см.: Цицерон. Об обязанностях. I, XII.

«Законы двенадцати таблиц» – свод законов Древнего Рима, созданный коллегией децемвиров в 450–451 гг. до н. э., записанный на двенадцати досках, выставленных на площади.

По–гречески *skeptikos*,
исследователь, философ,
поставивший себе задачей искание
ИСТИНЫ.

Зенит – точка небесной сферы, расположенная над головой наблюдателя; надир – точка небесной сферы, противоположная зениту.

Букв.: ничто древнее не должно
быть изменено (лат.).

Религия, законы, брак были привилегией свободных людей, и вначале одной только знати. *Dii majorum gentium* — Боги патрицианских семей, *jus gentium* — право людей, т. е. семей или знатных. Рабы и плебеи не имели семьи; на их детей смотрели как на животных; они рождались животными и умирали ими.

Цитируется (не вполне точно) изданная накануне Французской революции 1789 г. и сразу завоевавшая популярность брошюра аббата Сиейеса «Что такое третье сословие?».

Если глава исполнительной власти подлежит ответственности, то и депутаты должны также подлежать ей. Удивительно, что эта мысль никогда еще никому не приходила в голову; это могло бы служить темой интересного тезиса, но я признаюсь, что ни за какие блага в мире не взялся бы защищать его. Народ еще слишком логичен, чтобы давать ему материал для известных выводов.

Имеется в виду попытка Луи Наполеона (в будущем императора Наполеона III), считавшего себя законным наследником французского

престола, поднять в 1836 г. в Страсбурге мятеж и захватить власть во Франции. Вторую такую попытку он предпринял в 1840 г. в Булони, после чего был приговорен французским правительством к пожизненному заключению в крепости Гам, откуда ему в 1846 г. удалось бежать в Англию.

См. Токвиль. *Демократия в Соединенных Штатах*, а также Мишель Шевалье. *Lettres sur l'Amérique du Nord*. В сочинении Плутарха «Жизнь Перикла» рассказывается, что в Афинах порядочные люди должны были скрываться, желая получить образование, чтобы не быть заподозренными в стремлении к тирании.

Суверенностью, согласно Тулье, является всемогущество человека. Это определение материалистическое. Если суверенность вообще представляет собою что-нибудь, то она есть право, а не сила или способность. И что такое всемогущество человека?

Т. е. Ж. Ж. Руссо и его трактат
«Об общественном договоре».

Это знаменитое изречение приписывают иногда и английской королеве Елизавете I, но в обоих случаях – без документальных оснований (см.: Бабкин А. М. Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. В 3 кн. Спб., 1994. Кн. 2. С. 793–794).

Наступает равенство (лат.).

Комментарии к гражданскому праву (фр.).

Т. е. понижения размера ренты или удлинения сроков ее выплаты (от лат. *conversio* – изменение, превращение).

Эпизод из истории Столетней войны (1347 г.); в 1895 г. в честь этого события в Кале был установлен бронзовый памятник работы О. Родена «Граждане Кале».

Ин. 11, 50; цитируется неточно.

Непременное условие; букв.:
«условие, без которого нет» (лат.).

Трактат о праве узуфрукта (фр.).

Узуфрукт – право пожизненного пользования чужой вещью и доходами с нее с условием сохранения ее целостности и хозяйственного назначения.

Каждому свое по его заслугам (лат.) – формула, встречающаяся у Цицерона в трактате «Об обязанностях» (I, V, 15) и в «Тускуланских беседах» (V, 22).

В трактате «Об обязанностях» Цицерон писал: «...частной собственности не бывает от природы. Она возникает либо на основании давнишней оккупации, например, если люди некогда пришли на свободные земли, либо в силу победы, например, если землей завладели посредством войны, либо на основании закона, соглашения, условия, жребия... Ввиду этого, – так как частная собственность каждого из нас образуется из того, что от природы было общим, – пусть каждый владеет тем, что ему

досталось; если кто—нибудь другой посягнет на что—нибудь из этого, он нарушит права человеческого общества» (Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1993. С. 63).

Непереводимая игра слов, ибо и свойство, и особенность обозначаются по-французски словом *propriété* – собственность. Примеч. пер.

Всякое определение в праве опасно: оно почти всегда ведет к уничтожению (лат.).

Букв.: происхождение от
Юпитера (лат.).

Здесь именно с особенной резкостью обнаруживается простота наших предков. Допустив к наследованию, в случае отсутствия законных детей, двоюродных братьев, они не смогли пойти дальше и воспользоваться этими же двоюродными братьями, чтобы уравновесить распределение наследства между двумя различными ветвями одной семьи так, чтобы в одной семье не могло быть рядом крайней бедности и богатства. Возьмем следующий пример:

Жак, умирая, оставляет двух

сыновей, Пьера и Жана, наследниками своего состояния. Имущество Жака разделяется между ними на равные части. Но у Пьера есть только одна дочь, между тем у его брата, Жана, шестеро сыновей. Очевидно, для того чтобы остаться верными и принципу равенства, и принципу наследования, дети Жана и Пьера должны разделить на семь частей обе доли наследства, ибо в противном случае чужой может жениться на дочери Пьера и благодаря этому браку половина имущества деда Жака перейдет в чужую семью, что противоречит принципу наследования. Кроме того, дети Жана будут бедны, благодаря

своей многочисленности, между тем как их кузина будет богата, потому что она одна, и это противоречит принципу равенства. Если расширить комбинированное приложение этих двух принципов, по-видимому противоположных друг другу, то окажется, что право наследования, против которого в наши дни так неразумно протестуют, нисколько не препятствует сохранению равенства.

Какова бы ни была форма правления, при которой мы живем, факт наследования и наследство всегда будут существовать, независимо от того, кто будет наследником. Сенсимонисты хотели бы, чтобы этот наследник назначался

магистратом; иные хотят, чтобы его выбирал умирающий или чтобы порядок наследования определялся законом: суть дела в том, чтобы требования природы были удовлетворены без нарушения закона равенства. В настоящее время истинным регулятором наследования является случай или прихоть, но в деле законодательства случай и прихоть не могут служить правилом. Именно для того, чтобы предупредить бесконечные смуты, которые влечет за собою случай, природа, создав нас равными, внушила нам принцип наследования, являющийся как бы голосом общества, требующим от нас

указаний, кого из наших братьев мы считаем наиболее способным продолжать после нас нашу деятельность.

Zeus klésios.

Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains.

О том, что море не принадлежит
никому (лат.).

Запрещается пользоваться
землей, водой, воздухом и огнем
(лат.).

Царю принадлежит власть надо всеми, а отдельному индивиду — частная собственность. Царю принадлежит верховная власть, индивиду — право собственности (лат.).

Здесь единственное прибежище
среди житейских бурь, в котором
человеческая душа находит
успокоение от бесконечных
треволнений (лат.).

Приобретение в собственность
по праву давности (лат.).

Согласно Сен–Симону, сенсимонистский жрец должен определять способности каждого при помощи собственной непогрешимости, которая является подражанием римской церкви; а согласно Фурье, ранги и достоинства будут определяться путем выборов и голосования, что представляет собой подражание конституционному режиму. Очевидно, великий человек издевается над своим читателем и не желает выдать свой секрет.

Я не понимаю, как иные люди, для того чтобы оправдать неравенство условий, осмеливаются ссылаться на низменность наклонностей и ума большинства. Разве эта позорная деградация сердца и ума, уносящая столько жертв, не является результатом нищеты и отверженности, которая влечет за собою для них собственность? Собственность делает человека евнухом, и затем она же упрекает его, что он сухое бесплодное дерево.

Сколько нужно граждан для того, чтобы содержать профессора философии? 35 миллионов. Сколько для содержания экономиста? 2 миллиарда. А для писателя, не представляющего собой ни философа, ни ученого, ни экономиста, ни художника, но пишущего фельетонные романы? Ни одного.

Droit d'aubaine называлось принадлежащее французскому королю право на имущество иностранца, умершего на французской территории бездетным. Называя право собственности droit d'aubaine, Прудон характеризует это право как нечто случайное, произвольное, ни на чем не основанное. Мы будем переводить droit d'aubaine сообразно каждому данному случаю, ставя в скобках французское название. – Перев.

Пс. 81, 6.

С полным правом (лат.).

Ростовщичество разъедает все
(лит.).

Эпизод, рассказанный в 7-й книге «Истории» Геродота (Прудон передает не вполне точно). См.: Геродот. История в девяти книгах. М., 1993. С. 325.

Ср. с вольным переводом И. А.
Крылова:

Вот эта часть моя
По договору;
Вот эта мне, как Льву,
принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех
сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь
лапу кто протянет,
Тот с места жив не встанет.

*(Крылов И. А.
Соч. М» 1969, Т.*

2. С. 89: «Лев на
ловле».)

Так вы (трудитесь), но не для себя (лат.) – выражение Вергилия.

Когда Фурье нужно было умножить целое число на дробь, он, говорят, неизменно получал произведение, значительно превосходившее множимое. Он утверждал, что в Гармонии ртуть будет обращена в твердое состояние при температуре выше нуля; с таким же успехом он мог бы сказать, что гармонийцы будут изготавливать горящий лед. Я спросил одного очень умного сторонника Фурье, каков его взгляд на эту новую систему физики. *Я ничего не знаю*, ответил он, *но я верю*. Этот же самый человек не

верил в реальную действительность.

Ср.: «Нищие всегда будут среди земли твоей» (Втор. 15, 11).

Hoc inter se differunt onanismus et manuspratio, nempe quod haec a solitario exercetur, ille autem a duobus recipiatur, masculo scilicet et faemina. Porro foedam hanc onanismi venerem ludentes uxoriam mariti habent nunc omnium suavissimam.

Онанизм и мастурбацию следует различать: онанизмом занимаются только мужчины, а мастурбацией — и мужчины и женщины (лат.).

Детоубийство открыто проповедуется в Англии, в брошюре, автор которой выдает себя за ученика Мальтуса. Он предлагает *ежегодное избиение младенцев* во всех семьях, в которых число рождений превышает установленную законом норму. Он требует, чтобы для погребения этих сверхсметных детей было назначено особое кладбище, украшенное статуями, деревьями, фонтанами и цветами. Матери будут ходить на это великолепное кладбище и предаваться там сладостным мечтам о блаженстве маленьких ангелочков,

а затем, утешенные, будут
возвращаться домой и снова рожать
новых ангелочков... для
великолепного кладбища.

«Финансовое положение английского правительства было выяснено в заседании палаты лордов 23 января. Положение это нельзя назвать блестящим. В течение нескольких лет расходы превышают доходы, и министерство устанавливает баланс лишь при помощи ежегодно возобновляемых займов. Официально установленный дефицит в 1838 и 1839 годах достигает 47 500 000 франков. В 1840 году предполагается, что расходы превысят доходы на 22 500 000 франков. Цифры эти были

приведены лордом Рипоном. Лорд Мельбурн ответил ему следующее: «К несчастью, благородный граф был прав, утверждая, что общественные расходы непрестанно увеличиваются; я со своей стороны должен сказать, что *нет основания надеяться* на уменьшение или возмещение этих расходов» (National, 26 января 1840 г.).

Определение человека, которое Аристотель формулирует в «Никомаховой этике» и «Политике». См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 63,259,379.

«Гражданское справедливое, — по определению Аристотеля, — состоит... в равенстве и подобии» (Там же. С. 327).

Свершить по отношению к ближнему акт благотворительности по-еврейски называется *совершить справедливость*; по-гречески – *совершить акт сострадания* или милосердия; по-латыни – *совершить акт любви или жалости*; по-французски же – *совершить милостыню*. Различие в выражениях указывает уже на деградацию принципа. Первое выражение обозначает долг, второе – только сочувствие, третье – расположение, которое не предписывается, а лишь советуется; четвертое же – произвол.

Справедливость – это равенство,
несправедливость – неравенство
(лат.).

Под *справедливостью* я разумею здесь то, что латиняне называли *humanitas*, т. е. вид общительности, свойственной человеку. *Гуманность* (*humanitas*), мягкая и снисходительная по отношению ко всем, умеет, не будучи несправедливой, отличать различные степени достоинств, добродетелей и способностей: это справедливая распределительница социальной симпатии и всеобщей любви.

Справедливость и гуманность (équité) всегда оставались непонятыми.

«Предположим, что между Ахиллом и Аяксом надо разделить взятую у неприятеля добычу, выражающуюся в цифре 12. Если оба эти лица равны, то и доля добычи обоих должна быть равна, так что Ахиллу достанется 6 и Аяксу также 6. Если последовательно проводить это арифметическое равенство, то даже Терситу пришлось бы дать долю, равную доле Ахилла, а это было бы возмутительной

несправедливостью. Для того чтобы избежать такой несправедливости, сравним достоинства этих лиц и дадим им доли, пропорциональные этому достоинству. Пусть Ахилл вдвое достойнее Аякса, тогда доля первого выразится в цифре 8, доля второго в цифре 4. Арифметического равенства не будет, но зато будет равенство пропорциональное. Это именно сравнение достоинств, *rationum*, Аристотель называет распределительной справедливостью; она осуществляется соответственно геометрической пропорции» (*Toullier. Droit français selon l'ordre du Code*).

Являются ли Ахилл и Аякс союзниками, членами одной ассоциации или нет? Вот в чем вопрос. Если Ахилл и Аякс, не будучи вовсе союзниками, просто находятся на службе у Агамемнона, который платит им обоим, то против правила, установленного Аристотелем, ничего нельзя возразить. Хозяин, владеющий рабами, может обещать двойную порцию водки тому из них, кто сработает вдвое больше других. Это есть закон деспотизма, это есть право рабства. Но если Ахилл и Аякс союзники, члены одного общества, то они равны. Тот факт, что Ахилл вчетверо, а Аякс только вдвое

сильнее обыкновенного человека, значения не имеет. Аякс всегда может сказать, что он свободен, что если Ахилл силен за четырех, то пятеро его одолеют, что, наконец, он, Аякс, неся личную службу, рискует собою в такой же степени, как и Ахилл. То же самое рассуждение приложимо и к Терситу: если он не умеет драться, сделайте из него повара, ключника, поставщика; если он ни к чему не пригоден — отправьте его в больницу. Ни в каком случае вы не имеете права насиловать его и навязывать ему законы.

Для человека возможны только два состояния: он должен быть либо в обществе, либо вне общества. В

обществе положения по
необходимости равны, неравны
только степени уважения и почтения,
которых может достигнуть тот или
иной человек. Вне общества человек
является предметом эксплуатации,
орудием, дающим прибыль, и
нередко неудобной и бесполезной
движимостью.

Между мужчиной и женщиной могут существовать узы любви, страсти, привычки, чего угодно, только не истинного общественного чувства. Мужчина и женщина не товарищи. Различие пола ставит между ними такую же преграду, какую различие видов ставит между животными. Будучи далек от увлечения тем, что теперь принято называть эмансипацией женщины, я, пожалуй, склонен, скорее, если б дело уже дошло до этого, запереть женщин в тюрьму.

Установление прав женщины и

ее отношений к мужчине – дело будущего. Законы о браке, так же как и законы гражданские, надо еще создать.

«Денежный сундук Козимо Медичи сделался могилой флорентийской свободы», – сказал однажды в Collège de France г. Мишле.

«Проблема происхождения языка разрешается установленным Ф. Кювье различием между умом и инстинктом. Язык вовсе не есть обдуманное, произвольное или достигнутое путем соглашения изобретение; он не был передан нам Богом ни путем сообщения, ни путем откровения: язык есть инстинктивное и непроизвольное создание человека, подобно тому как соты являются инстинктивным и необдуманным созданием пчел. В этом смысле можно сказать, что язык не есть творение человека, ибо он не

есть творение его разума. Механизм языка именно потому может возбудить величайшее удивление, что в создании его разум не принимал участия. Это один из наиболее любопытных и в то же время несомненных фактов, какие знает филология. Существует, между прочим, диссертация Ф. Г. Бергмана (Страсбург, 1839), написанная по-латыни, в которой ученый автор объясняет, каким образом ощущение создает зародыш звуков, как язык развивается тремя последовательными периодами, почему человек, одаренный при рождении инстинктивной способностью создать язык,

утрачивает эту способность по мере того, как разум его развивается, почему, наконец, изучение языков есть настоящая естественная история, истинная наука. Во Франции в настоящее время существует несколько первоклассных филологов, одаренных редким талантом и глубоким философским умом. Это скромные ученые, создающие науку, почти неизвестные публике; их преданность науке, которая чуть ли не презирается всеми, избегает всяких похвал с таким же, по-видимому, усердием, с каким другие ищут их».

Илоты – государственные рабы в Спарте.

Иезуитское государство в
Парагвае существовало с 1610 по
1768 г.

Вот мое право – мое копье и щит. Генерал Броссар говорил подобно Ахиллу: «При помощи моего копья и моего щита я имею вино, золото и женщин».

Было бы чрезвычайно интересной и благодарной задачей собрать мнения авторов, трактовавших о ростовщичестве или, как выражаются, вероятно, из деликатности, иные, — о ссудах на проценты. Богословы всегда восставали против ростовщичества; но так как они всегда признавали законность договоров об аренде и о найме, а идентичность этих договоров с ссудами на проценты очевидна, то в конце концов они запутались в лабиринте всяких тонкостей и различий и перестали

понимать, как именно следует относиться к ростовщичеству. Церковь, эта наставница нравственности, столь ревниво оберегающая чистоту своего учения, никогда не могла понять истинной природы собственности и ростовщичества; более того, в лице своих первосвященников она проповедовала подчас самые глубокие заблуждения. Non potest mutuum, говорит Бенедикт XIV, locationi ullo pacto comparari. «Получение ренты, по мнению Боссюэта, так же далеко от ростовщичества, как небо от земли». Можно ли при таких взглядах осуждать ссуды на проценты? Как

оправдать Евангелие, которое совершенно определенно запрещает ростовщичество? Положение богословов действительно чрезвычайно щекотливое: они не могут опровергнуть неопровержимые доводы политической экономики, которая отождествляет аренду с ссудой на проценты, и не осмеливаются осуждать последнюю, но так как Евангелие запрещает ростовщичество, то нужно же, говорят они, чтобы что-нибудь называлось этим именем. Но что же такое ростовщичество? Нет ничего смешнее зрелища этих *наставников нации*, смущенно колеблющихся между авторитетом Евангелия,

которое, по их мнению, *не могло говорить напрасно*, и авторитетом экономической науки. Ничто, по-моему, не возвышает так Евангелия, как исконная измена его якобы толкователей.

Сомэз, отождествивший ссуду на проценты со сдачею внаем, был опровергнут Гроциусом, Пуффендорфом, Бюрламаки, Вольфом и Гейнзиусом, и любопытнее всего то, что Сомэз *сознался в своем заблуждении*. Вместо того чтобы сделать из отождествления Сомэза вывод, что всякий доход незаконен, и перейти затем к доказательству евангельского равенства, ученые сделали как раз обратное. Они говорят: раз аренда и

сдача внаем по общему признанию
дозволены и раз признано, что ссуда
на проценты не отличается от них
ничем, то нет более ничего, что
можно бы назвать ростовщичеством,
и, следовательно, веление Иисуса
Христа иллюзия, ничто. Последнее
же может допустить только человек
неверующий.

Если бы настоящий очерк
появился во времена Боссюэта, то
этот великий богослов доказал бы
при помощи писания, святых отцов
церкви, традиций, соборов и пап, что
собственность есть божественное
право, между тем как
ростовщичество — дьявольские
изобретение. Моя еретическая книга

была бы предана сожжению, а я был бы посажен в Бастилию.

См.: Паскаль Блез. Письма к провинциалу... Спб., 1898. С. 110 (Письмо восьмое).

См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. М» 1990. Т. 1. С. 523. «По—моему, — говорит здесь Калликл, — законы как раз и устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы... стараясь запугать более сильных... Сами же они по своей ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равною для всех».

Со ссылкой на Аппиана (События в Ливии, Г6) об этом эпизоде рассказывает Дж. Вико в «Основаниях новой науки об общей природе наций» (М.; Киев, 1994. С. 397–398).

«Я проповедую Евангелие, я живу Евангелием», – говорит Апостол, подразумевая при этом, что он живет своим трудом: католическое духовенство предпочло жить собственностью. Борьба средневековых общин с аббатами и епископами, крупными землевладельцами и сеньорами общеизвестна, не менее известны случаи, когда папы карали отлучением отказ от уплаты церковных доходов. Даже в наше время официальные органы галликанского духовенства

утверждают, что жалованье священников есть не жалованье, но вознаграждение за имущества, которыми некогда владело духовенство и которые были отняты у него в 89 году третьим сословием. Духовенство предпочитает быть обязанным своим существованием скорее праву на получение доходов (droit d'aubaine), нежели труду.

Одною из важнейших причин нищеты, царящей в Ирландии, являются громадные доходы англиканского духовенства. Оказывается, что еретикам и правоверным, протестантам и папистам не в чем упрекать друг друга: все они одинаково грешили

против справедливости, все
одинаково нарушили восьмую
заповедь: *не укради*.

Обыкновенно под словом *анархия* понимают отсутствие принципа, правила, поэтому его сделали синонимом *беспорядка*.

Если подобным идеям удастся когда-нибудь проникнуть в человеческие умы, то дни представительного образа правления и тирании ораторов будут сочтены. Некогда понятия «наука», «мысль» и «слово» соединялись в одном и том же выражении; для того чтобы охарактеризовать человека, богатого мыслями и знаниями, говорили, что он быстр в речах и искусен в изложении. Давно уже слово, путем абстракции, было отделено от науки и разума; мало-помалу эта абстракция, как выражаются логики,

реализовалась в обществе, и теперь мы имеем различных *ученых*, совсем не умеющих говорить, и *говорунов*, совсем незнакомых с наукою, даже с наукою о слове. В настоящее время философ уже не ученый, а говорун. Некогда законодатели и поэты были люди глубокие и божественные, теперь они — говоруны. Говорун подобен звонкому колокольчику, из которого малейший толчок извлекает нескончаемый звон; у говоруна продолжительность речи всегда прямо пропорциональна убожеству мысли. Говоруны управляют миром; они нас оглушают, душат, грабят, они сосут нашу кровь и насмеваются над нами. Ученые же молчат; как только

они раскроют рот – их перебивают.
Так пусть они едят!

Libertas, liberare, libratio, libra – свобода, освобождать, взвешивать, взвешивание (мера веса – livre) – все эти выражения, по-видимому, имеют один этимологический корень. Свобода есть взвешивание прав и обязанностей; сделать человека свободным – значит уравновесить его с другими, т. е. сравнять его с ними.

В только что вышедшем первом номере ежемесячного издания «L'Egalitaire» самопожертвование провозглашается принципом равенства; такой взгляд обнаруживает смешение понятий. Самая возможность самопожертвования предполагает наличие величайшего неравенства. Искать равенства в самопожертвовании — значит признать, что равенство противно природе. Равенство должно основываться на справедливости, на праве в узком смысле слова, на

которые ссылаются сам собственник; в противном случае равенство немыслимо. Самопожертвование выше справедливости; оно не может играть роль закона, ибо по самой природе своей должно оставаться вознагражденным. Конечно, было бы желательно, чтобы все уразумели необходимость самопожертвования, и мысль, высказанная «L'Egalitaire», весьма похвальна; к несчастью, только она совершенно бесплодна. Что в самом деле можете вы возразить человеку, который вам скажет: «Я не хочу жертвовать собой»? Следует ли его принуждать к этому? Когда самопожертвование бывает вынужденным, оно носит

название угнетения, рабства,
эксплуатации человека человеком.
Самопожертвование пролетариев,
преданных собственности, относится
именно к этой категории.

Из всех социалистов нашего времени ученики Фурье мне долго казались самыми прогрессивными и почти единственными, достойными этого названия. Если бы они сумели понять свою задачу, сумели говорить с народом, возбудить его симпатии, молчать о том, что сами они не понимают; если бы они не предъявляли таких гордых притязаний и если б высказали больше уважения к общественному разуму, то, быть может, реформа была бы начата ими. Но как могут эти яростные реформаторы

преклоняться перед властью и роскошью, т. е. перед явлениями наиболее враждебными реформам? Как они не понимают, что в наш рассудочный век люди могут быть обращены лишь рассудочными доводами, а не мифами и аллегориями? Как могут они, беспощадные противники цивилизации, заимствовать у последней самые отвратительные плоды ее: собственность, неравенство состояний и рангов, чревоугодие, прелюбодеяние, проституцию, теургию, магию и прочую чертовщину? К чему непрерывное метание громов по адресу морали, метафизики и

психологии, когда злоупотребление этими науками, в которых они ничего не смыслят, составляет всю их систему? К чему эта мания обожествлять человека, главной заслугой которого было то, что он, самым странным языком, рассуждал о вещах, совершенно ему незнакомых? Кто признает непогрешимость какого-либо человека, тот делается неспособным просвещать других; кто отрицает свой разум, тот скоро станет отрицать свободу мысли вообще. Проповедники фаланстера доказали это собственным своим примером. Пусть же они снизойдут наконец до рассуждений, до методического

исследования; пусть они дают нам доводы, а не откровения, и мы охотно послушаем их. Пусть они организуют промышленность, земледелие, торговлю; пусть они сделают труд привлекательным, а самые низкие работы почетными, тогда они могут быть уверены в одобрении с нашей стороны. И пусть они, главное, отделаются от своего иллюминатства, которое придает им скорее вид мошенников и шарлатанов, нежели верующих и апостолов.

Индивидуальное владение вовсе не препятствует интенсивной культуре и единству эксплуатации. Я не говорил о неудобствах дробления, потому что это общеизвестная вещь, много раз уже обсуждавшаяся другими. Но я удивляюсь тому, что экономисты, которые так хорошо обрисовали недостатки мелкого хозяйства, не заметили, что причиной этих недостатков является собственность. Странно также, что они не поняли, что их проект мобилизации земли есть первый шаг к упразднению собственности.

Мф. 5, 3.

Слова Молитвы Господней
(«Отче наш»): Мф. 6, 11.

Лаццарони (букв.: нищие, босяки) — деклассированные люмпен–пролетарские элементы в Южной Италии. В XVIII–XIX вв. этот термин стал применяться ко всей массе беднейшего населения Италии и ряда других стран.

Маммона (арам. «богатство») – в Новом Завете обозначение осуждаемой демонической власти собственности (Лк. 16, 9, 11, 13; Мф. 6, 24).

Полента – латинское название ячной крупы.

Букв.: «цивильный лист» (фр.) – статья государственных расходов на содержание главы государства.

Эрисихтон, сын фессалийского царя Триопа, вырубил священную рощу Деметры, за что богиня наказала его чувством неутолимого голода. Миф об Эрисихтоне Овидий рассказывает в VIII книге «Метаморфоз» (738–878).

Корроларий — зд.: неизбежное следствие.

Невеста слишком красива (*фр.*)
— выражение, означающее, что
достоинства (какие-либо или чьи-
либо) превзошли ожидания.

Конкубинат (*лат.*) — букв.:
сожителство.

Дебет и кредит (*фр.*).

Мужественная женщина,
героиня (*лат.*).

Букв.: праздношатающаяся,
гулящая; грубо: шлюха (*фр.*).

Навязчивая идея (*фр.*).

Вольнодумец, свободомыслящий
человек (*фр.*).

Ученые женщины (*фр.*).

Женщина — это рабыня и
рождена, чтобы подчиняться (*фр.*).

Конскрипция (*фр.*) — воинская
повинность.

Полиандрия — многомужество.

Милость сверх милости,
женщина святая и непорочная (*лат.*).

Миф об андрогинах рассказан в «Пире» Платона.

Король царствует, но не управляет (*фр.*) — выражение из речи французского государственного деятеля А. Тьера (1797—1877).

Повелевать, чтобы лучше
служить (*фр.*).

Повиноваться, чтобы лучше править (*фр.*).

Презренная, расслабленная и
глупая (*фр.*).

Наслаждения.

См. примеч. 5.

См. примеч. 9.

Жеманницы (*фр.*).

Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает (*фр.*) — девиз «Ордена Подвязки», учрежденного английским королем Эдуардом III в 1344 г.

См. примеч. 8.

Спутники, сопровождающие женщин для их охраны от возможных неприятностей (*фр.*).

Без названия. — Ред.

Баба, тряпка (*фр.*) как правило, о
мужчинах.

Здесь: «легкомысленных» (*фр.*).

По собственному желанию
(лат.).

Влечение, похоть (*лат.*).

Мимолетное желание, прихоть
(*фр.*).

Наоборот (*лат.*).

Своеобразный, специфический
(лат.).

Синтетическое резюме (*фр.*).

См. примеч. 4.

Самоуправление (*англ.*).

Менильмонтан — пригород Парижа, где находился дом «верховного отца» сенсимонистов — Анфантена. В этом доме в 1832 г. он собрал «избранных братьев» («апостолов» сенсимонизма). В нем они прожили четыре месяца в условиях полного затворничества, занимаясь нравственным самоусовершенствованием.

Равенство ($\phi p.$).

ФАКТЫ ОСВЯЩАЮТ САМИ СЕБЯ

(лат.).

Довод сильнейшего всегда самый лучший; кто силен, тот и прав; «у сильного всегда бессильный виноват» (*фр.*) — из басни Лафонтена «Волк и ягненок».

Цитаты о женщине из Корнелия Агриппы, взятые из биографии Маргариты Бургонской, регентши Нидерланд, Альтмейера, *De feminei sexus praecellentia*, в переводе Гендевиля.

О недостоверности и тщете всех наук и искусств (*лат.*).

Полноправный, владеющий
собой (*лат.*).

Свободомыслящая женщина

(фр.).

Непорочный агнец (*лат.*).

Чему удивляться? (*лат.*).

Здесь: основательность,
постоянство (*φp.*).

«Законы, похоже, проводят различие между браком и прелюбодеянием, как между разными видами недозволенного, но различие это не касается самого существа дела... Мне могут возразить, что я слишком увлекаюсь, нападая даже и на первый брак. Но это справедливо, потому что он состоит из того же, из чего и прелюбодеяние» (*Тертуллиан Квинт Септилий Флорент. Избр. соч. М., 1994. С. 364: О поощрении целомудрия*).

Огромная разница существует между законной женой и блудницей; жена принадлежит одному, а проститутка — многим (*лат.*).

Всякий младенец мужеского
пола, разверзающий ложесна (*лат.*)
Лк. 2, 23.

См. примеч. 6 к работе
«Бедность как экономический
принцип».

Денежное содержание, зарплата
(*фр.*).

Хорошо жить (*фр.*).

Без Вакха и Цереры охладевает
Венера (*лат.*).

Здесь: остроумна (*фр.*).

См. примеч. 28.

Мф. 6, 3.

Роман О. де Бальзака.

Дилетанты, любители (*итал.*).

Театр в парке, под открытым небом (*фр.*).

«Знойная лихорадка», «У простой женщины», «Ферма Первая Роза» (*фр.*).

Сатириаз — болезненное усиление полового влечения у мужчин, сопровождающее некоторые нервные, психические и эндокринные заболевания.

Ликантропия — в сказках и легендах превращение человека в волка или другого дикого зверя; в медицине психическое заболевание, принимающее иногда характер эпидемии (главным образом в античности и средневековье).

Цитата из VI сатиры (стихи 58—59) Ювенала: «...Кто заверит, что с ней ничего не случилось в гротах, в горах?» (*Ювенал. Сатиры. Спб., 1994. С. 57*).

«Рекламное бюро» и
«Бельгийская звезда» (*фр.*).

С двумя (*лат.*).

Отель–гарни — гостиница с
меблированными комнатами.

Глас народа глас Божий (*лат.*).

Глава семьи (*лат.*).

Письмо «*О Прудоне*» было написано Марксом 24 января 1865 г. в связи со смертью Прудона по просьбе редактора газеты «*Social-Demokrat*» Швейцера. Письмо было напечатано в № 16 — 18 газеты от 1, 3 и 5 февраля 1865 г.

«*Social-Demokrat*» («Социал-Демократ») — орган лассальянского Всеобщего германского рабочего союза. Под данным названием газета издавалась в Берлине с 15 декабря 1864 по 1871 г.; в 1864—1865 гг. редактировалась И. Б. Швейцером.

Статья о Прудоне была

перепечатана в первом и во втором немецком изданиях книги К. Маркса «Нищета философии», вышедших под редакцией Энгельса в 1885 и 1892 гг. В 1886 г. появилась первая публикация статьи на русском языке в издании «Нищеты философии», выпущенном группой «Освобождение труда».

Мы сочли за лучшее поместить
письмо без всяких изменений.
(Примечание редакции газеты
«*Social-Demokrat*».)

Имеется в виду работа Прудона «Essai de grammaire générale» («Опыт всеобщей грамматики»), помещенная в книге: *Bergier. Les éléments primitifs des langues. Besancon, 1837г* (*Бержье. Первоначальные основы языков. Безансон, 1837*).

Proudhon P. J. Qu'est-ce que la propriété? ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement. Paris, 1840 (*Прудон П. Ж.* Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти. Париж, 1840).

«СОБСТВЕННОСТЬ» (*фр.*). — *Ред.*

СВЕТОТЕНИ (англ., от итал. chiaroscuro). — Ред.

Malthus T. R. An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society, with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writers. London, 1798 (*Мальтус Т. Р.* Опыт о законе народонаселения и его влиянии на будущее совершенствование общества. С замечаниями о взглядах г-на Годвина, г-на Кондорсе и др. авторов. Лондон, 1798).

«сенсационный памфлет» (*фр.*).

Ред.

«мелкого буржуа (*фр.*). — *Ред.*

Речь идет о работе Ж. П. Бриссо
де Варвиля «Recherches
philosophiques. Sur le droit de propriété
et sur le vol, considérés dans la nature et
dans la société» («Философские
исследования. О праве
собственности и о краже,
рассматриваемых в природе и в
обществе»), напечатанной в книге:
Bibliothèque philosophique du
législateur, du politique, du
jurisconsulte. Berlin, Paris, Lyon, 1782.
Т. VI. Философская библиотека
законодателя, политического деятеля
и юриста. Берлин, Париж, Лион,

1782. T. VI.

«Собственность — это кража»

(фр.). — Ред.

Proudhon P. J. Systeme des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère. Paris, 1846. Т. I—II (Прудон П. Ж. Система экономических противоречий, или Философия нищеты. Париж, 1846. Т. I—II).

«Жду Вашей строгой критики»

(фр.). — Ред.

«Говоря, что существующие отношения — отношения буржуазного производства — являются *естественными*, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени *естественными законами*. Это — *вечные законы*, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих

пор была история, а теперь ее более нет» (см. с. 113 моей работы).

заранее, до опыта, исходя лишь
из отвлеченных соображений (*лат.*).
— *Ред.*

Фраза, заключенная в скобки, добавлена Марксом в данной статье.
— *Ред.*

Там же, с. 119, 120.

напыщенный (*фр.*). — *Ред.*

выскачка (*φρ.*). — *Ред.*

Имеется в виду роль Этьена Кабе (1788—1856) — французского публициста, проповедовавшего идеи утопического коммунистического общества, основанного на принципах уравнительности и братства. На страницах издававшихся им газет «Le Populaire» («Народ») и «Le Populaire de 1841» («Народ 1841 года») Кабе наряду с пропагандой своих утопических проектов критиковал режим Июльской монархии и содействовал распространению демократических идей.

Dunoyer Ch. De la liberté du travail, ou Simple exposé des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance. Paris, 1845. Т. I—III (*Дюнуайе Ш.* О свободе труда, или Простое изображение условий, при которых человеческие силы проявляются с наибольшей эффективностью. Париж, 1845. Т. I—III).

Имеется в виду речь Прудона на заседании французского Национального собрания 31 июля 1848 г. Полный текст речи опубликован в: *Compte rendu des séances de l'Assemblée Nationale*. Paris, 1849. Vol. II. P. 770—782 (Протоколы заседаний Национального собрания. Париж, 1849. Т. II. С. 770—782). В этой речи Прудон, выдвинув ряд предложений в духе мелкобуржуазных утопических доктрин (отмена ссудного процента и т. д.), в то же время охарактеризовал расправу с

участниками пролетарского
восстания в Париже 23—26 июня
1848 г. как проявление насилия и
произвола.

Имеется в виду речь Тьера 26 июля 1848 г. против предложений Прудона, внесенных в финансовую комиссию Национального собрания Франции. Речь опубликована в: *Compte rendu des séances de l'Assemblée Nationale*. Paris, 1849. Vol. II. P. 666—671.

«дарового кредита» (*фр.*). — *Ред.*

Gratuité du crédit. Discussion entre
M. Fr. Bastiat et M. Proudhon. Paris,
1850 (Даровой кредит. Дискуссия
между г-ном Фр. Бастиа и г-ном
Прудоном. Париж, 1850).

Имеется в виду работа П. Ж. Прудона «Théorie de l'impôt, question mise au concours par le conseil d'État du canton de Vaud en 1860» («Теория налога, вопрос, выдвинутый на конкурс Государственным советом кантона Во в 1860 г.»), изданная в Брюсселе и Париже в 1861 г.

чистейший мелкий буржуа (*фр.*).

— *Ред.*

Proudhon P. J. La Révolution sociale démontrée par le coup d'État du 2 Décembre. Paris, 1852 (Прудон П. Ж. Социальная революция в свете государственного переворота 2 декабря. Париж, 1852).

Proudhon P. J. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Actes du futur congrès. Paris, 1863 (Прудон П. Ж. Перестали ли существовать договоры 1815 года? Акты будущего конгресса. Париж, 1863). В этом произведении Прудон выступал против пересмотра решений Венского конгресса 1815 г. о разделе Польши и против поддержки европейской демократией польского национально-освободительного движения.

Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société. Londres, 1767. Tomes I—II (Теория гражданских законов, или Основные принципы общества. Лондон, 1767. Т. I—II). Книга вышла анонимно.

ВО ВСЕМ (*англ.*). — *Ред.*

Собственность есть кража»
(*фр.*).

«Что такое собственность?
Мемуар» (*фр.*).

Туган–Барановский (1865—1919) имеет в виду работу Руссо «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?».

«Теория собственности» (*фр.*).

«Система экономических
противоречий, или Философия
нищеты» (*фр.*).

«Латифундии погубили
Италию» (лат.).

«Резюме социального вопроса»

(фр.).

P. G. Proudhon, sa vie et sa correspondance par. — S. Beuve.

Такова наша участь (*лат.*).

Эмиля Делеро

Известно, что в этом городе Гете познакомился с Шарлоттой *Вертера*. Карл Грюн, как большой почитатель Гете, искал, а может быть, и нашел в этом городе приключения подобного же рода.

Булгаков Сергей. Два града.

Спб., 1997. С. 103

Jennj d'Hericourt u Julliete
Lambert.